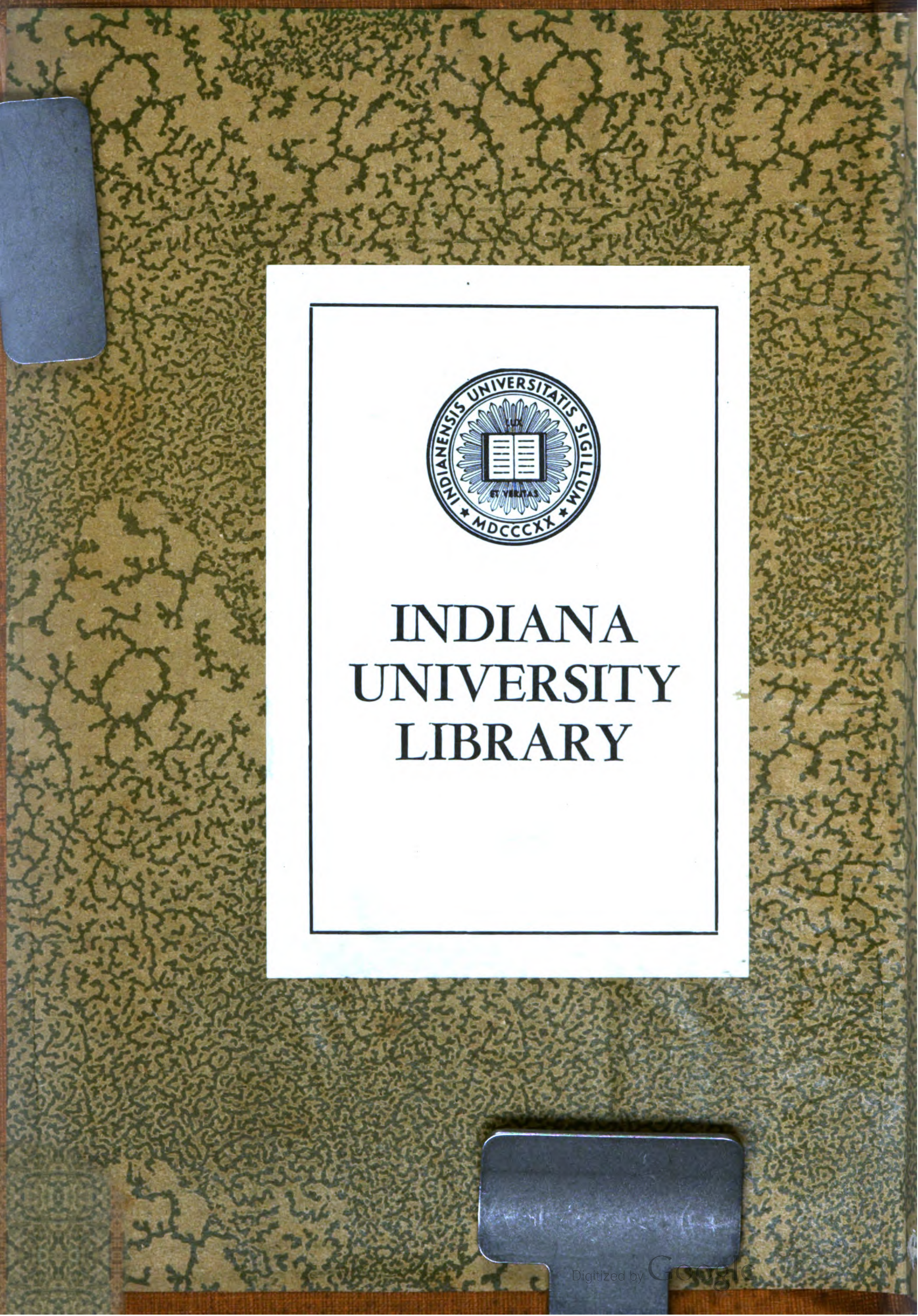


В. ВЕРЕСАЕВ


INDIANENSIS UNIVERSITATIS SIGILLUM
LUX
ET VERITAS
MDCCCXX
INDIANA
UNIVERSITY
LIBRARY
Digitized by Google




ИЗДАТЕЛЬСТВО
НЕДРА

В. В. ВЕРЕСАЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том IX

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„НЕДРА“
МОСКВА — 1930

В. В. ВЕРЕСАЕВ

В ТУПИКЕ

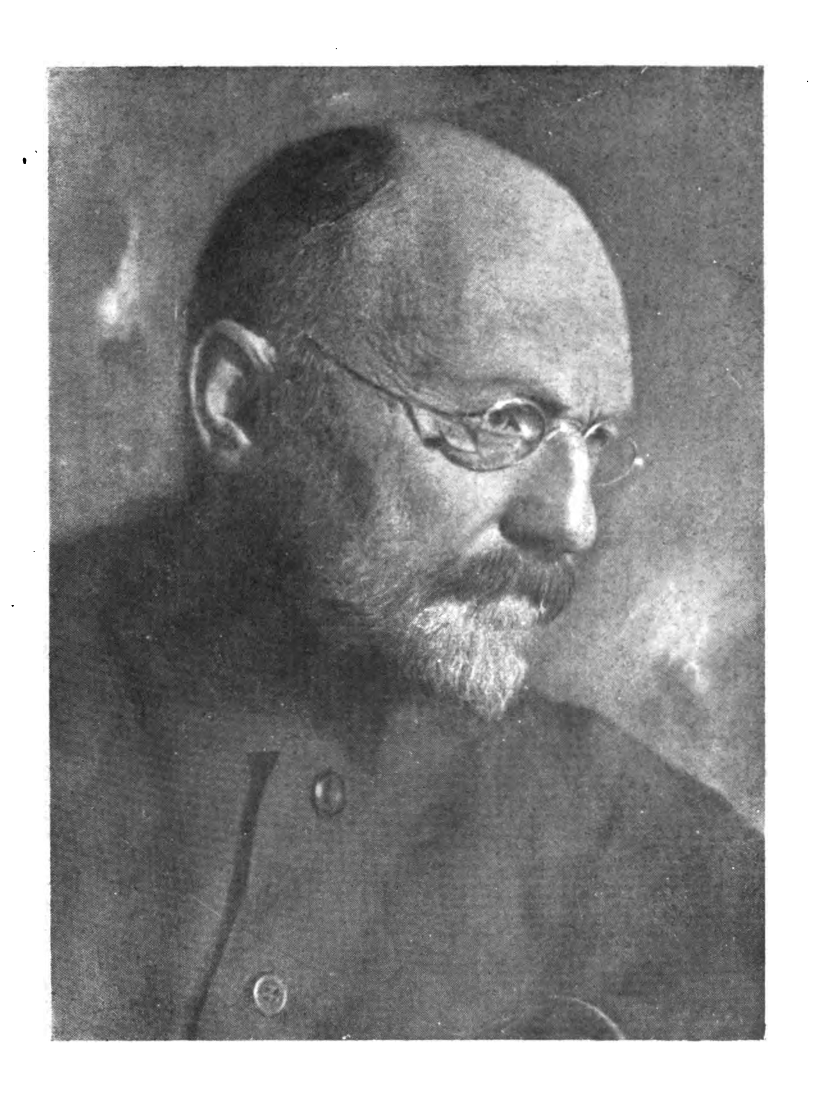
РОМАН

ИЗДАНИЕ СЕДЬМОЕ

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„НЕДРА“
МОСКВА — 1930

Москва. Главлит. А 66.395 5.000 экз.

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.



И ангелы в толпе презренной этой
Замешаны. В великой той борьбе,
Какую вел господь со князем скверны,
— Они остались—сами по себе.
На бога не восстали, но и верны
Ему не пребывали. Небо их
Отринуло, и ад не принял серный,
Не видя чести для себя в таких.

Данте. «Ад», III. 37—42.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря...

В бурю белогривые волны подкатывались почти под самую террасу белого домика с черепичною крышею и зелеными ставнями. В домике жил на покое, с женою и дочерью, старый врач-земец Иван Ильич Сартанов, постоянный участник пироговских с'ездов. Врачам русским хорошо была знакома его высокая, худая фигура в косоворотке под пиджаком, с седыми волосами до плеч и некурчавящеюся бородою, как он бочком пробирался на с'езде к кафедре, читал статистику смертных казней и в заключение вносил проект резкой резолюции, как с места вскакивал полицейский пристав и закрывал собрание, не дав ему дочитать до конца. Во время войны он стал-было подводить на с'езде статистику убитых и раненых на фронте, обронил слово «бойня»— и очутился в Бутырках. Год назад, уже при Советской власти, он выступил в обществе врачей своей губернии с безоглядною, как всегда, речью против большевистских расстрелов. Чрезвычайка

его арестовала и отправила в Москву с двумя спекулянтами и черносотенцем-генералом. По дороге Иван Ильич вспомнил молодость, как два раза бегал из сибирской ссылки, ночью на тихом ходу соскочил с поезда и скрылся. Друзья добыли ему фальшивый паспорт, и он, с большими приключениями, перебрался в Крым.

* * *

Бешено дул февральский норд-ост, поэтому Иван Ильич рубил дрова в сарае. Суетливо заглянула в сарай Анна Ивановна, с корзинкой в руке.

— Иван Ильич, я иду в потребилку, а Катя стирает белье. Брось рубить, пойди, заправь борщ. Возьми на полке ложку муки, размешай в полстакане воды,—холодной только, не горячей!—потом влей в борщ, дай раз вскипеть и поставь в духовку. Понял? Через полчаса будем обедать, как только ворочусь.

Она беспокойно заглянула в истомленное его лицо и поспешно пошла к калитке.

Иван Ильич направился в кухню, долго копался на полке в мешочках, размешал муку и поставил борщ на плиту. Вошла Катя с большим тазом выполосканного в море белья. Засученные по локоть тонкие девические руки были красны от холода, глаза упоенно блестели.

— Смотри, папа, как белье выстирала.

Иван Ильич со страхом глядел на закипавшую кастрюлю.

— Да, да! Очень хорошо... Погоди, как бы не убежало!..

— Да не убежит. Посмотри!—Она развернула перед ним простыню.—Как снег под солнцем! Подумать можно, жавелевой водой стирано! Ну, теперь могу сказать, умею стирать. Скажи же,—правда, хорошо?

— Ну, хорошо, конечно!

— Я нашла секрет, как стирать. И как мало мыла берет!

— Охота класть на это столько сил. Побелее, посерее,—не все равно!

— Ну, уж нет! Делать, так по-настоящему делать... Как снег у нас на горах! Ах, как интересно!.. Ну-у, как ты мало восхищаешься!

— Погоди! Закипело!

Он озабоченно снял кастрюлю с плиты и поставил в духовку. Катя с одушевлением говорила:

— Я тебе об'ясню, в чем дело. Совсем не нужно сразу стирать. Сначала нужно положить белье в холодную воду, чтобы вся засохшая грязь отмокла. Потом отжать, промылить хорошенько, налить водой и поставить кипеть...

— Ну, матушка, я этого не пойму... Нужно итти дрова рубить.

— И все, больше ничего! Немножко только протереть... Ужасно интересно! Пойду вешать.

Иван Ильич побрел в сарай, опять взялся за дрова. Движенья его были неуверенные, размах руки слабый. Расколет полено-другое,—и в изнеможении опустит топор, и тяжело дышит, полуоткрыв беззубый рот.

Донесся крик Кати:

— Папа, обедать! Мама пришла.

Иван Ильич взвалил на плечи вязанку дров и с бодрым видом вошел в кухню. Анна Ивановна сидела на табуретке с бессильно свисшими плечами, но при входе Ивана Ильича выпрямилась. Он свалил дрова в угол.

— Ну, что, достала керосину?

— Нету в потребилке. Даром только прошлась. И муки нету.

Катя поставила на стол борщ. Анна Ивановна подняла крышку, заглянула в кастрюлю и обомлела.

— Чего ты туда насыпал?

Иван Ильич обеспокоенно ответил:

— Как чего? Муки, как ты сказала.

— Ах, ты, боже мой! Так и есть!..—Она зачерпнула борщ разливательной ложкой и раздраженно опустила ее назад.—Ты туда картофельной муки всыпал, получился кисель.. Как ребенок малый, ничего нельзя ему доверить.

— Да что ты? Неужто картофельной?—Иван Ильич сконфузился.

— Как же ты не видел, что картофельная мука?

— Я вижу, белая мука, а какая,—кто ее знает! Ну, ничего! Ведь все питательные вещества остались. Дай-ка, попробую. Ну, вот. Очень даже вкусно.

Анна Ивановна, чтоб овладеть собою, стала раскладывать на плите дрова для просушки. Катя жадно ела и, откусывая хлеб, говорила:

— Хлеб-то зато какой вкусный! Настоящий пшеничный, и ешь сколько хочешь. А помните, в Пожарске какой выдавали: по полфунта в день, с соломой, наполовину из конопляных жмыхов!

Поели постного борща и мерзлой, противно-сладкой вареной картошки без масла, потом стали пить чай,—отвар головок шиповника; пили без сахару. После несытной еды и тяжелой работы хотелось сладкого. Каждый старался показать, что пьет с удовольствием, но в теле было глухое раздражение и тоска.

Анна Ивановна обеспокоенно сказала:

— А Глухарь Тимофей опять не пришел крышу чинить. Третий раз обманывает, что же это будет, как дожди пойдут!..

Катя вдруг рассмеялась.

— Господа, помните прежние времена, как, бывало, все ужасались на жизнь студентов? Бедные студенты! Питаются только чаем и колбасой! Представьте себе ясно: настоящий китайский чай, сахар, как снег под морозным солнцем, французская булка румяная, розовые ломтики колбасы с белым шпиком... Бедные, бедные студенты!

Все рассмеялись. Уж очень, правда, смешно было вспомнить и сравнить. Стало весело, и раздражение ослабело. Катя, смакуя, продолжала:

— Или, помните, калоши студенческие? Тусклые, потрескавшиеся, с маленькой только дырочкой на одной пятке! Вы подумайте: калоши! Домой не приносишь лепешек грязи, чулки сухие и только чуть мокро в одной пятке!.. Правда, бедные студенты?

Наружная дверь без стука открылась, вошла в кухню миловидная девушка в теплом платке, с нежным румянцем, чудесными, чистыми глазами и большим хищным ртом.

— Добрый день!

— А, Уляша!.. Садитесь, попейте чайку.

Девушка поставила на стол две бутылки молока, покраснела и села на табуретку. Иван Ильич, расхаживая по кухонке, спросил:

— Ну, что хорошенького слышали про большевиков? Где они сейчас?

— Вы, чай, лучше знаете.

— Откуда же нам знать?

— Вчера почта из города проезжала, ямщик сказывал,—в Джанкое.

Иван Ильич захохотал.

— Ого! Быстро они у вас шагают!.. Что же, ждут их на деревне?

Уляша помолчала и с неопределенною улыбкою взглянула в угол.

— Большевиков-то у вас, должно быть, не мало.

— Кто ж их знает...—Она застенчиво улыбнулась и вдруг:— Да все большевики!

— Вот как?

— И папаша большевик, и все наши большевики.

— И вы тоже?

— Ну, да.

— А что такое большевизм?

— Сами знаете.

— Нет, не знаю. Каждый по-своему говорит.

— Представляетесь.

— Ну, все-таки,—что же такое большевизм?

Уляша помолчала.

— Дачи грабить.

— Что?!

— Дачи ваши грабить.

Иван Ильич громко захохотал на всю кухню.

— Точно и верно определила. Молодец Уляша!

Катя сказала:

— Вот, Уляша, вы говорите, что и вы большевичка. Что же, и вы пойдете, например, нас грабить?

— Все пойдут. Уж теперь сговариваются. Отказываться никому не позволят. А нам что ж свое терять?

— Почему же именно дачников грабить?

— Они богатые.

— А мужики у вас в деревне не богатые? Вон, Албантов осенью одного вина продал на сто двадцать тысяч. Сами же вы говорили, что у каждого мужика спрятано керенок на двадцать-тридцать тысяч. И всё у них есть, всякая скотина. Где же нам, дачникам, до них?

— Нет, мужики не считаются богатыми.

— Да почему же? Вон, у вашего отца—две лошади, две коровы, гуси, свиньи, десятка два барашков... Да вы бы дня, например, не стали есть так, как мы едим. Теперь только мужики у нас и богаты.

— Мы работаем. А дачники все лето на берегу лежат голые да цветы по горам собирают.

Катя возмутилась. Она стала говорить об интеллигентном труде, о тяжести его. Потом стала об'яснять, что большевики хотят лишить людей возможности эксплоатировать друг друга, для этого сделать достоянием трудящихся землю и орудия производства, а не то, чтоб одни грабили других.

Возмутился Иван Ильич и напал на Катю.

— Это ты о социализме говоришь, а не о большевизме. Зачем ты тогда уехала из Совдепии?.. Нет, Уляша, большевизм именно в том, как вы говорите: грабь, хватай, что увидишь, не упускай своего! Брось работать и бездельничай. И только о себе самом думай.

Уляша выпила чай, сказала «спасибо» и встала.

— Папаша велел сказать, что с завтрашнего дня молоко по три рубля кварта.

Анна Ивановна всплеснула руками.

— Да что ты, Уляша, говоришь! Было полтора и вдруг три рубля, вдвое дороже!

— И потом больше не велел вам носить, сами ходите. Много, говорит, время уходит.

Иван Ильич решительно сказал:

— Ну, чего тогда разговаривать. Столько платить не можем. Не надо. Пейте сами.

Глаза Уляши стали серьезными, она значительно ответила:

— Мы сейчас молока не пьем: великий пост.

Иван Ильич захохотал.

— Молока пить нельзя, а людей грабить можно! Нет, Уляша, вы просто прелесть!

— В город будем возить сметану, творог.

— Ну, и возите себе.

— Уляша застенчиво улыбнулась, покраснела и сказала:

— До свиданья вам!

— До свиданья.

Катя протянула печально:

— Значит, и без молока!

Иван Ильич сердито накинулся на нее:

— Я не понимаю, с чего ты вдруг вздумала защищать пред нею большевизм. Удивительно своевременно!

— Пусть же она знает, что такое большевизм в идее.

— «В идее!..» Чрезвычайки, расстрелы, разжигание самых хамских инстинктов—и идея!

Они стали спорить, сердясь и раздражаясь. Иван Ильич махнул рукою и ушел в спальню.

Лег на постель и стал читать газету. В обычном старом стиле сообщалось о доблестных добровольческих частях, что они, «исполняя заранее намеченный план», отступили на восемьдесят верст назад; приводилось интервью с главноначальствующим Крыма, что Крыму большевистская опасность безусловно не грозит; сообщалось, что Троцкий убит возмутившимися войсками, что по всей России идут крестьянские восстания, что в Кремле всегда стоит наготове аэроплан для бегства Ленина. Ничему этому не верилось, но все-таки приятно было читать.

Из деревни за Иваном Ильичом приехал на линейке красавец-болгарин: жена его только-что родила и истекает кровью. Иван

Ильич поехал. У роженицы задержался послед. Иван Ильич остановил кровотечение, провозился часа полтора На прощание болгарин, стыдливо улыбаясь, протянул Ивану Ильичу бумажку и сказал:

— Вот примите малость!

Домой Иван Ильич воротился в сумерках. Катя спросила:

— Сколько тебе заплатили?

Он усмехнулся.

— Вот какая хозяйственная стала! Все сейчас же о деньге.

— Нет, серьезно,—сколько?

Иван Ильич неохотно ответил:

— Три рубля.

Катя ахнула.

— А фунт хлеба стоит семьдесят пять копеек! Значит, четыре фунта хлеба, гривенник на прежние деньги! Да как же ему не совестно! Ведь это Албантовы, первые богачи в деревне, они осенью одного вина продали на сто двадцать тысяч. Как же ты его не пристыдил, что так врачу не платят?

Иван Ильич решительно и серьезно ответил:

— Этим не торгуют и об этом не торгуются. Оставим.

— Да, выгодно для них! Сами за бутылку молока полтора рубля берут, а доктору платят трешницу. Вот где настоящие эксплоататоры!

— Марфа, Марфа! О многом печешься!—вздохнул Иван Ильич, и пошел к себе.

Начиналась самая трудная пора дня. Керосину не было, и освещались деревянным маслом: в чайном стакане с маслом плавал пробочный поплавок с фитильком. Получался свет. как от лампадки. Нельзя было ни читать, ни работать. Анна Ивановна вязала у стола, сдвинув брови и подняв на лоб очки. Когда-то она была революционеркой, но давно уже стала обыкновенной старушкой; остались от прежнего большие круглые очки, и то еще, что она не верила в бога. Иван Ильич медленно расхаживал по узкой спаленке, кипя от вынужденного бездействия. В железной печке полыхали дровешки, от нее шел душный жар. По крыше шумел злобный норд-ост, море в бешенстве бросало на берег

грохочущие волны. Катя убралась с посудою и ушла в бывшую коморку для прислуги за кухней, где она теперь жила зиму. Там, не жалея глаз, она села с книгой к своей коптилке.

* * *

Вечером пили в кухне чай. Снаружи в кухонную дверь постучались. Иван Ильич отпер.

— А-а, профессор!

Вошел профессор с женой, —знаменитый академик Дмитревский, плотный и высокий, с огромной головой. Его работы по физике были широко известны за границею. Несколько лет назад он открыл способ опреснения морской воды силою солнечной энергии и работал над удешевлением этого способа. Но все сложные аппараты остались в России, а он второй год проживал на своей крымской даче, паял мужикам посуду и готовил для потребиловки жестяные коптилки. Кроме того, впрочем, два раза в неделю ездил в город и читал в народном университете лекции по физике. Среди рабочих они пользовались большою популярностью.

Сочным, жизнерадостным голосом, наполнившим всю кухню профессор сказал:

— Ну, погодка! Еле дошли до вас. Ветер еще сильнее стал, с ног сшибает. Мокреть какая-то падает и сейчас же замерзает... Gruss aus Russland!

Он счищал ледышки с седой бороды и усов. Профессорша скорбно вздохнула.

—Да, Gruss aus Russland! Так и представляется: холод, все жмутся в дымных, закопченных комнатах, грызут хлеб с соломой и ждут обысков.

Катя сняла со стола самовар и поставила на пол к печке.

— Садитесь, сейчас самовар подогрею.

— Не надо, мы уж пили.

— Все равно, мне нужен кипяток, отруби заварить для поросенка.

Профессорша села на табуретку возле плиты.

— А у меня горе какое, Анна Ивановна! Весь день сегодня плакала... Представьте себе, любимое мое кольцо с брильянтом свадебный подарок мужа,—пропало сегодня.

— Что вы говорите, Наталья Сергеевна? Ведь вы же его никогда с пальца не снимали!

— Да... Так странно!—Наталья Сергеевна машинально оглянулась и понизила голос.—Вы знаете княгиню Андожскую?

— Это, что у Бубликова живет, красавица такая?

— Да. Ее мужа, морского офицера, во время революции матросы сожгли в топке пароходного котла, все их имения конфискованы. Живет она с маленькой дочкой и старухой-матерью у Бубликова, все, что было, распродала, он ее гонит из комнаты, что не платит. Ужасно несчастная. Так вот пришла она сегодня утром к нам, я тесто месила. Увидела кольцо и пришла в восторг. «Как,—говорит,—можно с ним тесто месить! Ведь пачкается кольцо, портится!»—«Боюсь,—говорю,—потерять, очень дорого мне это кольцо». Ну, все-таки убедила меня, сняла я и положила на туалет. Через четверть часа она ушла, а после обеда хватилась я кольца,—нету. Весь туалет обыскали, все отодвигали,—нету. Когда княгиня была, муж в столовой мыл пол, он видел, что княгиня подошла к туалету и странно как-то стояла... Только вы, пожалуйста, никому этого не говорите!—испугалась Наталья Сергеевна.

— Может быт, кто другой взял?

— Никого решительно не было больше. Я ей написала письмо, завтра утром пошлю. Уж не знаю... Пишу: вы для шутки взяли мое кольцо, чтобы напугать меня, зная, как оно мне дорого. Пошутили и будет. Будьте добры прислать назад.

Катя взволнованно воскликнула:

— Да, нет, это не может быть! Такая изящная на вид, отпечаток такой глубокой аристократической культуры!

— Тяжелое происшествие!—поморщился профессор.

— Господи, как мы все зачерствели! Ясно, погибает с голоду человек!

Наталья Сергеевна сочувственно вздохнула и, занятая своими заботами, продолжала:

— А вы слышали, у Агаповых вчера ночью выбили стекла. У священника на-днях кухню подожгли. Чуют мужики, что большевики близко... Господи, что же это будет! Так я боюсь, так боюсь! Двое мы на даче с мужем, одни; он—старик. Делай с нами, что хочешь.

Катя нетерпеливо закусила губу и стала подкладывать в самовар угли. Она не выносила этого ноющего, тревожного тона профессорши, с вечными страхами за будущее, с нежеланием скрывать от других свои горести и опасения. Разве теперь можно так?

Профессор обратился к Ивану Ильичу:

— Заметили вы, как деревня опустела? Вся молодежь ушла в горы. Это—ответ деревни на мобилизацию краевого правительства. Ни один не явился. Говорят, пришлют чеченцев из дикой дивизии для экзекуции, решено прибегнуть к самым суровым мерам.

Иван Ильич захохотал.

— Это—добровольческая армия!

— Да-а... Дело с каждым днем усложняется. Говорят, на-днях в деревне были большевистские агитаторы, собрали сход и об'явили, чтобы никто не являлся на призыв, что красные войска уже подходят к Перекопу и через две недели будут здесь. А в городе я вчера слышал, когда на лекцию ездил: пароходные команды в Феодосии бастуют, требуют власти советам; в Севастополе портовые рабочие отказались разгружать грузы, предназначенные для добровольческой армии, и вынесли резолюцию, что нужно не ждать прихода большевиков, а самим начать борьбу. Агитаторы так везде и кишат.

Анна Ивановна взволнованно сказала:

— Ведь, ждали, в Феодосии должен был высадиться греческий десант!

— Да, но высадился он в Константинополе. Там революция, правительство бежало.

— Господи, что это творится в мире!—с отчаянием сказала Наталья Сергеевна.—Неужели союзники бросят нас на произвол! Говорят, французы оставили Одессу... Я все об одном думаю: придут большевики в Крым,—что тогда будет с Митей?

Иван Ильич расхаживал по кухонке. Он угрюмо сказал:

— Охота ему была итти в добровольцы!

— Так ведь вы же знаете его: человек совершенно аполитический. Ему бы только сидеть в кабинете со своими греческими книгами, на уме у него только элевзинские мистерии, кабиры какие-то. Об'явили призыв,—что же мне, говорит,—скрываться, жить нелегально? Я на это неспособен.

У Кати стало неестественное лицо, когда Наталья Сергеевна заговорила о сыне. Она равнодушно спросила:

— Давно он вам не писал?

— Давно. И всё в боях. Так за него сердце болит!

Сильный стук раздался в кухню. Блеснули золотые погоны, молодой голос оживленно сказал:

— Мир вам! Здравствуйте! Папа и мама не у вас?

— Митя!!

Все вскочили и бросились навстречу.

Бритый, с тонким и обветренным лицом, с улыбающимися про себя губами, Дмитрий сидел за столом, жадно ел и пил, и рассказывал, с жадною радостью оглядывая всех.

Их полк отвели на отдых в Джанкой, он обогнал свой эшелон и приехал, завтра обязательно нужно ехать назад. Он останавливал взгляд на Кате и быстро отводил его. Наталья Сергеевна сидела рядом и с ненасытною любовью смотрела на него.

— Ну, что у вас там, как? Рассказывай.

— А вы знаете, оказывается, у вас тут в тылу работают «товарищи». Сейчас, когда я к вам ехал, погоня была. Контрразведка накрыла шайку в одной даче на Кадыкое. С'езд какой-то подпольный. И двое совсем мимо меня пробежали через дорогу в горы. Я во-время не догадался. Только когда наших увидел из-за поворота, понял. Все-таки пару пуль послал им вдогонку, одного товарища, кажется, задел,—дальше побежал, припадая на ногу.

Катя приглядывалась к Дмитрию. Что-то в нем появилось новое: он загрубел, движенья стали резче и развязнее, и он так просто рассказывал о своем участии в этой охоте на людей.

Иван Ильич засмеялся.

— Ого, какой вояка стал!

Профессор поспешно спросил:

— Как дела у вас в армии?

— Знаешь, папа, смешно, но это так: мы там меньше знаешь, чем вы здесь.

— Нет, я не про то. Какое в армии политическое настроение? За что вы, собственно, сражаетесь?

Дмитрий неохотно ответил:

— Розно. Есть части, совершенно черносотенные, только о том и мечтают, чтобы воротить старое,—например, сводно-гвардейский полк, высший командный состав. Но офицерская молодежь, особенно некадровая, почти сплошь за учредительное собрание.

Иван Ильич захохотал своим раскатистым смехом.

— И вы верите, что вас не проведут на мякине, как наивных воробушков?

Дмитрий слабо и виновато улыбнулся. Катя размешивала деревянной ложкой заваренные кипятком отруби. Он спросил:

— Что это вы, Катя, мастерите?

— Месиво для поросенка. Сейчас пойду кормить.—Она надела пальто, повязалась платком.—Хотите посмотреть поросенка моего?

— Пойдемте! Давайте, я миску понесу... Мама, мы сейчас.

— Только оденься, холодно.

* * *

Ветер шумно проносился сквозь дикие оливы вдоль проволочной ограды и бешено бил в стену дачи. Над морем поднимался печальный, ущербный месяц. Земля была в ледяной коре, и из блестящей этой коры торчали темные былки прошлогодней травы.

Катя с Дмитрием зашли по ту сторону дачи. Под лестницею на мезонин был чуланчик, из него неслось взволнованное хрюканье и повизгивание.

— Давайте миску.—Катя отперла дверь и исчезла с мискою в темноте чулана. Послышался ее смеющийся голос:—Погоди,

дурачок!.. Ах, ты, господи! Миску опрокинешь!.. Пошел прочь! Ну, ешь!

Она вышла из чулана. Дмитрий протянул ей обе руки.

— Ну, Катя, здравствуйте!

И крепко пожимал ей руки, и смотрел в похорошевшее лицо.

— Рассказывайте, Катя, как вы тут живете.

— Как живу. Я всегда хорошо живу. Может, надоест, а сейчас очень интересно все. Вот поросенок этот,—сколько нового, неожиданного, я и не думала, что свиньи такие умные. Наседка уж сидит на яйцах. В стирке я нашла новый способ. И еще очень интересно в кухне готовить. Вы знаете,—если слушать, у всех вещей свои голоса. Каждая кастрюля на плите, каждая сковорода имеет свой звук. Я, не глядя, слышу, когда закипает молоко, когда каша густеет. Очень интересно в этом шипеньи и клокотаньи ловить чуть слышные живые голоса. И новые кушанья выдумывать. Не видишь времени. Дни, как стрелки: проносятся,—жжик, и падают.

Дмитрий смотрел на нее говорящими глазами и улыбался.

— Смотрю я на вас, и мне вспоминается Паскаль. Он говорит, что мысль наша всегда обращена к прошедшему и будущему, а о настоящем мы никогда не думаем, и поэтому никогда не живем,—только все надеемся жить... А вот вы это умеете,—из всего извлекать настоящее. Как это редко!

— Ну, Дмитрий, это все пустяки. Расскажите про себя. Правду. Что у вас?

— Что у нас... Катя, так скверно, так скверно, что хуже и нельзя! Нигде никаких решительно корней, народ относится к нам враждебно, весь пропитан большевистской злобой, совершенно одичал, звериные стали глаза и звериные алчные лапы,—только рвать, забирать себе все, что увидят. И сам тоже звереешь. Кругом кровь, грязь без конца. И в каком-то далеком прошлом представляется,—лампа с зеленым абажуром, Эсхил, Гераклит, несравненный мой Эрвин Роде, Виламовиц. И кажется,—никогда уже, никогда это никому не будет нужно. Происходит новое нашествие варваров. Ведь, по существу, это война против культуры, против всех высших духовных ценностей. Вме-

сто науки—публицистика «Правды», вместо поэзии—Демьян Бедный, вместо живописи—толстопузые попы и звероподобные генералы на плакатах.

— Дмитрий, нельзя так. Это же временное.

— Временное? А культура гибнет, кругом всё разрушают, жгут, разваливают. Что мне до того, что в свое время пришло Возрождение? А Венера-то Милосская—без рук, фидиевы скульптуры безголовые, от Архилоха, Сафо, Гераклита остались одни клочья. А главное, и в народ я теперь потерял всякую веру. Теперь он открыл свой подлинный лик,—тупой, алчный, жестокий. Какой беспросветный душевный цинизм, какая безустойность! В самое дорогое, в самое для него заветное наплевали в лицо,—в бога его! А он заломил козырек, посвистывает и лущит семячки. Что теперь когда-нибудь скажут его душе Рублев, Васнецов, Нестеров?

Растрепанные тучи мчались по небу, бесшумные и стремительные. Ветер, как взбесившаяся хищная птица, налетал из-за угла, толкал обоих в спину и начинал яростно трепать оледенелые ветки акаций и тополей.

— Холодно вам, Дмитрий? А правда, не хочется уходить?

— Ничего, пусть холодно.

— Вот что. Пойдем на террасу. Она на юг, там тихо.

Стульев не было на террасе, был только большой садовый стол. На столе кучами лежала мерзлая земля, черепки разбитых садовых горшков, путаная мочала. Шум ветра был меньше слышен, но зато море грохотало. Под студено-зеленоватым лунным светом белые водяные горы вырастали, казалось, перед самой террасой и вдруг проваливались куда-то.

— Дмитрий, зачем вы, все-таки, идете вместе с ними? Неужели вы не чувствуете, за что борятся ваши?

Дмитрий озлобленно ответил:

— За что бы ни боролись! С кем угодно, только против этих мерзавцев!.. Ох, Катя, вы их тут не знаете, в своем далеке. Если бы увидели своими глазами,—прокляли бы жизнь, прокляли бы все на свете...—Он взволнованно замолчал.—Я никому не хотел рассказывать,—ну, вам расскажу. Только не говорите ни-

кому. Я тут привез Агаповым кой-какие вещички их убитого сына Марка. Он убит, да. Но как... Под Татаркой был у нас бой. Впереди матросы шли на нас, в кожаных куртках,—сомкнутой колонной, по германскому образцу. Нужно отдать справедливость,—как львы, шли под пулеметным огнем. К вечеру разбили нас и погнали. Ротный наш командир упал с простреленной ногою, махнул нам рукой и устроил себе смерть под музыку.

— Это что такое?

— Ручную гранату под голову, дернуть капсюль и трах!.. Это у нас называется смерть под музыку. Чтоб живым не попасться в их руки... Рассеялись мы во все стороны. Едет в тачанке мужчина мещанистого вида. Револьвер ему ко лбу, снял с него пиджак, брюки, переоделся и побежал балкою.

Катя вздрогнула.

— Вот вы еще чем можете возмущаться!—улыбнулся Дмитрий.—Вижу, тащится Марк, на руке несет другую свою руку, раздробленную в локте. Повел его. Уж ночь. Вдали лай собак, огни. Осторожно подходим, вдруг: «Стой! Кто идет?» Взяли нас, повели. Железнодорожный полустанок, весь зал набит матросами. Огромный, толстый матрос,—я бы под мышку подошел ему,—подходит ко мне: «кто такой?»—Мещанин, говорю, мелитопольский. Вижу, раненый человек, повел его, не знаю, кто таков.—«А-а,—говорит,—ваше благородие!» Развернулся и кулаком Марка в ухо.

— Раненого?

— Раненого. Пошел он летать под кулаками и пинками по всему залу. Перебитая рука мотается, вопль,—понимаете, животный вопль зверя, которого забивают насмерть...

Катя глухо застонала.

— Не надо!

Дмитрий беспощадно продолжал:

— Скоро замолк, а тело все летает из конца в конец. Тяжелыми сапогами с размаху в лицо, хохот, грубые шуточки... Толстый ко мне: «ну-ка, товарищ, пойди сюда!» Руку мне за пазуху. Нащупал во внутреннем кармане жилетки бумажник, вытаскивает. А там удостоверение мое,—поручик Дмитревский. Раз-

вернулся наотмашь, и дальше я ничего не помню... Очнулся в комнатке кассира, в окошечко билетной кассы из зала свет. Лежит рядом Марк с раздутым, черным лицом, со стеклянными глазами, уж не дышит. Ощупываю себя. Тело ноет, но кости целы. Вдали выстрелы, все ближе. Пулемет затрещал, звенят разбитые стекла. Суматоха, матросы попадали на пол.—«Это недоразумение! Свои!» Комиссар к телефону. Вдруг—«ура!» Нет, не «свои»... Граната ручная в залу, матросы поскакали в окна, выстрелы, лампа упала и потухла. Открывается дверь, входят двое в нашу комнатку, один нажал кнопку электрического фонарика карманного, свет упал на его рукав,—череп с перекрещенными мечами. Марковцы!.. Я хотел крикнуть, и только мог застонать. Они назад.—«Господа! Тут еще товарищи!» Я собрал все силы, крикнул: «свои! свои!» И опять потерял сознание.

Он замолчал. Катя вздрагивала короткими толчками всего тела.

Ветер завыл и с шумом пронесся поверху. Чудовищные волны лезли на берег, шипели пеною, разбивались с гулким, металлическим звоном и, задохнувшись, ползли назад.

— И вот теперь, Катя, подумайте...

— Не надо говорить...—Катя блуждала вокруг глазами.— Что это за звон кругом? Такой нежный-нежный?

Дмитрий с недоумением смотрел на нее.

— Я не слышу. Море гудит.

Катя настойчиво сказала:

— Нет, другой какой-то звон. Стеклянный, особенный.

— А ведь правда.

— Ах, вот что! Это ветки оледенелые звенят... Как странно!

Они подошли к перилам. Ледяшки, облепившие ветки акаций, стукались под ветром друг о друга, и мелодический, тихий, хрустальный звон стоял в воздухе, независимый от медного рева моря.

— Пойдем,—сказала Катя.

Они пошли. За домом рев моря стал глуше, и яснее раздавался по всему саду таинственный, нежный хрустальный звон.

Катя остановилась.

— Дмитрий!—Она, задыхаясь, смотрела на него.—Митя Милый мой! Так вот что тебе приходится там...

Она вдруг охватила его шею руками и крепко поцеловала.

— Катя!

Девушка припала к его плечу, он заглядывал в ее румяное от холода, небывало-прекрасное лицо и целовал в губы, в глаза.

* * *

Катя, спеша, развешивала по веревкам между деревьями сверкающее белизною рваное белье. С запада дул теплый, сухой ветер; земля, голые ветки кустов, деревьев, все было мокро, черно и сверкало под солнцем. Только в углах тускло поблескивала еще ледяная кора, сдавливавшая у корня бурые былки.

Пришел, наконец, штукатур Тимофей Глухарь с сыном Мишкой. Иван Ильич сговорился с ним.

— Ладно, пятьдесят рублей. Только уж хорошенько все замажьте, перемените, где нужно, черепицы. Года два, говорите, простоит крыша?

— И пять простоит, ручаюсь вам... Где известка? Мишка, пойдем.

Они замешивали известку. Иван Ильич спросил:

— Вы, говорят, большевик?

Тимофей поспешно ответил:

— Какой я большевик, что вы! Хулиганье это, мошенники,—слава богу, нагляделись на них.

— А ведь вы были в революционном комитете при первом большевизме.

— Заставили итти, что ж было делать? Не пошел бы, на мушку. А мне своя жизнь дорога.

Иван Ильич обрадовался и стал рассказывать о большевистских зверствах в России, о карательных экспедициях в деревнях, о подавлении свободы мысли среди рабочих, о падении производительности труда, о всеобщем безделъничестве.

Глухарь поддакивал.

— Это действительно! Да, конечно! Разве наш народ на всех станет работать! Каждый только и норовит для себя урвать.

Парень Мишка с неопределенною усмешкой слушал.

Катя развесила белье и поспешила к Дмитревским.

Профессорша пекла на дорогу Дмитрию коржики, профессор в кабинете готовился к лекции.

— А где Дмитрий?

— Дрова колет в сарае, сейчас придет.—Наталья Сергеевна почему-то сильно волновалась.—А вы знаете, мы вчера с Митей засиделись до пяти часов утра.

В дверь постучались. Срывающийся женский голос спросил:

— Можно войти?

Наталья Сергеевна побледнела.

— Княгиня. Вы знаете, я ей утром письмо-таки послала. Ах, боже мой!.. Можно, можно!

Растерянно улыбаясь, она суетливо пошла к двери. Княгиня вошла,—с огромными, широко открытыми глазами, с неулыбающимся лицом.

— Наталья Сергеевна! Я сейчас получила ваше странное письмо... Как вам это могло прийти в голову? Да разве бы я позволила себе так шутить с вами?.. Хорошо ли вы везде искали?

— Кажется, все переглядела.

— Ведь вы, я помню, на туалет кольцо положили. Отодвигали вы туалет?

Наталья Сергеевна поспешно ответила:

— Нет.

— Позвольте, я посмотрю.

Княгиня стала отодвигать туалет. Наталья Сергеевна продолжала сидеть на месте.

— Ну, так и есть! Вот же оно! У плинтуса лежало, среди сора.

Она поднялась и протянула кольцо.

— Ах, так вот, где было... Да. Да.

Наталья Сергеевна взяла кольцо, избегая смотреть княгине в глаза. И та тоже не смотрела. И говорила облегченно:

— Ну, вот! Слава богу! Я так рада... И как вы могли подумать, что я стала бы с вами так шутить. Нехватало бы, чтобы вы меня в краже заподозрили!—весело засмеялась она.

— Что вы, княгиня!—всполошилась Наталья Сергеевна

Княгиня посидела немножко и ушла. Из кабинета вышел профессор и остановился на пороге. Молчали. Катя спросила:

— А вы смотрели за туалетом?

Наталья Сергеевна заговорщицки ответила:

— Все, все пересмотрела! Несколько раз отодвигала. И сору-то там никакого уже не было, я все вымела. А она так сразу и нашла!

Профессор поморщился и пошел обратно к себе в кабинет. Вошел с террасы Дмитрий.

— Ну, мама, дров наколол тебе на целый месяц. А-а, Катя!.. Мама, мы сейчас пройдемся, мне нужно отнести Агаповым вещи Марка.

— Скорей только возвращайтесь. Через полчаса завтрак будет готов.

Катя с Дмитрием вышли. Дмитрий сказал:

— Забыл я топор в дровяном сарае. Зайдем, я возьму.

В сарае Дмитрий обнял Катю и стал крепко целовать. Она стыдливо выпросталась и умоляюще сказала:

— Не надо!

— Ну, Катя...

— Вот сколько ты дров наколол!.. Где же топор?

— Э, топор! Его вовсе тут и нету.

Дмитрий крепко сжимал Кате руки и светлыми глазами смотрел на нее. Она сверкнула, быстро поцеловала его и решительно двинулась к выходу.

— Пойдем!

Они пошли вдоль пляжа. Зелено-голубые волны с набегающим шумом падали на песок, солнце, солнце было везде, земля быстро обсыхала, и теплый золотой ветер ласкал щеки.

Катя просунула руку под локоть Дмитрия и сказала:

— Вот что, Митя! Что ты вчера рассказал про себя, про Марка,—это что-то такое огромное,—как будто все эти горы

вдруг сдвинулись с места и несутся на нас. Я всю ночь думала. Это и есть настоящая война. Если люди могут друг друга убивать, все жечь, разрушать снарядами, то пред чем можно тут остановиться? Так уж много нарушено, что остальное пустяки. А когда идут рыцарства и всякие красные кресты, это значит, что такие войны изжили себя, и что люди сражаются за ненужное. И знаешь, мне начинает казаться: когда победитель бережно перевязывает врагу раны, которые сам же нанес,—это еще ужаснее, глупее и позорнее, чем добить его, потому что как же он тогда мог колоть, рубить живого человека? Настоящая война может быть только в злобе и ненависти, а тогда все понятно и оправдательно.

Дмитрий слушал с серьезным лицом, с улыбающимися для себя тонкими губами.

— Это оригинально.

— Нет, это правда. И вот, Митя... Те матросы,—они били, но знали, что и их будут бить и расстреливать. У них есть злоба, какая нужна для такой войны. Они убеждены, что вы—«наемники буржуазии» и сражаетесь за то, чтобы оставались генералы и господа. А ты, Митя,—скажи мне по-настоящему: из-за чего ты идешь на все эти ужасы и жестокости? Неужели только потому, что они такие дикие?

В глазах Дмитрия мелькнули страдание и растерянность, как всегда при таких разговорах.

— Это, Катя, сложный вопрос.

— Ничего не сложный.

Дмитрий украдкою оглянулся, поднес Катину руку к губам и шопотом сказал:

— Зачем, зачем теперь об этом говорить? Катя! Так у нас мало времени,—давай забудем обо всем. Когда мы опять свидимся! А мы будем ворошить то, чего, все равно, не изменить... Вот дача Агаповых. Зайдем.

— Я с какой стати? Не хочу я к ним. Я тебя здесь подожду.

— Ну, хорошо. Только отдам, и сейчас.

Он ушел. Садовник вскапывал клумбы у широкой террасы. Маленькая, сухая Гуриенко-Домашевская стояла у калитки своей

виллы и сердито кричала на человека, сидевшего на скамеечке у пляжа.

— Пьянчужка несчастный! Тут тебе не кабак! Думаешь, большевики близко, так и нахальничаешь! Подожди, пока твои большевики подойдут!

Человек на скамейке отругивался. Катя узнала пьяницу-столяра Капралова, сторожа Мурзановской дачи. Гуриенко ушла. Катя подошла к нему.

— Чего это она?

— Хе-хе! Ч-чортово окно! Пошел, говорит, прочь отсюдова, мужик! Не смей тут петь, мне беспокойство!.. Да разве я у тебя? Я на бережку сижу, никого не трогаю... Какая язвенная! Сижу вот и пою!..

Мой полштоф в кармане светит,
Рюмки гаснуть на носу,
Ночью нас никто не встретит,
Мы проспимся на мосту...

Ты, говорит, большевик! Нет, я говорю, я не большевик. А все-таки, когда большевики придут,—ей богу, голову тебе проломлю.

— А вы не большевик?

— Нет, не большевик! Когда в летошнем году экономию Бреверна разносили, я им прямо об'яснил: то ли вы большевики, то ли жулики,—неизвестно. Тащит кажный, что попало,—кто плуг, кто кабанчика; зеркала бьют. Это, я говорю, народное достояние, разве так можно? Вот дайте мне бутылочку винца,—очень опохмелиться хочется. «Ишь,—говорят,—какой смирный!» Да-а... А вы что такое делаете? За это они меня теперь ненавидют... Жизнь разломали,—как ее теперь налаживать? И с той, и с другой стороны идет русский народ. Братское дело! Брат на брата, товарищ на товарища!

Глаза у него были умные и серьезные, тою интеллигентною серьезностью, при которой странно звучало: «кажный» и «в летошнем году». Катя из глубины души сказала:

— Ах, Капралов, зачем вы пьете!

— Гм! Как пью,—все видят. А как работаю,—никто не замечает!

* * *

— Катерина Ивановна!

К ним бежала от дачи Ася Агапова.

— Катерина Ивановна! Мы арестовали Дмитрия Николаевича, не выпускаем его, пока не выпьет кофе. А он рвется к вам, совесть его мучит, и кофе останавливается в горле. Сжальтесь над ним, зайдите к нам!

Была она хорошенькая и вся сверкала,—глазами, улыбкою, открытой шейкою. Катя увидела, что не отделаешься и встала. Капралов, когда она с ним прощалась, придержал ее руку.

— А только все-таки имейте в виду: будет народное одоление. Все-равно, как мошкара поперла. Нет сильнее мошки, потому,—ее много. А буржуазии—горстка. И никогда ей теперь не одолеть. Проснулся народ и больше не заснет.

У Агаповых было чисто, уютно и тепло, паркет блестел. На белой скатерти ароматно дымился сверкающий кофейник, стояло сливочное масло, сыр, сардинки, коньяк. Деревенский слесарь Гребенкин вставлял стекла в разбитые окна.

Катя со всеми поздоровалась, подошла и к Гребенкину, протянула ему руку.

— Александр Васильевич, вы разве и стекольщик? Ведь вы же слесарь?

Гребенкин, с впалою грудью, исподлобья взглянул обрадованными глазами и развязным от стеснения голосом ответил:

— Я на все руки мастер: и слесарь, и стекольщик, и огородник, и спекулянт.

— Катерина Ивановна, садитесь кофе пить,—позвала г-жа Агапова.

Катя чувствовала,—всем стало враждебно-смешно, что она поздоровалась с Гребенкиным за руку.

Г-жа Агапова рассказывала Дмитрию, как ночью кто-то выбил у них на даче стекла, как ограбили по соседству богатого помещика Бреверна.

— До чего дошло! До чего дошло! А как мы все радовались революции! Я сама ходила в феврале с красным бантом...

Муж ее, невысокий, с остриженною под машинку головою и коротко подрезанными усами, курил сигару и ласково улыбался.

— Ну, что же, ну, говорите нам прямо: как у вас дела в армии?—допрашивала Агапова.—Сумеете вы нас защитить или нет?

Дмитрий посмеивался.

— Сумеем!

Чахоточный адвокат Мириманов,—у него была в поселке дачка, и он по праздникам наезжал из города отдохнуть,—покосился на стекольщика и знающим голосом тихо сказал:

— Скоро уж не будет надобности вас защищать.

— Почему?

Мириманов посмеивался своими умными глазами.

— Скоро все так переменится, что вы даже не ожидаете.—Он помолчал.—Ленин уже два месяца ведет тайные переговоры с великим князем Борисом Владимировичем. Будет инсценирован государственный переворот, Идейные вожаки большевизма заблаговременно исчезнут, а всех скомпрометированных прохвостов оставят на расправу, чтобы окружить большевизм мученическим ореолом и уйти с честью. Ленин, Троцкий и другие получают пожизненную пенсию по пятьдесят тысяч рублей золотом и обязуются уехать в Америку.

— Дай-то бог!—вздохнула Агапова.—Там с ними уж легче будет управиться.

Борис, племянник Мириманова, шушукался с Асею. Лицо у него было бледное, а глаза томные и странно-красивые. Барышни Агаповы сверкали тем особенным оживлением, какое бывает у девушек только в присутствии молодых мужчин. Они изящно были одеты, и красивые девические шеи белели в вырезах платьев. Глаза их, когда случайно останавливались на Кате, вдруг гасли и становились тайно-скучающими и маловидящими.

Катя решительно отказалась от кофе,—потому что она была голодна, потому что ей очень хотелось всего этого вкусного после мерзлой картошки и чаю из шиповника. Дмитрий сидел с Майей, сестрой Аси, они с увлечением говорили о несравненной красоте

православного богослужения. Майя смотрела медленными, задумчивыми глазами Магдалины, под взглядом которых так хорошо говорится.

Ася села за рояль и стала петь. Все песни ее были какие-то особенные, тайно-дразнящие и волнующие. Пела об ягуаровых пледах и упоительно мчащихся авто, о лиловом негре из Сан-Франциско, о какой-то мадам Люлю, о сладких тайнах, скрытых в ласковом угаре шуршащего шелка, и обжигающе-призывен был припев:

Мадам Люлю,
Я вас люблю!
Ей шепчут страстно и знойно...

Остро вспыхивали брильянты в серьгах Аси. И была дурманящая, сладострастно-ластящаяся красота в ее песнях. И только мешал шум стекольщика и его чахоточный, как будто намеренно-громкий кашель.

И сверкало солнце. И мягко качались за окнами малахитово-зеленые волны. На Катю музыка всегда действовала странно: охватывало сладкое, безвольное безумие, и душа опьяненно качалась на колдовских волнах, без сил и без желания бороться с ними.

Подошел Дмитрий. От него слегка пахло дорогим коньяком. Он сказал извиняющимся голосом:

— Пять минут еще посидим и уйдем. Знаешь, после бивачной жизни так приятна эта чистота, блеск, эти оживленные лица...

Старик Агапов тоже подошел.

— Странно, знаете, слушать... Девочка, с ее чистой душой, совсем сама не понимает, что поет. Вон, послушайте-ка!

И, благодушно улыбаясь, он потирал руки.

Ах где же вы, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов,
Мой маленький китайский колокольчик,
Изящный, как духи, как песенка без слов?
Такой беспомощный, как дикий одуванчик...

Гребенкин прервал пение намеренно-громким, ни с чем не считающимся голосом:

— Хозяин, эти стекла коротки,—наставить кусок, или есть у вас стекла побольше?

Агапов, мягко улыбаясь, подошел к нему.

— Нет, побольше нету. Уж наставьте, ничего не поделаешь.

Потом, как-то странно нараспев, читал стихи Борис, племянник Мириманова. И стихи все были такие же, говорившие о легком, бездумном веселье, праздной и богатой жизни, утонченно-сладострастном соприкосновении мужчин и женщин.

> В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
> Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс.
> Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском!..

Голос красиво и гибко пел, и баюкал на мелодических стихах. Катя вдруг отдала себе отчет, почему у этого Бориса глаза так странно-красивы и томны: они были искусно подведены снизу тонкою черною черточкой.

Катя с Дмитрием уходили. Барышни убеждали его отложить от'езд до завтра.

— Нынче именины Гуриенко-Домашевской, вечером все будут у нее. Она будет играть; Белозеров, наверно, придет, будет петь.

— Нельзя. Сегодня вечером должен быть в полку.

Они вышли. Катя жадно дышала морским ветром, с души смывалась колдовская красота баюкающей музыки. Она вздрагивала плечами и повторяла:

— Какая гадость! Какая гадость!

Дмитрий удивленно спросил:

— Что гадость?

— Все! Все! Почему гниль может быть такой красивой и душистой? Как будто парфюмерный магазин, где все дорогие духи разбились и пролились, и кружится голова, и не хочется уходить, и вдруг—солнце, ветер, простор... Ах, как хорошо!

Дмитрий слушал с улыбающимися про себя губами. В голове приятно кружилось от коньяку, сверкали пред глазами зовущие девичьи улыбки, было сладкое ощущение покоя и уюта.

— И за них-то вот бороться! Как она спрашивала: «сумеете вы нас защитить?» А тебе не хочется, когда ты смотришь на них, чтоб все это взлетело к чорту, чтоб развалилась эта ароматно-гнилая жизнь?

Дмитрию хотелось закрыть душу от рвавшегося в нее из Кати буйно-злобного вихря, и не чувствовалось способности защищать эту жизнь, к которой, однако, в нем не было ненависти. Он взял в руки Катину руку и устало улыбнулся:

— Катя! Мне так ничего не хочется! Так не хочется! Одного только хочется: чтоб был мне какой-нибудь тихий уголок, чтоб никто не тревожил, и чтоб переводить Прокла.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Не пожелал бы я никому этого блаженства!

— Неужели же тебе не интересно сейчас жить?

— Совсем не интересно. Гораздо интереснее было бы изучать все это, как давно минувшее.

Катя впилась в него пристальным, изучающим взглядом, от которого ему стало неловко.

— За что я полюбила тебя?—спросила она, как-будто саму себя. И вдруг увидела его бесконечно-усталое лицо, умный, прекрасно сформированный лоб, что-то детски-беспомощное во всей фигуре,—и горячий, матерински-нежный огонек вспыхнул в душе.

Они шли, тесно под руку, по песку вдоль накатывавшихся волн. Дмитрий, с раскрывшейся душою, говорил:

— ...какая-то полная атрофия активности. Там, где нужно мыслить, изучать, искать, у меня энергия неистощимая. Но где в жизни хоть шаг нужно сделать самостоятельный, меня отчаяние охватывает, и сама жизнь становится скучной, грубой и темной...

* * *

— Что же это такое?

— Как, что такое?

— Вы же ничего не сделали. Как было, так и есть.

— А это что? Тут какая щель была, ай забыли? Везде, где нужно, подмазали. Что вы такое выдумываете!

— Ну, вот, посмотрите: даже небо сквозь щель видно.

— Так эта щель вбок идет. Будьте покойны, в нее вода не зальется, ручаюсь вам. Если хоть капля протечет, вы за мною пошлите, я вмиг заделаю.

— Ну, вот сейчас вмиг и заделайте.

— Ах-х, ты, господи! Ведь вот народ! Чтоб этих щелей не было, всю крышу надо перекрывать, я же вам сказывал.

— Вы мне сказывали, что крыша пять лет простоит.

Мишка, как молодой петушок, учащийся петь, сказал:

— Нешто по крыше такой можно лазать? Две черепицы примажешь, а заместо того десять подавишь.

— Э, Мишка, пойдем! Не надо нам ваших пятидесяти рублей. Рады прижать рабочего человека. Эксплоататоры!

— Ваших мне пятидесяти рублей не нужно...

Катя прервала отца.

— И правильно! Конечно, не нужно давать. Сами же они видят, что ничего не сделали.

— Не сделали! Для хозяйского глаза все мало. За грош рады всю кровь высосать из рабочего человека!

Иван Ильич с отвращением молчал и доставал деньги.

— Да зачем же, папа, ты даешь? Пусть суд установит,— стоит эта работа пятьдесят рублей?

— Э, пусть его совесть это устанавливает!

Иван Ильич, не глядя на Глухаря, протянул деньги. Глухарь сунул их в карман и ласково сказал:

— Если печечку занадобится поправить, или потолок заштукатурить, вы пришлите. Мы это тоже можем. До свидания!

Катя напала на отца: как можно было давать деньги за такую работу! Пусть бы в суд подавал!

— Катенька! Смотреть противно! Ну его к чорту, только бы с глаз долой!

— Ах, эти интеллигенты наши мяклые! На казнь пойдет,— не дрогнет. А что несправедливо назовут эксплоататором,—нет, уж лучше что угодно! Пусть лучше первый жулик обирает средь бела дня, как дурачка!..

Катя порывисто повернулась и пошла в дом.

* * *

Гуриенко-Домашевская, известная пианистка, была именинница. Маленькая и сухая, с огромными черными глазами, она с привычно-преувеличенным радушием артистки встречала гостей и каждому говорила приятное.

Сидели в просторной, богато обставленной зале и пили чай. Стол освещался двумя кухонными лампочками со стеклами. Чай разливался настоящий. На дне двух хрустальных сахарниц лежало по горсточке очень мелко наколотого сахару. Было в волю хлеба и сыра брынзы, пахнувшего немытыми овцами. Стоял десяток бутылок кислого болгарского вина.

С горько-юмористическою хвастливостью хозяйка говорила:

— Вы посмотрите только, вы посмотрите, господа: какое царское освещение! Какие яства! И чай—настоящий! И даже сахар к нему! Роскошь-то какая... Нужно же перед голодной смертью попировать, как следует, во-всю!

И в голосе ее было: да, я, знаменитая артистка, имя которой встречается во всяком энциклопедическом словаре,—вот как я принуждена жить, и вот что ожидает меня по чьей-то чудовищной несправедливости.

— Не правда ли? Нужно благодарить бога. То ли еще бывает! Певец Беркутов умер в Петрограде от голода, скрипач Менчинский повесился в Москве... Буду и я ждать, что мне готовит судьба...

Возле Кати сидел молчаливый инженер Заброда, с светло-голубыми глазами и длинной шеей чахоточного. Специальности своей он не любил и пятый год на грошевом жаловании работал бухгалтером в деревенском кооперативе. Через Катю он наклонился к Ивану Ильичу и сипло спросил вполголоса:

— Вы получили приглашение на организационное собрание отдельного кооператива дачников?

— Да. В чем тут дело?

— Я хотел об этом сговориться с вами. Гуриенко-Домашевская, Агапов и другие задумали основать дачный кооператив, чтоб отделиться от деревни. Мотивируют тем, что крестьяне неохотно пропускают в правление интеллигенцию и закупают только то, что нужно им самим.

— И верно!—потвердила Катя.—Мука и ячмень, например, у них у самих есть, они их в потребилке и не держат, а мы нигде не можем достать.

Заброда сурово поглядел на нее.

— Можно их убеждать. Но отделиться—значит загубить деревенский кооператив.

Иван Ильич решительно сказал:

— Не годится!

— И потом: как же интеллигенцию не пропускают? Председатель правления—Белозеров.

— Ах, Белозеров ваш,—воскликнула Катя.—Певец он, конечно, великолепный. Но не нравится он мне. Ищет популярности и во всем поддакивает мужикам. А у самого почему-то всегда все есть,—и мука, и сахар, и керосин. А мы ничего не можем достать.

Местный дачевладелец, о. Златоверховников, с наперсным крестом на георгиевской ленте, рассказывал о большевиках. Он был полковым священником в одной из добровольческих частей и на неделю приехал к себе отдохнуть. Большой, крепкий, с крупными чертами лица, он говорил четким, крепким басом. Недавно под Мелитополем большевики распяли на церковных дверях священника, а в алтаре устроили пирушку с девками. Священник был старик, уважаемый всею паствою. «Товарищи» приставили к нему караул

и никого не подпускали. Он пять дней висел на гвоздях и умер от жажды.

Катя засмеялась.

— По крайней мере, раз пятьдесят я уже слышала про этого распятого священника и девок в алтаре, и всё в разных городах.

О. Златоверховников замолчал и внимательно поглядел на Катю.

— Удивительного ничего нет. Во многих городах они это и делают.

И отвернулся. Заброда наклонился к Кате.

— Вы при нем поосторожнее. Он—«даровой сотрудник», в постоянных сношениях с контр-разведкой. Доносы написал на полдеревни. Я ему руки не подаю.

Катя прикусила язык. Она заметила, что и все говорили при нем с опаскою.

О. Златоверховников продолжал рассказывать.

— Только удивляться приходится, какое это дикое зверье. Хуже зверья! Кончен, например, бой. Обыкновенно у всех в это время только одно желание: отдохнуть. А они первым делом бросаются раскапывать могилы наших и начинают ругаться над трупами. Находят на это силы! А уж про раненых что и говорить!

Адвокат Мириманов, со своею знающею улыбкою, заставлявшею всех ему верить, рассказал, что недавно в Москве предполагался с'езд Коминтерна. Пред открытием, заграничных рабочих-делегатов пригласили на банкет. Фрукты, цветы зимою, шампанское. Декольтированные комиссарши. Рабочие поглядели... «Россия ваша погибает от голода и холода, вы выдаете рабочим по полфунта хлеба с соломою, а сами пьете шампанское! Теперь мы знаем, что такое ваш коммунизм». И уехали обратно.

И много все рассказывали.

Как всегда, очень поздно пришел Белозеров, артист государственных театров. Бритый, с желтоватым лицом, с пышными, шелковьющимися волосами. Его встретили радостными приветствиями. Добродушно и сдержанно улыбаясь, он здоровался. Барышни восторженно смотрели на него.

Хозяйка спросила:

— Вы сегодня из города. Что новенького?

Белозеров взглянул на о. Златоверховникова.

— Вот, батюшка, наверно, больше осведомлен. В городе потрухивают, слухи самые фантастические. Должно-быть, так, беспричинные?

О. Златоверховников сказал веско:

— Работа агитаторов большевистских. Дела очень прочны. Вся паника оттого, что войска отступили к Перекопу. Но Перекоп, это—Фермопилы, один полк легко может задержать целую армию. А Деникин тем временем совершает перегруппировку войск.

Белозеров принял из рук хозяйки стакан чаю и подсел к красавице-княгине Андожской. Сейчас же, как мухи каплю сиропа, его кольцом обсели дамы.

О. Златоверховников простился и ушел. Белозеров проводил его глазами и потом сказал встревоженно:

— Дела, господа, очень плохи. Не сегодня-завтра большевики будут по эту сторону Перекопа. В городе паника. Сорок банкиров и фабрикантов наняли за двести тысяч отдельный пароход и собираются уезжать.

Гуриенко-Домашевская желчно засмеялась.

— То-то, должно-быть, наш большевик деревенский радуется, Афанасий Ханов! Опять его пора приходит... Одного я не понимаю: как его добровольцы не повесят? При первом большевизме был комиссаром уезда, а спокойно расхаживает себе на воле, и никто его не трогает.

Профессор Дмитревский сказал:

— Это прекраснейший человек. И очень интересный, с ищущей душой.

Хозяйка низко поклонилась Дмитревскому.

— Очень вас благодарю, профессор, за эту прекрасную душу! Когда был комиссаром, встречает меня: «мы вашу дачу, Антонина Павловна, реквизируем под народный дом».—Прекрасно!—говорю.— А свой двух'этажный дом в деревне вы подо что реквизируете?

— И свой бы дом реквизировал. Вы знаете, ведь он нижний этаж его отдал под кооператив даром, ничего за это не берет.

— Это верно,—подтвердил Заброда.

— Пусть свое отдает! А какое же он имеет право распоряжаться моим? Я тоже тяжелым трудом нажила свою дачу. Никого не эксплоатировала, все зарабатывала вот этими руками!

Жена профессора вздохнула.

— Да. Другие вот уезжают. А нам приходится тут сидеть и ждать.

Агапов, скромно сидевший с сигарой в уголке дивана, вдруг сказал, ласково улыбаясь:

— Ничего не поделаешь: придется сидеть и ждать. Нужно же сказать правду: идет истинно-народная власть. И пусть приходят, я рад. Хоть какой-нибудь порядок.

Все удивленно молчали. Хозяйка, подняв брови, глядела на Агапова.

— Раньше вы, Михаил Михайлович, иначе говорили... Вот как отберут у вас большевики ваш миллион, который вы из Москвы привезли, тогда узнаете, какой порядок.

— Какой миллион?—Агапов весело засмеялся про себя.— Я бога благодарил, что удалось провезти сорок тысяч. А говорю я с высшей точки. Рад я, не рад, а признать нужно, что только у большевиков настоящая сила.

Белозеров настороженно прислушивался. Профессор Дмитревский своим громким, полным голосом сказал:

— Да, печально это, но я с Михаилом Михайловичем вполне согласен. Широкие народные массы за большевиков,—это неоспаримо.

Иван Ильич вскипел:

— Та-ак-с!.. И отсюда выходит,—итти большевикам навстречу? Приветствовать их приход? Если широкие народные массы за еврейский погром, то прикажите мне итти с ними, бить жидов?

Профессор мягко возразил:

— Я этого не говорю. Но борьба с ними бессмыслена и не имеет под собою почвы. Добровольцы выкидывают против них затрепанные, испачканные грязью знамена, и народ к белым откровенно враждебен. Сейчас же только эти две силы и есть. Надо

же нам истинным демократам и социалистам, честно взглянуть правде в глаза, как бы она тяжела ни была.

Заброда неодобрительно замычал. Закипел ярый спор между Иваном Ильичом и профессором. Агапов поддерживал профессора. Мириманов молча слушал, едко улыбаясь про себя. Хозяйка и остальные гости были за Ивана Ильича, но, от их поддержки, спор все время сбивался с колеи: у них была только неистовая злоба к большевикам, сквозь которую откровенно пробивалась ненависть к пробудившемуся народу и страх за потерю привычных удобств и выгод.

Как только спор стал принимать острый характер, и в колючих глазах хозяйки забегали недобрые огоньки, профессор искусно замял разговор и стал просить хозяйку сыграть.

Гуриенко-Домашевская погасила огоньки в глазах и ласково улыбнулась.

— Ну, как хозяйка, уж начну первая. А потом будем просить спеть Владимира Ивановича.

Гуриенко села за рояль. Она играла Бетховена, Шопена. Большие глаза ее засветились загоревшимся изнутри светом и стали прекрасными. И вдруг все злобное, придавленное, испуганное стало таять в людях и испаряться. В полутемной зале засияла строгая, величавая красота.

Кате бросилась в глаза княгиня Андожская. Она грустно сидела, опустив голову на руку,—изящная, с отпечатком тонкой, многовековой культуры в лице и движениях. Но чисто вымытая шея пестрела красными точками от блошиных укусов; красивые руки были красны, в черных трещинках; спереди во рту нехватало одного зуба. И это кольцо! Это кольцо! Как последняя горничная... Пройдет еще полгода,—и вся многовековая культура сползет с нее, как румяна под дождем, станет она вульгарною, лживою, с жадно приглядывающимися исподтишка глазами,—такою, каких она раньше так презирала и чьими трудами создавалось благородное ее изящество. Лежит прекрасная лилия, вырванная с корнем, и уж не будет ей жизни, и другие какие-то цветы зацветут на развороченной почве... А возле Белозерова сидели барышни Агаповы. Их еще не коснулось лихолетье: брильянты в ушах, бе-

лые ручки, изящные платья... А они,—они тоже уже назади? Или выплывут из моря, куда их сбросит налетающий вихрь, и опять воротятся со своими лиловыми неграми и томно-сладострастными креольчиками?

Гуриенко заиграла «Осеннюю песню» Чайковского. Затасканная мелодия под ее пальцами стала новою, хватающею за душу. Липовые аллеи. Желтые листья медленно падают. Les sanglots longs des violons de l'automne. И медленно идет прекрасный призрак прошлого, прижав пальцы к глазам.

Княгиня низко опустила голову, плечи ее стали тихонько вздрагивать. Катя быстро пересела к ней.

— Ну, княгиня, не надо!.. Я давно на вас смотрю... Нужно стать выше судьбы, нужно бодро нести все, что бы ни послала жизнь...

Она взяла в руки ее руку и стала нежно гладить. Княгиня удивленно взглянула,—они были едва знакомы,—и вдруг порывисто сжала в ответ руку Кати. И молчала, сдерживая вздрагивания груди, и крепко пожимала Катину руку.

> Ни сна, ни отдыха измученной душе,
> Мне ночь не шлет отрады и забвенья—

запел Белозеров.

Это был какой-то пир: пел Белозеров, опять играла Гуриенко-Домашевская; потом пели дуэтом Белозеров с княгинею. Гости сели за ужин радостные и возрожденные, сближенные. И уже н хотелось говорить о большевиках и ссориться из-за них. Звучал легкий смех, шутки. Вкусным казалось скверное болгарское вино, пахнувшее уксусом. У Ивана Ильича шумело в голове, он то-и-дело подливал себе вина, смеялся и говорил все громче. И все грустнее смотрела Анна Ивановна, все беспокойнее Катя.

Расходились. Иван Ильич, с всклоченными волосами, жарко жал руки Домашевской и Белозерову.

— Спасибо вам, мои хорошие! Встряхнули душу красотою. Легче стало дышать!

* * *

Было тихо, тепло. Ущербный месяц стоял высоко над горами. Впереди по шоссе шли Анна Ивановна и Катя с княгинею, за ними сзади—Иван Ильич, Белозеров и Заброда. Иван Ильич громко говорил, размахивая руками.

У канавки шоссе, близ телеграфного столба, густою кучкою сидели женщины в черных одеждах, охватив колени руками. Месяц освещал молодые овальные лица с черными бровями. Катя вгляделась и удивилась.

— Смотрите! Да ведь это наши деревенские! Васса, Дока! Вы это? Чего вы тут сидите?

Женщины молчали. Наконец, одна сказала:

— Дикая орда идет из города.

— Какая дикая орда?

— Один болгарин наш прискакал, подал весть: всех девок себе забирают.

— Да что это за дикая орда?

Деловито вмешался Иван Ильич:

— Не понимаешь! Погоди, я сейчас разберу... Это дикая дивизия значит, чеченцы. Правильно?

— Ну, да.

— Вы-то чего же, красавицы, испугались?

— Наши у фонтана стерегут. Как дадут весть, в горы побежим, в сады.

Иван Ильич захохотал пьяным смехом.

— Да не за вами они идут, дурочки! Они парней идут ловить, что на мобилизацию не явились. Им лучше скажите, чтоб в горы утекали!

Девушки молчали.

— Ну, ну! Сидите уж! Оно, конечно, все-таки вернее и вам уйти... Сидите, девочки мои хорошие!

Пошли дальше. Иван Ильич вздохнул.

—Эх, хорошо бы выпить теперь! Как следует! Так, чтобы этот однобокий дурак на небе заплясал.

— Выпить сейчас хорошо,—согласился Белозеров.—Знаете, что? Зайдем ко мне. У меня вино есть. Хорошее! Барзак, старый.

— Да неужто?! Благодетель! Вот это так штука!.. Нюра, Катя!—закричал он.—Вы дойдите одни до дому,—ничего, тут недалеко. А мы к маэстро на часок зайдем, по пьяному делу.

Белозеров жил совсем один в маленькой уютной дачке недалеко от шоссе. Месяц светил в большие окна, в углу блестел кабинетный рояль. Белозеров зажег на столе две толстых стеариновых свечи. Осветилась над роялем полированная ореховая рама с Вагнером в берете.

Иван Ильич удивился.

— Ого! Вот буржуй! Как живет! И свечи есть.

Белозеров лихо подмигнул.

— В Петрограде еще запасся, давно. Я человек коммерческий. Покупал у кондукторов по двадцать пять копеек фунт. Столько напас, что пред от'ездом с полпуда знакомым распродал по два рубля за фунт.

— Ловко!—расхохотался Иван Ильич.—Слышишь, хохол?—обратился он к Заброде.—Знакомым по два рубля, а незнакомым, наверно, рубликов по пяти. Вот они где, спекулянты-то!.. Ты, брат, у меня смотри!—погрозил он Белозерову пальцем.—Певец ты божественный, но душа у тебя... по-до-зрительная! Я тебя насквозь вижу!

Белозеров кисло улыбнулся и пошел за вином.

Уж несколько опорожненных бутылок стояло на столе. Свет месяца передвинулся с валика турецкого дивана на паркет. Иван Ильич говорил. Он рассказывал о бурной своей молодости, о Желябове и Александре Михайлове, о Вере Фигнер, об огромном идеалистическом под'еме, который тогда был в революционной интеллигенции.

— И вот теперь все разбито, все затоптано! Что пред этим прежние поражения! За самыми черными тучами, за самыми слякотными туманами чувствовалось вечно-живое, жаркое солнце революции. А теперь замутилось солнце и гаснет, мы морально разбиты, революция заплевана, стала прибыльным ремеслом хама, сладострастною утехою садиста. И на это все смотреть, это

все видеть—и стоять, сложив руки на груди, и сознавать, что нечего тебе тут делать. И что нет тебе места...

Дрожащею рукою он налил в стакан вина и жадно отхлебнул.

— А что они с народом сделали,—с великим, прекрасным русским народом! Вытравили совесть, вырвали душу, в жадного грабителя превратили, и звериное сердце вложили в грудь.

Иван Ильич поколебался и вдруг решительно махнул рукою.

— Ну, уж все равно! Расскажу вам, что со мною случилось, как сюда ехал... На маленькой станции неожиданно двинулся наш поезд, я прицепился на ходу к первому попавшемуся вагону, вишу на руках и только одним носком опираюсь на подножку. На ступеньках и площадке солдаты, мужики. Никто не двинулся. Ледяной ветер бьет навстречу вдоль вагонов, стынут руки, нога немеет. А наверху—равнодушные лица, глаза смотрят на тебя и как-будто не видят, шелуха семечек летит в лицо. «Товарищи,—говорю,—сдвиньтесь хоть немножко, дайте хоть другой ногой на подножку стать. Я только до первой остановки, там в свой вагон перейду»... Молчат, лущат семечки. Кажется, начни кто на их глазах живого потрошить человека, они так же будут равнодушно глядеть и шелуху выплевывать на ветер... И проскочила у меня мысль: вот для кого я всю жизнь мыкался по тюрьмам и ссылкам, вот для кого терпел измывательства становых и околоточных... Вышел, наконец, какой-то человек из вагона, крикнул: «не видите, что ли, человек замерзает на ветру, сейчас сорвется? Сукины вы дети, подвиньтесь, дайте место!» И чуть-чуть только пришлось двинуться,—один коленкой шевельнул, другой плечом повернулся,—и так оказалось легко взойти на площадку! А правду скажу: еще бы минута,—и в самом деле сорвался бы, и уж самому хотелось пустить руки и полететь под колеса... К чорту жизнь, когда такое может делаться! О, друзья мои! Други мои милые! Год уж прошел, а все горит у меня эта рана!

Он опустил лохматую голову на локоть; плечи, дергаясь, поднимались и опускались.

Белозеров молча сел к роялю взял несколько аккордов и запел:

О, Волга-мать, река моя родная!
Течешь ты в Каспий, горюшка не зная...

Иван Ильич изумленно поднял голову.

— Что это? Это наша старая волжская песня, студенческая... Откуда вы ее знаете? Вы разве с Волги сами?

— С Волги. Не мешайте,—строго сказал Белозеров.

О, Волга-мать, река моя родная!
Течешь ты в Каспий, горюшка не зная,
А за волной, волной твоей свободной,
Несется стон, великий стон народный...

Речные просторы чувствовались в голосе, и молодая печаль, и молодая, жаркая ненависть, какою горят только сердца, сжечь себя готовые в жертвенном подвиге. Иван Ильич жадно слушал с полуоткрытым, как у ребенка, ртом.

Ты все несешь, плоты и пароходы.
Что ж не несешь сынам своим свободы?
Тебе простор, тебе гулять приволье;
А нам нужда, и труд, и подневолье...

Иван Ильич рыдал. Долго рыдал. Потом поднял смоченное слезами лицо и ударил кулаком по столу.

— Да! И все-таки... Все-таки,—верю в русский народ! Верю! Вынес он самодержавие,—вынесет и большевизм! И будет прежний великий наш, великодушный народ, учитель наш в добре и правде! В вечной народной правде!..

Покачиваясь и поддерживая друг друга, шли они с Забродой по шоссе. Красный полумесяц уходил за горы. С севера дул холодный ветер. Иван Ильич, с развевающимися волосами,—шапку он забыл у Белозерова,—грозил кому-то кулаком навстречу ветру и кричал громовым голосом, звучавшим на весь поселок:

— Палачи русского народа!!

Вошедши в кухню, он натолкнулся в темноте на составленные стулья,—кто-то на них спал. Голос Кати сказал:

— Папа, это я.

— Чего ты тут углеглась?

— Леонид у нас.

— Леонид? Что ему тут нужно, подлецу?

— Тише, он в моей комнате спит. Приехал, говорит, проведать; отдохнуть.

— Знаю я зачем он приехал... Приятный сюрприз!

Ворча, он ушел к себе в спальню.

* * *

Проснулся Иван Ильич поздно. Долго кашлял, отхаркивался, кряхтел. Голову кружило, под сердцем шевелилась тошнотная муть. Весеннее солнце светило в щели ставень. В кухне звякали чайные ложечки, слышался веселый смех Кати, голос Леонида. Иван Ильич умылся. Угрюмо вошел в кухню, угрюмо ответил на приветствие Леонида, не подавая руки.

Катя оживленно болтала, наливала Леониду чай, подкладывала брынзы.

— Ешь! Как ты похудел! И даже сединки в волосах. Это в двадцать восемь лет!

Иван Ильич,—мрачный, с измятой бородой,—пил чай и молчал.

Катя взяла с холодной плиты миску с ячменным месивом.

— Подожди минутку, сейчас поросенку дам поесть, приду.

И ушла. Иван Ильич хмуро спросил:

— Ты из Совдепии?

— Да.

— Зачем приехал?

— Вас проведать. Отдохнуть. Устал.

Иван Ильич приглядывался к нему: попрежнему в темных волосах—ярко-седой клок над левым виском; добродушные глаза, добродушный голос, но губы решительные и недобрые.

Воротилась Катя. Она очистила кухонный стол, выложила из кошелки семь цыплят и стала их кормить рубленым яйцом.

— Вчера вылупились. Посмотри, какие.

— Прелесть!

— Правда, как-будто пушистые желтые яички на ножках? И такие серьезные, серьезные!

Леонид взял цыпленка, закрыл его ладонями и стал нежно на него дышать.

— Ты знаешь, я решила в этом году завести полсотни кур. Будем жить куриным хозяйством. Противно смотреть на дачников,—стонут, ноют, распродают последние простыни, а сидят сложа руки. Будем иметь по нескольку десятков яиц в день. Сами будем есть, на молоко менять, продавать в городе. Смотри: сейчас десяток яиц стоит 8—10 рублей...

Ивану Ильичу было досадно, что Катя с таким увлечением посвящает в свои хозяйственные мечты этого чужого ей по духу человека. Он видел, с какою скрытою усмешкою слушает Леонид, с добродушно усмешкою взрослого над пустяковою болтовнею ребенка. А Катя ничего не замечала и с увлечением продолжала говорить. Иван Ильич ушел к себе и лег на кровать.

— Еще я кабанчика откармливаю, осенью зарежем,—на всю зиму колбасы будут, ветчина, сало. А какие умные свиньи! Вот я никогда раньше не думала. Одно из самых умных животных... Хочешь, я тебе свое хозяйство покажу?

Леонид вскочил на ноги.

— Покажи.

Лицо его сморщилось от неожиданной боли, но он поспешил разгладить морщины.

— И хозяйство твое, и вообще всю вашу дачку. Ведь я ее еще не видел.

Они вышли в сад. Леонид слегка прихрамывал. Солнце сверкало и грело. Сад был просторен, гол, но травка уже зеленела. На миндальных деревьях розовели набухшие бутоны. Сквозь ветки темнело море, огромное и синее.

Катя выпустила из чулана под лестницей поросенка. Он очумело выскочил, радостным карьером сделал несколько кругов, по-

том сразу остановился и, похрюкивая, стал щипать молодую травку.

— Смотри, какой жирный и большой! И знаешь, что я заметила? Что свиньи—очень чистоплотные животные. В грязь они лезут потому же, почему мы умываемся. Грязь засохнет и задушит на ней всех вшей, блох. А потом отскребет грязь об угол или ствол,—и чистенькая, как вымытая. И только нежная розовая кожа просвечивает сквозь щетину... Как все интересно, куда ни посмотришь!

Леонид жадно глядел на море.

— Хорошо у вас тут!

И вдруг он засмеялся неожиданно прорвавшимся, внутренним смехом.

— Странно! Какое у вас здесь тихое, мирное житие! А жизнь клокочет, как в вулкане... Пойдем, покажи дачку.

Он брезгливо оглядел поросенка и, прихрамывая, пошел к террасе.

— Отчего ты хромаешь?

— Так... Телега опрокинулась, когда сюда ехал. Ушиб ногу. Пустяки.

Но Катя женским своим взглядом заметила неумело наложенную заплату на левом бедре и замытую кровь у ее краев.

— А это что? Вот ты зачем у меня вчера иголку брал... Ленька, что-то тут...

Она с любовью и с просьбой заглянула ему в глаза. Леонид сердито нахмурился.

— Вот пристала! Оставь ты меня, пожалуйста! Нежности эти бабьи...

Катя вздрогнула. Вдруг она вспомнила рассказ Дмитрия, как он стрелял по двоим, убегавшим от контр-разведки, и как ранил одного в ногу.

Дача, кроме маленькой комнаты и кухни с каморкой, где Сартановы жили зимою, имела еще три больших летних комнаты.

— Славная дачка!—В углах губ Леонида задрожала дразнящая улыбка.—Когда мы будем здесь, мы ее реквизируем под клуб коммунистической молодежи.

— А вы скоро будете здесь?

— Недельки через две, не позже.

Катя жадно спросила:

— Встречал ты за это время Веру?

— Встречал много раз. Она в Петрограде работает, в женотделе. Чудесная работница.—Он насмешливо улыбнулся.— А дядя к ней попрежнему?

Катя грустно ответила:

— Попрежнему. Говорит, что Вера для него умерла. Мы при нем никогда не говорим про нее: сейчас же у него делается такое беспощадное лицо... Расскажи подробно,—что она, как?

После обеда Катя стала гладить белье, а Леонид ушел в горы.

Воротился он в сумерки, с большим букетом подснежников. и установил его в стеклянной банке посреди кухонного стола. Сели пить чай. Иван Ильич попрежнему недоброжелательно поглядывал на Леонида. Он спросил:

— Ну, что? Как дела у вас? По-старому,—арестовываете, расстреливаете?

Леонид сдержанно улыбнулся.

— Кого нужно, арестовываем и расстреливаем.

— А многих нужно?

— Многих. Контр-революция так и шипит, так и высматривает, куда бы ужалить.

— Да, многих, многих! Всех, кто не большевик. Значит, почти весь русский народ. Много еще работы предстоит.

— Трудового народа мы не трогаем, его мы убеждаем, и знаем, что он постепенно весь перейдет к нам. А буржуазия,— да, с нею церемониться мы не станем, она с нами никогда не пойдет, и разговаривать мы с нею не будем, а будем уничтожать.

— Уничтожать? Я что-то не пойму. Как же,—физически уничтожать?

— Да хоть бы и физически. Не ликвидируешь их,—уйдут к Колчаку, к Деникину, и будут сражаться против нас.

Катя ахнула.

— Леонид, что ты говоришь? Для марксизма важно уничтожение тех условий, при которых возможна буржуазия, а не физическое ее уничтожение... Какая гадость!

Леонид пренебрежительно взглянул на нее.

— Э, милая моя! С чистенькими ручками революции делать нельзя. Марксизм, это прежде всего—диалектика, для каждого момента он вырабатывает свои методы действия.

— Но погоди,— сказал Иван Ильич.—Ведь вы сами при Керенском боролись против смертной казни, вы Церетели называли палачом. И я помню, я сам читал в газетах твою речь в Могилеве: ты от лица пролетариата заявлял солдатам, что совесть пролетариата не мирится и никогда не примирится со смертною казнью. Единственный раз, когда я тебе готов был рукоплескать. И что же теперь?

Леонид изумленно пожал плечами.

— Удивительно! Мы уже совсем на разных языках говорим... Ну, да! Тогда речь шла о казни солдат, мужественно отказывавшихся участвовать в преступной империалистической бойне. А теперь речь о предателях, вонзающих нож в спину революции.

— Но ведь ты говорил,—пролетариат никогда не примирится со смертною казнью, в принципе!

— Полноте, дядя! Может, и говорил. Что ж из того! Тогда это был выгодный агитационный прием.

Катя гадливо вздрогнула. Иван Ильич схватился за грудь, прижал руки к сердцу и, закусив губу, шатающимся шагом заходил по кухне.

— Предали революцию!—с тоскою воскликнул он.—Предали безнадежно и безвозвратно!

Леонид насмешливо блеснул глазами.

— Да неужели вы, дядя, не понимаете, что революция— не миндальный пряник, что она всегда делается так? Неужели вы никогда ничего не читали про великую французскую революцию, не слыхали про ее великанов,—Марата, Робеспьера, Сен-Жюста или хотя бы про вашего мелкобуржуазного Дантона? Они тоже не миндальные пряники пекли, а про них вы не говорите, что они предали революцию... Ну, хорошо, мы предали. А вы, верные ее

знаменоносцы,—вы то где же? Нас много, за нами стихия, а вы,—сколько вас?

— Вас много, потому что хамов много.

— Допустим. А вы, чистенькие, безупречные,—что вы делаете в это великое время? Вы,—я не знаю, может быть, вы за добровольцев?

— Нет, брат, избавь от этой чести!

— А тогда что же? Кто с вами? И что вы хотите делать? Сложить руки на груди, вздыхать о погибшей революции и негодовать? Разводить курочек и поросяточек? Кто в такие эпохи не находит себе дела, тех история выбрасывает на задний двор. «Хамы» делают революцию, льют потоками чужую кровь,—да! Но еще больше льют свою собственную. А благородные интеллигенты, «истинные» революционеры, только смотрят и негодуют!..

Иван Ильич ходил и молчал. Потом вдруг круто остановился перед Леонидом и спросил:

— Скажи, пожалуйста, для чего ты сюда приехал?

— Я уже вам говорил: отдохнуть.

— Зачем же тебе было ехать для этого сюда, пробираться через фронт, подвергаться опасностям? Ведь для «усталых советских работников» отдых у вас создается просто: выгони буржуя из его особняка, помещика из усадьбы,—и отдыхай себе в волю от казней, от сысков, от пыток, от карательных экспедиций,—набирайся сил на новые революционные подвиги!

Леонид, улыбаясь про себя, молча отхлебывал из кружки чай. Иван Ильич тяжелым взглядом смотрел на него.

— А скажи, пожалуйста: если бы кто-нибудь приехал и остановился у тебя, кто,—ты верно знаешь,—всею душою против большевиков, и кто, ты подозреваешь, приехал работать против них,—что бы ты сделал?

Леонид взглянул вызывающе-смеющимися глазами.

— Странный вопрос. Конечно, дал бы знать в чрезвычайку. Она бы мигом с ним разделалась.

— Донес бы, значит?

— И глазом бы не моргнул.

Иван Ильич тяжело дышал и смотрел на него. Лицо его краснело, в душе поднимался вихрь. Стараясь овладеть собою, он медленно и спокойно сказал:

— Вот что, голубчик! Я не доносчик, и в жизнь свою никогда доносчиком не был. И на тебя не донесу. Но... уходи, милый мой, от нас сейчас же.

Катя порывисто двинулась, но ничего не сказала. Леонид, не допив стакана, с неопределенною улыбкою встал и медленно вышел. Слышно было, как он в катиной каморке зажег спичкою коптилку, как укладывал свои вещи. Все молчали.

Анна Ивановна нерешительно сказала:

— До утра бы оставить его, пусть переночует. Куда он пойдет, на ночь глядя?

— Нет!!—бешено крикнул Иван Ильич. Лицо его стало темным, как чугун.—Сейчас же вон! Доносчик, палач,—не позволю поганить нашего дома! Иначе сам уйду! Так вы все и знайте!

Он зашагал по кухне и вдруг качнулся, как сильно пьяный. Анна Ивановна побледнела, Катя вскочила и подбежала к нему. Он отстранил ее рукою.

— Не-ет!.. Нужна, господа, хоть какая-пибудь брезгливость! Вы самого Иуду готовы в постельку уложить и укрыть тепленьким одеяльцем!.. Не-ет!..

Вошел Леонид с котомкою за плечами.

— Палку свою я, кажется, здесь оставил.

Он взял в углу палку. Глаза его смотрели кротко, в них было то хорошее, покорное и грустное, что Катя знала в нем в часы преследований и несчастий в былые времена. У ней сжалось сердце.

— Куда ты пойдешь?

— Наших тут везде много, приют найду, где угодно. До свидания!—мягко сказал он.

— Погоди, Леня!

Катя быстро отрезала половину большого хлеба и подала ему.

— Э, дурочка, на что мне! Ведь у самих муки мало.

— Ну, ну, бери!

Он взял и вышел. Все молчали.

* * *

Муж и жена, с очумелыми глазами, полными отчаяния и усталости. С утренней зари до поздней ночи оба беспомощно трепались в колесе домашнего хозяйства, неумелые и растерянные. Пилили вдвоем дрова тупою пилою с обломанными зубьями и злобно ссорились. Он колол поленья зазубренным топором, то-и-дело соскакивавшим с топорища. Она доила корову, которой смертельно боялась.

Корова брыкалась, ей связывали ноги. Жена опасливо доила, каждую минуту готовая отскочить, а муж стоял перед мордою коровы, косился на рога, грозил толстой палкой и свирепо все время кричал. И были у коровы такие же ошалелые глаза, как у хозяев.

Ложились поздно ночью,—никак не успевали управиться раньше, а к пяти утра нужно было вставать доить корову. Хоть бы раз выспаться всласть,—это было бы высшим блаженством, о котором не смели и мечтать. И результатом чудовищной работы, выматывавшей все силы, было, что этот день, слава богу, кое-как сыты.

Катя помнила их два года назад. Счастливая, милая семья на уютной своей дачке, с детками, нарядными и воспитанными. Он тогда служил акцизным ревизором в Курске. У нее—пушистые, золотые волосы вокруг веселого личика. Теперь—лицо старухи, на голове слежавшаяся собачья шерсть, движения вульгарные. Распущенные грязные ребята с мокрыми носами, копоть и сор в комнатах, неубранные постели, невынесенная ночная посуда. И бешеные, злобные ссоры весь день.

— Катерина Ивановна, вы гладите свое белье?

— Конечно.

Она с торжеством посмотрела на мужа.

— Что?

— «Что!» Совершенно бессмысленная трата сил. Нелепое щегольство, когда и без того погибаем от работы.

—«Щегольство!» Катерина Ивановна, посмотрите на меня,—правда, какая щеголиха? Ха-ха-ха!.. И то хуже кухарки всякой.

* * *

— Здравствуйте! Как живете?

— Плохо, конечно. Вещи распродаю,—этим питаюсь. А вы?

— Все вещи распродал. Ворую.

— Распродам,—тоже останется воровать.

* * *

По-крымски медленно надвигалась весна. Высокое солнце лило на землю нетерпеливый жар, но остывшее море перехватывало его и пускало в воздух острый холодок. Неспешно набухали почки акаций и тополей. Миндальные деревья, как повенчанные невесты, медленно сбрасывали свой воздушно-белый наряд и одевались в плотные зеленые платья. Скворцы черными четками усаживались к вечеру на холодеющие телеграфные проволоки, упоенно блеяли козлятами, квакали лягушками, свистели, как чабаны. Без северной тревоги и томления шла весна.

А в людях была тревога. «Идут? Не идут?» Никто ничего не знал. Но чувствовалось,—что-то надвигается, что-то ломается и трещит... Свирепее и безудержнее становились реквизиции, разнузданнее войска. На дорогах казаки отнимали у мужиков муку и вино, забирали хороших лошадей и оставляли взамен своих, загнанных и охромевших. В городе офицеры сводно-гвардейского полка ворвались в тюрьму, вывели тридцать бандитов и большевистских комиссаров и расстреляли их на берегу моря. Богатые люди выезжали на пароходах в Новороссийск, Батум, Константинополь.

Смелее становился народный говор и ропот. Дерзче грабежи в экономиях и дачных поселках. Чаще поджоги. Безбоязненное уклонение от мобилизации. В потребиловке Агапов и Белозеров, осторожно оглядываясь, говорили, что добровольцы, собственно, обманули народ, и что истинно-народную власть могут дать только большевики.

Привезли, наконец, муку в потребиловку. Сартановы уже неделю сидели без хлеба и ели разваренные кукурузные зерна. Катя пришла получить муку.

В прохладной лавке с пустыми полками народу было много. Сидели, крутили папиросы, пыхали зажигалками. Желтели защитные куртки парней призывного возраста, воротившихся из гор. Болгарин Иван Клинчев, приехавший из города, рассказал, что на базаре цена на муку сильно упала: буржуи бегут, везут на пароходы все свои запасы, а дрягили вместо того, чтобы грузить, волокут муку на базар.

Штукатур Тимофей Глухарь злобно сказал:

— Ишь, сволочь какая! Народ с голоду дохнет, а они муку увозят!

Толстая болгарска с черными, как сажа, бровями спросила продавщицу Маню:

— Сколько катушка стоит?

— Сорок рублей.

— Господи, что же это!

Глухарь отозвался:

— Дай, большевики придут,—сорок копеек будет стоить. Они, все это спекулянтство уничтожут.

Катя, со всегдашнею своею привычкою говорить, что в душе, удивленно поглядела на него.

— Тимофей! Как же вы совсем еще недавно говорили, что вы против большевиков?

— А вам желается, чтоб у нас кадеты остались? Хе-хе! Не-ет! Довольно! Поездили на наших шеях!

— Я вам не говорила, что мне желательно.

— Еще бы теперь говорить! Вы теперь затаилися. Чуете, что дело ваше плохо.

Осторожные болгары с молчаливою усмешкой поглядывали на Катю. Русские злорадно стали глумиться над добровольцами и ругать их. Веселый парень в солдатской рубашке без пояса запел:

Пароходик идет, вода кольцами,
Будем рыбу кормить добровольцами!

Катя стала с чеком в очередь. Толстая болгарка подошла и стала перед нею.

— Послушайте, Марина, не видите,—очередь? Что ж вы вперед заходите?

— Мне некогда.

— И мне тоже некогда.

— Подождете. Что вам делать? Мы работаем, а вы на берегу голые лежите.

Кругом засмеялись. Подвыпивший столяр Капралов вдруг грозно спросил болгарку:

— А кому какая польза, что ты работаешь? Кабы вы на общественную пользу работали, то было бы дело. А вы зерно в ямы зарываете, подушки набиваете керенками,—«работаем!» Сколько подушек набила? А приду к тебе, мучицы попрошу для ребят, скажешь: нету!

Он властно отстранил болгарку и обратился к Кате:

— Становитесь, барышня, в свою очередь. А твое вот где место. Ее отец хороший человек.

Болгары щурились и молча смотрели в стороны. Толстая болгарка не так уж уверенно возразила:

— А мы нешто плохие?

— Вы не хорошие и не плохие. Он за народное дело в тюрьме сидел, бедных даром лечит, а к вашему порогу подойдет бедный,—«доченька, погляди, там под крыльцом корочка горелая валялась, собака ее не хочет есть,—подай убогому человеку!» Ваше названпе—«файдасыз» [1])!.. Дай, большевики придут,—они вам ваши подушки порастрясут!

Катя получила полтора пуда муки и волоком вытащила мешок наружу.

---

[1]) Великолепное татарское слово, значит оно: «человек, полезный только для самого себя» . Так в Крыму татары называют болгар.

По шоссе в порожних телегах ехали мужики. Катя подбежала и стала просить подвезти ее с мешком за плату к поселку,—за версту. Первый мужик оглядел ее, ничего не ответил и проехал мимо. Второй засмеялся, сказал: «двести рублей!» (В то время сто рублей брали до города, за двадцать верст).

Из потребиловки мужик, с рыжеватой бородой и красными, обтянутыми скулами, вынес свои покупки и стал укладывать в телегу. Катя быстро спросила:

— Вы по шоссе поедете, мимо поселка?

Мужик, не оглядываясь, пробурчал:

— Нечего мне с тобой. Проходи!

Деревенские, сидевшие на скамеечке у потребиловки, засмеялись. Парень Левченко, с одутловатым, в прыщах, лицом, в солдатской шинели, сказал:

— Тащи-ка на своем хребте. Ноне на это чужих хребтов не полагается.

Катя вспыхнула.

— Знаете, что? Когда на почте неграмотный человек просит меня написать ему адрес на письме,—я не смеюсь над ним, потому что знаю; он не умеет писать, а я умею. А мешок поднять у меня нет силы. Не хотите помочь,—ваше дело. Но как же вам не стыдно смеяться?

Сидевшие на скамейке молчали. Левченко улыбался нехорошею улыбкою. Мужик в телеге удивленно взглянул на Катю и вдруг сказал:

— Садитесь.

И сам положил ее мешок в телегу.

Они затряслись по шоссе. Катя усаживалась на своем мешке и радостно говорила:

— Ну, вот, видите: все-таки,—все-таки, люди добрее и лучше, чем кажутся! Ведь вот стало же вам совестно! Но скажите,—почему все теперь стали такие жестокие?

Мужик улыбнулся хорошею мужицкою улыбкою.

— Верно. Осатанел народ.

— Но почему же?

Он подумал, но не нашел ответа. Пошевелил плечами и стегнул кнутом лошадь.

Легкий ветерок дул с залитых солнцем гор, пахло фиалками. Мужик разговорился. Он был из соседней степной деревни. Рассказал он, как после ограбления экономии Бреверна к ним в деревню поставили постоем казаков.

— Корми их, пои. Всё берут, на что ни взглянут,—полушубок, валенки. Сколько кабанчиков порезали, гусей, курей, что вина выпили. Девок за груди хватают, и не моги им ничего сказать,—сейчас за шашку. А мы чем виноваты? «К вам,—говорят,—след от колес ведет из экономии». Может, и из наших кто. Мало ли с войны солдат воротилось. Да ведь он оказываться не станет; если что своровал, схоронит. А к ответу всех поставили. Нашего брата, как хочешь, обижай. У зятя моего в Бараколе кадеты стали лошадь отымать, он не дает.—«Я, говорит, через нее хлеб кушаю».—«Ну, вот, покушай!» И из ливарвера ему в лоб. Бросили в канаву и уехали. Старики в город пошли жаловаться, все расписали, как было. Те опять приехали:—Вы, говорят, жаловались?—«Мы». Отхлестали нагайками и—ходу!

Катя в беспомощном негодовании оглядывала сверкавшие солнцем дали.

— Да это и большевики не хуже!

— Кто их знает. Нам все одно. Царь ли, Ленин ли,—только бы порядок был и спокой. Совсем житья не стало.

Мужик слегка подхлестывал кнутом лошадь. Несло от него чем-то светлым, тихим и крепким, что всегда чуялось Кате в мужиках сквозь их жадность, жестокость и грубость.

Под'ехали к калитке дачи. Мужик внес мешок и отказался взять деньги.

* * *

Керосиновая лампочка тускло освещала пыльные выступы камней в подвале. Отдушины были завешаны дерюгами. Ася месила лопатою известку, Агапов, в фартуке, клал поперечную стенку, Майя подавала камни. Из-за стенки выглядывали ящики, мешки с мукою, боченки.

Говорили шопотом.

— А золото я вот в эту щель вмазываю. Запомните, девочки! Вот, зеленый камушек, на высоте моего роста.

Вывели стенку под самый свод. Завалили ее старыми ящиками, пустыми бочками. Затрусили пол сором. Выходили из подвала поодиночке, зорко вглядываясь в глухую темноту ночи.

***

У профессора пили чай. Он сегодня ездил в город читать свои лекции в народном университете, и Катя забежала узнать новости. Профессор был заметно взволнован. Наталья Сергеевна сидела за самоваром бледная, с застывшим от горя лицом.

— Добровольцы по всем дорогам уходят в Феодосию, а оттуда в Керчь. В городе полная анархия. Офицеры все забирают в магазинах, не платя, солдаты врываются в квартиры и грабят. Говорят, собираются устроить резню в тюрьмах. Рабочие уже выбрали тайный революционный комитет, чтобы взять власть в свои руки.

Наталья Сергеевна сказала:

— У нас сейчас стирает девушка с деревни, рассказывала: в Насыпкое заночевали два офицера,—их ночью убили, раздели догола, и трупы увезли куда-то.

С террасы вбежала девушка-прачка, хлопнула зазвеневшею стеклянною дверью, крикнула на бегу: «кадеты идут!» и в ужасе пробежала в кухню.

Вышли на террасу. С горы по дороге спускался высокий молодой офицер с лентою патронов через плечо, в очень высоких сапогах со шпорами... В руке у него была винтовка, из-за пояса торчали две деревянные ручки ручных гранат. На горе, на оранжевом фоне заходившего солнца, чернела казенная двуколка и еще две фигуры с винтовками.

— Скажите, здесь живет профессор Дмитревский?

— Это я.

— Вам письмо от вашего сына.

— Очень вам благодарен, поручик... Не зайдете ли выпить стакан чаю?

— Благодарю вас, меня товарищи ждут.

— Так ведите и их.

Офицер конфузливо улыбнулся.

— Ну, спасибо. Сейчас приведу.

Двуколка, нагруженная большим боченком, спустилась с горы. Высокий взошел на террасу еще с двумя офицерами. Их усадили пить чай. Профессор и Наталья Сергеевна жадно стали читать письмо.

— Вам записочка от Мити,—сказал профессор Кате.

Записка была написана наскоро, взволнованным почерком. Митя писал, что их полк экстренно двинули к Керчи, что навряд ли скоро придется увидеться. «Катя, милая моя девушка! Навряд ли и вообще уж когда-нибудь увидимся. Прощай, не поминай лихом!»

Профессор спросил офицеров:

— Как положение?

Офицер в гусарской фуражке, с рыжими, подстриженными снизу усами, ответил:

— Обычное маневрирование. Из стратегических соображений войска передвигаются к Керчи.

Высокий усмехнулся, поколебался и вдруг махнул рукою.

— Какие там стратегические соображения! Просто, гонят нас большевики. Да и гнать-то, в сущности, некого. Армии больше не существует, расползлась по швам и без швов, как интендантские сапоги. И надеяться больше не на кого. Союзники от нас отступились, французы отдали большевикам Одессу...

Гусар сумрачно покосился на него.

— Вы не профессиональный военный, поэтому все вам и кажется так страшно. Во всякой войне бывают колебания в ту и другую сторону. Вот соберемся с силами, подойдут пополнения,— и погоним красных, как стадо овец, вот увидите. Их только раз разбить, а дальше работа будет уж только нам, кавалерии.

Третий, очень молодой артиллерист-прапорщик, смуглый, с родинкою на щеке и с серьезными глазами, сдержанно возразил:

— С таким командным составом никого не разобьем.

Высокий с негодованием воскликнул:

— Ох, уж этот командный состав!.. Совсем, как при царе: бездарность на бездарности, штабы кишат франтами-бездельниками, которые и носа не кажут на фронт. Воровство грандиозное, наши солдаты сидят в окопах в рваных шинелишках, в худых сапогах, а в тылу идет распродажа обмундирования, все мужики в деревнях ходят в английских френчах и американских башмаках. В ресторанах шампанское потоками, миллионы летят, как рубли... А мы что делали на фронте? Вместо того, чтобы защищать перешеек,—ведь сами говорят: Фермопилы,—бросили нас далеко на север, три тысячи против пятнадцати тысяч красных,—для того, видите ли, чтобы соединиться у Дебальцева с Деникиным. Ну, конечно, разбили нас и отбросили... А теперь транспорт наших крымцев пришел к Деникину,—он их не принял: вы, говорит, убежали от большевиков, вы мне не нужны.

Профессор встал.

— Извините, вы мне позволите написать письмецо сыну?

Он ушел с женою. Катя, без кажущейся связи с разговором, сказала:

— На-днях я ехала с одним мужиком из соседней деревни, он мне рассказывал: добровольцы отобрали у его зятя лошадь, последнюю, а когда он стал противиться, его застрелили.

Гусар враждебно смотрел на нее.

— Да ведь это все сказки! Как вы им верите!

Высокий устало отозвался:

— Нет, так бывает.

— Да ведь это же хуже большевиков!

— Мы хуже и есть. Недавно перестреляли из пулеметов сто двадцать красно-зеленых в каменоломнях. Они сдались, побросали винтовки, выкинули белый флаг. А мы их пулеметами.

— Сдавшихся!

— А они не так?

— Ну, и как на душе у вас?

Высокий усмехнулся.

— Ничего. Привыкли. Умом, конечно, понимаю, что нехорошо.

Замолчали. Катя сказала:

— Или вот еще, тот же мужик рассказывал. У нас тут недавно ограбили помещика Бреверна,—к ним поставили казаков, и они ограбили мужиков. Одежду отбирали, припасы, вино.

Гусар тяжелым взглядом посмотрел на Катю. Она почувствовала, что он уж ненавидит ее всеми силами души.

— А как с ними иначе? Мы раздеты, голодаем, а они сыты, в тепле; продавать ничего не хотят, набивают подушки керенками...

Катя весело всплеснула руками.

— Да большевики совсем так же рассуждают о буржуях! Вот потеха!

Гусар прикусил губу. Прапорщик-артиллерист с родинкой тихо сказал:

— Если двадцатого числа не получим жалованья, придется и нам жить разбоем.

Высокий усмехнулся.

— А теперь не разбоем живем? Вон бочку вина везем,—заплатили мы за него?

Гусар заговорил взволнованно:

— Вы говорите,—в сдавшихся стреляли. С немцами, с австрийцами мы были рыцари. А против большевиков мне совесть моя разрешает в с е! Меня пьяные матросы били по щекам, плевали в лицо, сорвали с меня погоны, Владимира с мечами. На моих глазах расстреливали моих товарищей. В родовой нашей усадьбе хозяевами расхаживают мужики, рвут фамильные портреты, плюют на паркет, барабанят на рояли бездарный свой интернационал. Жена моя нищенствует в уездном городишке... Расстреливать буду, жечь, пытать,—все! И с восторгом! Развалили армию, отдали Россию жидам. Без рук, без ног останусь,—поползу, зубами буду стрелять!

Высокий задумчиво курил папиросу.

— У меня такой ненависти к большевикам нету. Но я человек деятельный, сидеть в такое время, сложа руки, не мог. А вы-

бор только один: либо большевики, либо добровольцы. И я колебался. Но когда в Петрограде, за покушение на Ленина, расстреляли пятьсот ни в чем неповинных заложников, я почувствовал, что с этими людьми итти не могу. И я пошел к тем, кто говорил, что за свободу и учредительное собрание. Но у большинства оказалось не так, до народа им нет никакого дела. А народ ко всем нам враждебен, тому, что говорим, не верит, и всех нас ненавидит. Выходить можем только по нескольку человек вместе, вооруженными. Вон на-днях где-то тут поблизости, на греческих хуторах, нашли голые трупы двух офицеров... Буржуазия на нас молится, но ни кровью своею, ни деньгами поддержать не хочет.

Катя воскликнула:

— Зачем же вы тогда остаетесь?!

Гусар быстро поднял голову.

— То-есть, как это?

Высокий безнадежно махнул рукою.

— Нет, уж не уйти. Да и куда? Буду тянуть до конца. А разобьют окончательно,—поеду в Америку ботинки чистить. Теперь ко всему привык.—Он показал свои мозолистые руки.—У меня своего—вот только эти сапоги. Имущество не громоздкое.

Мальчик-артиллерист с родинкою сказал:

— Что окончательно разобьют, я не верю. Пройдет же этот угар, народ поймет, что Россия, которую он же с такими муками создавал, не пустой звук. Нужно только продержаться, пока народ не отрезвеет.

— Мы недавно расстреляли двух офицеров, которые собирались уйти,—сказал гусар.

Вошел профессор с письмом.

— А вы, Екатерина Ивановна, не напишите Мите?

— Нет.

Офицеры стали прощаться. Профессор предлагал им остаться переночевать, но они отказались. Гусар и артиллерист пошли взнуздать лошадь. Высокий задержался на террасе с Катею.

— Вы знаете, такой ужас, такой кошмар!—говорил он.— Как мы до сих пор не сошли с ума!

Катя украдкою быстро оглянулась и вдруг решительно спросила:

— Скажите, вы хороши с Дмитрием Николаевичем?

— Да.

— Тогда вот что. Уговорите его, чтобы он ушел. И уходите сами. Как можно все это выносить за дело, в которое не веришь!

Офицер медленно покачал головою.

— Нет, ничего не стану говорить.

И, не прощаясь, пошел к двуколке.

Колеса загремели по каменистой дороге. В сухих сумерках из-за мыса поднимался красный месяц. Профессор взволнованно шагал по террасе, Наталья Сергеевна плакала. Катя горящими глазами глядела вдаль.

— Господи, какие у этого рыжего глаза! Как пустые дырки!—Она нервно повела плечами.—Ой, какие тяжелые глаза! Да, он и пытать будет, и застрелит, если кто уйдет,—все!

Профессор растерянно усмехнулся.

— Положение! Проваливаться куда-то в преисподнюю за дело совершенно чужое!

— Я завтра отправлюсь к нему, уговорю его уйти,—сказала Катя.

Профессор изумился.

— Что вы говорите! На фронт! Да кто вас пропустит? И как вы доберетесь туда?

Наталья Сергеевна радостно слушала.

— Проберусь. Чего захочу, я всегда достигаю. Нельзя, нельзя ему там оставаться!

* * *

Они говорили долго и горячо. Губы Дмитрия не улыбались всегдашнею его тайною улыбкою, глубоко в глазах была просветленная печаль и серьезность. Катя страстно старалась вложить в его безвольную душу все напряжение своей воли, но чувствовала,—крепкая стенка огораживает его душу, и этой стенки она не может пробить.

А он держал в руках руку Кати, с тихою любовью смотрел на ее почерневшее от солнца лицо, осунувшееся от трудной дороги, на пыльные волосы...

— Катя, может быть, не хорошо прямо говорить тебе все, что сейчас в душе...

— Ну, именно все скажи, именно все!

— Да, я все-таки скажу... Вот, ты мне говоришь: уйди. Скажем, я пошел бы на эту гадость,—бросить товарищей в беде. Ну, а дальше? Куда уйти с тобою? Ведь красные меня либо расстреляют, либо мобилизуют, и я должен буду пойти с ними. Или скрываться, прятаться? Где? До каких пор? Папа тоже вот неуверенно говорит: «уходи». А когда спрошу: «куда?»—он начинает бегать глазами... Ужас в том, что выбора нет никакого. Либо с теми, либо с этими. А кто в промежутке... Да и ты сама. Тебя никто не будет заставлять, а тебе разве легче? Разве, с твоею активною натурою, ты сможешь удовлетвориться тем, чтобы говорит обеим сторонам: «уходите!»—уходите, и больше ничего!

Катя заломила руки. На это нечего было возразить. И туго натянутая воля, стремившаяся бросить в жизнь действенный поступок, оборвалась, как надрезанная тетива.

Они сидели на скамеечке под распускающимися тополями, у крыльца белого домика немца-колониста. Над приазовскими степями голубело бодрое утро, частые темно-синие волны быстро бежали из морской дали к берегу. По деревне синели дымки бивачных костров, и приятно пахло гарью.

Подошел солдат и сказал:

— Господин поручик!

— Да, да! Я сейчас!

Дмитрий быстро встал.

— Тебе, Митя, нужно итти. Прощай.

— Я тебя провожу до околицы. Мне, все равно, в ту сторону итти.

За низкими сараями артиллеристы торопливо устанавливали орудия с длинными хоботами. Солдаты пробивали в глиняных оградах бойницы. К деревне крупной рысью под'езжал отряд лох-

матых казаков, лошади играли. И везде солнце сверкало, и была бодрящая прохлада утра, и кипела взволнованная работа, и таинственно бухали в туманной дали редкие орудийные выстрелы. Скоро тут закрутится сверкающая смерть. Лица всех были сосредоточены, серьезны—и как прекрасны!

Дмитрий сказал:

— «Уйти». Уйти можно только... в царство теней. Когда уж слишком ясно почувствуешь, что и здесь ты, все равно, только безжизненная тень ненужной сейчас жизни...

Катя жадно глядела кругом и вдруг воскликнула страстно:

— Если бы я могла остаться тут вместо тебя!

Дмитрий потихоньку пожал ее руку и умиленно прошептал:

— Спасибо тебе.

Катя удивленно взглянула на него.

*
**

Катя сидела у фонтана под горой и закусывала. Ноги горели от долгой ходьбы, полуденное солнце жгло лицо. Дороги были необычно пусты, нигде она не встретила ни одной телеги. Безлюдная тишина настороженно прислушивалась, тревожно ждала чего-то. Даже ветер не решался шевельнуться. И странно было, что все-таки шмели жужжат в зацветающих кустах дикой сливы, и что по дороге беззаботно бегают милые птички посорянки, похожие на хохлатых жаворонков.

С горы спускалась линейка. Под'ехала к фонтану. Высокий болгарин сошел, чтобы попоить лошадей. Катя с удивлением и радостью узнала Афанасия Ханова. И он ее тоже узнал.

— Барышня, что это вы? Куда в такое время собрались?

— Я домой иду. А вы из города?

Ханов не ответил. Разнуздал лошадей перед корытом. Потом сказал:

— Негодится, сейчас ходить по дорогам. Садитесь, подвезу.

— Ах, спасибо! Так устала!

Попоили лошадей, поехали в гору,—по плохой дороге с торчащими в колеях белыми камнями. Катю давно интересовал Афа-

насий Ханов. Он был комиссаром уезда при первом большевизме в Крыму, его ругали дачники, но и в самых ругательствах чувствовался оттенок уважения. И у него были прекрасные черные глаза, внимательно прислушивающиеся к идущим в душу впечатлениям жизни.

У Кати был свой особенный бессознательный подход к людям. Она сама по-детски говорила всегда то, что думает и чувствует, и к душе другого человека подходила сразу, вплотную, без всяких условностей. Это удивляло—и часто налаживало на откровенность. Ханов незаметно разговорился по душе и стал рассказывать о себе.

— Раньше я, понимаете, торговал. Стою за прилавком, деньги сами в руки плывут. Двух'этажный дом себе построил,—вон, где потребилка сейчас. А в мыслях все думается: не то это! Скучно как-то сердцу. Прикрыл, понимаете, дело, опять поворотился в мужики. Труднее стало жить, а в душе получилась легкость. А раньше, бывало, мужики виноград давят, а я скупаю вино и продаю, сам ничего не работаю. «Дураки,—думаю,—как же не видите, что из вас кровь сосут?» У меня в саду абрикосы, груши, персики, а сквозь забор, понимаете, ребятишки сапожника—до чего жадно смотрят! И я тогда понял, что это — права и правильные, что все это нужно ликвидировать. Вон Бреверн в коляске ездит, спит до двух часов дня, а у него тысячи десятин земли. Как это можно терпеть? И когда мне все это большевики об'яснили, я сразу и понял.

— Афанасий! Да ведь это же совсем еще не большевизм. Это социализм, за это и мы. Ведь вы в прошлом году сами были комиссаром, вы видели, как людей грабили, резали, как издевались над ними. Разве кто думал о справедливом строе? Каждый тащил себе. Что из этого может выйти?

В ясных глазах Ханова мелькнула растерянность, как у человека, который с великим трудом утвердился среди болота на кочке, и его вдруг хотят с нее столкнуть.

— Да нет, я, собственно... Я, пожалуй, сам не большевик... Я понимаю, что рано все делать. В социализм, понимаете, итти,— нужно, чтобы руки были так.—Он вытянул вперед раскрытые

ладони, как бы все отдавая.—А у нас—так.—Он жадно прижал стиснутые кулаки к груди.

Катя радостно засмеялась.

— Вот именно! А они этого кровью хотят достигнуть и грязью. Два года назад солдаты продавали на базаре в Феодосии привезенных из Трапезунда турчанок,—помните, по две керенки брали за женщину? А сегодня они—большевики, насаждают «справедливый трудовой строй». И вы можете с ними итти!

Ханов с любопытством спросил:

— Ну, а с кем итти? С кадетами?

— Зачем же с кадетами? Нужно свое образовать, соединиться всем, кто, вправду, за справедливость и свободу.

— Ну, хорошо. А вы вот: ваш батюшка на каторге был, вы в тюрьме сидели. Отчего же не соединяетесь?

Катя измученно засмеялась.

— Вот и давайте соединяться... Господи, что это?!

Через низкие ограды садов, пригнувшись, скакали всадники в папахах, трещали выстрелы, от хуторов бежали женщины и дети. Дорогу пересек черный, крючконосый человек с безумным лицом, за ним промчались два чеченца с волчьими глазами. Один нагнал его и ударил шашкою по чернокудрявой голове, человек покатился в овраг. Из окон убогих греческих хат летел скарб, на дворах шныряли гибкие фигуры горцев. Они увязывали узлы, навьючивали на лошадей. От двух хат на горе черными клубами валил дым.

И еще Катя увидела: старуха с растрепанными волосами, пронзительно крича, цеплялась за чеченца, а он тащил на руках в хату прелестную полуобнаженную девочку. В воздухе бились золотисто-смуглые руки, и выгибалась девическая грудь.

— Господи! Да что же это!

Катя хотела соскочить с линейки и броситься усовещивать чеченца. Ханов крепко охватил ее рукою и сильно ударил кнутом по лошадям. Они понесли под гору.

По дороге поспешно шел старик-татарин с подстриженными усами, бледный и взволнованный. Катя крикнула ему:

— Слушайте, вы не знаете, что это там, из-за чего?

— Дикая орда приезжал. Греков порубал.

— За что? Садитесь к нам, расскажите. Ханов, можно?

Они поехали. Татарин сообщил, что недавно в соседней русской деревне мужики убили двух заночевавших офицеров, а трупы подбросили на хутора к грекам... Из города послали чеченцев для экзекуции.

Вечером Катя одиноко сидела на скамеечке у пляжа и горящими глазами смотрела в вольную даль моря. Крепкий лед, оковывавший ее душу, давал странные, пугавшие ее трещины. Она вспомнила, как ее охватило страстное желание остаться там, где люди, среди бодрящей прохлады утра, собирались бороться и умирать. И она спрашивала себя: если бы она верила в их дело,—отступилась ли бы она от него из-за тех злодейств, какие сегодня видела?

* * *

Было везде тихо, тихо. Как перед грозою, когда листья замрут, и даже пыль прижимается к земле. Дороги были пустынны, шоссе как вымерло. Стояла страстная неделя. Дни медленно проплывали,—безветренные, сумрачные и теплые. На северо-востоке все время слышались в тишине глухие буханья. Одни говорили,—большевики обстреливают город, другие,—что это добровольцы взрывают за бухтою артиллерийские склады.

Дачники были в смятении. Болгары тоже чувствовали себя тревожно. Кучки бедноты стояли на деревенской улице и вполголоса переговаривались. По слухам, в соседней русской деревне уже образовался революционный комитет, туда приезжали большевистские агитаторы и говорили, чтобы не было погромов, что все—достояние государства. Крестьяне наносили им вина, хлеба, яиц, сала, и отказались взять деньги.

В страстную пятницу Анна Ивановна ходила в потребиловку и принесла известие, что в кофейне Аврамиди сидит восемь большевистских разведчиков с винтовками.

Перед обедом Иван Ильич, в кожаных опорках и грязной, заплатанной рубахе, копал у себя на огороде грядки. Вдруг до него донесся надменно-повелительный голос:

— Эй, ты! Поди сюда!

Иван Ильич изумленно поднял голову. За проволочною оградою, сквозь нераспустившиеся ветки дикой маслины, виднелся на великолепной лошади всадник с офицерской кокардой, с карабином за плечами.

— Ну!!. Живо!

Иван Ильич негодующе смотрел. Офицер сорвал с плеч винтовку и прицелился. Закусив губу, Иван Ильич медленно пошел к ограде. На шоссе были еще два всадника с винтовками.

— Что это за деревня?—Голос у офицера был взволнованный и решительный.

— Это не деревня, а дачный поселок Арматлук. Деревня там, за холмом.

Офицер разглядел лицо Ивана Ильича, увидел его очки и сразу стал вежлив.

— Скажите, пожалуйста, большая деревня?

— Большая.

— А жители кто?

— Больше болгары.

— Очень вам благодарен.

В этом надменном окрике и неожиданном переходе к вежливости и к «вы» только из-за очков Иван Ильич вдруг остро почувствовал тот старый, брезгливо огородившийся от народа мир, который был ему так ненавистен.

Офицер приложил руку к козырьку и вместе со своими спутниками медленно двинулся по шоссе к деревне. У поворота они остановились, долго разговаривали, поглядывая вперед, потом двинулись дальше. Иван Ильич в колебании смотрел им вслед. Они скрылись за холмом.

Иван Ильич трясущимися руками взялся за лопату. Вдруг за холмом затрещали выстрелы, послышалась частая дробь подков по шоссе. Пригнувшись к шеям лошадей, всадники карьером скакали назад. Офицер держал повод в правой руке, из левого плеча его текла кровь.

* * *

Настало светлое воскресение. Из-за моря встало яркое солнечное утро, синее небо сверкало. Добровольцы исчезли,—без шума, без грома исчезли, растаяли неслышно, как туман под солнцем. По шоссе непрерывною вереницею катились линейки и тачанки, на них густо сидели мужские фигуры в красных повязках, с винтовками. Молодежь, выкопав из земли запрятанные еще при немцах винтовки, отовсюду шла и ехала записываться в красную армию. По всей степи ярко цвели тюльпаны, алые, как свежая кровь. И повсюду горели букеты этих тюльпанов,—в руках, в петлицах, на фуражках.

Промчался от города автомобиль с развевающимся красным флагом. На повороте шоссе автомобиль запыхтел, быстро заработал поршнями и остановился, окутавшись синим дымком. Поднялся с сидения человек и стал громко говорить в толпу. Замелькали в воздухе белые листки воззваний, против ветра донесся восторженный крик: «ура!» Автомобиль помчался дальше.

Катя стояла у калитки сада и жадно смотрела на шоссе. Катилась мимо огромная, ликующая река, кипящая общим под'емом, а она одиноко стояла на берегу, чуждая и враждебная этому под'ему. Вспомнились ей февральские дни в Москве,—как тогда было иначе! Как тогда билось сердце в один такт с огромным всенародным сердцем, как сладок был свист пуль над ухом на Каменном мосту, как незабываем этот под'ем над обыденною, маленькою жизнью! И всё, о чем так светло грезилось,—все это рухнуло, развалилось, все утонуло в трясине кровавой грязи...

Катя пошла в свою каморку за кухнею, села к открытому окну. Теплый ветерок слабо шевелил ее волосы. В саду, как невинные невесты, цвели белым своим цветом абрикосы. Чтобы отвлечься от того, что было в душе, Катя стала брать одну книгу за другою. Но, как с человеком, у которого нарывает палец, все время случается так, что он ушибается о предметы как раз этим пальцем,—так было теперь и с Катей.

Открыла «Жизнь Иисуса» Ренана и через две страницы натолкнулась:

«Есть люди, которые сожалеют, что французская революция несколько раз выходила из границ, и что ее не совершили мудрые и умеренные люди. Не будем прикладывать наших маленьких программ рассудительных мещан к этим чрезвычайным движениям, стоящим столь высоко над нашим ростом. Контраст между идеалом и печальною действительностью всегда будет создавать в человечестве мятежи против холодного разума, считаемые посредственными людьми за безумие,—до того дня, когда эти восстания восторжествуют. Тогда те, кто сражался против них, первые признают в них высокий ум».

Открыла Герцена «С того берега»:

«Или вы не видите новых христиан, идущих разрушать? Они готовы. Они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри города. Когда настанет их час,—Геркуланум и Помпея исчезнут, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете».

Катя глубоко задумалась. Она ведь все это читала совсем недавно,—как же она не восприняла тогда, не почувствовала того, что написано так ясно и так страшно определенно?.. «Правый и виновный погибнут рядом, это будет не суд, не расправа, а катаклизм. Они ближе, нежели вы думаете»... И вот они пришли,—пришли именно такими, какими все их предвидели, принесли то, о чем сама она мечтала всю свою сознательную жизнь. А она стоит, чуждая им, и нет у нее в сердце ничего, кроме ужаса и брезгливого омерзения.

Под окном хрюкнул поросенок. Он подошел к миске с водою, попил немного, поддел миску пятаком и опрокинул ее. Катя вышла, почесала носком башмака брюхо поросенку. Он поспешно лег, вытянул ножки с копытцами и замер. Катя задумчиво водила носком по его розовому брюху с выступами сосков, а он лежал, закрыв глаза, и изредка блаженно похрюкивал. Куры обступили Катю и поглядывали на нее в ожидании корма.

Кате вдруг стало смешно. Ей представилось: все, что кругом,—как-будто это тихая подводная пещерка глубоко-глубоко в море. Там, наверху, сшибаются вихри, чудовищные волны с ревом бросаются на небо, земля сотрясается, валятся скалы, поросшие вековым мохом, зловеще ползет по склонам огненная лава,—а тут, в пещерке, мирно плавают маленькие козявочки, копошатся в иле, сосут водоросли. И что сама она такая же маленькая козявочка. Ахнет в дно подземный удар, расколет пещерку, бросит в нее шипящую лаву,—козявочки опрокинутся на спину, подожмут лапки, удивятся и умрут.

Вечером к Ивану Ильичу пришел профессор Дмитревский. Он был слегка взволнован, и глаза его бегали.

— Пришел к вам посоветоваться. Сейчас на автомобиле приезжал ко мне из города представитель военно-революционного комитета, сообщил, что рабочие наметили меня кандидатом в комиссары народного просвещения. Спрашивал, пойду ли я. Что вы об этом думаете?

Иван Ильич расхохотался.

— А возможно просвещение, когда свободную мысль душат, когда издаваться могут только казенные газеты?

Профессор поспешно ответил:

— Я сказал, что подумаю, но что, во всяком случае, необходимое условие—свобода слова и печати, что иначе я просвещения не мыслю. Они заявили, что в принципе со мною совершенно согласны, что меры против печати принимаются только в виду военного положения. Уверяли, что теперь большевики совсем не те, как в прошлом году, что они дорожат сотрудничеством интеллигенции. Через два дня обещались приехать за ответом.

— И вы им верите?—смеялся Иван Ильич.—Мало они всех обманывали!

Заспорили жестоко. Катя энергически поддерживала профессора и доказывала, что нужно итти работать с большевиками. Иван Ильич с негодованием воскликнул:

— И ты—ты тоже бы пошла?

— Не пошла бы, а прямо и определенно пойду... Николай Елпидифорович, возьмите меня в свой комиссариат.

Профессор очень обрадовался. Он умиленно сказал:

— Славная вы девушка, Екатерина Ивановна! Если бы вы знали, как вы мне много даете!

Иван Ильич, ошеломленный, смотрел на Катю.

— Ты... ты, вправду, пойдешь?

— Обязательно!

Глубоко в глазах Ивана Ильича сверкнул тот же темный, сурово-беспощадный огонь, каким они загорались при упоминании о Вере. Он сгорбился и, волоча ноги, пошел к себе в спальню.

* * *

Приказ, за подписью коменданта Седова, об'являл, что, в виду военного положения, гражданам запрещается выходить после девяти часов вечера. Замерло в поселке. Пигде не видно было огней. Тихо мерцала над горою ясная Венера, чуть шумел в темноте прибой. Из деревни доносились пьяные песни.

Была глухая ночь. На даче Агаповых все спали тревожным, прислушивающимся сном. В дверь террасы раздался осторожный стук. Потом еще. Агапов, трясущимися руками запахивая халат, подошел к двери и хриплым голосом спросил:

— Кто там?

Голос их кухарки,—кухня стояла отдельно от дома,—ответил:

— Барин, это я. Телеграмму почтальон принес.

Агапов отпер. Отстранив кухарку, в дверь быстро вошли три солдата с винтовками. Один, высокий, властно спросил:

— Ты—купец Агапов?

— Я.

Ноги затопали, три дула быстро вскинулись и уставились ему в грудь. Свеча в руке Агапова запрыгала.

— Погодите... Товарищи! В чем дело?

— Контрибуция? Превосходно. Раз наложена, то я что же? Я

Агапов ласково улыбнулся.

— Контрибуция? Превосходно. Раз наложена, то я что же? Я ничего возразить не могу... Сейчас вам вынесу.

Он торопливо вышел в дверь направо. Бледная кухарка тяжело вздыхала. Солдаты смотрели на блестящий паркет, на большой черный рояль. Высокий подошел к двери налево и открыл ее. За ним оба другие пошли. На потолке висел розовый фонарь. Девушка, с обнаженными руками и плечами, приподнявшись на постели, испуганно прислушивалась. Она вскрикнула и закрылась одеялом. Из темноты соседней комнаты женский голос спросил:

— Ася, что это ты?

— Что вам нужно?—спросила Ася.

Солдаты, не отвечая, стояли посреди комнаты и с жадным любопытством оглядывали бледные шелки кушеток, снимки с Беклина на стенах, кружева больших подушек вокруг черноволосой девичьей головки. Вдыхали розовый сумрак, пропитанный нежным ароматом.

В дверях ласково зажурчал голос Агапова:

— Товарищи, вот вам деньги. Пожалуйте в зал. Вы не беспокойтесь, тут вам делать нечего.

Из-за него выглядывала его жена, бледная, в ночной кофте.

Высокий коротко сказал:

— Обыск нужно сделать.

— Вы чего же ищите?

Солдат подумал.

—Оружие.

Он подошел к туалету и стал выдвигать ящички. Нашел два футляра с колечками и опустил колечки в карман. Венецианское зеркало туалета с невиданною четкостью отразило его лицо. Он выпрямился и подправил черные свои усики; заглянул в зеркало и другой солдат, совсем молодой. Его Агапов с удивлением вдруг узнал. Это был Мишка, сын штукатура Глухаря. И третьего он узнал,—прыщеватого, с опухлым лицом: тоже деревенский, Левченко.

Глухарь взял со столика, около кровати, золотые часики.

— Борька, вот еще.

Высокий подошел. Он оглядел покрытую одеялом девушку.

— Что это у тебя на руке? Покажь.

Ася робко протянула нагую руку с гладким золотым браслетом.

— Сымай.

Она сняла и подала.

— Слазь с кровати. Обыск нужно сделать. Может, у тебя оружие под тюфяком.

Девушка растерянно приподнялась, закрываясь одеялом.

— Ну, ну, слазий!

Он сдернул одеяло. Как в горячем сне, был в глазах розовый, душистый сумрак, и белые девические плечи, и колеблющийся батист рубашки, гладкий на выпуклостях. Кружило голову от сладкого ощущения власти и нарушаемой запретности, и от выпитого вина, и от женской наготы. Мать закутала Асю одеялом. Из соседней комнаты вышла, наскоро одетая, Майя. Обе девушки сидели на кушетке, испуганные и прекрасные. Солдаты скидывали с их постелей белые простыни и тюфяки, полные тепла молодых тел, шарили в комодах и шкапах.

Потом они вышли в залу. Высокий сказал:

— До утра никому не выходить. И про все молчать. Коли станете рассказывать, воротимся и всех постреляем.

Они ушли, оставив дверь террасы настежь. Агапов запер дверь. Взволнованные, долго все сидели в Асиной спальне и обменивались впечатлениями. Кухарка рассказывала, как солдаты наставили на нее винтовки и принудили сказать про телеграмму. Валялись на полу затоптанные сапогами простыни, тонкий аромат духов мешался с запахом застарелого пота и винного перегара. Уже стало светать, когда все разошлись и легли спать.

Опять в дверь террасы раздался стук,—на этот раз сильный и властный. В спальне девушек голос с отчанием сказал:

— Господи, когда же конец!

Вошли солдаты с винтовками и впереди—командир с револьвером у пояса.

— Оружие есть у вас? Бинокли, велосипеды? Военное обмундирование?

Агапов бледно и ласково улыбнулся.

— Этого ничего нету, товарищи. А золото, какое было, и наложенную контрибуцию сегодня ночью ваши уже взяли.

Командир, с седым клоком в темных волосах, удивленно поднял брови.

— Наши? Какую контрибуцию?

— Не знаю-с. Взыскали пять тысяч.

Командир закусил губу.

— Я сейчас велю выстроить перед вами весь наш отряд. Укажите, кто это сделал.

— Из вашего ли отряда, не знаю. Солдаты, но только здешние, деревенские.

— Кто такие?

— Извините, дал им слово их не называть.

— Все равно, назовете.

— Претензий на них я не имею.

— Я вас про это не спрашиваю. Потрудитесь назвать, кто такие.

Агапов огорченно улыбнулся и развел руками.

— Не могу-с!

— Товарищи, нарежьте в саду розог и снимите с него пиджак. Будем вас сечь, пока не назовете.

— Ну, это зачем же-с!.. Коли так, то, конечно... Глухарь Михайло, сын штукатура, и Левченко Игнат, недавно воротился из австрийского плена. Третьего не знаю, не здешний,—высокий, с черными усиками, товарищи называли его Борька.

— Хорошо. Сейчас сделаем у них обыск. К двенадцати часам приходите в ревком.

И, не делая обыска, они ушли.

* * *

Катя встала с солнцем. Выпустила и покормила кур. Роса блестела на листьях и траве. По затуманенной глади моря бегали под солнцем и ныряли тусклые красно-золотые змейки. По под'емам Кара-Агача клубились облака, но острая вершина его твердо темнела над розовым туманом.

Давно так сладко и так крепко Катя не спала, как в эту ночь. Тяжелый камень, много месяцев несознательно давивший душу, вчера вдруг сдвинулся, и душа,—помятая, слежавшаяся,—блаженно расправлялась, недоумевая и не веря свободе. Жадно дышала грудь крепким морским воздухом, солнце пело и звенело в душе. С Катей это часто бывало: вдруг как-будто совсем другими стали глаза, все обычное, примелькавшееся встало пред ними, как только-что возникшее чудо. Она неподвижно стояла среди сада и в остолбенении смотрела.

Медленно ступала по траве около колодца невиданно-огромная и красивая птица с огненно-красной шеей, с пышным хвостом, отливавшим зеленою чернью... Петух? Это—«просто» петух? Миллионы лет, в муках, трудах и борьбе, создавалась из первобытной слизи эта сверкающая красота,—и вот шагает по траве простой петух, и никто не чувствует, во что обошелся он жизни, и какой он чудесно-необычайный... Из косной земли выползло что-то гибкое, ярко-зеленое, живое, и светится под солнцем кустами барбариса. В тысячевековый миг с чудовищными усилиями слились друг с другом мертвые частицы,—и весело перебегает через шоссе осознавшая себя жизнь, забывшая о заплаченных судьбе невероятных своих страданиях. Смеется смуглое личико, тонкий стан качается, качаются на коромысле ведра, и сверкающие капли падают с них на дорогу.

Калитка протяжно скрипнула. С шоссе входили в сад два солдата с винтовками, с красными перевязями на руках. Катя весело спросила:

— Вам чего, господа?

— Оружие есть у вас?

— Нету.

Солдаты направились к дому. Не стучась, вошли в кухню. Иван Ильич умывался у рукомойника, Анна Ивановна поджаривала на сковородке кашу. Когда солдаты вошли с Катею, Иван Ильич повернул к ним свое лицо с мокрой бородой, Анна Ивановна побледнела. Иван Ильич спросил:

— Что скажете, граждане?

Враждебно глядя, один из солдат, с белыми бровями и усиками на загорелом лице, сказал:

—Пришли обыск сделать. Оружие есть у вас? Если бинокли есть, велосипеды, одежа военная,—должны выдать.

Иван Ильич брезгливо повел на них глазами.

— Обыскивайте.

И стал вытираться полотенцем.

Солдаты неуверенно оглядели закопченную кухню, заглянули в убогую катину каморку, потом пошли в спальню. Было грязно, бедно. Белоусый для виду приподнял за угол тюфяк неубранной постели.

— Ну, что же! Нету ничего,—обратился он к товарищу.

Катя рассмеялась. Ей милы были их конфузливые лица и неуверенность.

— Да разве так обыскивают? Так вы ничего не найдете. У нас тут под тюфяком спрятано три пулемета.

— Нет, что ж!.. Сразу видать, что ничего нету.

Они пошли назад в кухню. Катя сказала:

— Садитесь, попьем чайку.

Солдаты удивились, переглянулись, и со смущенною улыбкою ответили:

— Ну, спасибо. Сегодня ничего еще не пили, не ели.

Они поставили винтовки свои в угол.

Пили из кружек горячий настой шиповника, закусывая хлебом. Катя жадно расспрашивала. Белоусый, с посверкивающим улыбкою загорелым лицом, рассказывал:

— Мы составили свой партизанский отряд, дали клятву беспощадной борьбы и железной дисциплины. Командир у нас лихой,—товарищ Седой. Сознательный человек. Всем беспонятным дает понятие.

— А сами вы кто?

— Мы рабочие, из города.

— Отчего же вы такой загорелый?

— В горах уж целый месяц,—на ветру, на солнце. Ушли от кадетов, сорганизовались, чтоб начать у них в тылу партизанскую борьбу, а тут как раз наши подошли от Перекопа.

— Вы сами тоже, значит, большевики?

Он с удивлением поглядел на Катю.

— Ну, да!

Иван Ильич спросил:

— А что такое большевизм?

Солдат с готовностью стал об'яснять:

— Большевизм, это—за рабочую власть. Чтоб вся власть была у рабочих и крестьян. Сделать справедливый трудовой строй.

— И крестьянам чтоб была власть? Почему же вы тогда против Учредительного Собрания? Крестьян и рабочих в России море, а буржуазии—горсточка. Что кому помешало бы, если бы в Учредительном Собрании был десяток представителей от буржуазии? А между тем тогда всем было бы видно, что это всенародная воля, и всякий бы пред нею преклонился.

Солдат улыбнулся.

— Я вам сейчас все это об'ясню вполне полноправно. Мужик—темный, его всякий поп проведет и всякий кулак. А мы, рабочий класс, его в обиду не дадим, не позволим обмануть.

— Напрасно вы думаете, что наш мужик такой дурачок. И напрасно думаете, что у него нет своих интересов, отличных от интересов рабочего класса...

— Ваня!—позвала из спальни Анна Ивановна.

Иван Ильич пошел к ней. Анна Ивановна шопотом накинулась на него.

— Ваня, да что ж ты это? Арестуют они тебя,—а там вдруг откроется, что ты бежал из России. Ведь вот какой неугомонный!

— Э, ч-чорт!—Иван Ильич махнул рукою и лег на постель.

Солдат с любопытством спрашивал Катю:

— А вы за кого стоите?

— Я стою за социализм, за уничтожение эксплоатации капиталом трудящихся. Только я не верю, что сейчас в России рабочие могут взять в руки власть. Они для этого слишком неподготовлены, и сама Россия экономически совершенно еще не готова для социализма. Маркс доказал, что социализм возможен только

в стране с развитою крупною капиталистическою промышленностью.

Солдаты с недоумением смотрели на нее, и лица их становились все более настороженными. И все больше сама Катя чувствовала, что для них, сейчас, при данном положении, то, что вытекало из ее слов, было еще более нежизненно, чем тот утопический социализм, о котором она говорила.

Белоусый поднял брови, подумал и сказал:

— Вы говорите, вы за рабочих. Так как же теперь? Мы, значит, власть взяли,—и отдать ее назад буржуазии, чтоб она развивала эту самую промышленность?

— Отдавайте, не отдавайте, а она, все равно, власть себе заберет. Или Россия совсем развалится.

Другой красноармеец,—желто-бледный, с черной бородкой,—резко спросил:

— А скажите,—вот эта дачка,—ваша, собственная?

— Ну... Ну, да, наша! Но что же это меняет?

Он встал, взял из угла винтовку и пренебрежительно ответил:

— Ничего... Спасибо за угощение.

Они пошли из кухни. Катя провожала их до калитки. С черной бородкой сказал:

— Вот, брат Алеха, дело-то какое выходит, а? Пойдем-ка в город, поищем буржуев,—может, какие еще остались. Отдадим им винтовки свои,—виноваты, мол, ваше степенство, получайте власть назад!

Катя радостно смеялась.

— И все-таки,—все-таки я очень рада, товарищи, что видела вас. Вы, действительно, товарищи, вас я так могу называть... А то—хулиганы, грабители, обвешались золотыми цепочками, брильянты на пальцах, у мужика в вагоне отбирают последний мешок муки, и все—«товарищи».

По шоссе проходил красноармеец с винтовкой. Он крикнул:

— Гришка, Алешка! В двенадцать часов собирайтесь к ревкому! Бандитов судить.

* * *

Катя тоже пошла к двенадцати часам.

На площади, перед сельским правлением, выстроился отряд красноармейцев с винтовками, толпились болгары в черном, дачники. Взволнованный Тимофей Глухарь, штукатур, то входил, то выходил из ревкома. В толпе Катя заметила бледное лицо толстой, рыхлой Глухарихи, румяное личико Уляши. Солнце жгло, ветер трепал красный флаг над крыльцом, гнал по площади бумажки и былки соломы.

Из ревкома вывели под конвоем Мишку Глухаря и Левченко, с оторопелыми, недоумевающими глазами. Следом, решительным шагом вышел командир отряда, в блестящих, лакированных сапогах и офицерском френче. Катя с изумлением узнала Леонида. С ним вместе вышел Афанасий Ханов, председатель временного ревкома, и еще один болгарин, кряжистый и плотный, член ревкома.

Леонид остановился у перил крыльца и привычно-громким, далеко слышным голосом заговорил:

— Товарищи! Героическим усилием рабочих и крестьян в Крыму свергнута власть белогвардейских бандитов. Золотопогонные сынки помещиков и фабрикантов соединились в так называемую добровольческую армию, чтоб удушить рабочий народ и отобрать у него обратно свои поместья и фабрики. Рабоче-крестьянская красная армия раздавила гнездо этих гадов. От нас не будет пощады никому, кто жил чужим трудом, кто сосал кровь из трудящихся. Мы выгоним их из роскошных дворцов и вилл, обложим беспощадной контрибуцией, отберем с'естные припасы и одежду, заставим возвратить все награбленное...

Слова были затасканные и выдохшиеся, но от грозного блеска его глаз, от бурных интонаций голоса они оживали и становились значительными. Леонид продолжал:

— Но, товарищи, это не значит, что наша Советская Социалистическая Республика разрешает любому желающему грабить всякого встречного буржуя и набивать себе карманы его добром. Все имущество буржуазии принадлежит республике тру-

дящихся, помните это! Только она будет отбирать у них имущество, чтоб по справедливости разделить между нуждающимися... Между тем сегодня ночью три человека,—два из них—вот они, третий скрылся,—записавшись вчера вечером в красную армию, ночью сделали налет на поселок, взыскали в свою пользу контрибуцию с гражданина Агапова, награбили у него золотых вещей, белья, даже женских рубашек. При обыске мы нашли у них эти вещи...

Солдаты с загорающимся негодованием слушали. И было это опять не от слов, а от грозного возмущения, каким горели слова, от гипнотического заражения ощущением неслыханной позорности совершенного.

— Гражданин Агапов! Расскажите, как было дело.

Выступил Агапов, с приплюснутым спортсменским картузиком на голове. Сладко и виновато улыбаясь, он рассказал, как его грабили, всячески смягчая подробности, и прибавил, что злобы не имеет и просит простить обвиняемых.

Леонид обратился к болтарам:

— Вы, товарищи, имеете что-нибудь против гражданина Агапова?

Из толпы неохотно ответили:

— Что ж иметь... Дачник, как дачник.

Леонид вызвал барышень Агаповых. Ася, с вспыхнувшими злобою красивыми глазами, указала на Мишку Глухаря:

— Вот этот взял у меня со стола золотые часики.

Агапов растерянными, говорящими глазами старался удержать дочь, но она нарочно не смотрела на него. Вдруг старик Глухарь резко спросил:

— А скажи, где твой брат?

Ася смутилась.

— Какой брат?

— Како-ой!.. Не знаешь? Ну-ка, подумай!

— Мы о нем уж полгода не имеем вестей.

— Ишь ты, как! Не имеешь! Ну, а я имею. Он в кадетах служил офицером.

— Это мы исследуем,—зловеще сказал Леонид и обратился к арестованным:

— Что вы скажете?

Парни в один голос ответили:

— Пьяны были, товарищ-начальник! Ничего не помним. Мы думали, что Борька Матвеев по приказу действует.

Леонид сурово оглядел их.

— Вы этого не могли думать. Всем записавшимся в наш отряд я вчера вечером ясно сказал, что грабить мы не позволяем... Товарищи!—обратился он к своему отряду.—Наша красная рабоче-крестьянская армия — не белогвардейский сброд, в ней нет места бандитизму, мы боремся для всемирной революции, а не для того, чтоб набивать себе карманы приятными разными вещицами. Эти люди вчера только вступили в ряды красной армии и первым же их шагом было итти грабить. Больше опозорить красную армию они не могли.

И как-будто стальная молния пронизала напоенный солнцем воздух:

— ...Я предлагаю им наказание: расстрел!

Толпа глухо охнула. Арестованные побледнели и затряслись. Короткий стон выделился из гула. Глухариха с мертвенно-бледным лицом и закрытыми глазами валилась на руки соседок.

Леонид обратился к своему отряду:

— Как вы, товарищи?

— Расстрел!—пронеслось по рядам, и защелкали затворы винтовок.

Крестьянская толпа взволнованно гудела. Выделился голос:

— Не надо расстрела. Выпороть довольно...

— Выпороть!—подхватила толпа.

Леонид помолчал.

— Хорошо. Предлагаю пятьдесят розог...

— Много!

— Ну, двадцать пять. Больше разговаривать нечего... Товарищи, нарежьте розог!

Выступил Агапов.

— Прошу слова... Я бы предложил для светлого праздника совсем их простить. Они это сделали по несознательности, сами теперь жалеют, а мы на них зла не имеем.

Леонид резко оборвал его:

— Приговор уже произнесен!

Красноармейцы шли от огорода с нарезанными прутьями. Парни трясущимися руками стягивали через головы рубашки.

Со смутным чувством омерзения и торжества Катя то взглядывала, то отворачивалась. Белели спины, мелькали прутья, слышались мальчишеские жалобные вопли. Уляша, вытянув голову, жадно и удивленно смотрела через плечи мужиков. Нервно смеясь, Катя подошла к ней.

— Ну, что, Уляша, большевизм, это—дачи грабить?

Уляша застенчиво улыбнулась и опустила глаза. Катя, сквозь стыд, сквозь гадливую дрожь душевную, упоенно торжествовала,—торжествовала широкою радостью освобождения от душевных запретов, радостью выхода на открывающуюся дорогу. И меж бараньих шапок и черных свит она опять видела белые спины в красных полосах, и вздрагивала от отвращения, и отворачивалась.

Громко раздался в тишине голос Леонида:

— Теперь вы будете отправлены на фронт, в передовую линию, и там, в боях за рабочее дело, искупите свою вину. Я верю, что скоро мы опять сможем назвать вас нашими товарищами... А третьего мы, все равно, отыщем, и ему будет расстрел... Товарищи!—обратился он к толпе.—Мы сегодня уходим. Красная армия освободила вас от гнета ваших эксплоататоров, помещиков и хозяев. Стройте же новую трудовую жизнь, справедливую и красивую!

Потом выступил Афанасий Ханов. Он говорил путано, сбиваясь, но прекрасные черные глаза горели одушевлением, и Катя прочла в них блеск той же освобождающей радости, которая пылала в ее душе.

— Товбрищи! Мы сейчас, значит, слышали, что вам об'яснис товарищ Седой. И он говорил правильно... Теперь, понимаете, у нал трудовая власть и, конечно, советы трудящих... Значит, ясно,

мы должны организоваться и, конечно, устроить правильно большое дело... Чтобы не было у нас, понимаете, богатых эксплоататоров и бедных людей...

Катя шла домой коротким путем, через перевал, отделявший деревню от поселка. Открывалась с перевала голубая бухта, красивые мысы выбегали далеко в море. Белые дачи как-будто замерли в ожидании надвигающегося вихря. Смущенно стояла изящная вилла Агаповых, потерявшая уверенную свою красоту. Кате вдруг вспомнилось:

Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс...

Подведенные девичьи глаза, маленький креольчик и лиловый негр из Сан-Франциско... И грубая, мутно-бурлящая новая жизнь, чудовищною волною подлинных трагедий взмывшая над этою тихою, ароматно-гнилою заводью.

Толстый слой льда, оковывавший душу Кати, растрескался, и шел бурный ледоход, полный радостного шума и весеннего счастья самоосвобождения.

* * *

Около двух часов дня в автомобиле с красным флагом по шоссе пронеслись матросы. А в четвертом часу к Ивану Ильичу пришел худенький, впалогрудый почтальон с кумачным бантиком на груди, с огромной берданкой, и передал приказ ревкома явиться к четырем часам в сельское правление.

— Зачем?

— Не знаю. Приказано собраться всем взрослым мужчинам из...—Он конфузливо улыбнулся...—из буржуазии. Кто не придет,—на расстрел.

Иван Ильич захохотал.

— Вот так, вы меня возьмете и застрелите?

Почтальон виновато улыбнулся.

— Значит, и пожалуйте.

Катя пошла вместе с отцом. В сельском правлении собралось много дачников. Сидели неподвижно, с широко открытыми гла-

зами, и изредка перекидывались словами. Были тут и ласково улыбающийся Агапов, и маленький, как-будто из шаров составленный, владелец гостиницы Бубликов. В углу сидел семидесятилетний о. Воздвиженский, с темным лицом, и тяжело, с хрипом, дышал. Афанасий Ханов, бледный и взволнованный, то входил в комнату, то выходил.

Иван Ильич спросил его:

— Чего это вы нас сюда согнали?

— Не знаю. Комендант Сычев приказал. Он сейчас приедет из Эски-Керыма.

Вошел артист Белозеров, с пышным красным бантом, с неподвижным и торжественным лицом. В руках у него была бумажка и карандаш. С ним вошел студент Вася Ханов, племянник Афанасия, красивый мальчик-болгарин с черными бровями.

Белозеров сел к закапанному чернилами столу.

— Граждане! Прошу вас поочередно подходить к столу, я должен всех вас переписать.

Иван Ильич громко спросил:

— А позвольте узнать, с кем мы имеем дело?

— Член ревкома,—коротко ответил Белозеров, не глядя на Ивана Ильича.

Всех переписали.

Прошел час, другой. Комендант не приезжал. Собранные покорно ждали. Только Иван Ильич возмущенно ходил большими шагами по комнате. Когда вошел Ханов, он сердито спросил:

— Послушайте, господин, долго вы нас тут будете держать?

Ханов сконфуженно пожал плечами.

— Пойду, еще позвоню по телефону.

Позвонил в Эски-Керым. Комендант-матрос ответил:—Всем ждать! Приеду.

Солнце склонялось к горам. Местные парни с винтовками сидели у входа и курили. Никого из мужчин не выпускали. Катя вышла на крыльцо. На шоссе слабо пыхтел автомобиль, в нем сидел военный в суконном шлеме с красной звездой, бритый. Перед автомобилем, в почтительной позе, стоял Белозеров. Военный говорил:

— Белозеров, артист государственных театров? Как же, как же! Я вас слышал в Петрограде... А это что там за народ?

— Буржуев собрали, по приказу товарища-коменданта.

— А-а!—зловеще протянул военный.—Ну, до свидания! Очень приятно таких людей встречать в наших рядах.

Он благосклонно протянул руку Белозерову. Автомобиль мягко сорвался и поплыл по шоссе. Белозеров пошел к крыльцу. Катя пристально смотрела на него. Белозеров поспешил согнать с лица остатки почтительно-радостной улыбки.

Еще час прошел. Звенел телефон в соседней комнате. Темнело. В правление вошли Ханов и Белозеров.

Белозеров, с серьезным и непроницаемым лицом, сказал:

— Граждане! Я должен об'явить вам печальную весть... А впрочем,—для многих, может-быть, и радостную,—поправился он.—Вы тоже имеете возможность послужить делу революции. Вы отправляетесь на фронт рыть окопы для нашей доблестной красной армии.

Все молчали. Стало тихо. Слышно было только хрипящее дыхание о. Воздвиженского.

Иван Ильич резко и властно сказал:

— На окопные работы, по советскому декрету, отправляются мужчины только до пятидесяти лет, здоровые. А здесь есть больные, старики.

Белозеров и Ханов недоуменно переглянулись. Опять пошли к телефону. Воротились. Белозеров об'явил:

— Все мужчины, без всяких исключений! Больные и старые,—все равно. Все должны отправиться сегодня ночью. Предлагаю вам, граждане, к одиннадцати часам ночи собраться к кофейне Аврамиди. Должны явиться все записанные, под страхом революционной ответственности.

И он вышел. Катя налетела на Ханова.

— Как же так? Что это за распоряжение нелепое?

Ханов растерянно поежился.

— Сычев по телефону велел всех представить. Больных хоть на койках тащить. Если кого оставим, весь ревком на мушку.

— Да поймите, как же больной на койке будет рыть окопы? Вот, например, батюшка Воздвиженский. Ведь вы же сами понимаете,—нелепость!

И вдруг с холодным, усталым ужасом чей-то женский голос произнес:

— Господи! Их везут расстрелять!

Трепет пробежал по всем. Бледный Ханов вышел. Взволнованно стали расходиться.

Иван Ильич с Катей воротились домой. Был уже девятый час вечера. Анна Ивановна торопливо собирала белье и еду. Когда Иван Ильич вышел в спальню, она растерянно взглянула на Катю и сказала:

— Леонид об'явит там, что Иван Ильич бежал из России от чрезвычайки.

Катя нетерпеливо воскликнула:

— Ах, мама, ну, что за вздор говоришь!

Вошел Иван Ильич, они замолчали. Катя, спеша, зашивала у коптилки продранную в локте фуфайку отца. Иван Ильич ходил по кухне, посвистывая, но в глазах его, иногда неподвижно останавливавшихся, была упорная тайная дума. Катя всегда ждала в будущем самого лучшего, но теперь вдруг ей пришла в голову мысль: ведь правда, начнут там разбираться,—узнают и без Леонида про Ивана Ильича. У нее захолонуло в душе. Все скрывали друг от друга ужас, тайно подавливавший сердце.

Только-что поужинали, опять явился почтальон с винтовкой и уже сурово сказал:

— Что ж не идете? Все уж собрались, вас ждут. Приказано вас привести.

Катя властно ответила:

— Можете итти. Мы сейчас выходим.

Почтальон помялся, сказал: «Поскорее велели!» и ушел.

Оделись. Катя взяла саквояж. Иван Ильич остановился у двери:

— Ну, Анечка, тут простимся!

Он мягко улыбнулся беззубым ртом и раскрыл об'ятия жене. Анна Ивановна всхлипнула и припала к нему.

— Старенькая моя!—умиленно сказал он, и гладил рукою ее волосы.

Потом лицо его стало серьезным и прислушивающимся, он снял с пальца обручальное кольцо и протянул жене. Анна Ивановна отшатнулась.

— Ваня, что это ты!.. Зачем мне твое кольцо? Ведь это... Это только у покойников берут!

С тихою улыбкою Иван Ильич ответил:

— Может быть, так надо!

И они опять прильнули друг к другу.

— Ну, идем!—весело сказал Иван Ильич.

У кофейной стояло несколько мажар. Старуха-жена и дочь поддерживали под руки тяжело хрипящего о. Воздвиженского, сидевшего на ступеньке крыльца. Маленький и толстый Бубликов, с узелком в руке, блуждал глазами и откровенно дрожал. С бледною ласковостью улыбался Агапов рядом с хорошенькими своими дочерьми. Болгары сумрачно толпились вокруг и молчали. Яркие звезды сверкали в небе. Вдали своим отдельным, чуждо-ласковым шумом шумело в темноте море.

Секретарь ревкома, Вася Ханов, с заплаканными глазами, отмечал по списку отправляемых. И вдруг у всех еще крепче стала мысль, что везут на расстрел.

Густо усадили арестованных в мажары. Рядом с возницами село по милиционеру с винтовкой. Подошел подвыпивший, как всегда, столяр Капралов. Поглядел, покрутил головою.

— Гм! Советская Федеративная Республика!

У крыльца была суета.

— Доктор, помогите!—позвали Ивана Ильича.

Старик-священник лежал в обмороке.

— Скорее, граждане!—торопил Афанасий Ханов.

Иван Ильич осмотрел больного, пощупал пульс и суровым, не допускающим возражений голосом громко сказал:

— Гражданин Ханов! Этого больного нужно оставить, его нельзя везти.

Афанасий Ханов истерически крикнул:

— Что это такое? Прошу вас не рассуждать, товарищ доктор. Вас никто не спрашивает! Поднимите его, положите в мажару!— приказал он болгарам.

— Я вас предупреждаю, гражданин Ханов, что больной не вынесет дороги. Ответственность я возлагаю на вашу совесть!

— Не ваше дело! Прошу не разговаривать!—взволнованно кричал Ханов.

Священника положили в подводу. Капралов смотрел, сложив руки на груди.

— Гм! Федеративная Республика!

Мажары двинулись. Женщины рыдали. Только Анна Ивановна смотрела вслед скрипевшим подводам, поджав губы, без слезинки,—она привыкла к непрерывным бедам, сыпавшимся на мужа всю его жизнь.

Болгары тихо переговаривались.

— Запьянствовал комендант в Эски-Керыме, потому сам не приехал.

— Это Васька Сыч, комендант-то! Я его сразу признал. До войны известный вор был в порту, а теперь гляди,—комендант, на машине ездит.

Кате не позволили ехать с отцом. Она бросилась в деревню, узнала, что ночью едет в город закупщик кооператива, устроилась с ним. Выехали они глухою ночью. Из моря вылез огромный, блестящий Скорпион и сидел в небе, поджав хвост. На перевале подул холодный ветер. Восток побледнел. За мостом подвода обогнала ряд мажар, густо усаженных арестованными с соседних дачных поселков. Молодые люди в изящных шляпах; толстый старик-еврей с глазами на выкате и отвисшею губою; сизолицый отставной полковник. Сзади—линейка с пьяными красноармейцами. На шоссейных откосах в глубокой предрассветной дреме кивали головками красные и желтые тюльпаны. Взошло солнце. Внизу, у бухты, голубел город, окутанный дымкою, сверкали кресты церквей, серели острые стрелки минаретов.

От возвращавшихся болгар-подводчиков Катя узнала, куда отвезли арестованных. По набережной тянулись дворцы табачных фабрикантов-миллионеров. Среди них белел огромный особняк с

воздушными шпицами, похожий на дворец Гарун-аль-Рашида в сказках. Над чугунными решетчатыми воротами развевался красный флаг. Два часовых с винтовками оттоняли толпу женщин, теснившихся к решетке.

Сбоку дома солдаты выводили из подвалов арестованных, кричали на них, ругали матерными словами:

— Стройся вдоль стенки! В затылок!.. Куда прешь, борода? Вот я тебе, ай не знаешь? А еще генерал!

Солдат замахнулся прикладом на худощавого, сгорбленного генерала с седой бородой.

Толстая дама в шляпке сказала упавшим голосом:

— К стенке строят, расстреливать будут!

Мастеровой в отрепанном пиджаке возразил тоном опытного человека:

— Нет, в два ряда строят. Значит, не на расстрел.

Другая дама униженно говорила часовому:

— Вы мне позвольте только пальто передать мужу. Подняли его ночью, в одном пиджаке увезли,—как же он там, в окопах...

— А прикладом в спину хочешь?

Катя вскипела.

— Почему вы ей говорите «ты»!? Мы вам «вы» говорим. Советская власть это отменила, чтобы гражданам говорить «ты»! Это только в царское время так становые да урядники разговаривали с людьми.

Солдат с удивлением оглядел ее.

— А за решетку хочешь? Вот я тебя сейчас в подвал отправлю.

— Нет, не отправите, не имеете права.

От ее решительного тона он замолчал и отвернулся.

Нервная дама в пенснэ приставала к другому часовому:

— Но ведь мой муж—советский служащий, доктор. Вот документы. Дайте же мне пройти.

— Нельзя, товарищ!

— Его же расстреляют!

Часовой успокоительно сказал:

— Нет, только в окопы пошлют. Вон струмент раздают... Ничего, пущай, поработают в окопах.

— Да ведь он больной совсем!

Мастеровой в пиджаке враждебно возразил:

— «Больной». Что ж, что больной, за вас там даже безрукие сражаются, кровь свою проливают.

Подкатил автомобиль, развевались по ветру гвардейские желто-оранжевые ленточки матросских фуражек.

— Комендант!.. Сычев!

— Который?

— Вон тот, рыжий.

Дама в пенснэ кинулась к нему.

— Товарищ комендант! Мой муж арестован, а он советский служащий, вот документы.

— К чорту ступай!—Комендант отмахнулся и с другими матросами вошел в ворота.

Катя видела сквозь решетку, как его обступили арестованные. Комендант кричал, закинув голову и тряся кулаком, сыпал ругательствами. Катя поняла, что он совершенно пьян и ничего не станет слушать.

— Гнать всех в окопы! Никаких разговоров!—крикнул матрос и по мраморным ступеням вошел в парадный под'езд.

В толпе арестованных Катя увидела высокую фигуру отца с седыми косицами, падающими на плечи. Ворота открылись, вышла первая партия, окруженная солдатами со штыками. Шел, с лопатой на плече, седобородый генерал, два священника. Агапов прошел в своем спортсменском картузике. Молодой горбоносый караим, с матовым холеным лицом, в модном костюме, нес на левом плече кирку, а в правой руке держал об'емистый чемоданчик желтой кожи. Партия повернула по набережной влево.

Подкатил к воротам другой автомобиль, вышло трое военных. В одном из них Катя узнала Леонида.

— Леонид!

Он удивился.

— Катя! Ты как здесь?

— Папу забрали, гонят на окопные работы.

— Что за нелепость! Ведь ему шестьдесят пять лет.

— И не только его. Посмотри, какие старики там, есть совсем больные... Священник Воздвиженский...

Леонид, не слушая дальше, прошел в под'езд.

Через минуту вышел красноармеец, выкликнул Ивана Ильича. Катя видела сквозь решетку, как отец спорил с ним, как тот сердился и на чем-то настаивал. Подошел другой солдат и взял Ивана Ильича за рукав. Иван Ильич выдернул руку.

— Э, чорт! Еще разговаривать с тобой!

Солдат крепко схватил Ивана Ильича за руку под плечом, вывел за ворота и толкнул в спину.

— Ступай!

От толчка Иван Ильич пробежал несколько шагов поперек панели. Катя бросилась к нему.

— В чем дело?

Иван Ильич, не глядя на нее, быстро шагал вдоль набережной. Катя побежала за ним.

— В чем дело? Папа, что они с тобой?

Он остановился.

— Это что? Твои хлопоты? По протекции освободили? Через «товарища Леонида»? С какой стати мне одному уходить? Не благодарю тебя.

— Ну, папа... Погоди...

— Старик Воздвиженский умер ночью у нас в подвале.

Катя ахнула.

Загудела сзади сирена. Леонид со спутниками ехал на автомобиле. Катя остановила его.

— Леонид, одного только папу освободили. А там много еще стариков, больных. Священника Воздвиженского забрали совсем больного, он у них ночью умер в подвале.

Спутники Леонида насмешливо смотрели на Катю. Леонид неторопливо нахмурился.

— Освободили тебе его, чего же еще?

— А других? А за то, что комендант этого больного священника велел забрать, умирающего, и он умер?.. Это декрет запрещает. Неужели он не ответит?

— Извини, мне некогда... Товарищ шофер, можно ехать.

* * *

Через несколько дней почти все арестованные воротились домой. Командующий фронтом отправил их обратно, заявив: «на что мне эта рухлядь?»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В Отделе народного образования,—сокращенно:—«Отнаробраз»,—работа била ключом. Профессор Дмитревский, оказалось, был еще и прекрасным организатором. Комиссаром его не утвердили,—он был не коммунист. Комиссаром был юный студент-математик не пытавшийся проявлять своей власти и конфузливо уступивший руководство Дмитревскому. Официально Дмитревский числился членом коллегии.

Он привлек к работе лучших местных педагогов и деятелей народного университета. Вводилось в школы трудовое начало, организовались вечерние курсы и рабочие клубы, расширена программа народного университета, намечалась сеть подвижных библиотек по уезду, увеличение числа школ. Педагоги сначала настороженно следили за начинаниями профессора: они ждали, что командовать над ними поставят школьных сторожей и ломовых извозчиков. Увидели, что не так, и охотно взялись за работу. Катю Дмитревский сделал своим секретарем. Ей много приходилось принимать рабочих, крестьян, и весело было иметь с ними дело.

И весело было, что смело ломались все застывшие формы школьного дела, что выносились из школ иконы, что баричи-гимназисты сами мыли полы в классах, что на гимназических партах стали появляться фабричные ребятишки. И хорошо было, что Дмитриевский умел устранить из всего этого всякий оттенок измывательства. Он сам посещал школы, беседовал с учениками об'яснял им, что не нужно стыдиться физического труда, что ре-

лигия—это частное дело каждого, что предметам одного религиозного культа на место в школах, где для совместного обучения сходятся люди самых разнообразных вероисповеданий.

Дмитревский умел выбирать людей. Делами Отдела управлял бывший банковский служащий Гольдберг. Молодой, смуглый, с сверкающими зубами и смеющимися глазами; внутри его как-будто была заложена тугая, никогда не ослабевающая пружина. Все он умел устроить, все умел добыть. Раньше всех других отделов выцарапывал жалованье для служащих, организовал совместное получение хлебного пайка, добывал удобные помещения для клубов и библиотек, охранные грамоты для теснимых ученых и художников. Самые трудные дела поручал ему Дмитревский.

— Ну, что?

— Есть!—отвечал он, плутовски смеясь глазами.

Среди милых, но пассивных и мяклых русских сотрудников он был, как крутящийся волчок среди неподвижных кукол. И когда его звали:

— Арон Моисеич!—он весь взвивался и, вместо «что?», спрашивал:

— Ради бога?

Приехал из Арматлука артист Белозеров и предложил свои услуги по организации подотдела театра и искусств. Ревком дорожил именами и с радостью принял его предложение. Белозеров немедленно реквизировал только что достроенный театр частного предпринимателя, хотя театры в Крыму в то время не реквизировались. Нарообраз делал об'явления: «предлагается гражданам»,—Белозеров в своей области выпускал «приказы» и грозил расстрелом саботажникам, которые не зарегистрируют в Отделе своих музыкальных инструментов. Он быстро перезнакомился и сошелся со всеми влиятельными лицами; бывал у них на дому, пел им, пил с ними и сразу приобрел самое привилегированное положение. Заявил, что его зовут в Симферополь на огромнейший оклад, и ревком, не в пример прочим, назначил ему шестнадцать тысяч в месяц, когда все комиссары получали жалованья по одной-две тысячи. Получал он какими-то способами и вино, и

сахар, и мясо. Занимал две роскошных комнаты с ванною в реквизированном особняке. И он говорил:

— По душе я всегда был коммунистом.

* * *

Кате отвели номер в гостинице «Астория». Была эта лучшая гостиница города, но теперь она смотрела грустно и неприветливо. Коридоры без ковров, заплеванные, белевшие окурками; никто их не подметал. Горничные и коридорные целый день либо валялись на своих кроватях, либо играли в домино. Никто из них не знал, оставят ли их, какое им будет жалованье. Самовары рядком стояли на лавке,—грязно-зеленые, в белых полосах. На звонки из номеров никто не шел. Постояльцы кричали, бранились. Прислуга лениво отвечала:

— Кричи не кричи, а паном, все равно, не будешь!

Жили в гостинице советские служащие, останавливались приезжавшие из уезда делегаты, красноармейцы и матросы с фронта. До поздней ночи громко разговаривали, кричали и пели в коридорах, входили, не стучась, в чужие номера. То-и-дело происходили в номерах кражи. По мягким креслам ползали вши.

Катя встретилась на улице с адвокатом Мириманомым. По всегдашнему изящно-одетый, в крахмальных манжетах и воротничке. Кате понравилось, что он не старается теперь, как все, одеваться попроще. Он спросил, где она живет.

— Ради бога, переезжайте ко мне! Вы мне сделаете огромнейшее одолжение. А то начнут уплотнять, нагонят «товарищей»... Я вам дам прекрасную комнату.

Огляделся и, понизив голос, сказал:

— Объясните мне, пожалуйста,—что же это кругом делается? Всё портят, ломают, загаживают. Ни в чем никакого творчества, какое-то сладострастное разрушение всего, что попадается на глаза. И какое топтание личности, какое неуважение к человеку!.. С гуннами вздумали устраивать социалистический рай!

Еще больше понизил голос и сказал, смеясь умными своими глазами:

— Хорошее недавно словцо сказал Ленин в интимном кругу: «Мы давно уже умерли, только нас некому похоронить». Единственная умная голова среди них.

Катя перебралась к Миримановым.

* * *

Жизнь катилась, шумя и бурля,— дикая, жестокая и жуткая, сбросившая с душ все сдержки, разнуздавшая самые темные страсти.

В одной из верхних квартир дома Мириманова жил бывший городской голова Гавриленко, а у него занимала комнату фельдшерица Сорокина, служившая в госпитале. Она иногда забегала по вечерам к Кате. Рассказывала, что в госпитале назначили главным врачом ротного фельдшера, что председателем комитета служащих состоит старший санитар Швабрин. Врачей он перевел в подвальные помещения, а их квартиры заселил низшими служащими. Врача-хирурга заставил мыть полы в операционной. Больные лежат без призора, сиделки уходят с дежурства, когда хотят. Врачи не смеют им ничего сказать.

Была эта Сорокина худенькая, безгрудая, с узким тазом, и вся душа ее была в ее больных. Вот что еще она рассказывала,— и беспомощный ужас стоял в бледных глазах.

— Недавно в тюремную палату к нам перевели из особого отдела одного генерала с крупозным воспалением легких. Смирный такой старичок, тихий. Швабрин этот так и ест его глазами. Молчит, ничего не говорит, а смотрит,—как-будто тот у него сына зарезал. Как у волка глаза горят,—злые, острые. И вчера мне рассказал генерал: Швабрин по ночам приходит—и бьет его!.. Вы подумайте: больного, слабого старика!

Для Кати ужасы жизни были эгоистически непереносимы, если смотреть на них, сложа руки, и перекипать душою в бессильном негодовании. Она кинулась отыскивать Леонида. Нашла. Он только что приехал с фронта. Злой был и усталый. Раздраженно выслушал Катю и грубо ответил:

— Эту твою фельдшерицу нужно бы арестовать и отправить в чрезвычайку, чтоб не распространяла таких клевет. Ясное дело,—больной бредит.

Но Катя видела,—в усталом взгляде его мелькнуло растерянное отчаяние, и она поняла: просто, они не в силах обуздать того потока злодейства и душевной разнузданности, в котором неслась вышедшая из берегов жизнь.

А через день утром опять пришла Сорокина. И вся дрожала крупной дрожью, и губы прыгали. И рассказала: ночью она зашла в палату, где помещался генерал, видит: лежит он на полу мертвый, с синим лицом и раскинутыми руками. Она бросилась к дежурному врачу. Пришли с ним,—труп лежит на постели, руки сложены на груди. Синее лицо с прикушенным языком, темные пятна на шее. И Швабрин пришел,—глаза бегают. Дежурный врач отказался подписать свидетельство о смерти,—говорит, нужно сделать вскрытие. А главный врач, фельшер этот: «Чего тут вскрывать, дело ясное. Давайте, я сам подпишу».

* * *

Об'явили регистрацию офицеров. Приказ заканчивался так: «Кто не зарегистрируется в указанный срок, об'является вне закона и будет убит на месте».

Пришел к Мириманов[ы]м их племянник Борис Долинский,— тот юноша с подведенными глазами, который тогда пел у Агаповых красивые стихи об ананасах в шампанском. Мириманов сурово глядел на его растерянное лицо с глазами пойманного на шалости мальчишки.

— Что ж, брат, этого нужно было ждать. Не хотел сражаться вместе с нашими, не хотел с ними уходить,—теперь послужишь у красных, если совесть позволяет.

— Так ведь у меня же, правда, туберкулез легких. Они не возьмут.

— Процесс пустяковый, ты сам знаешь. И отсрочку-то на год тебе дали только благодаря протекции генерала Холодова.

Борис истерически плакал.

— Ну, что же... Ну, ведь и ваш же Николай тоже в красной армии...

Мириманов сердито сверкнул глазами.

— Во-первых, я этого точно не знаю. А во-вторых, если он, действительно, там, то уж никак не для того, чтобы способствовать торжеству «рабоче-крестьянской власти».

— Мама говорит,—пойти, зарегистрироваться.

— Конечно, что ж теперь делать. В горы ты не уйдешь.

* * *

Катя после службы зашла пообедать в советскую столовую. Столовая помещалась в нижнем этаже той же «Астории», в бывшем ресторане гостиницы. Столики были без скатертей, у немытых зеркальных окон сохли в кадках давно не поливаемые, пыльные пальмы. Заплеванный, в окурках, паркет. Обед каждый приносил себе сам, становясь в очередь.

Сидели за столиками люди в пиджаках и в косоворотках, красноармейцы, советские барышни. Прошел между столиками молодой человек в кожаной куртке, с револьвером в желтой кобуре. Его Катя уже несколько раз встречала и, не зная, возненавидела всею душою. Был он бритый, с огромной нижней челюстью и придавленным лбом, из-под лба выползали раскосые глаза, смотревшие зловеще и высокомерно. Катя поскорей отвела от него глаза,—он вызывал в ней безотчетный, гадливо-темный ужас, как змея.

— Товарищи, можно сесть к вашему столику?

— Пошалоста!

Это были два немецких солдата, их каски с копьевидными верхушками стояли на столе. Катя со своею тарелкою супа села к столику. И сейчас же стала жадно по-немецки расспрашивать солдат,—кто они, как сюда попали, почему.

Тот, который отозвался на ее вопрос,—высокий и крепкий красавец с веселыми глазами,—рассказывал: он—спартаковец, был арестован немецким командованием за антимилитаристскую пропаганду в войсках; несколько раз его подвешивали на столбе, били. Перед уходом немцев из Крыма он бежал из-под караула.

Немец засмеялся и любовно ткнул товарища локтем в бок.

— Вот с этим парнем (mit diesem Kerl)! Он был моим караульным. Сбил его с пути истинного; изменил он кайзеру, забыл честь германского воина.

Товарищ его, с большими рыжими усами, стыдливо улыбался.

Первый с восторгом стал говорить о русских: во всемирной истории не бывало такого случая,—в первый раз не фразами одними, а делом люди пошли против войны, свергли биржевиков, которые бросили трудящихся друг на друга. И борьбу в стороны заменили борьбою вверх.

— А мы? Как ребята, мы дали затуманить себе головы нашим-руководителям. Мы, дескать, не пойдем,—а вдруг те все-таки пойдут? Разве так можно было рассуждать? Все равно, как при атаке: я брошусь вперед, а вдруг остальные не двинутся с места? Каждый бросайся вперед и верь, что и другие бросятся. Только так и можно дело делать. И что теперь получилось? Цвет нации истреблен, накопленные богатства расточены, а победитель ткет паутинку и налаживается, чтобы приникнуть и пить из нас остатки крови. Конец Германии!

— А если бы вы победили, вы то же бы самое сделали с Францией.

— Ну, да (ja wohl)! В этом и ужас. Создавали культуру, науку, покоряли природу,—и все для того, чтобы превратить Европу в дикую пустыню, и людей—в зверей. Какой позор (welcher Unfug)! И вдруг русские: не хотим! Довольно! Molodtzi rebiata!

И с любовью он оглядывал красноармейцев за соседним столиком, евших с заломленными на затылок фуражками.

* * *

В квартиру к Мириманову вселили десять солдат. Они водворились в кабинете Мириманова, выходившем на садовую террасу, и в комнате рядом.

Лежали в грязных сапогах на турецких диванах. Закоптелые свои котелки ставили прямо на сукно письменного стола, на

нем же и обедали, заливая сукно борщем. Жена Мириманова, Любовь Алексеевна,—полная дама с золотыми зубами,—хотела поставить им простой стол,—они не позволили. Солдаты ничего не делали круглые сутки, но пола никогда не мели. Дрова кололи на террасе, разбивая цветные плиточки мозаичного пола; а спуститься пять ступенек,—и можно было колоть на земле. За нуждой ходили в саду под окнами. Пробовал их убеждать Мириманов, пробовала Катя,—они слушали, не глядя, как-будто не с ними говорили, с предрешенным нежеланием что-нибудь делать, о чем просят буржуи.

Вечером Катя готовила себе ужин в саду на жаровне. На дорожке три красноармейца развели костер и кипятили в чайнике воду. Двое сидели рядом с Катею на скамейке. Молодой матрос, брюнет с огненными глазами, присев на корточки, колол тесаком выломанные из ограды тесины.

Он опустил тесак и сказал:

— А на кой они нам чорт, ваши образованные? Только то и делали, что за грудки нас хватали. Миллион народу, каждый расскажет, как измывались над ним. А теперь,—«я,—говорит,—образованный!»— А кто тебе дал образование?—«Отец».—А отец, значит, нас грабил, если тебе мог дать образование, значит, и ты грабитель!

— Дело не в том. А без просвещения, без культуры вы никогда не создадите социализма.

— Мы вашу буржуазную культуру попираем ногами.

— Вы, товарищ, повторяете чужие слова, а сами их не понимаете. Вот у вас винтовки, пулеметы. Это дала буржуазная культура. Бросьте их, сделайте себе каменные топоры, как наши далекие предки. В комнатах у вас,—как загажено все, как заплевано, никогда вы их не метете. А буржуазная культура говорит, что от этой грязи разводятся вши, чахотка, сыпной тиф. К нам войдете,—никогда даже не поздороваетесь, шапки не снимете.

— А вам так нужно: «Ах, милосливая государыня! Наше вам нижайшее! Позвольте ручку поцеловать!»—Солдаты на скамейке засмеялись.—Прошло времечко!

— Нет, нужно только, чтоб вы сказали: «Здравствуйте!» Чтоб видно было, что вы по-человечески относитесь.

— Никакого человечества! Борьба классов! Весь вред—от буржуазного елементу. Как ужа вилами, прижать— и растерзать! Почему до сих пор социализму нету? От них! Саботажничают, антанту призывают! Всю эту сволочь нужно истребить, и чтоб осталась одна святость!

— Много у вас святости останется при такой кровожадности! Вот потому-то, что у вас почти все такие, социализма вы и не сможете устроить.

— Что?!—Матрос вскочил на ноги и с тесаком ринулся на Катю.—Не устроим?!—Он остановился перед нею и стал бить себя кулаком в грудь.—Поверьте мне, товарищ! Вот, отрубите мне голову тесаком: через три недели во всем мире будет социальная революция, а через два месяца везде будет социализм. Формальный! Без всякого соглашательского капитализму!.. Что? Не верите?!

Катя смеялась.

— Конечно, не верю.

— А говорите, тоже социалистка!—Матрос с изумлением оглядел ее.—Какая же вы социалистка?

Сгущались сумерки. В темноте взволнованно вспыхивал огонек папироски во рту матроса. Он мало слушал Катю и только повторял беспощадно:

— Растерзать их всех, шкуры спустить и повесить на фонарях! Пусть все видят! Уничтожить! Вот, как с офицерьем было! Попищали они у нас, как погоны мы с них срывали, да в море бросали с палубы вместе с погонами ихними! А то в топку прямо,—пожарься!

Позже Катя часто припоминала тот кровавый хмель ненависти, который гудел в эти годы во всех головах и, казалось, вдруг обнаружил звериную сущность человека. И спрашивала себя через несколько лет: куда же девались эти миллионы звероподобных существ, захлебывавшихся от бурной злобы и жажды крови?

Солдат на скамейке, скуластый парень с добродушным лицом, не торопясь, рассказывал:

— Мы на фронте только в газетах прочли, что погоны снимают,—не стали и приказа ждать, прямо офицера за погоны: «Ты что, сукин сын, погоны нацепил?» Если ливарвер найдем, штык в брюхо. Согнали всех офицеров в одно место, велели погоны скидать. Иные плачут,—умора!

И другой отозвался, бородатый:

— Да, изменение большое тогда пошло. Раньше, бывало: «Ваше высокопревосходительство!» «Ваше благородие!» «Рад стараться!« А тут командиру корпуса: «Ну-ка, товарищ, дай-ка прикурить». Не даст,—в ухо!

А матрос взволнованно говорил:

— Теперь у нас разговор короткий: труд! И больше ничего! Не трудящийся да не ест! Не хочешь работать,—к чорту ступай! А как раньше бывало: руки белые, миллиарды десятин у него, в коляске развалился, кучер с павлиньими перьями, а мужик на него работает да горелую корку жует!

— Вы говорите,—труд. А я вот смотрю,—меньше всех трудитесь сейчас как раз вы все. Я даже не могу понять: как не скучно так бездельничать!

Матрос опять ринулся на Катю, сумасшедше сверкая глазами.

— Что?! Бездельничаем?.. Вчера на субботнике вот как работали! До кровавых мозолей! Дрова пилили... Смотрите, руки какие! А вы что говорите!

Катя взглянула и вдруг расхохоталась. Схватила матроса за руку и потащила к костру.

— Слушайте, да что же это такое?! Ну-ка, ну-ка! Господи, какие нежные, барские ручки! Белые, мягкие и два кровавых волдырика на них!.. Посмотрите мои.

Она протянула ладони, покрытые плотными, желтыми мозолями. Матрос сконфузился и спрятал руку.

— Нет, нет, дайте мне посмотреть! Что же это такое? Я такие ручки только в прежнее время у барышень видела, которые всегда в перчатках... Если сейчас людей сортировать по мозолистым рукам, то вас в первую очередь надо на мушку!.. Ха-ха-ха!

Скуластый солдат враждебно возразил:

— Мы сейчас кровь проливаем.

— «Кровь»... Вы—армия трудящихся. Глядя на вас, все мы должны уважать труд, а все только говорят: «вот бездельники! еще больше, чем прежние офицеры!» У них тоже такие вот ручки белые были, как у вас. И они тоже говорили: «мы кровь проливаем, потому бездельничаем».

— Вскипел, что ли, чайник?.. С разговорами вашими...

Матрос стал подкладывать щепки в костерик. Катя беззвучно смеялась про себя.

Продолжали разговаривать. Матрос сделался смирнее и уже не кидался на Катю с тесаком.

Она спросила:

— А скажите, много вы на своем веку убили людей?

Матрос улыбнулся.

— Штучку эту видите?—Он хлопнул рукою по револьверу у пояса, вынул его и стал вертеть в руках.—Много бы она могла вам порассказать!

Катя с тоскою воскликнула:

— И неужели, неужели никогда совесть вас не мучит!

— С чего? А они как? Попадись к ним,—тоже разговаривать мало станут.

— И никогда вам не снятся те, кого вы убили?

Он не ответил. Замолчали. На меркнувшем западе, меж пирамидальных акаций, ярче сверкала Венера.

— Вы раньше крестьянином были?

— Крестьянствовал.

Катя тихо сказала:

— Ну, а так: не думается вам иногда? Вот бы все это поскорее кончилось, воротиться домой. Звезда на вечернем небе, пруд, скотина с луга идет домой... Нива своя, волны золотые идут по ржи...

Матрос поморщился и сказал:

— Эх! Никогда этого, думается, уж не будет!.. Зверем стал.

Потом подбодрился, взял себя в руки и другим голосом сказал:

— Своей нивы теперь не будет полагаться. Сознательность пойдет. Везде будет коммуна. Какой смысл? Каждый на своем

клочке ковыряется, без солидарности. Будет общий труд, товарищество, общественная нива, и все, как один человек, будут выходить с косами.

Бородатый солдат, больше все молчавший, вдруг вскочил на ноги, взволнованно подошел к матросу.

— Вот! Бей меня тесаком по шее! Руби голову долой! Я десять лет свиней пас! Понимаешь ты это дело?

— Ну, свиней пас? Что понимать?—пренебрежительно спросил матрос.

— Десять лет свиней пас у барина! Сейчас у нас пять десятин на отрубе. Руби голову, а не отдам вам! На,—вымай тесак свой, руби!

— Вот дура!—Матрос растерянно взглянул на него.—Пьян!

— Нет, не пьян. И пусть Николай второй опять будет!

* * *

К Мириманову пришла повестка: временным революционным комитетом на него налагается контрибуция в сорок тысяч рублей; деньги должны быть внесены в двадцать четыре часа: если не будут внесены к сроку, с гражданином Миримановым будет поступлено со всею революционною строгостью.

Мириманов изумился: деньги его лежали в банке, а на-днях только было об'явлено, что все вклады в банках конфискуются. Он пошел об'ясняться в ревком. Долго спорили, торговались. Наконец, спустили ему до пятнадцати тысяч. Мириманов внес.

Вдруг через два дня новая повестка: внести дополнительные двадцать пять тысяч. Мириманов опять пошел и решил добиться свидания с самим председателем ревкома Искандером. Воротился домой часов через шесть, бледный от подавляемого бешенства, гадливо вздрагивающий.

— Кричал на меня, как пьяный, топал ногами. «Все мы знаем, что вы золото лопатами загребали! Если не внесете,— сгною в подвале!»—Он обратился к Кате:—Ну, об'ясните мне: вклады конфискованы, продавать вещи запрещено, дом теперь не мой,—откуда же прикажете достать денег? Все, что было,

отдали им. А ты знаешь, кто этот Искандер?—спросил он жену.— Приказчик из универсального магазина Оганджанца и К°, я его помню, в мануфактурном отделении торговал,—молодой армяшка с низким лбом... И какой себе псевдоним взял, паршивец! Наверно, и не слыхал про Герцена.

Заплатить было нечем. Назавтра пришли милиционеры и увели Мириманова. Любовь Алексеевна проводила его до ворот Особого Отдела. Дальше ее не пустили. Но она видела решетчатые отдушины подвалов, где сидели заключенные, в отдушины несло сырым и спертым холодом. А толпившиеся у ворот родственники сообщили ей, что заключенные спят на голом цементном полу.

Любовь Алексеевна истерически рыдала, сверкая золотом зубов, и говорила Кате:

— Ведь у него туберкулез легких! Его подвал убьет в одну неделю!

— Подайте прошение в ревком, укажите, что он тяжело болен. Не может же быть, чтоб на это не обратили внимания! Завтра же подайте.

— Екатерина Ивановна, пойдите со мной!

* * *

Назавтра они пошли.

Записывала на прием барышня с подведенными глазами, слушавшая высокомерно и нетерпеливо. Четыре часа ждали очереди в темном коридоре. Хвост продвигался вперед очень медленно, потому что приходили рабочие, и их пропускали не в очередь. Наконец, вошли.

В просторном кабинете стиля модерн, за большим письменным столом с богатыми принадлежностями, сидел бритый человек. Катя сразу узнала неприятного юношу с массивной нижней челюстью, которого она видела в советской столовой. Так это и был Искандер! Но тут, вблизи, она увидела, что он не такой уже мальчик, что ему лет за тридцать.

Искандер молча взглянул на золотые зубы Любови Алексеевны странными своими глазами, как-будто разошедшимися

в стороны под придавленным лбом. Любовь Алексеевна протянула ему прошение и, волнуясь, стала говорить.

Он слушал, читал бумагу и кивал головою.

— Угу!.. Да... Так...

И все сочувственнее кивал головою.

— Хорошо. Все, что возможно, будет сделано. Не волнуйтесь.

Взял чернильный карандаш и на углу прошения стал писать.

— Вот. Пойдите, отдайте бумагу управляющему делами. По коридору вторая дверь направо.

Любовь Алексеевна растерялась от радости.

— Спасибо вам!.. Большое, большое вам спасибо, товарищ Искандер!

— Не стоит, сударыня. Это наш долг.

Они вышли. Любовь Алексеевна восторженно говорила:

— Смотрите, какой милый! Совсем не такой, как о нем говорили. Что он написал?

На площадке лестницы они стали читать. Любовь Алексеевна вздрогнула.

— Господи! Да что же это? Екатерина Ивановна, что же это здесь...

На прошении крупным размашистым почерком было написано:

«Оставить эту нахальную бумагу без последствий. Держать в подвале, пока не внесет до копейки. А сдохнет, беда не велика».

Милиционер у двери в кабинет не хотел их впустить. Катя властно сказала:

— Да мы сейчас тут были, нам два слова.

Председатель ревкома разговаривал с толстою, заплаканною женщиной. Он взглянул на них, и Катя прочла в его глазах скрытно блеснувшее, острое наслаждение. Любовь Алексеевна подошла.

—Товарищ Искандер!.. Что же это, недоразумение? Вы издеваетесь надо мной...

Искандер вскочил с потемневшими глазами и топнул ногою.

— Вон!! Как вы смели сюда войти?

Катя вмешалась.

— Да послушайте! Поймите же: откуда им взять денег, если деньги были в банке, а из банка не выдают!

— Где хотите, доставайте! Нам хорошо известно, как он зарабатывал! Тысячи загребал. Юрисконсультом был у самых крупных фабрикантов; рабочих засаживал в тюрьмы. Пусть теперь сам посидит. Я вас заставлю распотрошить ваши подушки! Сегодня же переведу его в карцер,—будет сидеть, пока все не внесете.

Катя в бешенстве спросила:

— Скажите, пожалуйста, кому можно на вас жаловаться?

Искандер изумленно поднял брови, поглядел на нее и с наслаждением ответил:

— Можете телеграмму послать Ленину... Товарищ Григорьев!

В дверях появился милиционер.

— Чего вы сюда впустили этих? Гоните их вон!

Они вышли. Когда спускались по широкой лестнице, Любовь Алексеевна вдруг дернула Катю за рукав и покатилась по мраморным ступенькам вниз.

* * *

Мучительный был день. Катя не пошла на службу и осталась с Любовью Алексеевной. Мириманова была, как сумасшедшая, вырывалась из Катиных рук, билась растрепанною головою о стену и проклинала себя, что ухудшила положение мужа.

Только поздно ночью она заснула тяжелым, летаргическим сном. То-и-дело как будто кто-то другой рыдал в ней смутным, словно из другого мира звучавшим рыданием.

На заре в прихожей зазвенели сильные, настойчивые звонки. Любовь Алексеевна со стоном проснулась и вскочила. Катя отперла.

Вошло четверо,—двое мужчин и две женщины.

— Что вам нужно?

Один, высокий, с револьвером у пояса, властно спросил:

— Кто живет в этой квартире?

— Тут много живет...

— Рабочие или из буржуазии?

— В тех двух комнатах живут красноармейцы... Я—советская служащая...

— Вон в тех двух? Хорошо... Товарищи, сюда!

Они вошли в комнату Любови Алексеевны. Женщины подошли к комодам и стали выдвигать ящики. Высокий с револьвером стоял среди комнаты. Другой мужчина, по виду рабочий, нерешительно толокся на месте.

С револьвером сказал:

— Товарищ, что ж вы?—Он повел рукой вокруг.—Выбирайте, берите себе, что приглянется. Вот, откройте сундук этот.

Рабочий мялся. Катя спросила:

— Скажите, что это? Обыск?

— Из'ятие излишков у буржуазии... Товарищ, пойдите-ка сюда!

Мужчина с револьвером открыл сундук.

— Вот, шуба меховая. Я думаю, пригодится вам?

Любовь Алексеевна, в кофточке, сидела на постели с бессильно свисшими, полными плечами и безучастно смотрела.

Рабочий конфузливо вынул шубу, отряхнул ее от нафталина и нерешительно оглядел. Женщины жадно выкладывали на диван стопочки батистовых женских рубашек и кальсон, шелковые чулки и пикейные юбки.

Одна, постарше, с желто-худым лицом работницы табачной фабрики, спросила нерешительно:

— Товарищ, а зеркало можно взять?

— Берите, берите, товарищ, чего стесняетесь? Видите, сколько зеркал. На что им столько! По три смены белья оставьте, а остальное все берите.

У женщин разгорались глаза. Младшая взяла с туалета две черепаховых гребенки, коробку с пудрой, блестящие ножницы.

Мужчина с револьвером обратился к рабочему, все еще в нерешительности смотревшему на шубу.

— Ну, товарищ, чего ж вы? Берите, нечего думать. Шуба теплая, буржуйская. Великолепно будет греть и пролетарское тело!

Любовь Алексеевна сказала:

— Послушайте, вы говорите,—из'ятие излишков. Это единственная шуба моего мужа.

— А где ваш муж?

— Он... он сейчас арестован за невзнос контрибуции...

— Та-ак...—Мужчина усмехнулся.—Берите, товарищ! Ему в тюрьме и без шубы будет тепло.

Любовь Алексеевна уткнулась головою в подушку.

— Господи!.. Господи, господи! Когда же смерть? Когда же, когда же смерть!

Она рыдала в подушку, колыхаясь всем своим телом.

Женщины, с неприятными, жадными и преодолевающими стыд лицами, поспешно, как воровки, увязывали узлы. Рабочий вдруг махнул рукою, положил шубу обратно в сундук и молча пошел к выходу.

* * *

Через день Катя читала в газете «Красный Пролетарий»:

Поход наших рабочих на буржуазию.

22-го апреля состоялось торжественное заседание конференции Завкомов и Комслужей и разных комиссий при Завкомах. Зал театра «Иллюзион» был переполнен. Собралось свыше 800 рабочих и работниц. Раньше были обсуждены некоторые нерассмотренные вопросы конференции, как-то Собес и жилищный вопрос. В обоих докладах ясно вырисовывалась необходимость принять срочные решительные меры по отношению к буржуазии и облегчению участи рабочих. После этого был заслушан доклад тов. Маргулиеса о революционном движении на Западе.

С внеочередным заявлением выступил предревком товарищ Искандер, который предложил революционные слова претворить в действия и этой же ночью произвести первое нападение на буржуазию для из'ятия излишков.

Гром аплодисментов и несмолкаемые радостные клики всего собрания были показателем того, что предложение любимого вождя нашло пролетарский отклик у всех делегатов собрания.

Вопрос не вызвал споров. Он был слишком ясен, он был слишком понятен, слишком бесспорен!

Загорелись глаза у пролетариев, понасупились брови, сжались невольно в кулаки мозолистые руки. Уж мы покажем.

Предстояло просидеть в театре до пяти часов утра с тем, чтобы на рассвете двинуться на работу. Время пробежало весьма быстро. Члены союза «Всерабис» сколотили на скорую руку концерт, и зал начал жить небывало интенсивною жизнью. Знаменитый артист Белозеров затянул родную нашу «Дубинушку». Мощный голос певца звучал истинно-революционным под'емом, и дружно подхватила рабочая масса припев. Все слились в один общий коллектив, спаянный великим огнем революционно-пролетарского гнева. Сцена не оставалась ни на минуту пустой. К двум часам ночи уже не было нужды в артистах-профессионалах.

Раскачалась рабочая масса. Один за другим вылезали на сцену простые рабочие и нехитрым языком, не смущаясь, рассказывали анекдоты, декламировали стихи.

К пяти часам утра коммунисты уже разбились на районы и на тройки, чтобы руководить отрядами. Очередь была за рабочей конференцией.

Весело, толкая друг друга, перекидываясь шутками, выходила группа за группой рабочих на соединение с коммунистами в поход на буржуазию.

— Петь можно?—спросил у меня один рабочий.

— Не стоит,—ответил я.

— Чего же бояться, ведь мы же рабочие!—возразил он, полный мощного сознания силы рабочего класса.

Спартак.

* * *

Любовь Алексеевна где-то достала двадцать пять тысяч и внесла в ревком. Мириманова выпустили.

* * *

В отделе Наробраза работа шла полным и ладным ходом. Открывались новые школы, библиотеки, студии, устраивались концерты и популярные лекции.

Однажды Дмитревский, когда остался у себя в кабинете один с Катею, пожал плечами и сдержанно усмехнулся.

— Все это, конечно, очень хорошо, но ведь для того, чтоб такую огромную программу провести в жизнь, нужны средства богатейшего государства. Программы намечают широчайшие, а средств не дают. Народным учителям мы до сих пор не заплатили жалованья. Дело мы развертываем, а чем будем платить?

Приехал из Арматлука столяр Капралов,—его выбрали заведывать местным отделом народного образования. Он был трезв, и еще больше Катю поражало несоответствие его простонародных выражений с умными, странно-интеллигентными глазами. Профессор и Катя долго беседовали с ним, наметили втроем открытие рабоче-крестьянского клуба, дома ребенка, школы грамоты. Капралов расспрашивал, что у них по народному образованию делается в городе, на лету ловил всякую мысль, и толковать с ним было одно удовольствие.

Он сообщил, между прочим, что несколько барышень-дачниц хотят открыть частную школу. Болгары охотно соглашаются платить, потому что программа предполагается много шире программы народной школы; особенно почему-то их прельщает, что дети их будут учиться французскому языку.

Дмитревский ответил:

— Мысль хорошая. Но только одно необходимое условие: школа должна быть бесплатною.

— Ну, где ж бесплатно! Барышни с голоду помирают. А болгары платить могут, они богатые.

— Все равно. По декретам, обучение всякого рода должно производиться совершенно бесплатно.

— Вы, значит, можете нам такую школу устроить бесплатно?

— Нет, у нас на это нет средств.

Капралов внимательно смотрел на него, и в глазах зажглись смеющиеся огоньки.

— Так как же?

Катя, с удивлением слушавшая профессора, вмешалась:

— Но ведь сами же они соглашаются платить! А без платы ничего не выйдет. И хорошее культурное начинание заглохнет.

— Глаза Дмитревского смотрели растерянно, но тем решительнее он ответил:

— Бедняки платить не в состоянии. И получится опять привилегированная школа. Пусть тогда общество сложится, платит от себя.

— Ну! Не знаете, что ли, наших мужичков? У кого детей нет или учить не желает,—разве согласится платить?

— Тогда не могу разрешить.

В первый раз Катя повздорила с Дмитревским. Но он остался при своем.

* * *

В сумерках шла Катя через приморский сквер. Душно было, горячая пыль неподвижно висела в воздухе. От загаженной, с оторванными досками, ротонды, где в прежние времена играла музыка, шел тяжкий, отшатывающий запах; там уж третий день смердела в кустах дохлая собака с оскаленными зубами, и никто ее не прибирал. Поломанные кусты, затоптанная трава. И от домов за сквером тянуло давно нечищенными помойными ямами и отхожими местами. Хотелось вон из города, наверх в горы, где не загажена людьми земля, где плавают в темноте чистые ароматы цветущих трав.

По узкому переулку, мимо грязных, облупившихся домиков, Катя поднималась в гору. И вдруг из сумрака выплыло навстречу ужасное лицо: кроваво-красные ямы вместо глаз, лоб черный, а под глазами по всему лицу—в'евшиеся в кожу черно-синие пятнышки от взорвавшегося снаряда. Человек в солдатской шинели шел, подняв лицо вверх, как всегда слепые, и держался рукою за плечо скучливо смотревшего мальчика-поводыря; свободный рукав болтался вместо другой руки.

Катя, широко раскрыв глаза, долго смотрела ему вслед. И вдруг прибойною волною взметнулась из души неистовая злоба. Господи, господи, да что же это?! Сотни тысяч, миллионы понаделали таких калек. Всюду, во всех странах мира, ковыляют и тащатся они,—слепые, безногие, безрукие, с отравленными легкими. И все ведь такие молодые были, крепкие, такие нужные

для жизни... Зачем? И что делать, чтоб этого больше не было? Что может быть такого, через что нельзя было бы перешагнуть для этого?

Катя быстро шла вверх по переулку.

Ничего такого нет! Все допустимо. Все, что только возможно! И слава,—да, да,—и слава, привет тем, кто с яростною решительностью ринулся против этого великого мирового преступления! Вспомнился немец-солдат в «Астории», и как с любовью он оглядывал красноармейцев с заломленными на затылок фуражками.

Были до сих пор для Кати расхлябанные, опустившиеся люди, в которых свобода развязала притаившийся в душе страх за свою шкуру, были «взбунтовавшиеся рабы» с психологией дикарей: «до нашей саратовской деревни им, все одно, не дойти!» А, может быть,—может быть, это не все? Может быть, не только это? И что-то еще во всем этом было,—непознаваемое, глубоко-скрытое,—великое безумие, которым творится история и пролагаются новые пути в ней.

По безумным блуждая дорогам,
Нам безумец открыл Новый Свет,
Нам безумец дал Новый Завет,—
Потому что безумец был богом!

Катя шла по горной дороге, среди виноградников, и смеялась. Да, эти разнузданные толпы, лущившие семечки под грохот разваливающейся родины,—может быть, они бросили в темный мир новый пылающий факел, который осветит заблудившимся народам выход на дорогу.

На повороте лежал большой белый камень. За день он набрал много солнечного жару и был теплый, как печка. Катя села.

Внизу, вокруг дымно-голубой бухты, в пыльной дымке лежал город, а наверху было просторное, зеленовато-светящееся небо, металлическим блеском сверкал молодой месяц, и, мигая, загоралась вечерняя звезда. Там внизу,—какая красота в этой дымке, в этих куполах и минаретах, в светящихся под закатом белых виллах и дворцах! А под ротондой, с обнаженными ребрами стро-

пил, гниет дохлая собака, и тянется по улицам кислая вонь от выгребных ям, и пыль в воздухе, и облупившиеся стены домов Там ли была она права, судя о городе, или здесь, на высоте?

Быстрые мысли бежали через голову, и образы проносились,— жуткие, темные. Генерал с синим лицом, и сумасшедше наскакивающий матрос с тесаком, и бритый человек с темно-сладострастным взглядом из-под придавленного лба. И мужики еще вспомнились, расхищавшие помещичьи усадьбы. Она видела в России эти отвратительные разгромы. Не люди, а жадное зверье, с одною меркою для себя и с иною меркою—для других. А с высоты,— с высоты, может быть, не так? Может быть, еще что-то, более широкое и важное? И, может быть, даже,—великая, благословенная правда и полное оправдание?

* * *

Из верхнего этажа дома Мириманова,—там было две барских квартиры,—вдруг выселили жильцов: доктора по венерическим болезням Вайнштейна и бывшего городского голову Гавриленко. Велели в полчаса очистить квартиры и ничего не позволили взять с собою, ни мебели, ни посуды,—только по три смены белья и из верхней одежды, что на себе.

— Куда ж нам выселяться?

— Нам какое дело? Куда хотите.

Бледный Вайнштейн, вдруг вдвое потолстевший,—он надел на себя белья и одежды, сколько налезло,—ушел с многочисленною семьею к родственникам своим в пригород. Старик Гавриленко растерянно сидел с женою у Мириманова.

— Но скажите, пожалуйста, ведь все-таки,—какая же нибудь нужна законность. Ну, выселили,—предоставьте хоть чуланчик какой!

Мириманов процедил сквозь зубы:

— «Революционное правосознание!»

— Я одного не понимаю: зачем такое изысканное бесчеловечие? Как будто нарочно всех хотят восстановить против себя.

Жена Гавриленко рыдала.

— Где жить и чем жить? Все там осталось, продавать даже будет нечего. Была бы помоложе, хоть бы в хор пошла к Белозерову. А теперь и голоса никакого не осталось.

Она кончила консерваторию и до замужества с большим когда-то успехом выступала в московской опере.

К вечеру в квартиры наверху вселилось шесть рабочих семей. И по всему городу стояли стоны и слезы. Очищено было около ста буржуазных квартир.

* * *

Длинные очереди Гавриленко простаивал в жилищном отделе, наконец, добирался. Ему грубо отвечали:

— Записали вас,—чего же еще! Дойдет до вас очередь, получите комнату.

Гавриленко, корректный и вежливый, возражал:

— Но ведь меня из моей квартиры выселили, я остался на улице. В буквальном смысле. Куда же мне деться?

— У нас коммунисты, ответственные работники, ночуют в коридорах гостиниц и ждут угла по неделям.

Выселили и фельдшерицу Сорокину, жившую у Гавриленки. Катя предложила ей поселиться с нею в комнате. Но в домовом комитете потребовали ордера из жилотдела. А в жилищном отделе Сорокиной сказали, что Катя сама должна прийти в отдел и лично заявить о своем согласии.

— Господи, какая формалистика! Целый день терять! Ну, дешево у них время!

Однако, пошла. Простояли с Сорокиной длиннейшую очередь, добрались. Черноволосая барышня с матовым лицом и противно-красными, карминовыми губами нетерпеливо слушала, глядя в сторону.

— Ничего нельзя сделать. К вам вселят по ордеру жилищного отдела.

Катя остолбенела.

— Позвольте! В праве же я выбрать сожительницу себе по вкусу! И ведь тут же вчера нам сказали, что я должна только заявить о своем согласии.

— Не знаю, кто вам сказал.

Сорокина поспешно об'яснила:

— Сказал товарищ Зайдберг, заведующий жилотделом.

— Ну, и идите к нему.

— Куда?

Барышня перелистывала бумаги.

— Товарищ, куда к нему пройти?

— Что?

— Куда пройти к товарищу Зайдбергу?

— Ах, господи! Комната № 8.

В коридоре они встретили доктора Вайнштейна. Он с довольным лицом шел к выходу. Катя спросила:

— Получили ордер?

— Да.

— Как?

Вайнштейн втянул голову в плечи, поднял ладони, улыбнулся лукаво и прошел к выходу. Катя с Сорокиной вошли в комнату № 8.

Щеголевато одетый молодой человек, горбоносый и бритый, с большим, самодовольно извивающимся ртом, весело болтал с двумя хорошенькими барышнями.

— Надежда Васильевна, Роза Моисеевна определенно говорит, что видела вас вчера вечером на бульваре с очень интересным молодым человеком...

Они болтали и как-будто не замечали вошедших. Катя и Сорокина ждали. Катя, наконец, сказала раздраженно:

— Послушайте, будьте добры нас отпустить. Мне на службу надо.

Лицо молодого человека стало строгим, нижняя губа пренебрежительно отвисла.

— В чем дело?

Катя об'яснила.

— Ничего не могу сделать. Вы подлежите ответственности, что сами занимаете комнату, в которой могут жить двое, и не заявили об этом в отдел. Поселят к вам того, кому я дам ордер.

Сорокина упавшим голосом сказала:

— Но, товарищ Зайдберг, ведь вы же вчера сами сказали, что требуется только личное согласие того, к кому вселяются.

— Ничего подобного я не говорил. Не могу вас вселить. Я обязан действовать по закону.

— В чем же закон?

— В чем я скажу... Я извиняюсь, мне некогда. Ничего для вас не могу сделать.

Катя в бешенстве смотрела на него. Бестолочь и унижения сегодняшнего дня огненным спиртом ударили ей в голову. Она пошла к двери и громко сказала:

— Когда же кончится это хамское царство!

Молодой человек вскочил.

— Что вы сказали?!. Товарищи, вы слышали, что она сказала?

Катя, пьяная от бешенства, остановилась.

— Не слышали? Так я повторю. Когда же кончится у нас это царство хамов!

— Надежда Васильевна! Кликните из коридора милиционера... Прошу вас, гражданка, не уходить. Я обязан вас задержать.

Вошел милиционер с винтовкой. Молодой человек говорил по телефону:

— Особый отдел?.. Пожалуйста, начальника. Просит заведующий жилотделом... Товарищ Королицкий? Я сейчас отправлю к вам белогвардейку, занимается контрреволюционной пропагандой... Что? Хорошо. И свидетелей? Хорошо.

Он стал писать.

— Вы не отпираетесь, что сказали: «когда же кончится это хамское царство?»

— Не отпираюсь и еще раз повторяю.

— Товарищ милиционер, подпишитесь и вы свидетелем, вы слышали. С этою бумагою отведете ее в Особотдел.

Милиционер с винтовкою повел Катю по улицам.

В комнате сидел человек в защитной куртке, с револьвером. Недобро поджав губы, он мельком равнодушно оглядел Катю, как хозяин скотобойного двора—приведенную телушку.

— Вы занимались контрреволюционной агитацией?

Катя усмехнулась.

— Странно было бы заниматься такой агитацией пред большевиками.

Особник неожиданно ударил кулаком по столу.

— Чего смеешься, белогвардейка паршивая! Пропаганду разводишь в городе! Я тебе покажу!

Катя побледнела и выпрямилась.

— Если вы со мною будете так разговаривать, я вам слова не отвечу на ваши вопросы.

Он внимательно оглядел ее.

— Ого! Видна птичка по полету. В камеру Б!—распорядился он.

* * *

Это был подвал с двумя узкими отдушинами, забранными решеткою. Мебели не было. Стоял только небольшой некрашеный стол. Когда глаза привыкли к темноте, Катя увидела сидящих на полу возле стен несколько женщин. Она спросила с удивлением:

— Скажите, а коек здесь не полагается?

Седая женщина с одутловатым лицом ответила:

— Нет.

— Так как же?

— На полу. Что тут есть,—у каждого свое, доставлено из дому. Садитесь ко мне.

Катя подошла к двери и стала стучать. Грубый голос спросил:

— Что надо?

— Откройте, мне нужно вам сказать.

Дверь открыл солдат с винтовкой.

— Ну? что такое?

— Скажите, где же мне тут спать? Где присесть?

Солдат изумился.

— Где хочешь.

— Как же мне? На голом каменном полу? Дома даже не знают о моем аресте, у меня ничего нету. Дайте мне хоть голую койку.

— Не полагается.

— Как это может быть? Тогда позовите ко мне начальника.

— Пошел он к тебе!

— Потрудитесь не говорить мне «ты»!—вскипела Катя. Солдат долго поглядел на Катю и надвинулся на нее.

— Будешь тут бунтоваться, я тебя скоро сокращу... Пошла! Он толкнул ее в плечо и запер дверь.

Катя в беспомощном бешенстве оглядывалась.

Есть за весь день ничего не дали. Хлеб выписывали с утра, и она могла получить только завтра. Приютила Катю на своем одеяле та седая женщина, с которой она говорила.

Голодная и разбитая впечатлениями, Катя всю ночь не спала. В душе всплескивалась злоба. Через одеяло от цементного пола шел тяжелый холод, тело горело от наползавших вшей. И мелькало пред глазами бритое, горбоносое лицо с надменно отвисшею нижнею губою. Рядом слабо стонала сквозь сон старуха.

* * *

Два дня прошло. Любовь Алексеевна узнала от Сорокиной об аресте и принесла для Кати подушку, одеяло и тюфячок.

В камере сидело пять женщин. Жена и дочь бежавшего начальника уездной милиции при белых. Две дамы, на которых донесла их прислуга, что они ругали большевиков. И седая женщина с одутловатым лицом, приютившая Катю в первую ночь,—жена директора одного из частных банков. С нею случилась странная история. Однажды, в отсутствие мужа, к ней пришли два молодых человека, отозвали ее в отдельную комнату и сообщили, что они—офицеры, что большевики их разыскивают для расстрела, и умоляли дать им приют на сутки.

— А лица такие неприятные, глаза бегают... Но что было делать? Откажешь, а их расстреляют! Всю жизнь потом никуда не денешься от совести... Провела я их в комнату,—вдруг в дом комендант, матрос этот, Сычев, с ним еще матросы. «Офицеров прятать?» Обругал, избил по щекам, арестовали. Вторую неделю

сижу. И недавно, когда на допрос водили, заметила я на дворе одного из тех двух. Ходит на свободе, как-будто свой здесь человек.

День тянулся в полумраке, ночь—в темноте. Света не давали. Кате вспомнились древние,—раньше казалось, навсегда минувшие,—времена, когда людей бросали в каменные ямы, и странною представлялась какая-нибудь забота о них. Вспомнился когда-то читанный рассказ Лескова «Аскалонский злодей» и Иродова темница в рассказе. Все совсем так.

Жена директора банка тяжко стонала по ночам от ревматизма. Лица у всех были бело-серые, платья грязные, живые от вшей. Голод, бессветие, дурной воздух. В душах неизбывно жили ужас и отчаяние.

Катя узнала от товарок по заключению, что их камера, Б,—«сомнительная». Из нее переводят либо в камеру А—к выпуску, либо в камеру В—для расстрела. На-днях расстреляли двух девушек-учительниц за саботаж и контрреволюционную пропаганду. Катя жадно расспрашивала про них днем, а ночью бледные их тени реяли пред нею в темноте.

* * *

Позвали к допросу. Когда Катя входила в просторную комнату особняка, где ждал допрос, ее вдруг стала трепать такая дрожь, и так забилось сердце, что Катя пришла в отчаяние.

Сидело за столом трое, один из них—тот, который на нее тогда стучал кулаком. Сидевший в середине, бритый, спросил:

— Ваше имя, фамилия?

Катя сказала.

— Вы родственница товарища Сартанова-Седого?

— Это к делу не относится!—резко оборвала Катя.

Бритый внимательно поглядел. Тот, прежний, неподвижным взглядом уставился на Катю, и в тяжелых глазах его был уже предрешенный приговор. Третий, широкоскулый, в матросской фуражке, с смеющимся про себя любопытством приглядывался к взволнованному лицу Кати, так странно не соответствовавшему ее резкому тону.

— Бывшее звание ваше?

— Дворянка,—с вызовом ответила Катя. И задыхалась, и прижимала руку к сердцу.

Бритый успокаивающе сказал:

— Да вы не волнуйтесь, дело пустяковое.

Катя с презрением возразила:

— Я вовсе не от допроса вашего волнуюсь.

Бритый предложил рассказать, как было дело. Допрашивал мягко и не враждебно. Катя все рассказала и прибавила, что в «хамском царстве» вовсе не раскаивается, что этот Зайдберг, правда, держался, как хам.

— И я думаю, вы на моем месте, если бы испытали все эти издевательства, тоже сказали бы так.

Бритый улыбнулся тонкими своими губами.

— Ну, я бы выразился осторожнее: назвал бы хамом его, если бы стоил, а не говорил бы вообще о хамском царстве... Можно увести,—обратился он к страже.

Катя еще больше заволновалась.

— Я имею сделать заявление.

— Пожалуйста.

— Вот какое заявление...

И вдруг она перестала дрожать, в душе стало радостно и твердо.

— Я сидела в царских тюрьмах, меня допрашивали царские жандармы. И никогда я не видела такого зверского отношения к заключенным, такого топтания человеческой личности, как у вас... Я сижу в камере подследственных, дела их еще не рассмотрены, может быть, они еще даже с вашей точки зрения окажутся невинными. А находятся они в условиях, в которых при царском режиме не жили и каторжники. У тех хоть нары были, им хоть солому давали, им хоть позволяли дышать иногда чистым воздухом. А вы бросаете ваших пленников в темные подвалы, люди лежат на холодном каменном полу, вы их морите голодом. Тюремщики обращаются с ними, как с рабами, кричат на них, говорят им «ты». Неужели же вас ни разу не поинтересовало зайти и посмотреть, как вот здесь, под полом, под вами, живут

люди, которых вы лишили свободы?.. И потом. Вы вот выясняете мою вину,—а почему вы не стараетесь выяснить, что ее вызвало? Почему не арестовываете людей в роде этого Зайдберга или вашего Искандера? Они своими действиями гораздо больше подрывают авторитет вашей власти, чем всякие контрреволюционные пропаганды.

Катя все высказала, что у нее накопилось. И когда ее вели назад в тюрьму, в душе было удовлетворение и блаженная тишина.

* * *

Рассказала о допросе, и что она им сказала. И вдруг все кругом замерли в тяжелом молчании. Смотрели на нее и ничего не говорили. И в молчании этом Катя почувствовала холодное дыхание пришедшей за нею смерти. Но в душе все-таки было прежнее радостное успокоение и задорный вызов. Открылась дверь, солдат с револьвером крикнул:

— Сартанова! Собирай вещи. Через час к выпуску.

Так говорили, и когда на волю выпускали, и когда уводили на казнь. Вчера выпустили одну из дам, сидевших по доносу прислуги: все писали письма, чтобы передать с нею на волю. Теперь никто. И украдкою все с соболезнованием и ужасом поглядывали на Катю. Ясно было,—все они понимают, что ее переводят в страшную камеру В.

Кате стало весело, и смех неудержимо забился в груди: да неужели это, правда, смерть? И неужели бывает так смешно умирать? Она хохотала, острила, рассказывала смешные вещи. И что-то легкое было во всем теле, поднимавшее от земли, и с смеющимся интересом она ждала: десяток сильных мужчин окружит ее; поведут куда-то, наставят ружья на нее. И им не будет стыдно...

* * *

Но оказалось, выпустили на волю. Дома Катя узнала, что за нее сильно хлопотал профессор Дмитревский. Особенный эффект

на них произвело, что она—двоюродная сестра Седого. Сообщили ей также, что приходил жилищный контролер и взял ее комнату на учет.

* * *

Домовым комитетам было об'явлено: кто первого мая не украсит своего дома красными флагами, будет предан суду ревтрибунала. Гражданам предписывалось, под страхом строжайшей революционной ответственности, представить в ревком всю имеющуюся красную материю. Бухгалтер отдела с скрытою улыбкою сообщил Кате, что на табачной фабрике вывешено об'явление завкома о поголовном участии в манифестации. Кто не пойдет, будет об'явлен врагом пролетариата.

В отделе был получен "церемониал" манифестации. Дмитревский суетился и напоминал сотрудникам, чтоб ровно к десяти часам все собрались в отдел, а оттуда все вместе двинутся к сборному пункту у фонтана Орам-Тимура (теперь—фонтан Карла Либкнехта). Он рассматривал с художниками знамена и плакаты.

Катя спросила:

— Нужно обязательно участвовать на демонстрации.

— Обязательно!

— А я не пойду. Противно. По принуждению.

Дмитревский растерянно взглянул на нее.

— Конечно, насильно вас никто не станет заставлять. Но желательно, чтоб отдел был представлен полностью.

Белозеров кипуче работал. В театре готовились к постановке «Ткачи», оркестры разучивали революционные марши, инструкторы по пению обучали по фабрикам хоры рабочих.

* * *

Катя пошла часам к одиннадцати посмотреть. На панелях в ожидании густо стояли зрители. Катя была уверена, что народу на демонстрации будет позорно-мало, и в душе ей хотелось этого.

Был чудесный солнечный день, за деревьями сквера сверкало море. Вдали могуче загремел оркестр. Интернационал. Промчался на автомобиле Белозеров с огромным красным бантом на груди.

Музыка приближалась. Заалели под солнцем развевающиеся знамена, плескались красные флаги на домах.

Старый учитель гимназии,—Катя его однажды видела у Миримановых,—вполголоса говорил соседу:

— Людям одеться не во что, а тысячи аршин материи тратят на флаги и знамена!

За музыкой слышен был хор человеческих голосов. Медленно колыхаясь, надвигались темные массы людей, над ними качались плакаты и знамена.

Маленький мальчик с одушевлением говорил:

— Мама! Мама! Гляди! Вон-они идуть! С флагими.

— Значит, крестный ход ихний.

— Осади назад!

Милиционеры грубо оттесняли зрителей винтовками на тротуары. Катя вспомнила прежние первомайские демонстрации и жертвенный огонь мученичества в глазах участников. Никто тогда не расчищал перед ними дороги, и Белозеров бы тогда не обучал рабочих хоров.

Шли мимо ряды красноармейцев с винтовками на плечах, с красными перевязями на руках. Катя увидела в рядах знакомых немцев в касках. Могучие мужские голоса пели, сливаясь с оркестром:

Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим!
Кто был ничем, тот будет всем.

И шли ряды. Рабочие в пиджаках, работницы в светлых платьях, советские служащие, кокетливые барышни на высоких каблучках, с колеблющеюся походкою. Проплывали плакаты на длинных палках:

Да здравствует международная социальная революция!
Да здравствует книга в руках пролетариата!

— В первый раз слышу, чтоб кто-нибудь желал здоровья книге!

Да здравствует братство трудящихся! Нет ни русских, ни евреев, ни татар, ни немцев! Есть братья-рабочие и враги-капиталисты!

У Кати начинала колыхаться и под'емно звенеть душа от торжественно-боевого темпа музыки, от алого плеска знамен, блеска солнца, от токов, шедших от этой массы людей. Всё шли, шли мимо; обрывки песен выплескивались из живого потока:

Мы потеряем лишь оковы,
Но завоюем целый мир!

Людские волны укатывались к площади, и новые надвигались.

Вперед, друзья! Идем все вместе,
Рука с рукой, и мысль одна!
Кто скажет буре: «стой на месте!»
Чья власть на свете так сильна?

Задержка какая-то впереди, процессия остановилась. Худощавый рабочий средних лет, державший палку от плаката, отер пот с лысеющей головы, довольно улыбнулся, поглядел вперед, назад.

— Бог даст, одолеет рабочий класс капитал, тогда будет хорошо!

У Кати больно защемило в душе. Вспомнились гнусные подвалы и безвинные люди в них с опухлыми лицами, раскосые глаза Искандера, тлеющие темно-кровавым огнем... Не может же этот не знать обо всем! А если знает,—как может смотреть так благодушно и радостно?

Опять двинулись. Плакат:

Женщины Востока! Вы были рабынями мужчин, теперь вы стали свободными людьми! Дружно на общую работу для счастья трудящихся!

Шли рядом татарки, всё молодые, в низких фиолетовых бархатных шапочках, сверкавших позументами и золотом. Ярче позументов сверкали прелестные глаза на овальных лицах. Какбудто из мрачных задних комнат только-что выпустили этих черноглазых девушек и женщин на вольный воздух, и они упоенно оглядывали залитый солнцем, прекрасный мир.

Море голов и лес знамен на Генуэзской площади (теперь—площадь Урицкого). Трибуна, обтянутая красным сукном, с зелеными ветвями мимоз. Один за другим всходили ораторы. Воздух был насыщен радостным электричеством победного торжествования. Катя видела вокруг жадно прислушивающиеся лица, празднично светящиеся глаза. И как-будто не отдельные души были в людях: одна общая душа, большая, как море, торжествовала какое-то великое достижение. Иногда Катю втягивало и уносило с собою это общее настроение—и потом вдруг отшатывало: сколько злобы и ненависти было в несшихся призывах. Зачем? Зачем теперь? Неужели и так не слишком много этой ненужной злобы? Почему ни одного призыва к благородству и великодушию победителей.

Выступил Леонид. Его речь понравилась Кате. Ругнул буржуев, империалистов, и стал говорить о новом строе, где будет счастье, и свобода, и красота, и прекрасные люди будут жить на прекрасной земле. И опять Катю поразило: волновали душу не слова его, а странно звучавшая в них музыка настроения и крепкой веры.

А потом над трибуной появилась огромная седая голова профессора Дмитревского. В последнее время Катя морщилась от некоторых его поступков, ей казалось,—слишком он приспособляется, слишком не прямо ходит. Но тут он ее умилил. Ни одного злобного призыва. Он говорил о науке и ее великой, творческой

роли в жизни. Чувствовалось, что наука для него—светлая, благостная богиня, что она все может сделать, и что для нее он пожертвует всем.

Дрогнувшим от волнения голосом профессор закончил так:

— Товарищи! Бывают моменты в истории, когда насилие, может быть, необходимо. Но истинный социализм может быть насажден в мире не винтовкой, не штыком, а только наукою и широким просвещением трудящихся масс!

* * *

Катя шла на службу и встретилась на улице с профессором Дмитревским. Он взволнованно держал в руке газету.

— Вот. Читали? О первомайском празднике?

— Нет.

— Прочтите.

В отчете, подписанном «Спартак», заключительные слова речи профессора были изложены вот как:

«Товарищи! Помните: в условиях переживаемого момента социализм сумеет насадиться не прекраснодушной болтовней мягкотелых соглашателей, а только беспощадной винтовкой и штыком в мозолистой руке рабочего!»

Профессор в бешенстве воскликнул:

— Что же это? Я иду в редакцию. Пойдемте вместе.

В грязной комнатке, заваленной стопами бумаги, пахло керосином от типографского мотора и скипидаром. Суровый господин в золотых очках, услыхав имя профессора, расцвел, почтительно усадил его и сочувственно выслушал.

— Это Спартак отчет давал... Спартак! Поди-ка сюда!

Медленною походкою из соседней комнаты вошел болезненный молодой человек с ленивою, добродушною усмешкою, пережевывая кусок хлеба с сыром... Катя изумилась: так вот какой этот Спартак!

Он слушал профессора, улыбаясь сконфуженною улыбкою.

— Я очень извиняюсь... Значит, я не расслышал. Но теперь что же можно сделать? Что написано пером, того не вырубишь и топором.

— Ну, уж нет, товарищ, извините! Вырубайте хоть топором, а я так оставить этого не могу.

С доброю своею улыбкою Спартак убеждающе возразил:

— А не все вам равно, профессор?

Катю дрожь омерзения охватила. О, да! Ему, этому писаке,— ему все равно! И с этою доброю улыбкою...

— Я категорически требую, чтобы напечатано было мое письмо в редакцию. Вот оно. Здесь только восстановлено то, что, я, действительно, сказал.

Они в замешательстве прочли. Редактор в золотых очках помолчал и сказал:

— Да, конечно, это полное ваше право. Но завтрашний номер, воскресный, уже сверстан, в понедельник газета не выходит. Так что, к сожалению, сможем поместить только во вторник... А кстати профессор: не можете ли вы нам давать время от времени популярно-научные статьи, доступные пониманию рабочей массы? Мы собираемся расширить нашу газету.

— Об этом может быть речь, когда появится опровержение.

Профессор с Катею вышли. Катя воскликнула:

— Не напечатают! Вот увидите!

— Нет, это не может быть.

— Да как же им напечатать? «Не штыком, а просвещением». Когда они именно проповедуют, что штыком.—Катя засмеялась.— И очутились вы, Николай Елпидифорович, в их компании!

Во вторник письмо не появилось, и редактор по телефону очень извинялся. Потом оказалось, метранпаж затерял заметку, редактор просил непременно прислать новую и опять очень извинялся. Наконец, оказалось,—времени прошло уже столько, что решительно не имело смысла печатать: все давно уже забыли и о самом-то празднике.

* * *

У под'езда «Астории» стояла телега, нагруженная печеным хлебом, а на горячих хлебах лежал врастяжку ломовой извозчик. Мимо равнодушно проходили люди. Катя, пораженная, остановилась.

— Товарищ! Да что же вы такое делаете? Ведь вы весь хлеб примяли, посмотрите, что с ним стало!

Ломовик лениво оглядел ее.

— А тебе что?

— Как что? Ведь этот хлеб люди будут есть. Вы подумайте,— выдают сейчас по полфунта в день. И вот, вместо хорошего хлеба, получат они слежавшуюся замазку, да еще испачканную вашими сапогами.

Ломовой зевнул и стал крутить папиросу.

— С'едят и так.

Катя стала говорить об общественной солидарности, что теперь больше, чем когда-нибудь, нужно думать и заботиться друг о друге, что теперь, когда нет хозяев, каждый сам обязан следить, чтобы все делалось хорошо и добросовестно.

Ломовик усмехнулся.

— Э!—Повернулся на другой бок и стал чиркать зажигалкой, гаснувшей под ветром.

У крыльца стоял в каске тот немец, с которым Катя недавно обедала. Они переглянулись. Немец покрутил головою, улыбнулся и, как бы отвечая на что-то Кате, сказал:

— Nein's wird bei Ihnen nicht gehen (нет, дело у вас не пойдет)!

* * *

А у Мириманових происходило что-то странное. Вечером, когда темнело, приходили поодиночке то гимназист, то настороженно глядящая барышня, то просто одетый человек с интеллигентным лицом. Мариманов удалялся с пришедшим в глубину сада, они долго беседовали в темноте, и потом посетитель, крадучись, уходил.

* * *

Катя иногда встречалась с Леонидом. Она рассказывала ему о своих впечатлениях, хотела докопаться, как он относится ко всему происходящему. Леонид либо отвечал шуточками, либо, с

пренебрежительно-задирающею усмешкою, одобрял все, о чем рассказывала Катя.

— И это, по-твоему, допустимо? Это хорошо?

— Великолепно! Так и надо! Революция, матушка! Ее в лайковых перчатках делать нельзя. Наденешь,—все равно, сейчас же раздерутся.

А когда Катя попадала в слишком чувствительное место, Леонид становился резок и начинал говорить каким-то особенным тоном,—как-будто говорил на митинге,—не для Кати, а для невидимой, сочувствующей толпы, которая должна облить Катю презрением и негодованием. И они враждебно расходились.

* * *

Катя, как всегда, старалась дорыться до самого дна души,— что там у человека, под внешними словами? Было это под вечер. Они сидели в виноградной беседке, в конце миримановского сада. И Катя спрашивала:

— Ну, как же,—неужели у вас на душе совершенно спокойно? Вот, жили здесь люди, их выбросили на улицу, даже вещей своих не позволили взять,—и вселили вас. И вы живете в чужих квартирах, пользуетесь чужими вещами, гуляете вот по чужому саду, как по своему, и даже не спросите себя: куда же тем было деться?

Он, покашливая, отвечал равнодушно:

— Девайся, куда хочешь,—нам какое дело? Они о нас думали когда?.. В летошнем году жил я на Джигитской улице. Хорошая комната была, сухая, окна на солнце. Четыре семейства нас жило в квартире. Вдруг хозяин: «очистить квартиру!» Спекулянту одному приглянулась квартирка. Куда деваться? Сами знаете, как сейчас с квартирами. Уж как молили хозяина. И прибавку давали. Да разве против спекулянта вытянешь? У него деньга горячая. Еле нашел себе в пригороде комнату,—сырая, в подвале, до того уж вредная! А у меня грудь уж тогда больная была. В один год здоровье свое сгубил на отделку.

Глаза его на худом лице загорелись.



— Пройдешься мимо,—отделал себе спекулянт квартиру нашу, живет в ней один с женой да с дочкой. Шторы, арматура блестит, пальмы у окон. И не признаешь квартирку. Вот какие права были! Богат человек,—и пожалуйте, живите трое в пяти комнатах. Значит,—спальня там, детская, столовая,—на все своя комната. А рабочий человек и в подвале проживает, в одной закутке с женой да с пятью ребятишками,—ему что? Ну, а теперь власть наша, и права другие пошли. На то не смотрят, что богатый человек.

— Так неужели можно брать пример со спекулянтов? Они жестоки, бесчувственны,—и вы тоже хотите быть такими же?

— Вселил бы я его в свой подвал, поглядел бы, как бы он там жил с дочкою своею, в кудряшках да с голенькими коленками! Идешь с завода в подвал свой проклятый, поглядишь на такие вот окна зеркальные. Ишь, роскошничают! «Погоди,—думаешь,—сломаем вам рога!» Вот и дождались,—сломали! А что вещи, говорите, чужие, да квартира чужая,—так мы этого не считаем.

— Не в этом суть. Изменяйте прежние отношения, стройте новые. Но мне всегда думалось: рабочий класс строит новый мир, в котором всем было бы хорошо. А вы так: чтоб тем, кому было плохо, было хорошо, а тем, кому хорошо было, было бы плохо. Для чего это? Будьте благородны и великодушны, не унижайте себя мщением. Помните, что это тоже люди.

— Люди! Волки, а не люди. А волки, их и нужно понимать, как волков. Вон, в первый большевизм было: арестовали большевики тридцать фабрикантов и банкиров, посадили в подвал. Наш союз металлистов поручился за них, заставил выпустить. А при немцах устроили мы концерт в пользу безработных металлистов, пришли в союз фабрикантов, а они нам—двадцать пять рублей пожертвовали. Вот какие милостивые! А мы-то, дураки, их жалели! Таких, как вы, слушались. Поумнели теперь. Тех слушаем, что вправду за нас... Нет, овцам с волками в мире не жить никогда: нужно волчьи зубы себе растить.

И Катя не могла достучаться до того, что ей было нужно. Не злоба тут была, как у того матроса, а глубоко сидящее отноше-

ние именно, как к волкам. Чего злобиться на волков? Но призывы Кати к благородству и великодушию звучали для ее собеседника так же, как если бы Катя говорила ему, что волкам в лесу холодно, что у них есть маленькие волчента, которых нужно пожалеть. И все рассказы Кати о зверствах и несправедливостях в отношении к буржуазии он слушал с глубочайшим равнодушием: так вот слушали бы век назад русские, если бы им рассказывали о страданиях, которые испытывали французы при отступлении от Москвы.

Катя устало спросила:

— Вы сами, значит, коммунист?

— Ну, конечно.

— А много у вас на заводе коммунистов?

— Коммунистов не так, чтоб много. А много сочувствующих и склоняющих. Склонить всякого легко, только поговорить с ним. Ты что, имеешь какую на заводе собственность? А у себя дома имеешь? Койку да пару табуреток? А дом у тебя есть свой? Будет когда?—Никогда.—Ну, вот, значит, ты и коммунист.

* * *

Катя шла по набережной и вдруг встретилась—с Зайдбергом,—с начальником жилотдела, который ее отправил в тюрьму. Такой же щеголеватый, с тем же самодовольно извивающимся, большим ртом и с видом победителя. Катя покраснела от ненависти. Он тоже узнал ее, губа его высокомерно отвисла, и он прошел мимо.

— Эй, ты!—раздался с улицы повелительный окрик. Ехало три всадника на великолепных лошадях; на левой стороне груди были большие черно-красные банты.

— Что скажете, товарищи?—отозвался Зайдберг.

— Где тут у вас продовольственный комиссариат?

— Вот сейчас поедете по переулку наверх, потом повернете вправо...

— Веди, покажи.

Зайдберг холодно ответил:

— Я извиняюсь, товарищи. Я ответственный советский работник, и мне некогда.

Панель зазвенела под подковами, усатый всадник наскочил на Зайдберга и замахнулся нагайкой.

— Веди, сукин сын! Разговаривать еще будешь? Живо!

— Но позвольте, товарищи, я вам...

— Ну!!

Нагайка взвилась над его головой. Лицо Зайдберга пожелтело, губа уныло отвисла. Он слабо пожал плечом и повернул со всадниками в переулок.

И везде на улицах Кате стали попадаться такие всадники. У всех были чудесные лошади, и на груди—пышные черно-красные банты.

Это вступил в город отряд махновцев. Советская власть радушно встретила пришедших союзников, отвела им лучшие казармы. Они слушали приветственные речи, но глаза смотрели загадочно. Однажды, когда с балкона ревкома тов. Маргулиес говорил горячую речь выстроившимся в два ряда всадникам, один из них, пьяный, выхватил ручную гранату и хотел бросить на балкон. Товарищи его удержали.

В городе участились грабежи. Махновцы вламывались в квартиры и забирали все, что попадалось на глаза.

* * *

Под вечер Катя стирала в конце сада. На жаровне в тазу кипело белье. Любовь Алексеевна крикнула с террасы:

— Екатерина Ивановна! Вас спрашивают.

По аллее из пирамидальных акаций шла, щурясь от заходящего солнца, высокая бледная девушка. Катя остолбенела, не веря глазам. Девушка шла с улыбающимся лицом и с взволнованным ожиданием глядела на Катю.

— Вера!!

Все забыв, с мокрыми, мыльными руками, Катя бурно бросилась ее целовать.

Они смеялись, плакали. Сели на скамейку, задавали друг другу вопросы и опять начинали целоваться.

— Как ты сюда попала?

— Из центра послали нас в Крым, целую партию ответственных работников... А ты работаешь с нами?

— Да, в Наробразе.

— Как я рада!

Вера жадно расспрашивала про отца, про мать. И, поколебавшись, спросила:

— Захотят они меня видеть?

— Мама,—конечно. А папа...—Катя печально опустила голову,—Он о тебе никогда не говорит и уходит, когда мы говорим. Он не захочет.

Вера страдающе прикусила губу.

— А маму мы, лучше всего, устроим, чтобы сюда приехала. Ты где будешь жить?

— Еще не знаю. Пока остановилась в «Астории».

— Ой, в «Астории»!.. Перебирайся ко мне.

Вера ужасно обрадовалась.

— Вот хорошо, Катюрка!

— Только вот что: в жилищном отделе сказали, что мне не позволят выбрать сожительницу, а пришлют сами. На-днях был жилищный контролер...

Вера спокойно усмехнулась.

— Не беспокойся, пропишут без всяких разговоров. Я скажу по-телефону.

— А ты знаешь, что со мною там было?—Катя, волнуясь, рассказала о своем столкновении с начальником Жилотдела, и о том, как прорвалась «хамским царством», и как сидела в подвале.

Лицо Веры стало холодным.

— Какой у тебя, Катя, жаргон вырабатывается! Совсем, как у «об'единенных дворян». Из-за того, что с тобою так поступили в Жилотделе, неужели вообще можно говорить о хамском царстве?

Катя замолчала и изумленно глядела на Веру.

— Из всего, что я тебе рассказала, тебя только это возмутило!.. Ну, а как он поступил? Как этих несчастных женщин гноят в темном подвале? Да и только ли это!

Катя рассказала о резолюции Искандера на прошении Мириманововй, о генерале, задушенном в больнице санитаром. Глаза Веры как-будто задернулись непроницаемою внутреннею пленкою

— Да ведь с этим генералом, может быть, вовсе и не так. Кто видел, что его задушил санитар? Показалось со страху этой твоей фельдшерице. Столько сейчас везде сплетен про нас!

Катя враждебно возразила:

— Но почему же ты заранее, ничего не зная, утверждаешь, что ничего такого не было? Ну, а эта гнусная резолюция Искандера? Ее-то я уж сама видела, сама читала. Это уж факт!

— Ну, а по существу-то,—ведь он оказался прав в конце концов, деньги они внесли. А потом: отдельные эксцессы, конечно, всегда возможны...

— Отдельные? Эх, Вера! А что ваши пленники валяются в подвалах на каменном полу, в темноте, без прогулок,—это тоже отдельный эксцесс?

— Нет, это, конечно, нехорошо.. Но ведь власть только-что утвердилась. Конечно, всё сразу не успевают организовать, недочетов много. Первые недели всегда самые ужасные и совершенно анархичные. Вот теперь с нами приехал новый предревком, он понемножку все наладит.

Катя пристально поглядела Вере в глаза и круто замолчала. Вера, такая прямая и честная,—и это виляние, это казенное стремление оправдать, во что бы то ни стало!...

Она сняла с жаровни таз и стала готовить ужин.

Ужинали, пили чай. Перестали говорить о том, что их раз'единяло, и опять явилась сестринская близость. Легли спать в одну постель,—Катю поразило, какое у Веры рваное белье,—и долго еще тихо разговаривали в темноте.

* * *

Назавтра Вера с убогим узелком своего имущества перебралась к Кате. Ордер в Жилотделе она без всякого труда получила вне очереди.

Вечером Вера, между прочим, сказала Кате:

— Да, знаешь, сегодня Корсаков, предревком новый, осмотрел помещения арестованных. Верно,—даже топчанов нет, прогулок не дают. Вообще́, настоящая, как ты говоришь, Иродова тюрьма. Такое безобразие! Сместил начальника тюрьмы и отдал его под суд.

— Ты ему все рассказала?

— Ну, да.

— О, Верка, значит, с тобою еще можно жить! А я вчера вынесла впечатление, что тебе до всего этого и дела нет.

* * *

На одном из запасных путей узловой станции стоял вагон штаба красной бригады. Был поздний вечер воскресенья. Из станционного поселка доносились пьяные песни. В вагоне было темно, только в одном из купе, за свечкой, сидел у стола начальник штаба и писал служебные телеграммы.

Смеющийся женский голос спросил у входа:

— Товарищ Храбров, вы здесь?

Начальник штаба нахмурился.

— Здесь.

Вошла дама с подведенными слегка глазами, с полным бюстом. Храбров неохотно поздоровался. Она значительно пожала ему руку и с веселым упреком воскликнула:

— И не поцелует руки! А еще бывший офицер!

— Я и офицером не целовал дамам рук, а теперь и подавно.—И сухо спросил:—Отчего вы до сих пор не уехали? Ведь литеру я вам выдал.

— Опоздала. Пошла на вокзал напиться,—ужасно хотелось лимонаду! Ничего нет на станции, даже стакана воды не могла раздобыть. Вы ведь знаете, какая у вас везде бестолочь. Воротилась,—поезд ушел. Как саранча, идем мы, и все кругом разрушаем, портим, загаживаем, и ничего не создаем.

— Вы говорите, вы—жена коммуниста, ответственного работника. Могли бы шире смотреть, поверх этих мелочей.

Она вздохнула.

— Да, когда от этих мелочей жить невозможно!.. Ну, вы меня не приглашаете сесть, а я все-таки сяду.

Дама села и закурила папироску. Ногу она положила на ногу, и из-под короткой юбки видна была до половины голени красивая нога в телесно-розовом чулке и туфельке с высоким каблучком. От дамы пахло духами, в разрезе белого платья виднелись смуглые выпуклости грудей, и в Храброва шло от нее раздражающее электричество женщины, тянущейся к любви и ждущей ее.

— А вы все сидите, все работаете. Вчера поздно-поздно ночью я видела огонек в вашем вагоне...—И с нежным, ласковым упреком она сказала, понизив голос:—зачем вы так выматываете себя на работе?

— Вы больше, чем кто другой, можете это понимать. Время такое, когда приходится работать по двадцать часов в сутки.

— Ну, да...—Она молча смотрела на него большими черными глазами и вдруг тихонько сказала:—Никогда, никогда я не поверю, чтобы вы, правда, по внутреннему убеждению, так работали для них.

— Для них? Марья Александровна, я не ослышался? Для них, а не для—«нас»?

Дама загадочно засмеялась, посмотрела горячим взглядом и медленно ответила:

— Ну, если вам так хочется... «для нас»...

Храбров вдруг решительно встал, засунул руки в карманы и сказал:

— Люся! Довольно!

Дама отшатнулась.

— Какая... Люся? Я—Мария Александровна.

— Вы—Люся Гренорт. Не узнаете меня? Коля Мириманов. В одно время учились в Екатеринославе. Вы были такою славною гимназисточкою, с такими чудесными, ясными глазами... И вот—стали шпионкой.

— Коля?—Она в испуге смотрела на него.

— Стыдно, барыня!

Дама медленно опустила голову и закрыла лицо руками. Плечи ее стали вздрагивать. Она заплакала.

— Как же я вас не узнала?.. Да, верно: я ихняя шпионка. Послушайте меня.

Она робко огляделась.

— Да, они меня заставили сделаться шпионкой. В Харькове мой муж, подполковник, был арестован, сидел у них в чека полгода, меня не допускали. Сказали, что его расстреляют, и предложили пойти к ним на службу. Трое детей, есть нечего было, все реквизировали, из квартиры выгнали... Боже мой, скажите, что мне было делать!

— Что угодно! Умереть, предоставить мужа его судьбе, а на это не итти.

— Да, правда! И вот мне за это казнь. Вы знаете... Мне все-таки с тех пор ни разу не дали свидания с ним, и все время высылают с разными поручениями из Харькова. И я боюсь даже подумать... Душу мою они сделали грязной тряпкой, а его—все-таки расстреляли!.. О, если это верно, я им тогда покажу!

И, как в бреду, она быстро зашептала, испуганно оглядываясь:

— Я завтра утром уеду. Я, конечно, нарочно не уезжала до сих пор... И я вам все скажу. За вами очень следят, ни одному слову не верьте, что вам говорят. Главный политком, Седой, он вам верит, а другой, латыш этот, Крогер,—он и в особом отделе,—он все время настаивает, что вас нужно расстрелять. Он-то меня к вам и подослал... И я боюсь его,—в ужасе шептала она,—он ни перед чем не остановится...

Снаружи вагона послышались мужские голоса, отдались шаги по приступочкам, в коридоре заговорили.

Дама побледнела и поспешно поднялась. Вошли политкомы Седой и Крогер, и с ними,—командир бригады, бывший прапорщик, с туповатым лицом.

Когда дама проходила мимо них к выходу, Крогер значительно переглянулся с нею, Седой оглядел ее с тайною брезгливостью.

Поздоровались. Седой сказал, посмеиваясь:

— Вот вы в какой приятной компании проводите вечера!

Храбров раздраженно обратился к Крогеру:

— Товарищ Крогер, уберите вы, пожалуйста, отсюда эту дамочку. Говорит, нечаянно тут застряла, я ей выдал литеру, а она все тут вертится. Я ей сказал, что больше не буду ее принимать. и велел гнать ее от вагона.

Крогер молча сел.

— И потом, вот что я хотел вас просить. У меня решительно не хватает времени на все. Отчего бы вашим помощникам не шифровать служебных телеграмм? Это и для них полезно,—они, таким образом, все время будут в курсе наших самых даже мелких распоряжений...

Крогер поглаживал свои густые, белесые усы и украдкою приглядывался к нему серыми, как сталь, глазами. Он ответил медленно:

— Да, это я вам хотел сам приказывать.

Они просидели часа два.

В автомобиле, по дороге к городу, Леонид с раздражением спросил:

— Да какие же у вас данные? Работает, как лошадь, все на нем держится. Комбриг говорит, что без него окажется, как без рук.

— Значит, сам комбриг никуда не годится. Если бы я имел данные, я бы его арестовал без разговоров. А только я вижу: не из наших он. Зачем так много работает? Не по совести он у нас.

— Конечно. Спец, как спец. Следить нужно.

Крогер упрямо возразил:

— Арестовать нужно.

Позднею ночью Храбров, усталый, вышел из вагона. Достал блестящую металлическую коробочку, жадно втянул в нос щепоть белого порошку; потом закурил и медленно стал ходить вдоль поезда. По небу бежали черные тучи, дул сухой нордост, дышавший горячим простором среднеазиатских степей; по неметеному песку крутились бумажки; жестянки из-под консервов со звоном стукались в темноте о рельсы.

Недалеко от стрелки темнела фигура с винтовкою за спиною. Храбров вгляделся и узнал своего ординарца, оренбургского казака Пищальникова.

— Товарищ Пищальников, это вы?

— Я, товарищ начальник.

— Чего это вы не спите?

— Не спится что-то. Все о доме думаю.

— Вы разве не добровольно пошли?

— Нет, по мобилизации взяли... Как скажете, товарищ начальник, скоро всему этому будет окончание?

— Не знаю, товарищ. Должно быть, долго еще нам с вами придется манежиться. Больно уж напористы белые.

Казак помолчал и вдруг сказал:

— Ваше благородие!

Храбров вздрогнул.

— Что вы, товарищ, с ума сошли?

— Никак нет... Дозвольте вас спросить, ваше благородие: неужто вы по совести пошли служить этой сволочи?

— Да я тебя арестовать велю! Ты с ума сошел!

— Никак нет... А только вот вам крест,—казак снял фуражку и широко, медленно перекрестился,—вы не от души им служите, нехристям этим.

Все время на-чеку, все время внутренно поджавшийся, Храбров хотел на него грозно закричать и затопать ногами. Но так из души вырвались слова казака, так он перекрестился, что Храбров шагнул к нему вплотную, заглянул пристально в бородатое его лицо и хриплым шопотом спросил:

— Крест у тебя на шее есть?

— Есть.

— Покажи.

Казак молча расстегнул ворот и вытянул за шнурок небольшой медный крестик. Храбров ощупал его, оглядел.

— Ну, я тебе верю, Пищальников. Чувствую, что тебе можно верить.

Казак радостно ответил:

— Так точно, ваше благородие!

— Хочешь России послужить?

— Что прикажите, все сделаю. Рад стараться.

— Хорошо. Скоро ты мне понадобишься. А сейчас разойдемся. Не нужно, чтобы нас видели вместе.

* * *

В субботу Леонид по делам ехал на автомобиле в Эски-Керым. Катя попросила захватить ее до Арматулка: ей хотелось сообщить отцу с матерью о приезде Веры и выяснить возможность их свидания. Дмитревский поручил ей кстати ознакомиться с работою местного Наробраза.

После обеда выкатили они из города еще с одним товарищем. Длинный, с изможденным, бритым лицом, он сидел в уголке сидения, кутаясь в пальто, хоть было жарко.

Мчалась машина, жаркий ветер дул навстречу и шевелил волосы, в прорывах гор мелькало лазурное море. И смывалась с души чудная муть, осевшая от впечатлений последнего месяца, и заполнялась она золотым звоном солнца, каким дрожал кругом сверкающий воздух.

В степи шел сенокос, трещали косилки, по дорогам скрипели мажары с сеном. От канонады на фронте по всему Крыму лили в апреле дожди, урожай пришел небывалый.

Спутники Кати вполголоса разговаривали между собой, обрывая фразы, чтоб она не поняла, о чем они говорят. Фамилия товарища была Израэльсон, а псевдоним—Горелов. Его горбоносый профиль в пенснэ качался с колыханием машины. Иногда он улыбался милою, застенчивою улыбкою, короткая верхняя губа открывала длинные четырехугольные зубы, цвета старой слоновой кости. Катя чувствовала, что он обречен смерти, и ясно видела весь его череп под кожей, такой же гладкий, желтовато-блестящий, как зубы.

По обрывкам фраз Катя понимала, о чем они говорят, и ей было смешно; они скрывали то, что все в городе прекрасно знали,—что в центральный совет рабочих профсоюзов прошли меньшевики и беспартийные. Когда разговор кончился, она, как всегда, срыву сказала:

— На-днях у нас на пленуме в Наробразе выступил представитель совета профсоюзов. Вот была речь! Как-будто свежим ветром пахнуло в накуренную комнату.

Леонид пренебрежительно спросил:

— Что ж он у вас такое говорил?

— Говорил о диктатуре пролетариата, что они выгоняют жителей из квартир, снимают с них ботинки, и что в этом вся их диктатура. А что прежде всего нужно стать диктатором над самим собой, что рабочие должны заставить всех преклониться пред своей нравственной высотой, пред своим уважением к творческому труду.

Леонид переглянулся с Гореловым и засмеялся.

— Вот интеллигентщина!

Лицо его стало неприятным и колючим.

— И говорил еще, что рабочий класс в самый ответственный момент своей истории лишен права свободно думать, читать, искать.

Леонид прервал ее:

— Интересно,—какого он цеха?

— Иглы.

— Ну, так! Значит, портной. Не мастерок ли? Они сейчас великолепно зарабатывают на общей разрухе, спекулируют мануфактурой, под видом родственничков набирают подмастерьев и эксплоатируют их совсем, как раньше.

— Само-собою! Раз не ваш, значит—спекулянт и буржуй!

— Скажите, пожалуйста, чем всего больше озабочен! Что буржуазию выселяют из ее роскошных особняков и отводят их под народные дома, под пролетарские школы и приюты! Какая трогательная заботливость!.. Вообще, необходимо обревизовать все эти выборы. Дело очень темное.

— Темное, несомненно,—отозвался Горелов и мягко обратился к Кате.—В провинции сейчас это то-и-дело наблюдается: более достаточные рабочие мелко-буржуазного склада пользуются темнотой инстинно-пролетарской массы и ловят ее на свои удочки.

— Ничего! Скоро просветим!—сказал Леонид.—Кто сам босой, тот не будет плакать над ботинками, снятыми с богача.

— А наденет их и будет измываться над разутым.

Леонид задирающе усмехнулся.

— Конечно!

— А у тебя у самого очень хорошие сапоги.

Леонид оглядел свою ногу, подтянул лакированное голенище и, дразня, спросил:

— Правда, недурные сапожки?

Под колесами выстрелило, машина остановилась. Шофер слез и стал переменять камеру.

Качаясь в седлах, мимо проскакали два всадника с винтовками за плечами. Через несколько минут, догоняя их, еще один промчался карьером, пригнувшись к луке и с пьяною беспощадностью сеча лошадь нагайкою.

Леонид глядел им вслед.

— Махновцы. Рассыпались по окрестностям и грабят, сволочь этакая. Когда мы от этих бандитов избавимся!

Поехали дальше. Через несколько верст лопнула другая шина. Шофер осмотрел и сердито сказал:

—Нельзя ехать, камер больше нету. Чиненные-перечиненные дают, так лохмотьями и расползаются.

Дошли пешком до ближайшей деревни. Леонид пред'явил в ревкоме свои бумаги и потребовал лошадей. Дежурный член ревкома, солдат с рыжими усами, долго разбирал бумаги, скреб в затылке, потом заявил, что лошадей нету: крестьяне заняты уборкою сена. Леонид грозно сказал, чтоб сейчас же была подана линейка. Солдат вздохнул и обратился к милиционеру, расхлябанно сидевшему с винтовкою на стуле.

— Гриша, сейчас Софронов проехал из степи с сеном. Скажи, чтоб дал лошадей. Станет упираться, арестуй.

Милиционер ушел, за ним ушел и солдат. В комнате было тихо, мухи бились о пыльные стекла запертых окон. На великолепном письменном столе с залитым чернилами бордовым сукном стояла чернильная склянка с затычкою из газетной бумаги. По стенам висели портреты и воззвания.

Горелов, уткнув бритый подбородок в поднятый воротник пальто, дремал в углу под портретом Урицкого. Желтели в полуоткрытом рту длинные зубы.

Катя вышла на крыльцо. По горячей пыли дороги бродили куры, с сверкавшей солнцем степи неслось сосредоточенное жуж-

жание косилок. Леонид тоже вышел, закурил о зажигалку и умиленно сказал:

— Вот человек—Горелов этот! В чем душа держится, зимою перенес жесточайшую цынгу; язва желудка у него, катар. Нужно было молоко пить, а он питался похлебкою из мерзлой картошки. Отправили его в Крым на поправку, он и тут сейчас же запрягся в работу. Если бы ты знала,—какой работник чудесный, какой организатор!..

Через полчаса под'ехала линейка. На козлах сидел мужик с войлочно-лохматой бородой, с озлобленным лицом.

Поехали дальше. Запыленное красное солнце спускалось к степи. Опять скрипели мажары с сеном, у края шоссе, по откосам, остро жвыкали косы запотелых мужиков, в степи стрекотали носилки. Группами или в одиночку скакали к городу махновцы, упитанные и пьяные.

Леонид спросил возницу:

—Здорово вашего брата обижают махновцы?

Мужик краем глаза поглядел на него и неохотно ответил:

— Мужика всякий обижает...

И отвернулся к лошадям. Помолчал, потом опять поглядел на Леонида.

— Войдет в хату,—сейчас, значит, бац из винтовки в потолок! Жарь ему баба куренка, готовь яичницу. Вина ему поставь, ячменю отсыпь для коня. Все берет, что только увидит. Особенно до вина ярые.

Проехала подвода, тяжело нагруженная боченками вина, узлами. Вокруг нее гарцовали два махновца. Третий, пьяный, спал на узлах, с свесившеюся через грядку ногою, а лошадь его была привязана к задку. Возница татарин, с угрюмым лицом, бережно, для виду, подхлестывал перегруженных кляч.

Леонид засмеялся.

— Какие вы близорукие, обыватели российские!—обратился он к Кате.—Не умеете вы нас ценить. Кабы не мы, по всей матушке-Руси шныряли бы вот этакие шайки махновцев, петлюровцев, григорьевцев, как в смутное время или в тридцатилетнюю войну. И конца бы их царству не было.

— Вот, и при вас шныряют, а вы смирненько смотрите.

— Погляди, шныряют ли у нас в России. Дай нашим сюда подтянуться, увидишь, долго ли будут шнырять.

Катя кивнула на мужика.

— Он не только про махновцев говорил. Сказал,—всякий мужика обижает.

Леонид потянулся и зевнул.

Они ехали по мягкой дороге рядом с шоссе. Шоссе внизу делало крутой изгиб вокруг оврага. За кучею щебня, как раз на изгибе шоссе, вздымался странный темный шар. Мужик завистливо поглядел и пощелкал языком:

— Ка-кого коня загнали!

Лежала великолепная кавалерийская лошадь с вздутым животом, с далеко закинутою головою; меж оскаленных зубов длинно высунулся прикушенный фиолетовый язык, остеклевшие глаза вылезли из орбит.

— Загнал с пьяных глаз, мерзавец!—с отвращением сказал Леонид.

Проехали. Катя еще раз оглянулась на лошадь. По ту сторону оврага, над откосом шоссе, солдат с винтовкою махал им рукою и что-то кричал, чего за стуком колес не было слышно. Вдруг он присел на колено и стал целиться в линейку. Катя закричала:

— Смотрите, что он делает!

— Тпруэ!

Мужик испуганно натянул вожжи. Линейка стала.

Солдат ленивою походкою, не спеша, шел к ним, с винтовкою в левой руке, с нагайкою в правой. Был он лохматый, здоровенный, с картузом на затылке, с красным лицом. Подошел и с пьяною серьезностью коротко сказал:

— Ваши документы!

На груди его был большой черно-красный бант.

Леонид с уверенностью человека, имеющего хорошие документы, небрежно протянул ему бумажку. Махновец стал разбирать.

— По-ли-ти-чес-кий комис-сар...—Он уставился на Леонида.—Советчик? Не годится документ.

Леонид насмешливо спросил:

— Почему?

— Мы на вашу советскую власть плюем. Нам эти документы ни к чему.

— А для чего вам, товарищ, документы? По какому праву вы их требуете?

— Плюем на вашу власть. Мы только батьку Махно одного знаем. Он нам приказал: «бей жидов, спасай Россию!» Приехали к вам сюда порядок сделать. Обучить всех правильным понятиям...—Он озорным взглядом оглядел Леонида и, как заученно-привычный лозунг, сказал:—бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не почернеют... Ты кто?

Леонид резко ответил:

— Я тебе показал документ, знаешь, кто я,—чего еще спрашиваешь!

— Молчи!..—Он замахнулся на Леонида нагайкой.—Кто ты?

Леонид пожал плечами.

— Кто! Ну, коммунист.

— Нет, кто ты?

Катя рассмеялась.

— Да неужто ж сами не видите? Русский, русский! Не еврей!

Широкая рожа солдата расплылась в улыбку.

— Хе-хе!.. Верно!.. А ты,—он уставил на нее палец,—ты жидовка!

— Вот так так! Я двоюродная сестра его!

— Сестра!.. Знаем, что за сестры! Повидали их на войне.— И извивающимися гадюками поползли в воздухе циничные, грязнооскорбительные догадки.

Потом он сказал:

— Слезайте все долой!.. Слышь, земляк! Конь у меня занедужил, вон лежит. Повезешь в город.

Мужик сердито ответил:

— Дохлый твой конь, ай не видишь? Куда его везть!

— Отойдет. Поворачивай!

— Да что вы, товарищ!.. Разве линейка подымет лошадь? Вон мажара, чего ж вам лучше!

Навстречу ехала пустая мажара, в ней сидели два грека. Они согнулись и глядели в сторону. Махновец властно сказал:

— Стой!

Греки притворились, что не слышат, и продолжали ехать. Махновец деловито упер приклад в бедро и выстрелил в небо. Греки моментально остановились. Он, не спеша, отдернул затвор и опустил винтовку.

— Слезай!

Греки слезли.

— Кто такие?

— Крестьяне, товарищ. За сеном едем.

— Вина не везете?

— Поглядите сами, пустая арба... Можно ехать?

Махновец отрицательно мотнул головой и повернулся к вознице линейки.

— Ты мне ручаешься за них?

Мужик усмехнулся в войлочную свою бороду.

— За кого такое?

— Вот за этих.—Он указал на пассажиров.

— Я-то что тут? По наряду взяли меня. Кто такие,—почем я знаю.

— Ты мне за них отвечаешь. Ежели что,—на мушку тебя.

Странно было Кате. Пять мужчин окружало его, а он, один против всех, командовал над ними и измывался, и винтовка беззаботно висела за плечами.

Махновец опять повернулся к грекам.

— Вон конь мой лежит. Под'езжайте, подберем его... В город свезете.

Старший из греков поспешно ответил:

— У нас лошади слабые, не вытянут.

Катя быстро наклонилась к Леониду и шопотом спросила:

— Неужели у тебя нет револьвера?

— Ч-чорт! Такая глупость! Забыл.

Глаза Кати потаенно блеснули, и в ответ им сверкнуло в душе Леонида. Он слегка побледнел и слез с линейки, разминая ноги.

Махновец в колебании оглядывал линейку. Ему хотелось еще поозорничать, но он не знал, как.

Горелов, сгорбившись и уткнувшись подбородком в воротник, все время неподвижно сидел на той стороне линейки, спиною к махновцу. Вдруг взгляд махновца остановился на его горбоносом, изжелта бледном профиле.

— Ты...—зловеще протянул махновец.—Поди-ка сюда, жидовская харя!—И спокойной рукою он взялся за револьвер у пояса.

Катя быстро переглянулась с Леонидом. И дальше все замелькало, сливаясь, как спицы в закрутившемся колесе. Леонид охватил сзади махновца, властно крикнул: «товарищи, вяжите его!» и бросил на землю. Катя соскочила с линейки, а мужик, втянув голову в плечи, изо всей силы хлестнул кнутом по лошадям. Горелов на ходу спрыгнул, неловко взмахнул руками и кувыркнулся в канаву. Греки вскочили в мажару и погнали по дороге в другую сторону.

Махновец бился под Леонидом, но Катя сразу почувствовала, что он гораздо сильнее,—ее поразили его крепкие, круглые плечи. Рука с револьвером моталась в воздухе над Леонидом и старалась повернуть револьвер на него. Не умом соображая, а какою-то властною, взмывшею из души находчивостью, Катя схватила руку с револьвером,—на длинных ногах неуклюже подбегал Горелов,—и всею грудью навалилась на руку. Рука бешено дернулась, проехала выступающими частями револьвера по Катиной щеке и опять взвилась в воздухе. Махновец изогнулся, сбросил с себя Леонида, в упор выстрелил в набегавшего Горелова и подмял под себя Леонида. Рука с револьвером упиралась в землю. Катя схватила валявшуюся на земле винтовку с оборванною перевязью, изо всей силы ударила прикладом по руке. Револьвер вывалился. Она подняла, беспомощно оглядела его. Попробовала поднять курок,—не подается.

— Товарищ Горелов! Револьвер, стреляйте! Я не знаю, как выстрелить!

Горелов, в окровавленном пальто, лежал на дороге, закинув голову, и хрипел. Мелькнула в глаза далекая линейка на шос-

се,—она мчалась в гору, мужик испуганно оглядывался и сек кнутом лошадей. Махновец душил Леонида.

Катя завизжала, с бурным разбегом налетела, охватила руками голову махновца и вместе с ним упала наземь. Локоть его больно ударил ее с размаху в нижнюю часть живота, но ее руки судорожной, мертвой хваткой продолжали сжимать потную, лохматую, крутящуюся голову. Выстрел раздался где-то за спиною, голова в руках глухо застонала, еще выстрел.

— Бросай!—задыхаясь, крикнул Леонид.

Катя вскочила. Махновец, с раздробленным коленом, с простреленным животом, пытался подняться, ерзал по земле руками и ругался матерными словами. Леонид, выстрелил ему прямо в широкое, скуластое лицо. Он дернулся, как-будто ожегся выстрелом, и, сникнув, повалился боком на землю.

— А Горелов где?

Горелов неподвижно лежал с открытыми, без блеска, глазами, с тем неожиданным, чуждым выражением, которое накладывается на лицо смертью. И ярко желтели оскаленные, длинные зубы.

Вдруг Катя испуганно крикнула:

— Смотри!

Солнце уже село, и вдали, из-за горба шоссе, на красном фоне зари вырастали, подпрыгивая, два черных силуэта всадников с винтовками.

— Махновцы! Удирать!—хрипло сказал Леонид.—Погоди! Придется отстреливаться.

Он снял с убитого подсумок с патронами, взял винтовку, револьвер.

— Айда!.. Только бы до гор добраться... Пока еще под'едут, разберут, в чем дело. Не беги, пока на виду.

Не спеша, они сошли к мосту, спустились в овраг и побежали по бело-каменистому руслу вверх. Овраг мелел и круто сворачивал в сторону. Они выбрались из него и по отлогому скату быстро пошли вверх, к горам, среди кустов цветущего шиповника и корявых диких слив. Из-за куста они оглянулись и замерли: на шоссе, возле трупов, была уже целая куча всадников, они размахивали

руками, указывали в их сторону. Вдоль оврага скакало несколько человек.

— Бежим!—коротко бросил Леонид.

Пригнувшись, они побежали меж кустов к горам. Тонко, по-осиному, жужжа, над головами пронеслась пуля, и долетел звук выстрела. Путь пересекал овраг, они перебрались через него. Вскоре другой.

Катя крикнула, смеясь:

— Смотри, как хорошо! Ведь это им загораживает дорогу. Либо придется слезать с лошадей, либо в обход ехать!

Скакало по откосу уже человек пятнадцать, и на-скаку стреляли. Слышались выстрелы, но свиста пуль не было. Поднималась гора, с поперечными, параллельными друг другу овечьими тропками.

— Ну, только бы по ней взобраться,—тут цель для них хорошая, а там лучше будет... Не трусь, Катька!

— Дурак ты, Леонидка!—отозвалась Катя,—так чуждо созвался его призыв в тот радостно-огненный вихрь, в котором крутилась ее душа.

Они карабкались в гору, цепляясь за колючие плети цветущих каперсов. И теперь вдруг кругом защелкало по камням, запылилось по сухой земле. Катя с жадным любопытством оглянулась. Всадники, спешившись, спускались в поперечный овраг, другие стреляли с колена.

Гребень горы с алыми маками. Большие камни. По эту сторону оврага два махновца садились на коней. Леонид бросился за камень и прицелился. Катя, с отколовшейся, растрепанной косой, с исцарапанной револьвером щекою, стояла, забывшись, во весь рост и упоенно смотрела. Струистый огонь, уверенный, резкий треск. Один из махновцев схватился за ногу и опустился наземь.

Леонид сердито крикнул:

— Дура, ложись же! Чего стоишь!

Еще раз он выстрелил, еще, и они побежали. За гребнем горы тянулось широкое ущелье, густо заросшее лесом...

Темнело. Катя с Леонидом сидели под нависшим камнем, за струисто-ветвистыми кустами непроглядной березы. По лесу тре-

щали шальные выстрелы махновцев, иногда совсем близко слышался их говор и ругательства.

Леонид спросил шопотом:

— Что это у тебя?

Рукав Катиной кофточки был густо смочен кровью, капли крови чернели на ее серой юбке. В сумерках глаза Леонида засветились теплой лаской.

— Ну, с боевым крещением! Ранена... Снимай кофточку.

— Ерунда какая! Что это? Я ничего и не чувствовала.

— Снимай.

Стаскивая рукав, Катя почувствовала в руке боль. Стыдясь своих нагих рук и плеч, она взглянула на руку. Выше локтевого сгиба, в измазанной кровью коже, чернела маленькая дырка, такая же была на противоположной стороне руки. Катя засмеялась, а сама побледнела, глаза стали бледно-серыми, и она, склонившись головою, в бесчувствии упала на траву.

***

Туман редел в голове. Непонятно было, откуда слабость в теле, откуда хлопанье пастушьего кнута по лесу. И вдруг все вспомнилось. Вспомнился взблеск выстрела перед усатым, широким лицом, животно-оскаленные желтые зубы—Горелова? или лошади с прикушенным языком? Но сразу же потом—радостный свист пуль, упоение бега меж кустов, гребень горы и скачущие всадники... И такой позорный конец всего!

Рука была перевязана носовым платком, и френч Леонида накинут на грудь. По лесу гулко раздавались еще мужские голоса, трещали кусты под ногами лошадей. Но уже много дальше. Иногда, словно удар пастушьего кнута, перекатывался по лесу выстрел.

Катя сконфуженно поднялась и медленно начала надевать кофточку.

— Какая нелепость! С чего это я?

Леонид сидел в одной рубашке, заправленной в брюки, и курил, пряча огонек в ладонь. Он заботливо оглядел Катю и мягко улыбнулся.

— Ничего, это бывает. Важно не распускаться, когда нужно. По закону, девице полагается хлопаться в обморок в минуту самой опасности, а мужчине, отбивая удары, взваливать драгоценную ношу на луку седла... А с тобою можно дела делать. Молодец девка!

Красный свет восходящего месяца бросал на камни сквозь листья ясеня неподвижно-черные узоры. Тихо было.

Леонид спросил:

— Ты через горы знаешь дорогу в Арматлук? На шоссе разумнее не выходить.

— Приблизительно знаю. Это—ущелье Гяур-Бах, тут перевал должен быть около Кара-Агача... Пойдем.

Катя быстро встала.

— Погоди, дурочка, не спеши. Дай махновцам уйти.

Она опять села. В логове их под скалою было уютно, темно и необычно. Гибкие ветви цветущей дерезы светлели перед глазами, как ниспадающие струи фонтана. И все вокруг было необычно и по-особенному прекрасно. Белели большие камни странной формы, не всегдашне мутен и тепел был красный свет месяца, и никогда еще не было в мире такой тишины.

Леонид положил руку на катину руку и крепко пожал ее сверху.

— Спасибо тебе, Катюрка! Кабы не ты сегодня, кормить бы мне собою крымских ваших червей... Жалко, что ты не наша. Нам такие нужны.

Катя редко теперь видела его таким,—когда он бросал свой развязный, задирающе-пренебрежительный тон и становился простым, искренним. Горячо задрожало в душе родное, тянущееся к нему чувство, как в те времена, когда он неожиданно являлся к ним из подполья,—исхудалый, нервный,—и гимназисточка-подросток жадно слушала его рассказы и толкование жизни.

— Если бы вы были другие!—вырвалось у нее.

Леонид помолчал и тихо сказал:

— Не можем мы быть другими.

— Но отчего же, отчего? Пойми, Леня, для меня это смертельный вопрос... Зачем вы эту грязь разводите вокруг себя, эту кровь? Это хамство, это измывательство над людьми? Ведь такого циничного надругательства над жизнью никогда еще, нигде не было! Вы так все обставили, что только хамы и карьеристы могут к вам итти, и те, кому власть, как вино. И все человеческие слова отскакивают от вас, как вот если камушки бросать в эту скалу.

Он слабо усмехался и бил веточкой по голенищу сапога.

— Удивительные вы люди! Разве мы можем такие слова впускать себе в душу? Как ты не понимаешь? Все кругом до самого основания изменилось, прежние отношения сломались, душа должна перестроиться на какой-то совсем новой морали... Или уже нельзя будет жить.

— Говори так, Ленька! Говори так! Не переходи на всегдашний тон. Господи, какой он тяжелый! Как-будто все время в маске человек!

— Вы как смотрите? Была хорошая, чистая, светлая жизнь, и ей только не давали развиться давившие ее мерзавцы. Мерзавцев убрали,—и вот все пошло бы хорошо и гладко, да вмешались на беду эти подлые большевики и все вам напортили. Милая моя, ведь это же взрыв был,—взрыв огромных подземных сил, где вся грязь полетела вверх, пепел перегорелый, вонь, смрад,—но и огонь очищающий, и лава полилась расплавленная. Подумай, какие человеческие силы могли бы это удержать?

— А вы не удерживали, а, напротив, разжигали.

— Конечно. И нужно было, чтоб огонь ударил в небо, и чтоб лава полилась по миру. А что грязь и смрад,—так что же делать! Неужели ты думаешь, что, если бы все от нас зависело, мы не действовали бы иначе? Дисциплинированные, железные рабочие батальоны, пылающие самоотверженною любовью к будущему миру, обдуманная, планомерная реорганизация строя на новых началах... Эх, да смешно говорить! Ей-богу, как будто институтки в белых пелериночках,—и разговаривай с ними серьезно!

— Нет, вы эту грязь именно разводите, вы нарочно играете на самых подлых, эгоистических инстинктах, стараетесь разжечь

их, а не боретесь с ними. Вы вперед забегаете, вы хуже тех, к кому приноравливаетесь.

— Погоди. Пойдем. Не ночь же всю сидеть.

— Ну! Только-что разговорились... Ну, что ж, ну, и ночь просидим!

Леонид надел куртку, поднял с земли винтовку и вышел из кустов.

—Тихо, Уехали... Ночь-то какая!

Месяц поднялся меж гор над ущельем и стал серебряным. Внизу чернел лес. Впереди крутыми своими утесами уходил в небо могучий Кара-Агач. Катя оглядывала местность.

— Тут где-то сейчас горная дорога должна быть через перевал...

Они осторожно шли, оглядываясь и прислушиваясь. Но тишина в лесу стояла забытая, и бояться было нечего. Выбрались на горную, слабо наезженную дорогу. Кудрявые кусты орешника бросали на траву черные тени. Как очень давнишнее, Катя вспомнила взлохмаченно-потную, крутящуюся голову в своих руках, огонь выстрела перед побледневшим лицом. Лет пять шесть назад смирный мужик ходил за плугом по своему полю, косил пшеницу. Думал ли он тогда, что кровавым хозяином пройдет по городам и селам и, пьяный, сложит под пулей голову на большой дороге?

Леонид заговорил:

— Ты одного не понимаешь. Подготовительная, начальная стадия революции и сама революция—две совсем разные вещи. Там самоотвержение, высокий идеализм, чистый, молодой порыв. Таковы были девятисотые годы с первой революцией нашей. Но тогда шли десятки,—ну, сотни тысяч. А теперь поперли миллионы. Некультурные, дикие, озлобленные. Не за человечество они идут, не за лучшее будущее, а за себя,—просто за самих себя,—полные злобы, мести, жадности. Но ведь ты марксистка, как же ты этого не учитываешь? В этом-то и сила всякой настоящей революции. Пойми ты, что старая психология идейного нашего революционера-интеллигента здесь не только не нужна, а вредна, опасна... Ну, вот ты, например. Ты работала для революции, в тюрьмах сидела, в ссылке была. Потому, что ты видела, что ра-

бочие, крестьяне угнетены, страдают,—и ты возмущалась. Очень все хорошо, и честь тебе. Но теперь угнетены буржуазия, интеллигенция, ты возмущаешься за них. Конечно, по-человечеству сказать, все—люди, и не виноваты буржуи, что родились буржуями. И вот, ты двоишься. Источник, из которого шло твое революционное настроение, потек по другому направлению. А мы идем за рабочих не потому, что они какие-то лучшие люди. Такие же! А потому, что классовый эгоизм толкает их на разрушение всяких классов и на создание нового мира. И со старою меркою подходить тут нельзя. Вот почему наша милая, отзывчивая интеллигенция со своею чистенькою моралью оказалась не у дел.

— Да, спасибо вам за вашу новую мораль! Ведь самодержавие,—само самодержавие, с вами сравнить, было гуманно и благородно. Как жандармы были вежливы, какими гарантиями тогда обставлялись даже административные расправы, как стыдились они сами смертных казней! Какой простор давали мысли, критике... Разве бы могло им даже в голову прийти за убийство Александра Второго или Столыпина расстрелять по тюрьмам сотни революционеров, совершенно непричастных к убийству?.. Гадины вы! Руку вам подашь,—хочется вымыть ее!

Она вздрогнула и повела плечами.

Леонид сдвинул брови и резко сказал:

— Вот тут-то мы и начинаем говорить на разных языках. Для нас вопрос только один, первый и последний: нужно это для революции? Нужно. И нечего тогда разговаривать. И какие страшные слова вы не употребляйте, вы нас не смутите. Казнь, так казнь, шпион, так шпион, удушение свободы, так удушение. Провокация нужна? И пред провокацией не остановимся. А эксцессы... Эксцессы мы очень бы рады и сами искоренить. Понятно, что у чекиста, в его страшной работе, голова легко пьянеет от власти и крови. Вы только не знаете, сколько из них самих попадает у нас под расстрел. Но чтобы на этом основании устыдиться и уничтожить чрезвычайки, и с закрытыми глазами ходить среди заговоров и покушений на революционную власть, ну, нет-с! Плохо рассчитали! Мы не такие дурачки, и на удочку вашу не попадемся!

Опять, как обычно, в голосе его зазвучали митинговые ноты, когда он, как будто, говорил не для собеседника, а для невидимой, сочувственной ему толпы. И как обычно, между ними запрыгали враждебные, колющие искорки.

Катя замолчала. Ей хотелось продолжать разговор в прежнем созвучном тоне, но настроенность у обоих исчезла. Она огорченно опустила голову. И оттого, что она не возражала, что на девической щеке чернели запекшиеся царапины от револьвера, Леониду сделалось стыдно, и опять она стала ему близка и мила. Он поднял брови, почесал в затылке, дружественно просунул руку под ее локоть и смущенно сказал:

— Ну, ничего!.. Ночь-то какая, посмотри.

Катя все время бессознательно чувствовала эту ночь. Справа тянулись крутые обрывы Кара-Агача, в лунном тумане они казались совсем близкими. И казалось под лунным светом,—какие-то там на горе огромные порталы, стройные колонны, величественные входы невиданно-большого храма. Опять стало просто.

Леонид держал ее под локоть, и они шли рядом. Он заговорил попрежнему хорошо:

— Помнишь, утром, на площади у вас в Арматлуке, когда мы судили за грабеж ваших парней, записавшихся в красную армию? Неужели же, ты думаешь, не хотелось бы мне, чтобы все у нас были такие, как тогдашний мой отрядец из рабочих,—горящие, серьезные, дисциплинированные?.. И вот,—что кругом делается! Грабежи, пьянство, притесняют всех одинаково; мужики с каким нас встречали восторгом, а теперь начинают ненавидеть. Даже махновскую эту сволочь мы вынуждены до времени терпеть. Ведь большинство у нас—люди деклассированные, развращенные империалистической войной, отвыкшие от труда, привыкшие к грабежу и крови, притом раздетые и голодные. Сразу их не перевоспитаешь. Только медленно, идя вместе с ними, мы постепенно сможем их сорганизовать. И, конечно, приходится совершенно перестроить свою душу. Я помню октябрьские дни в Москве. Теперь смешно вспомнить: как мы, интеллигенты, были тогда мягкосердечны, как боялись пролить лишнюю каплю крови, как стыдились всякого лишнего орудийного выстрела, чтобы, упаси боже, не за-

деть Василия Блаженного или Ивана Великого. А солдатам нашим это было совершенно непонятно, и они, конечно, были правы... Что с тех пор каждому из нас пришлось видеть, переиспытать!

Кате стало неприятно, что рука Леонида касается ее локтя.

— Погоди! На минутку!

Она высвободила руку, наклонилась к кусту, сорвала под ним две веточки цветущего шпорника. И усердно стала их нюхать.

— Ну! Ну!—жадно сказала она.—Дальше!

— Ну, вот...—Леонид шел, качая в руке винтовку.—В банкирском особняке, где я сейчас живу, попалось мне недавно «Преступление и наказание» Достоевского. Полкниги солдаты повыдрали на цытарки... Стал я читать. Смешно было. «Посмею? Не посмею?» Сидит интеллигентик и копается в душе. С какой-то совсем другой планеты человек. Ну, вот сегодня, с махновцем этим... Ты первого человека в жизни убила?

Катя дрогнула от неожиданно так заданного вопроса.

— Ну! Как ты говоришь...

— Как говорю... Да, мы с тобой убили.—Он лукаво глядел на нее и улыбался.

Катя тоскливо повела плечами.

— Ну, да.

— А, может быть, его не стоило убивать.

— Мне тоже думается.

— Что он за револьвер взялся на Горелова,—так можно было разговорить. С пьяным русским человеком это легко, только шуточка во-время. Не то, что с латышом, например,—эти звереют в хмелю. А мы убили. И вот ты долгие годы будешь задавать себе вопрос: «Права ты была? Не права?»... А я... Есть мне время об этом думать! Какая-то огромная, совершенно бессознательная жизнь в коллективе. Сегодня он, завтра я. Так все это неважно! Важно, что земля трясется, что гнилье рушится, что все, о чем вы говорите: «поосторожнее, да не сразу!»—все летит к чорту. Ведь по всей Европе от нас идут подземные удары, бьют снизу в просторы летаргической Азии. Все ворошится, просыпается. Придавленные чувствуют, что все они—одна огромная, братская стихия, что нет никаких раз'единяющих Христосов, Будд, Аллахов

нет каких-то священных Франций, Германий, Индий, Китаев, что все это обман. Один только вечный, священный, неразрывный об'единитель—Труд... И думать о каком-то махновце убитом, о том, что нас убьют, о ботинках, снятых с барина, о том, что мы рот зажимаем трусам и предателям, которые все это хотят остановить. «Поосторожнее, да посмирнее, да чтобы не обидеть кого, да слишком рано еще»... И это тогда, когда все силы мировые нужно напрячь, когда всё в том, чтобы дружно вскочили все сразу.

Катя усердно нюхала цветы. Справа в лунной дымке все тянулись обрывистые утесы, как порталы и колонны. В своем волнении и своей тоске Катя не могла отвлечься, сделать усилия сбросить обман зрения. И было у ней живое ощущение не диких скал, а бесконечно-огромного храма нечеловеческих размеров.

С вершины перевала открылась туманная, голубая под луной арматлукская бухта меж выбегающих мысов, в поселке краснели огоньки.

— Вот это поселок ваш?

— Да.

— Выбрались.—Леонид опять взял Катю под руку.—Катя, мы больше никогда так не будем говорить. Мы чужие. Ты считаешь меня жестоким, а моя трагедия,—что во мне слишком мало стали. Ты хорошая девчурка, и мне не хочется, чтоб мы были врагами. Знай, что мне часто бывает очень тяжело, иногда кажется,—не хватит сил все это выдерживать. Не случайность, что среди нас так много морфинистов и кокаинистов. И очень много в условиях работы, что калечит душу. Не стоим мы на высоте. Но выбора нет. Вспомни иногда об этом, когда слишком захлестнет тебя ненависть.

Катя опять высвободила руку и бросила цветы наземь. И задыхалась, и слезы звенели в голосе, когда она сказала:

—Да, мы чужие... Мне припоминается, я читала у Лиссагарэ. Один версальский офицер, во время расстрела коммунаров, воскликнул: «нужно иметь очень твердые политические убеждения, чтоб выдерживать душою то, что мы делаем!» Но вот что обидно, о чем плакать хочется... Когда вас свергнут, когда вы даже сами сгниете на месте от своей бездарности и бессмысленной

жестокости,—и тогда сиянием вас окружит история, и вы яркою, призывною звездою будете светить над всем миром, и всё вам простят! Что хотите, делайте, омохнатьтесь, до полной потери человеческого подобия,— всё простят! И даже ничему не захотят верить... Где же, где же справедливость!

Леонид тихонько посмеивался. Они молча стали спускаться с перевала.

* * *

Фитилек в стакане с маслом тускло освещал милую, знакомую закоптелую кухню. Катя, с голыми руками и плечами, сидела на табуретке и одушевленно рассказывала о схватке с махновцами, а Иван Ильич перевязывал ей простреленную руку. Анна Ивановна ахала и любовно смотрела на Катю в круглые свои очки,—в глазах Ивана Ильича были холод и отчуждение.

Катя оделась.

— Да, еще вот что. Вера приехала из России, работает у нас в городе.

Анна Ивановна радостно всплеснула руками.

— Да что ты?

Иван Ильич потемнел, в глазах его мелькнул обычный беспощадный огонек. Он прошелся по кухоньке и с сдержанною, недоброю усмешкою спросил:

— Что же, в чрезвычайке служит?

— Ах, оставь ты, папа!—раздраженно отозвалась Катя.

Он молча заходил по кухне. Анна Ивановна жадно расспрашивала про Веру.

Иван Ильич сказал:

— Когда она была учительницей на донецком руднике, она публично не подала руки врачу, присутствовавшему при смертной казни; ее тогда уволили за это и выслали из донецкого края. Что же, и теперь она не подает руки людям, причастным к казням?

— Ну, папа, я не хочу с тобой об этом говорить... Видеть ее ты, конечно, не желаешь?

— Откровенно говорю: не желал бы.

— Ну, мама, мы с тобой в понедельник поедем в город, ты с ней там увидишься.

Сели ужинать. Иван Ильич, сурово нахмурившись, ел молча.

Катя с удивлением спросила:

— А вы всё в кухне живете и в маленькой комнатке? Отчего не перебираетесь на летнюю половину?

Анна Ивановна измученно вздохнула.

— Там солдаты-пограничники живут. С мезонина глядят в подзорную трубу на море. Уж такое мне горе с ними! Воруют кур, колят на щепки балясины от террасы, рубят столбы проволочной ограды. Что стоит сходить в горы, набрать хворосту? Ведь круглые сутки ничего не делают. Ходит же Иван Ильич. Нет, лень. Вчера две табуретки сожгли.

Катя вскипела.

— Так нужно начальнику их заявить!

— Он говорит: представьте с поличным, я такого расстреляю. И ведь, правда, расстреляет. За табуретку!

Скудный был ужин. Очень скудный,—маисовая каша без масла. Хлеба не было.

Анна Ивановна сообщала местные новости.

Ревком состоял из Афанасия Ханова и еще трех мужиков болгар. Агапов,—представь себе, Агапов!—стал заявлять, что это не настоящий ревком, что в нем не представлена местная беднота. Приехала из города чрезвычайная тройка, сменила ревком. Ханова, как коммуниста, оставили, но намылили ему голову за мягкость. Назначили в ревком Гребенкина и Тимофея Глухаря. Теперь главная там сила—Гребенкин. Свирепствует во-всю. И первым делом дачу Агапова занял под ревком, а Агапова выселил. Вот тебе и подслужился Агапов! Гребенкин на даче Яновича, где был сторожем, занял три лучших комнаты, завладел всей одеждой, хранившейся в сундуках. У деревенских богачей, Албантовых и Стамовых, отобрал коров, лошадей, и роздал бедным мужикам. Дает мужикам ордера на мебель и посуду дачников, на белье.

Ивана Ильича новый ревком, в порядке трудовой повинности, обязал лечить безвозмездно все местное население. За это ему выдается из ревкома по два фунта муки в неделю.

— И какие мужики требовательные стали, настойчивые! Таскают то-и-дело, по самым пустяковым поводам, и непременно, чтоб сейчас пришел! Нарыв на пальце у него, и Иван Ильич, старик, должен тащиться к нему,—сам ни за что не придет. Сытые, от'евшиеся,—и даже не спросят себя: чем же мы-то живем? А у самих всегда—и сало на столе, и катык, и барашек жареный.

Иван Ильич примирительно сказал:

— Ну, все-таки... Вот вчера Цырулиева дала бутылку молока.

— Первый, кажется, случай. Да! Раз еще как-то фунт брынзы дали... На-днях пьяный вломился к нам Тимофей Глухарь, орал: «Эксплоататоры! Я вам покажу! Если хоть одна жалоба на тебя будет от мужиков, засажу в подвал на две недели!» И вдруг потребовал, чтоб Иван Ильич записался в коммунисты.— «Отчего,—говорит,—не желаете? Значит, вы сочувствуете белогвардейцам»... Сам в новеньком пиджаке и брюках,—реквизировал у Галицкого, помнишь, у шоссе его дачка? Акцизный контролер из Курска.

Пришел инженер Заброда, бухгалтер деревенского кооператива,—длинный, с большим кадыком на чахоточной шее. Увидел Катю, нахмурился. Поколебавшись, неохотно подал ей руку и сейчас же отвернулся: он не прощал ей, что она пошла служить к большевикам.

Медленно курил он толстую крученку из плохого табаку и сиплым голосом своим рассказывал: кооператив закрыт, весь товар взят на учет и вот уже месяц лежит без движения. Деревня без мануфактуры, без обуви, без керосина и спичек. И никакие представления не помогают. Один ответ: ждать распоряжений! Им хорошо, у самих всего в избытке. Спешить некуда!

Водянисто-голубые глаза его светились суровою ненавистью.

— Я не могу понять,—что это? Уверенность ли в безграничном терпении русского народа, или выражение полного отчаяния от сознания своего банкротства?

Катя возразила:

— Не знаю. Что-то неуловимое, мне непонятное,—но другое что-то, что дает им силу. Страшную, неодолимую силу. А поми-

'мо их—либо махновщина, в основе еще более ужасная, либо деникинщина, возвращение к старому.

— А теперь уже не воротились к старому? Всё—как прежде, только в еще более российских формах. Для народа разницы нет, измываются ли над ним становые с урядниками, или комиссары с Гребенкиными... То же рабство, та же тупая реакция.

— Нет! Все-таки тут революция, самая настоящая. А не реакция.

Заброда пренебрежительно оглядел ее.

— Смертные казни, подавление самодеятельности, удушение печати... Вот так революция!

И отвернулся.

* * *

Жарким золотым светом смеется воздух, соленым простором дышит темно-синее море, зовущий аромат льется от белых акаций.

Дачка на шоссе. Муж и жена. И попрежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И попрежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. У них отобрали лучшую одежду, наложили контрибуцию в три тысячи рублей. Уплатить было нечем, и пришлось продать корову. И, хотя уже не было коровы, с них требовали семь фунтов масленого продналога.

Он — свалившимися, неподвижными глазами. У нее, вместо золотистого ореола волос,—слежавшаяся собачья шерсть. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.

— Екатерина Ивановна! Об'ясните вы ей, пожалуйста: ведь можно кормить маленьких цыплят пшенною крупою, не варя ее.

— По-моему, можно. Я просто крупою кормила.

— Вот видишь. И так погибаем от работы, а она: нет, это вредно для цыплят, нужно им варить кашу!

* * *

Катя пошла на деревню отыскать Капралова, и еще—купить чего-нибудь с'естного для своих. Ее удивило: повсюду на крестьянских дворах клубился черный дым, слышался визг свиней, але-

ли кровавые туши. Встретилась ей Уляша. Чудесные, светлые глаза и застенчивая улыбка на хищных губах. Катя спросила:

— Что это, праздник какой скоро, что ли? Почему везде свиней колют?

— Нет, праздника нету. А только... Слышно, по одной свинье позволят держать каждому, остатних будут отбирать.

— Так вы всех лишних спешите зарезать!

— Ну, да!

— Это к лету-то! Кто же летом свиней колет?—Катя засмеялась.—Ну, что, Уляша, нравится вам большевизм?

Уляша застенчиво улыбнулась и взглянула в сторону.

— Нет. Что же это делают! Кому охота работать, если все отбирают. Цену об'являют пустяковую, «по твердой цене», и все зерно лишнее отдай им. Вино забрали. Уж не знаем, работать ли виноградники, или бросить. Лошади все время в разгоне по нарядам, а нужно сено возить.

— Зато земля теперь ваша. И вещи у дачников для вас отбирают.

— Вещи—что! Их и купить можно. А за землю мы Бреверну не так уж много платили. И в городе хорошо торговали. А теперь торговлю прекратили... Только и ждем, что авось прогонют их.

Катя хохотала.

* * *

— Нет, продажного ничего нету.

— Ну, брынзы, может быть, муки? Хоть сала,—ведь вот, вы свинью колете.

— А на что нам деньги? Ничего на них не купишь. Да и не надобно нам. Все теперь есть. Это раньше было: вы ели, а мы смотрели. А теперь мы будем есть, а вы—посмотрите. Хе-хе-хе!

* * *

— Вот так—шоссе идет, а так, на горле хата стоит, в отдельности от хуторков. И все люди, что в хате жили, от тифа перемерли. Не знаю, дезинфекцию сделали ли, нет ли. Хату на замок заперли, запечатали. Шел ночью прохожий один, видит,—

огонек. Подошел к хате. В окошке лампа горит. Постучался, не отвечают. На двери замок висит, печать. Подивился он. Дело летнее, переночевал на воле. Утром зашел в хуторки. Его там угостили, а, может, по нынешнему времени, и за деньги купил,— уж не могу сказать. Поел. Спрашивает:

«— Кто это там на горке живет?

«— Никого нету, пустая хата.

«— Как так пустая? Там огонь горел.

«Стали мужики вспоминать,—верно, по ночам огонь горит. Оказался тут камманист один. Винтовку взял, наган, влез в окошко и в печку спрятался. Думали,—не зеленые ли по ночам собираются?

«Только полночь пробило, вдруг лампа на столе сама собою зажглась. Сидят два старичка и разговаривают. Один,—борода длинная, как полагается: саваофская; у другого кучерявенькая. Сидят и разговаривают,—вообще, значит, разговаривают о жизни, об ее продолжении. Один говорит:

«— Нет, Никола, не хватает терпения моего. Всех хочу уничтожить.

«А другой ему:

«— Подожди, потерпи еще немножко. Может переменится все, одумаются люди, получше станут. Тихомирье придет.

«Ну, на этом и сговорились. Первый и говорит, головы не поворачивая:

«— Михаил, вылезай!

«А камманиста Михаилом звали. Притулился он в печке, думает,—не к нему. А старичок опять:

«— Вылезай, Михаил, мы ведь знаем, что ты в печке.

«Нечего делать, вылез.

«— Вот. Будешь ты тут стоять, пока не придет изменение.

«И врос он в землю по пояс.

«Утром другие камманисты пришли, стали откапывать. Никакая кирка не берет. Так до сих пор и стоит середь хаты, в земле по пояс. Комиссия приезжала из Симферополя, опять откапывали, думали,—не белогвардейская ли пропаганда. Ничего подобного. Все записали, как было, Ленину послали телеграмму».

* * *

Под ярким солнцем над бывшей кофейнею Аврамиди развевался новенький красный флаг и желтела вывеска: «Рабоче-крестьянский клуб». В раскрытые окна несся громкий голос оратора.

Катя зашла. За стойкою с огромным обзеленевшим самоваром грустно стоял бывший владелец кофейни, толстый грек Аврамиди. Было много болгар. Они сидели на скамейках у стен и за столиками, молча слушали. Перед стойкою к ним держал речь приземистый человек с кривыми ногами, в защитной куртке. Глаза у него были выпученные, зубы темные и кривые. Питомец темных подвалов, не знавший в детстве ни солнца, ни чистого воздуха.

— Товарищи! Вы должны понимать, что теперь у нас социализм, все должны помогать друг другу. Вы вот говорите: мануфактуры нету, струменту нету. Как же рабочий может работать, как он может заготовлять вам товар, ежели у него нет хлеба? Вы должны доставлять им хлеб, чтоб учредилось братство трудящихся. Вы—им, они—вам. Вам добыли землю, мы прогнали помещиков и отдали вам...

Он говорил громким, привычным к речам голосом, все время делал по два шага то в одну сторону, то в другую и махал кулаком, как-будто вколачивал гвозди.

— Товарищи! У нас теперь есть всякие отделы: отдел народного хозяйства, отдел социального обеспечения,—просто сказать: собез,—отдел народного просвещения. Неужели это не ясно? Все устроено по-социалистически, для трудового народа. Раньше, при царе Николке, попы вас учили: *а* да *бе*, а как буквы в склады сложить, тому не учили. Учили, как нужно на пузо эпитрахиль спущать, как нарукавники надевать, а настоящему понятию не учили. А теперь вам дается образование настоящее, социалистическое. Все это нужно понимать. И нужно работать сообща, все, как один человек. Товарищи! Социал-предатели, меньшевики и эсеры, подкупленные буржуазией, наущают вас не давать хлеба советской республике, запрятывать его в ямы, чтобы голодом

взять советскую власть и все поворотить на старое. Ну, только это напрасно! Если меж вас есть такие кулацкие елементы, которые за контрреволюцию, то железная "рука" пролетариата заставит их переменить свои понятия. Мы люди дошлые, глаза у нас острые. Под какие ометы не закапывайте зерно, мы везде сыщем. И тогда такому кулаку будет плохо!

Болгары слушали с непроницаемыми лицами, медленно мигали и молчали.

* * *

Ревком помещался в агаповской даче. На бельведере развевался большой красный флаг. Крестьянские телеги стояли в саду. Привязанные к деревьям лошади об'едали и обламывали кусты. Клумбы цветника были затоптаны. В зале на заплеванном паркете толпились мужики, красноармейцы. Рояля не было,—его перевезли в клуб. Агапов с семьею ютился в гостинице Бубликова.

В бывшей Асиной спальне сидел за письменным столом Афанасий Ханов. Он радостно поздоровался с Катей.

— Проведать приехали? Ну, как у вас в городе работа идет?

Катя спросила, не будет ли сегодня или завтра утром подводы в город, чтобы ей поехать с матерью.

— Я сам на заре еду, и со мной еще товарищ один. Приходите в ревком, прихвачу вас.

Каждую минуту его отрывали. Вошли два солдата с винтовками, протянули измятый клочок бумаги.

— Вина? Не могу, товарищи, отпустить. Только по записке коменданта.

— Что нам комендант! Нам указ только командир полка. Вот записка его.

— Что за записка! Даже без печати... Поймите, товарищи, ведь это народное достояние, вино у нас на учете, не могу я его раздавать.

— Да много ли мы просим? Дайте ведра два, и ладно!

— Не могу,—понимаете?

Солдат в фуражке артиллериста сказал:

— Всего двое нас, потому и разговариваем. Дай, вдесятером придем, тогда разговор будет другой.

Они ушли, угрожающе ворча. Ханов измученно потирал лоб ладонью.

— Понимаете, вот каждый день так. В четверг пришли к складу, милиционеров наших на мушку, вышибли дверь погреба и увезли, понимаете, целую бочку. Ведь вот какой народ!

Пришел столяр Капралов. Катя обрадовалась.

— А я как раз вас ищу.

Капралов не был пьян, умное лицо его было серьезно, без пьяно-юмористических огоньков.

— Меня прислал Отдел узнать, как у вас тут идет работа.

— Вот хорошо, что приехали. О многом нужно потолковать.

Вошел Гребенкин и сел за стол. Капралов сказал ему:

— Сашка, на завтра нужно двух барышень пригласить, сделать перепись безграмотным.

Гребенкин усмехнулся.

— «Пригласи-ить»? Ишь, какие нежности! Мобилизуем. Вот, две девицы агаповские без дела шляются. Их пошлем.

Катя удивилась.

— Зачем же насильно заставлять? Наверно, много найдется желающих и по доброй воле. Все ведь голодные.

— Спрашивать их еще,—«желаете ли?» Го-го!

— Двух мало,— заметил Капралов.— Запасную еще наметь,—может, какая больна окажется.

— Больна-а?—Гребенкин грозно нахмурил брови.—Нам тогда скажи. Митом вылечим.

Капралов с одушевлением и волнением рассказывал Кате, что сегодня в зале Бубликовской гостиницы у него идет первый концерт митинг. Будет декламировать кой-кто из дачников, княгиня Андожская будет петь и агаповская барышня. Просил он Гуриенко-Домашевскую, она тоже согласилась.

— Да будет тебе! Вот человек!—возмутился Гребенкин.— «Просил», «согласилась»... Обязана итти без разговоров! Не те времена.

Катя вскипела.

— Какое хамство! Зачем вам, Гребенкин, нужны эти измывательства над людьми? Непременно власть свою показать! Как урядники в старые времена. Какая гадость! Гуриенко-Домашевская знаменита на всю Россию.

В колючих исподлобья глазах Гребенкина мелькнула мягкая, слегка сконфуженная усмешка. Ханов лениво сказал:

— Он озорничает. Что вы его слушаете.

— Ничего не озорничаю. «На всю Россию»... Сколько лет тут живет,—почему же ни разу не собралась мужикам поиграть? Заплати ей пять целковых с рыла, тогда пожалуйте! Вон какую себе дачу выстроила... Всех теперь заставим работать на народ, на простых людей!

И чувствовалось, как от своих слов он сам разжигался злобою.

Тихонько вошел Агапов,—осунувшийся, но по-всегдашнему ласково улыбаясь. При входе он снял свой картузик. Гребенкин грубо сказал:

— У нас тут богов никаких нет, наденьте шапку.

— Нет, я к тому... Жарко-с!—Агапов обратился к Ханову.—Получил я повестку от ревкома,—завтра итти в лес дрова рубить.

Глаза Гребенкина злорадно загорелись. Он удивленно сказал:

— Ну, да. Отчего же вам дровец не порубить?

— Помилуйте, мои годы не те!

— Как не те? Те самые. Вам сорок девять лет,—до пятидесяти мы всех мобилизуем на общественные работы. Мужиков гоним,—отчего же вас нельзя?

— Я понимаю, я не о том... Конечно, трудовая повинность, общественные обязанности... Да сердце-то у меня, изволите видеть, больное.

— Сердце у вас от жиру больное. Моцион вам очень даже будет полезен.

— Я вам представлю свидетельство врача.

Ханов сказал:

— Ну, что ж, назначим комиссию, пусть доктор освидетельствует.

— Ерунда!—отрезал Гребенкин.—Знаем мы эти свидетельства! Всякую чахотку пропишут, если попросить. Нечего, гражданин, разговаривать. Не явитесь завтра,—в подвал вас отправлю.

Катя вспомнила, как два месяца назад Гребенкин вставлял здесь стекла. Висели на стенах чудесные снимки Беклина, в полированных рамах из красного дерева; на бледно-зеленой шелковой кушетке сидел грузный болгарин, заведывавший нарядом подвод. Агапов помялся и вышел.

Оратор пришел, которого Катя слушала в клубе. Он бросил на стол фуражку и отер потную голову.

— Ну, народец у вас! Добром дела с ним не сделаешь. Чую, что без молодцов моих не обойдется.

— Не обойдется,—подтвердил Гребенкин.—Хлеба у всех, сколько угодно. Позакопали в землю и прибедняются.

Ханов примирительно возразил:

— Ну, оставь! Кто закопал, а кто и вправду бедный.

— Ты молчи! Кулак! Все родственники тебе, сватья да кумовья. Вот ты их и покрываешь.

— Ах, оставь ты, Сашка!

Катя обратилась к Капралову:

— Пойдемте?

Они вышли. Совсем другой был Капралов,—никогда его Катя таким не видала: светлый, сосредоточенный.

— Я вас не узнаю, Капралов. Какой-то вы совсем новый. Пить вы бросили, что ли?

— Бросил. Не до того.

Пошли в библиотеку,—в ней помещался отдел народного образования. За столом сидела секретарша Отдела и библиотекарша Конкордия Дмитриевна, дочь священника Воздвиженского. Катя подробно стала знакомиться с делами. Был уже открыт клуб, дом ребенка, школа грамоты. Капралов просил устроить присылку из города лекторов по общеобразовательным предметам и режиссера для организации любительских спектаклей.

— Сцену мы уже устроили. Неделю целую я работал, даже будку суфлерскую приделал,—хороша вышла будочка!

И еще сильнее Катю поразили умные, интеллигентные глаза Капралова, при которых странно звучали его простонародные выражения.

Он спросил:

— Как у вас в городе с книгами? Отбирают их у буржуазии?

— Забирают из квартир бежавших. У остальных только регистрируют.

— А как вы скажете? Хочу у дачников отобрать книги, не стану на вас смотреть.

— Вот уж вы какой большевик стали, Капралов. А не противно вам это?

— Чего противно? У дачников вон сколько книг в шкапах, да на этажерках. Лежат без пользы, пылятся. А у нас в библиотеке одна «Нива» да «Вокруг света».

— Вы подумайте, Капралов, кто же тогда станет покупать себе книгу, если ее у него каждую минуту могут отобрать?

— Ну, когда другие времена будут... А сейчас нужно отобрат. Что ж народу читать?

* * *

В обеденном зале Бубликовской гостиницы рядами стояли скамейки, в глубине была сооружена сцена с занавесом; и надпись на нем: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Густо валила публика,—деревенские, больше молодежь, пограничники-солдаты. Капралов, взволнованный и радостный, распоряжался. Катю он провел в первый ряд, где уже сидело начальство,— Ханов, Гребенкин, Глухарь, все с женами своими. Но Катя отказалась и села в глубине залы, вместе с Конкордией Дмитриевной. Ей было интересно быть в гуще зрителей.

Не хватало мест. Толпа заполнила проходы. Лущили семечки и ждали с нетерпеливым любопытством. И странно было видеть новую эту публику здесь, где раньше обедали за столиками топорные и разодетые курортные гости.

Третий звонок. Сопротивляясь и цепляясь за непослушную проволоку, стал раздвигаться занавес. И застрял на половине.

В зале засмеялись. Выскочил Капралов и отдернул до конца. Внизу, скрытая суфлерской будкою, горела яркая лампа-молния. На эстраду вышел давешний оратор.

— Товарищи! Рабоче-крестьянская армия выгнала из Крыма белогвардейскую нечисть. Теперь у нас везде власть трудящихся... Товарищи! Революция начинается везде! В Венгрии утвердилась власть советов, тоже и в Персии. В Германии революция. Мировой пролетариат поднял голову и ринулся на борьбу со своими угнетателями-капиталистами...

Он опять делал в стоптанных своих сапогах два шага то в одну, то в другую сторону, и все время как-будто вколачивал кулаком гвозди. Лицо его, с ярко-освещенным подбородком и затененным лбом, выглядело необычно, по-концертному.

Говорил он о жестокой борьбе, какую приходится вести советской власти на всех фронтах, о необходимости поддержать ее, ругал меньшевиков и эсеров, предавших революцию.

Местная молодежь слушала жадно, вытянув головы. Привычные красноармейцы равнодушно глазели по сторонам и ждали того интересного, что будет дальше.

Оратор кончил возгласами в честь всемирной пролетарской революции, советской власти и ее вождей. Красноармейцы затянули:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!..

Зрители нестройно подхватили. Оратор оглядел зал грозными глазами и зычно крикнул:

— Встать!! Шапки долой!!

Катя возмущенно проговорила:

— Господи, что это! Совсем, как в прежние времена с «Боже, царя храни!»

— Вы что же, Манечка, не встаете? Слышите: «вставай. проклятьем заклейменный».

— Мы не клейменые.

— Как это так, не клейменые? В песнях всегда правильно говорится. Вы—проклятьем заклейменная.

— Ничего подобного!

Потом Ханов говорил, сбиваясь, трудно находя слова, но с горячим одушевлением. А потом выступил Капралов и спокойно, не волнуясь, стал говорить простым, беседующим тоном:

—... Вы подумайте, товарищи. Без умственности мы далеко не уйдем. Вот ты на косилке выехал ячмень косить, говоришь: «мы работаем, а они что делают? Только книжки читают!» Ну-ка, а погляди на косилку свою: ты, что ли, ее выдумал? Хватит у тебя на это мозгов твоих? В нее, брат, мозгу-то этого самого вон сколько положено! Не нашего с тобою мозгу. Вот ты это и помни. И спасибо тому скажи, кто этакую умственную штуку выдумал. А не то, чтобы над книжками смеяться. Сам за книжку возьмись, не гляди, что борода у тебя снегом запорошена. Иди к нам в школу грамоты, учись, иди в библиотеку к нам, книжки читай. Только тогда мы силу возьмем, когда станем умные. Правильно сказали великие писатели Шéкспир и Михайлов-Шеллер, что сила народа—в его просвещении...

Для чего-то задернуми занавес и опять отдернули.

На эстраду вышла княгиня Андожская со свертком нот, за нею—Майя. Майя села за рояль, а княгиня выступила на авансцену. И у нее тоже лицо от освещения снизу было особенное, концертное.

Конкордия Дмитриевна шепнула Кате:

— Славный этот Капралов наш. Выхлопотал у ревкома для всех исполнителей по десять фунтов муки и по фунту сахару. Гребенкин противился, хотел даром заставить, но Капралов с Хановым настояли. И вы знаете, Бубликов недавно хотел выгнать княгиню из своей гостиницы за то, что денег не платит за номер. Дурень какой,—в нынешнее-то время! Ханов посадил его за это на два дня в подвал. Успокоился.

Княгиня, бледная от волнения и,—Кате показалось,—от унижения, суровыми глазами смотрела поверх толпы. Тихо, понемногу нарастая, зарокотали аккорды. Княгиня запела:

Бурный поток, чаща лесов,
Голые скалы—мой приют...

Она спела. Господи, что началось! Как-будто с грохотом посыпалась с потолка штукатурка,—такие крепкие затрещали рукоплескания. Бешено кричали: «Браво! Браво! Бис!» И когда она вышла раскланяться,—опять: «браво! Андожская!» И красноармеец какой-то упоенно крикнул: «ур-ра!!!»

Княгиня сдержанно кланялась, и слабая улыбка появилась на губах, и в прекрасных глазах блеснула удивленная радость.

Она опять запела. И еще несколько песен спела. Буйный восторг, нёсшийся от толпы, как на волне, поднял ее высоко вверх. Глаза вдохновенно горели, голос окреп. Он заполнил всю залу, и бился о стены, и—могучий, радостный,—как-будто пытался их растолкнуть.

Зал ревел и гремел. Катя бросилась за кулисы. Княгиня, с новым лицом, сидела в плетеном кресле. Восхищенный Капралов топтался вокруг. Гуриенко-Домашевская говорила:

— Прелестно, княгиня, восхитительно! Никогда вы так не пели!

Катя, задыхаясь от радости и душивших ее слез, горячо жала обеими руками руку княгини.

— Скажите! Ну, скажите мне! Разве такое что-нибудь вы испытывали прежде, когда пели в ваших салонах, когда это у вас было от безделья? Какую вы целину затронули! Разве вы не чувствуете, что вы сейчас делали огромное дело, что никогда они вам этого не забудут?

Зал шумел. Княгиня остановившимися, прислушивающимися к себе глазами глядела на Катю.

— Никогда, никогда вы этого и сами не забудете! Правда?

Княгиня повела головою и коротко, с неулыбающимися глазами, вдруг сказала:

— Позвольте вас поцеловать.

И крепко поцеловала Катю.

Вечер прошел великолепно. Капралов торжествовал и ходил именинником. Декламировали из Некрасова, Бальмонта; пела Ася, княгиня спела с нею дуэт из «Пиковой Дамы». И еще даже больше, чем Андожская, зал захватила Гуриенко-Домашевская за роялем.

— Друзья мои!—обращалась она к зрителям, чтоб не говорить слова «товарищи». С тепло светящимися, восторженными глазами, подробно об'ясняла содержание каждой пьесы, которую собиралась играть, и потом играла.

Труднее всего увлечь простую публику игрою на рояле. Но огромный талант Домашевской одолел трудность.

В заключение она, вместе с Майей, сыграла в четыре руки пятую симфонию Бетховена. Душу зрителей, незаметно для них, стали изнутри окатывать светлые воздушно-легкие волны, и скоро огромный, сверкающий океан бурно заплескался по залу, взметываясь вверх, спадая и опять вздымаясь, и качая на себе зачарованные души. Катя видела полуоткрытые рты, слышала тишину без сморканий и кашля. И казалось ей,—это плещется древний, древний, первобытный океан, когда души не были еще так отгорожены друг от друга, а легко сливались в одну общую, радостно-подвижную душу.

* * *

Выехали из Арматлука рано утром, когда алое солнце только-только выглянуло из-за моря, и уставший за ночь месяц, побледнев, уходил за горы в лиловую мглу. В тихом воздухе стояла сухая, безросная прохлада, и пахло сеном.

Ехали на линейке Афанасий Ханов, вчерашний оратор Желтов и Катя с матерью. Вез их болгарин Петр Гаштов.

Желтов, добродушно улыбаясь, говорил:

— Да, кряжистые мужички у вас! Никакой их пропагандой не прошибешь. Придется нам тут поработать. Вот Гребенкин у вас в ревкоме парень, видно, дельный. Его возьмем в помощь.

Катя сказала:

— Я не совсем понимаю. Вы весь хлеб отбираете у мужиков?

— Ну, да. Не весь, а называется—хлебные излишки.

— Платите вы им?

— Конечно, платим. По твердым ценам.

— По твердым! Да что ж там, пустяки! Семьдесят рублей за пуд пшеницы, а она сейчас две с половиной, три тысячи стоит.

Желтов настороженно оглядел Катю и резко спросил:

— А вы хотите, чтобы мы по спекулянтским ценам платили? Чтобы кулаки наживались на рабочем голоде?

Катя кротко возразила:

— Вовсе я ничего не хочу, я вас только спрашиваю. И мне интересно вот что: получит он от вас семьдесят рублей за пуд,— что же он за эти деньги купит? Катушка ниток стоит сорок рублей.. Не хватит и на две катушки.

Гаштов с козел отозвался:

— Теперь за катушку уж пятьдесят пять просят.

— Ну, да, это конечно... Правильнее было бы товарообмен. А только что ж делать, если нет товару! Рабочие в городах без хлеба сидят,—какая же может быть работа? И сейчас нам не до катушек, приходится для фронта работать, империалисты напирают со всех сторон. Неужели не ясно? Такое время, всем нужно терпеть. Не до наживы. Приходится силком отбирать, если не хотят отдавать добром.

— Да, видела я год назад, как сюда ехала! Мужик из Новгородской губернии. Продал последнюю коровенку, купил в Сызрани два мешка муки, а в Туле продовольственный отряд все у него отобрал. «С чем,—говорит,—я теперь домой поеду?» И тут же, у всех на глазах, бросился под поезд. Худой, изголодавшийся... Господи, что было!—взволнованно воскликнула Катя.

Гаштов, повернув лицо от козел, жадно слушал. У Ханова глаза стали растерянные. Анна Ивановна испуганно дергала Катю за рукав.

— Таких мы жалеем. А монополии хлебной никак нельзя отменить. Сейчас спекулянтство пойдет. Вы поймите: революция! Неужели не ясно? Как в осажденной крепости!—Желтов начинал сердиться.—Вы тех вините, кто антанту призвал, Деникиных и Колчаков вините, да! Рябушинских. Они хотят костлявой рукой голода задушить революцию, а социал-предатели им подпевают и мужиков против нас восстанавливают... А кто им землю отдал? Ну-ка, товарищ, скажи,—землю вам Деникин отдал или нет?

— Землю-то, это, действительно...

— Вот видишь! Землю вы себе сохранить желаете, а кто вам ее отдал? Рабочий! А как о том, чтоб его поддержать,—наше дело сторона! Вот почему название вам—кулаки!

Ханов оживился и сказал:

— Понимаешь ты теперь, Петро? Я же вам всегда то самое говорю. Что нужно на общую пользу думать, а не только что для себя.

Гаштов молчал и бережно подхлестывал лошадей.

Желтов продолжал:

— Мужиков мы жалеем. Временем приходится их прижать, да душою мы за них. А вот социал-предатели эти, наймиты буржуазии, что везде агитацию ведут,—эту всю сволочь надобно уничтожать без разговору. Таким—колено на грудь и нож в живот!

— Вот в том-то и слабость ваша...

— Чтоб не смущали народ! Без всяких разговоров,—в город! Пожалуйте в Особый Отдел!

Было ясно, что он это о ней. У Кати на душе стало дерзко-весело и спокойно-спокойно.

— В этом и слабость ваша. Вместо того, чтобы убеждать,—колено на грудь и нож в живот. Двое вас тут мужчин против меня одной,—а какие у вас доводы? Нож в живот, пожалуйте в Особый Отдел!

Желтов поспешно сказал:

— Я не о вас.

— Как же не обо мне? Конечно, обо мне. Да и все равно, про кого бы ни было. Вот я вчера слушала вас в клубе. Вы думаете, вы убедили мужиков? Конечно, нет. А почему? Они слушали и молчали. Попробуй вам кто возразить, вы бы сейчас: «кулацкий элемент! Контрреволюционер! Колено на грудь! В Особый Отдел!» Они и молчат, и все ваши слова сыпятся мимо.

— Детские слова говорите! Миролюбие какое-то! Толкуют же вам,—революция! Неужели не ясно? Никакого миролюбия!

— Я и не говорю про миролюбие. Боритесь. Пусть враги боятся вас, пусть ненавидять. Но чтоб уважали вас, чтоб чувствовали, насколько вы выше их.

— А разве это не уважительная картина? Вот, приехал я к ним позавчера: на берегу моря дом, на доме красный флаг, а в доме всю ночь при огоньке работают два коммуниста,—он вот, и Гребенкин. А кругом все злобятся, ненавистничают, камень щупают за пазухой. Или как красная армия наша кровь проливает на фронте...

— Неужели же это теперь кого-нибудь убедит? Будет вам, товарищ! Кровь свою и белые проливают. И средневековые рыцари-разбойники были очень храбры, и всякий бандит храбр.

Анна Ивановна в отчаянии наставила на Катю круглые свои очки и еще раз дернула ее за рукав. Желтов спросил:

— Чего же вам надо?

—Вот чего. Когда ввели в Петербурге классовый паек, то рабочие Балтийского судостроительного завода отказались получать увеличенный паек, они вынесли резолюцию: когда все кругом одинаково гибнут от голода, стыдно одним получать больше, чем другие. Вот это истинный героизм, истинное благородство! Таким людям я поверю, что они борются за правду и справедливость. Но это один-единственный раз было, только один! А вообще,—что кругом делается! Раньше одна была белая кость,— дворянин, теперь другая стала,—рабочий.

Вдруг Ханов взволнованно соскочил с линейки и пошел рядом с нею.

— Не хочу с вами ехать, не хочу вас слушать! Вы, может быть, не контрреволюционерка, но вы опаснее самых вредных агитаторов! Я во всем согласен с товарищем. Таким нужно колено на грудь!

— И нож в живот, Ханов?

— Оставьте меня, я не хочу с вами разговаривать!

Он быстро пошел в гору, обгоняя медленно тащившуюся линейку.

Когда он на перевале сел обратно в линейку, Желтов и Катя беседовали дружелюбно и мирно. Желтов раздумчиво говорил:

— А все-таки таких, как вы, нужно бы... Уж не знаю, что бы... Расстрелять не за что, а вред большой... У вас образо-

вание, нам трудно с вами. Дай, вот, образование отнимем у вас, себе возьмем,—тогда вы против меня ничего не сможете сказать, как теперь я против вас.

* * *

Вера прибежала со службы повидаться с матерью. Без слов обе бросились друг другу в об'ятия, целовались, глядели друг на друга и опять целовались. Вера сказала:

— Мамочка! Постарела ты как!

Обнялись, и вдруг горько заплакали. Сидели и плакали.

— Ну, а ты как?—Анна Ивановна утирала глаза и жадно разглядывала Веру.—Бледная, худая... Ведь вам теперь хорошо живется, коммунистам. А ты еще хуже стала.

Вера осторожно расспрашивала про отца. Анна Ивановна опасливо покосилась на открытое окно.

— Ты ведь знаешь,—он бежал из России от чрезвычайки. Как ты скажешь,—не арестуют его ваши за побег?

— Тут же никто про это не знает.

— Но об'ясни ты мне, Верочка,—за что? Неужели человек не имеет права действовать по совести, говорить то, что думает? Ведь вы говорите, теперь социализм...

У Веры глаза стали непроглядными, она прикусила губу.

— Мамочка, время такое. Потом, конечно, все это отменят.

Она убежала к себе на службу,—шла какая-то конференция.

Вечером все вместе сидели за самоваром, ужинали. Разговаривали особенными, домашними словами, вспоминали милые мелочи прошлого, смеялись.

Анна Ивановна сказала:

— А ты все такая же. И не подумает никто, что большевичка.

Родной разговор, и поющий самовар, и мама в круглых очках, покрывающая чайник полотенцем. И теплый ветерок в окна. И странно было Кате: все такое милое, всегдашнее, а они—такие разные, разделенные; папа далеко, с непрощающими глазами, и непроглядные глаза у Веры, смотрящие в сторону.

Анна Ивановна пересмотрела белье Веры и ахнула: пара заплатанных рубашек, дырявые полотенца.

— А говорят, у вас, большевиков, ни в чем нет недостатка! Села чинить.

Ночью у Кати сильно заболела голова, и грустный трепет побежал по телу. К утру она лежала в жару, в простреленной руке была саднящая боль, вокруг ранки—ощущение странного напряжения.

Вера устроила Анне Ивановне обратный проезд. Катя хотела встать, чтобы проводить ее, но Вера не позволила, и Катя осталась в постели.

К вечеру температура была сорок. В полусознании Катя слышала голос Веры и еще чей-то другой женский голос, незнакомый. Видела незнакомое лицо с чудесными глазами, лучившимися, как два прожектора. И ласково-твердый голос говорил:

— Повернитесь, Катерина Ивановна... Вот так, довольно.

И мягкие белые руки мазали больную ее руку коричневою мазью и ловко бинтовали ее.

Утром Катя с удивлением спросила Веру:

— Что это, сон был? Мне казалось вчера,—кто-то нежный и ласковый ухаживал за мною, и глаза, как вечерние звезды.

— Нет, правда. Это Надежда Александровна Корсакова, врач.

— Что за Корсакова?

— Жена нового председателя ревкома... Катюрка, а только как же ты мне не сказала, что ты ранена! Только сегодня Леонид приехал из Эски-Керыма и рассказал про твои подвиги. Милая моя девочка! Какая же ты молодец!

Катя покраснела и засмеялась.

— А что у меня такое?

— Рожа вокруг раны.

* * *

Катя прохворала дней шесть. Заходил проведывать профессор Дмитревский с женой, однажды заехал Леонид. Каждый день приходила Корсакова. И приход ее вносил в душу свет и тишину. Она была высокая, плотная и некрасивая. Но глаза, когда заго-

рались чудесным своим светом, вдруг освещали все лицо и делали его прекрасным. И мил был ее неожиданный, вдруг вырывавшийся из глубины груди смех. Катя, видимо, очень ей понравилась. Надежда Александровна несколько раз вспоминала про ее схватку с махновцем и шутила, что следовало бы ей дать орден Красного Знамени.

— А случай этот, с махновцем,—сообщила Надежда Александровна,—внес большую смуту в отношения, и без того напряженные. Махновцы рассказывают, что советские жиды-комиссары поймали на дороге их товарища и зверски замучили: разбили прикладом кисть руки, прострелили живот, колено, и, в конце-концов, убили выстрелом в рот; улика налицо; на дороге остался труп одного жида-комиссара, которого, защищаясь, убил махновец. Теперь они держатся еще более вызывающе, открыто ведут агитацию против евреев и советской власти, а войск в городе мало, и они это знают.

Катя сказала:

— Вот самые страшные для вас враги! Какие против них лозунги могут выдвинуть большевики? Грабь все, что увидишь, измывайся над буржуями,—это и их лозунги. А они еще говорят, что не нужно у мужиков отбирать хлеб, и что следует избивать жидов. С этим согласится и всякий ваш красноармеец.

Надежда Александровна переглянулась с Верой и засмеялась изнутри вырвавшимся смехом.

— Екатерина Ивановна, какой вздор! Ну, где вы видели таких красноармейцев? Вы повторяете эти скверные интеллигентские сплетни... Как не надоест! Видели бы вы их в деле! Я много работала на фронте, в госпиталях, на перевязочных пунктах. Какое горение души, какой настоящий революционный пыл!

Ее глаза засветились умилением и восторгом.

—Ведь это все больше рабочие, добровольно пошедшие на лишения, на увечье и смерть. Голодные, разутые, раздетые,—как львы, дерутся целыми неделями. А у вас представление,—шайки разбойников, идущих набивать себе карманы. Эх, Екатерина Ивановна!..

* * *

В сумерках в город вступили два пехотных полка с тайным назначением.

Поздно ночью в саду у себя, в виноградной беседке, сидел, покашливая, старик Мириманов, и с ним—военный с офицерской выправкой, с пятиконечной звездой на околыше фуражки. Шептались, оглядываясь. Старик Мириманов рассказывал о своих злоключениях, а военный слушал, мрачно горя глазами.

Старик сказал:

— Ну, я рад, что ты жив-здоров. Тому, что ты на их сторону перешел, я никогда не верил... Дай тебе бог!

Он с умилением перекрестил сына, всхлипнул и крепко его поцеловал. Украдкою подошла Любовь Алексеевна, села рядом на скамейку. Военный спросил:

— А Боря где?

— На службе у них. В военном комиссариате, что-то делает в регистрационном отделе.

— Почему не ушел с нашими?

Старик презрительно махнул рукой. Любовь Алексеевна оправдывающе стала об'яснять:

— Ведь ему по болезни дана была отсрочка на год. Он надеялся, что и красные его не возьмут.

Военный сурово слушал, ударяя стэком по голенищу сапога.

— «Трусоват был Ваня бедный»...

— Впрочем, кой-какие сведения иногда нам дает. Только очень боится.

* * *

Товарищ Седой с нетерпением говорил:

— Это, наконец, скучно! Командир бригады—форменный остолоп; единственное достоинство,—что коммунист; а при отсутствии других достоинств это — недостаток. Обезоружить и сплавить махновцев удалось только благодаря тактичности и находчивости Храброва. С огромной инициативой, бешено храбр. Не

даром солдаты прозвали его «Храбров».И командующий фронтом тоже настаивает, чтоб отдать бригаду Храброву.

Крогер упрямо повторил:

— Он нас предаст.

— Данные?

— Если бы были данные, я бы его прямо расстрелял.

Леонид смеялся.

— У нас с вами—сказка про белого бычка!.. На то вы и политком,—наблюдайте за ним.

— Я наблюдаю.

* * *

В воскресенье вечером Катя пошла с Верой к Корсаковым. Надежда Александровна встретила ее с ярко засветившимися прожекторами глаз и крепко расцеловала. Мужу своему она сказала:

— Вот, Михаил! Девица, про которую я тебе рассказывала: голыми руками одолела вооруженного до зубов махновца. Достойна ордена Красного Знамени.

— Слышал, слышал... Мы ее назначим начальницей партизанского отряда. В тыл Деникину отправим, на Кубань... Юрка, хочешь к этой девице в партизанский отряд поступить?

Мальчик, лениво жевавший ветчину, оглядел Катю и скептически протянул:

— Ну-у...

— Не годится?

Надежда Александровна засмеялась.

— Партизаны на машинах не ездят. А ему бы только на автомобиле кататься,—один интерес.

— Как это? Ты ведь коммунист, Юрка?

— Ну, да.

— Так в порядке партийной дисциплины. Без разговоров.

— Ну-у!..

Звонок. Вкатился толстый человек.

— Товарищ Корсаков, на десять минут разговорцу!

Надежда Александровна возмутилась.

— Да что это, товарищ Климушкин! Ведь каждый день видитесь в ревкоме. Дайте человеку хоть в воскресенье поужинать спокойно.

— Ну, ну... Ваше превосходительство, не серчайте. Пять минут всего.

Был он с живыми, умно-смеющимися глазами, с равномерною, пухлою полнотою, какою полнеют люди, сразу прекратившие привычную физическую работу. Бритый, и только под носом рыжел маленький, смешной треугольничек волос. Катю покоробило, что вошел он, не сняв фуражки.

Протянул руку Корсакову. Корсаков пожал,—оглядел его и покачал головою.

— До чего его разносит! И чего ты такой толстый? Компрометируешь советскую власть. Как тебя на митинги выпускать?

— Чтой-то, брат, сам не пойму. Толстею не судом.

— Идите скорей, кончайте ваши дела.

— Ну, ну... В одну минуту!

Они ушли в кабинет. Поговорили. Климушкин ушел, не оставшись ужинать.

Надежда Александровна, смеясь, стала про него рассказывать. Бывший молотобоец, теперь комиссар юстиции. Работник удивительный.

— Вот, действительно, толст неприлично, но даже и это у него как-то мило. Поразительная способность сразу схватить дело, сразу ориентироваться в нем и выдвинуть самое важное. Это, я заметила, специально-пролетарская черта. Интеллигент возьмется: что? как? да почему? А он по намеку ловит. И инстинктом берет правильную пролетарскую линию. Спецы-юрисконсульты из сил выбиваются, чтоб оплести его буржуазною своей «законностью», а он ее рвет, как паутину, ни в чем не отклоняется от своего пути.

Корсаков лениво сказал:

— Сановничества много стало. Удивительно, как портит людей положение. С Джигитской улицы пять минут ему ходьбы до ревкома,—ни за что не пойдет пешком, обязательно вызывает машину. Уж ниже его достоинства. Нет каких-то устоев.

Надежда Александровна враждебно взглянула и спросила с насмешкою:

— Как у вас, интеллигентов?

— А ты не интеллигентка?.. Да, у идейных интеллигентов. Эти как-то прочнее, не так легко голова кружится. Отдельные люди там, пожалуй, крепче и цельнее. Но средний тип, в массах,—менее устойчивы, легче злоупотребляют властью. С просителями грубы и презрительны; с ревизуемым сядут ужинать, от самогончику не откажутся... Ну, да пройдет со временем. Закваска, все-таки, прочная.

— Вот буржуазная психология! А я как раз заметила наоборот: именно интеллигенты при первой же возможности возвращаются к своим прежним барским привычкам... Да вот, ты же первый. Постоянно—то тебе не вкусно за столом, того не хочется...

Корсаков зевнул и лег на короткий сундук около буфета, лицом кверху, ногами упираясь в пол.

— У старых работников это еще ничего,—школа есть,—сказал он.—А вот у новых, недавних,—чорт их знает, на чем душу свою будут строить. Мы воспитание получали в тюрьмах, на каторге, под нагайками казаков. А теперешние? В реквизированных особняках, в автомобилях, в бесконтрольной власти над людьми...

Надежда Александровна вставила:

— В кровавых боях на фронтах...

— Да, в боях... Но нам не только защищаться,—ах, чорт возьми,—нам нужно и созидать. Бои, это—пустяки. И быки испанские в боях великолепны, а социализма с ними не создашь.

Кате нравилось, что Корсаков говорит прямо, что думает,—не то, что Надежда Александровна или Вера. И когда говорилось так, без казенного самохвальства, с сознанием чудовищной огромности и трудности встающих задач, ей приемлемее становились их стремления.

Надежда Александровна раздраженно возражала Корсакову—долго и убедительно. Он молча слушал, закрыв глаза, вытянув туловище на сундуке, запрокинув лицо к потолку. Катю поразило, какое его лицо усталое и бледное. Бородка торчала кверху,

рот был полуоткрыт, как у мертвеца. Легкий храп заборозднл воздух.

Надежда Александровна тихонько засмеялась.

— Смотрите, спит!

Вера шепнула:

— Как низко голова лежит. Подушку бы подложить.

— Нет, разбудим тогда.

Замолчали. От тишины Корсаков проснулся, быстро поднялся на сундуке и тряхнул головою. Взглянул на часы.

— Пора ехать.

— Куда еще?

— Военком просил на заседание. Вздремнул, теперь освежился.

И уехал. Надежда Александровна сказала:

— Теперь до поздней ночи. И потом до света будет сидеть в кабинете за бумагами. И так изо дня в день. Спит часа тричетыре. А сердце больное... Ну, а ты, партизан, иди-ка спать!— обратилась она к сыну.

Вера спросила:

— На скрипке он теперь продолжает играть?

— Где там! Со времени революции и в руки не брал.

— А помнишь в ссылке, в Верхоленске? На именинах Хуторева. Белая ночь в раскрытые окна. И вы трио составили,— Engellied. Хуторев на гитаре вместо пианино, Михаил Тихонович на скрипке, а ты пела.

> Покойной ночи, мама!
> Меня тот звук манит с собой...

Правда, ангельская песня! Как-будто с неба звуки неслись. Петров сидел в уголке и вдруг захлюпал. И я,—так глупо: реву, захлебываюсь; вышла из избы, чтобы вам не мешать. Бледные звезды на зеленоватом небе, черные сосны...

Ясные лучи ударили из зрачков Надежды Александровны.

— Да, бывают такие минуты. Вдруг все заполнится такою красотою, все вдруг станут такие близкие.

— А Хуторев сам. Помнишь, он тогда читал стихи. Мы собрались проститься с ним, пред его бегством. Я тогда в первый раз услышала эти стихи. Как к осужденному на смерть приходит священник и уговаривает его покаяться. Тот отвечает, что каятся ему не в чем. Священник настаивает. И вот осужденный в его присутствии начинает свое покаяние:

Прости, господь, что бедных и голодных
Я горячо, как братьев, полюбил!
Прости, господь, что вечное добро
Я не считал бесмысленною сказкой!..

Все молчали. Вера из глубины души вдруг сказала:

— Как тогда было хорошо!

Надежда Александровна отозвалась:

— Хорошо!

Катя взволнованно заглянула Вере в глаза.

— Да, Вера? Да? Правда? Правда, тогда лучше было? Лучше было в жалкой избенке, на опушке тайги, чем в этом дворце на берегу Крыма?

Вера виновато улыбнулась.

— Лучше.

Надежда Александровна засмеялась своим изнутри вырывающимся смехом.

— Дай бог, значит, чтобы Колчак с Деникиным победили и опять нас отправили туда! Только не отправят,—просто повесят.

Катя спросила:

— А удалось Хутореву этому бежать?

Надежда Александровна неохотно ответила:

— Да...

И тяжелое легло молчание. Катя пытливо заглядывала в несмотрящие на нее глаза.

— Ну? Ну? А дальше? Что с ним было дальше?

— В прошлом году расстрелян. За участие в мятеже левых эсеров.

* * *

Мириманов смотрел своими умными, смеющимися глазами и, покашливая, спрашивал Катю:

— Вот, вы видитесь с ними, имеете возможность их наблюдать. Замечают они хоть что-нибудь, что творится кругом, отдают себе в этом отчет? Магазины и базары закрыли, торговлю запретили, а сами выдают по полфунта невыпеченного хлеба. Как же, по их представлению, могут питаться люди, которые не получают комиссарских пайков?.. Сейчас в море пошла комса. Улов небывалый,—а рыбакам запрещено продавать рыбу в частные руки,—все полностью должны представлять в продовольственный комиссариат. Везде рыбные инспектора, контролеры с воинскими отрядами. Привезли из уезда в продком полторы тысячи пудов рыбы, а соли не припасли. Вся рыба сгнила, теперь ее потихоньку закапывают в землю, чтобы не видел народ. А подходят все новые обозы. Что с ними делать,—не знают. Какая, подумаешь, мудреная загадка! Пятилетний ребенок ответит: продавать! Нет, нарушится принцип!.. Вы только подумайте: голод, разруха, каждый фунт пищи важен,—а они гноят тысячи пудов! И думают, что народ ничего не видит, что можно его накормить митинговою болтовнею! Послушай-ка, что народ говорит о них на базаре. Все поголовно против них, большевистский дурман рассеялся окончательно. Спасибо им! Сами поработали над этим успешнее самых ярых своих врагов.

Он улыбнулся и достал из жилетного кармана клочок бумажки.

— На днях у ихнего Маркса я прочел чудесную заметку,— как раз к современному положению. Послушайте: «Корабль, нагруженный глупцами, быть может, и продержится некоторое время, предоставленный воле ветра, но будет неизбежно настигнут своею судьбою, именно потому, что глупцы об этом не думают». Только,—глупцы ли? Екатерина Ивановна, поверьте мне: это не глупость и не безумие. Это—сознательная дезорганизаторская работа по чьей-то сторонней указке.

* * *

Шмыгающей походкою шла по набережной женщина с вороватo глядящими исподлобья глазами, с жидкою шишечкою волос на макушке. Наклонилась, подняла на панели дно разбитой бутылки с острыми зубцами, оглянулась настороженно и бросила через каменные перила в море.

Катя смотрела.

— Зачем вы это?

Женщина улыбнулась, и вдруг все ее лицо осветилось удивительно милою улыбкою.

— Наступит кто,—еще ногу себе напорет.

Так это по нынешнему времени показалось Кате необычным,—чтоб кто-нибудь подумал о других. Вечером она рассказала Вере, Вера рассмеялась.

— Как она выглядит? С крошечной пуговкой на макушке, ходит, как летучая мышь летит?

— Да, да!

— Это Настасья Петровна ваша.

Вера рассказала: работница табачной фабрики, двое детей, муж пьяница, дрягиль, здоровенный мужик, жестоко бил ее и детей, пропивал не только свой, но и ее заработок. Сообщили им об этом в Женотдел. Вера пошла к ней, убедила подать прошение о разводе. Народный суд развел их, детей оставил ей, а его выселил из квартиры вон, к его безмерному изумлению и ее столь же безмерной радости. Теперь она стала восторженной коммунисткой, — кто бы, — говорит, — стал раньше думать о моем горе, кто бы такие законы поставил? Вера взяла ее к себе в Женотдел.

— Ты, Катя, все вертишься в среде шипящих, и у тебя соответственный взгляд на все. Рабочей среды ты совсем не знаешь. Если бы ты подошла ближе, пригляделась бы,—сколько бы увидела прекрасного! Есть еще у нас в отделе одна татарка молодая, Мурэ. Как-будто божественное откровение ее осенило и перевернуло всю жизнь. Великолепная вырабатывается агитаторша, татары в злобе, а татарки слушают, как посланницу с

неба... Вот что. Завтра Настасья Петровна в первый раз делает работницам своей фабрики доклад о делегатском собрании, на которое она была ими делегирована. Хочешь, пойдем?

— Хочу, конечно.

— Говорить она, вероятно, совсем не умеет, не знаю, как у нее выйдет. Но все-таки посмотришь всех.

Назавтра пошли. В конторе фабрики собралось работниц пятьдесят. Настасья Петровна испуганно смотрела исподлобья бегающими глазами, краснела, вдруг освещалась милою своею улыбкою.

Председательствовавшая Вера сказала:

— Нну, товарищ Синюшина, расскажите нам, что вы слышали на делегатском собрании.

— Ой, товарищ Сартанова, боюсь я! Как же это я? Я никогда доклада не делала.

— Вы и не делайте доклада. Просто, расскажите товарищам, что там было. Вы мне сказали, вам очень понравилась речь товарища Маргулиеса. Что он говорил?

— Уж не знаю, право как...

Одна старая работница увещавающе сказала:

— Что ты, Настя, право? Чай, тут все свои. Чего бояться?

Настасья Петровна покраснела, набралась духу.

— Ну, вот так. Говорил, что революция,—это все равно, как ребеночек. Сперва-наперво—так, бог весть, что; не разберешь даже, то ли человек, то ли зверюшка какая. Вот, как выкидыши бывают. Все даже пугаются. А потом понемножку образуется. На свет родится, так уж видно всякому, что вправду маленький человек. Потом глазками начинает смотреть, сознательность приходит. Потом головку станет подымать, а там уж и ходить начнет. Вот все говорят: непорядки всякие, бестолочь, голод, ничего большевики не умеют наладить.. Это все равно, что ребеночку новорожденному говорить: почему не ходишь?

— Ишь, хорошо как!

— Ведь верно, девушки!

Настасья Петровна воодушевилась.

— Все, говорит, помаленечку придет, нужно только всем стараться сообща. Все ведь нужно совсем по новому устраивать, никогда еще ни в каких странах этого не бывало, чтоб рабочие сами собой управлялись, разве легко с непривычки?

Вошел рабочий, поглядел с усмешечкой.

— Бабье собрание?

Вера сказала;

— Товарищ, уходите, пожалуйста, не мешайте.

— Я что ж? Я только послушать.

— Нет, нет, ступайте.

— Уходи, Шабров, чего тебе тут?

Он усмехнулся, ушел. Настасья Петровна поискала растерянные мысли, нашла и продолжала:

— Потом, значит, об'яснил, что такое будут большевики, что такое разные другие. Большевики говорят: нужно нахрапом брать, иначе нельзя. Ну, правда, убивства, обиды всякие, а нужно сразу утвердить, чтоб никакого не было разговору. А другие,—уж как им прозвание, позабыла,—«предатели», что ли?—они, значит, всего опасаются: чтобы понемножку все, да чтобы кому не было обиды, да чтоб поладить со всеми, да чтоб буржуи не озлобились. А буржуазия пользуется, только и глядит, чтоб все назад отобрать, и о том не думает, чтоб нас не обидеть.

Работницы шумно и одушевленно обменивались впечатлениями.

— Уж вот хорошо ты, Настя, об'яснила! Как на ладошке.

Вера, улыбаясь, сказала:

— Ну, видите, и доклад сделали, и ничего в этом нет страшного.

Настасья Петровна сияла улыбкою, оправляла растрепавшуюся на макушке шишечку и с гордостью повторяла:

— Я сейчас доклад делала.

* * *

Как кузнечики, стукали, наперебой пишущие машинки. Тк-тк! Тк-тк-тк-тк! Дзинь! Трррр... Тк-тк-тк!

— Мой муж пропал без вести. Я вышла за другого.

— Да что вы? И давно пропал?

— Два месяца.

— Почему же вы думаете, что пропал?

— А писем не пишет.

Тк-тк! Тк-тк-тк!..

— Ну, а если вдруг воротится?

— Что ж мне было делать? Я молодая. Мне без мужчины скучно.

* * *

Крутился вихрь,—какая-то сумасшедшая смесь гордо провозглашаемых прав и небывалого унижения личности... Мелькали клочья растерзанных понятий о собственности, тени обесцененных человеческих жизней, осмеянные образы обезбоженных христосов и богородиц, призывы к братству и ненависти, обрывки разорванных брачных цепей, выброшенные ятиеры, спутавшиеся числа календарных стилей.

* * *

Иван Ильич стоял среди закоптелой своей кухонки,—скрестив на груди руки, с презрительным лицом. Чадила коптилка. Люди во френчах и матросских бушлатках перетряхивали тюфяки, поднимали половицы, складывали в портфель бумаги и письма. Прислонившись к плите, бледный Афанасий Ханов смотрел, не принимая участия в обыске.

Бритый человек с револьвером сказал:

— По предписанию чрезвычайной комиссии из Москвы вы арестованы, гражданин.

Иван Ильич ответил устало:

— И слава богу. Мне надоела ваша большая тюрьма. Ведите в малую.

В черной толпе вооруженных людей его повели через темный сад, среди благоухания белых акаций. Загромыхал по шоссе грузовик. Меж винтовок и солдатских фуражек затряслась на

звездном небе широкополая шляпа Ивана Ильича. Анна Ивановна неподвижно стояла у раскрытой калитки и смотрела вслед.

* * *

Надежда Александровна, взволнованная, прибежала к Вере и сообщила об аресте Ивана Ильича. Глаза ее светились нежною ласкою и участием.

— По предписанию из Москвы. Михаил мне сейчас сказал по телефону. Сам только что узнал.

Вера, страшно бледная, молчала с неподвижным лицом. Катя рванулась: нужно было действовать. Надежда Александровна сказала:

— Приходите вечером. Михаил все узнает, расскажет.

Вечером они пошли. Корсаков развел руками.

— Ну, что тут можно сделать! «Вы агитировали против смертной казни?»—«Агитировал, и всегда буду агитировать».

Надежда Александровна нетерпеливо повела плечами.

— Какая окостенелость взглядов! Как он, право, не может понять!

Корсаков сказал Кате:

— Единственно, что могу сделать, это поместить его в возможно сносные условия. Велю дать вам свидание. Уговорите его, чтоб он, по крайней мере, держался не так вызывающе и презрительно. Сам себе подписывает приговор. Время сейчас грозное.

* * *

В том же особняке, куда Катю водили на допрос, где она сидела в подвале, ей дали свидание с отцом. Ввели Ивана Ильича в комнату и оставили их одних. В раскрытые окна несло просторным запахом моря и водорослей, лиловые гроздья глициний, свешиваясь с мрамора оконных притолок, четко вылеплялись на горячей сини неба.

Иван Ильич с суровыми глазами говорил:

— Вы все, нынешние, даже самые хорошие, так привыкли к постоянным компромиссам с совестью, что у нас уже почти нет общего языка.

— Да нет, папа, погоди! При чем компромисс? Не задирай их только.

— Катя! Меня спрашивают: «вы против смертных казней, производимых советскою властью?» А я буду вилять, уклоняться от ответа? Это ты называешь—не задирать!... Я тут всего третий день. И столько насмотрелся, что стыдно становится жить. Да, Катя, стыдно жить становится!.. Каждый день по нескольку человек уводят на расстрел, большинство совершенно даже не знает, в чем их вина. А Вера с ними, а ты водишь с ними компанию...

Когда свидание кончилось, Иван Ильич обнял Катю, поцеловал и сказал:

— Катя, я тебя прошу: не ходи ко мне больше на свидания. Мне с тобою тяжело.

* * *

— Спички шведские, головки советские! Пять минут вонь, потом огонь!

— Друзья, друзья! А что же хлеба не покупаете? Не забывайтесь! Вот хлеб свежий!

— Сколько-о? С ума сошел!..

Налетала милиция, торговцы, оглядываясь, бежали с лотками, рысью катили тележки, вскачь уносились на грохочущих телегах. Продавцов и покупателей вели под конвоем в милицию, конфисковали товар.

Все равно, что гроза налетевшая. Или наводнение. Непонятное, но неотвратимое. А через полчаса опять:

— Спички шведские...

— Креста нету на тебе! Сто рублей картошка!

— Бери, гражданин, не ходи дальше! Дешевле нигде не найдешь. Воротишься,—за эту цену не отдам.

Средь пыли и солнца, средь базарных выкриков и поросячьего визга—странная, долгая трель:

— А-а-а-а...

— Вот любительский табачок! Покуривай, мужичок!

— A-a-ah!.. E strano poter il viso suo veder!
Ah!.. Mi posso guardar, mi posso rimirar...
Di, sei tu? Marguerita! Di, sei tu?..

Старая женщина в отрепанном пальто, в деревянных сандалиях, пела, высоко подняв голову, мучительно-стыдящимися глазами глядя поверх толпы. Видно, была красавица, чувствовался хороший когда-то голос и хорошая школа. И вдруг Катя узнала: жена бывшего городского головы Гавриленки, которых тогда выселили от Мириманювых.

Катя с'ежилась,—не глядя, сунула ей в руку все деньги, какие были, и побежала прочь.

* * *

В горах, в недоступных лесных чащах, скрывались зеленые. Они перехватывали продовольственные обозы, обстреливали из засады проезжающие автомобили. По вечерам делали налеты на поселки и дервни, забирали припасы, бросали на дорогах изрешетенные пулями трупы захваченных комиссаров. Между тем войск на фронте было мало, снимать их на борьбу с партизанами было невозможно.

Везде чувствовалась организованная, предательская работа. Два раза загадочно загоралось близ артиллерийских складов. На баштанах около железнодорожного пути арестовали поденщика; руки у него были в мозолях, но забредший железнодорожный ремонтный рабочий заметил, что он перед едою моет руки, и это выдало его. Оказался офицер. Расстреляли. Однако через пять дней, на утренней заре, был взорван железнодорожный мост на семнадцатой версте.

Надежда Александровна зашла к Вере переговорить об устройстве дня работниц. (Она заведывала отделом агитпропаганды). Потом пили чай. Надежда Александровна взволнованно говорила:

— Весь наш Особый Отдел нужно бы расстрелять. Вялый, никакой инициативы. Арестовывает случайно попавшихся, но совершенно не умеет поставить широкой разведывательной работы. Теперь, впрочем, все переменится. Скоро приезжает Воронько.

Катя ахнула.

— Воронько?! Тот, знаметитый?

— Да...

— Г-господи, какой ужас!

Надежда Александровна удивленно взглянула на Катю. Вера была бледна.

— Почему ужас?

— Этот зверь?.. И тут польется кровь реками, как на Подолии, на Киевщине!

Надежда Александровна веско и раздельно сказала:

— Это один из самых прекрасных и самых замечательных людей, каких я когда-нибудь встречала... Вот белогвардейская оценка!—Она засмеялась и обратилась к Вере:—ты знаешь, недавно в заграничных газетах был помещен его портрет с подписью: «начальник Ч. К., Воронько, палач Украины». Если бы увидели его,—хорош палач!

Катя враждебно возразила:

— Для вас он, конечно, не палач. Вот если бы он ваших отцов и детей отправлял на расстрел, вы бы другими глазами смотрели... Ну, скажите мне: сама вы,—такая, какая вы есть,—пошли бы вы в чрезвычайку?

Надежда Александровна в изумлении глядела на Катю.

— Конечно! Какой тут может быть разговор!.. Нет, положительно, нужно бы всем коммунистам по очереди работать в чрезвычайных комиссиях, чтобы все видели, как мы относимся к этой работе.

— И вы не знаете,—скажите, что, правда, не знаете,—какие сладострастные убийцы-садисты вырабатываются в ваших чрезвычайках. Вон, рассказывают про здешнего особника, Белянкина... А был, наверно, хорошим рабочим.

Глаза Надежды Александровны стали очень маленькими, темными и колючими.

— Да, бывают, я это хорошо знаю. Но только,—уж извините, не из рабочих. В Курске, пред нашим от'ездом сюда, Михаил хотел освободить одного арестованного,—никаких данных против него. А чекист, потрясая руками: «они всю жизнь нас давили, расстреливали нашего брата-рабочего. И его расстрелять!» Михаилу он показался подозрительным. Велел навести справки. Оказалось,—бывший жандармский офицер. Расстреляли.

Когда Надежда Александровна ушла, Катя сказала, мрачно глядя в окно:

— Если я случайно где-нибудь с этим Воронько встречусь, я ему не подам руки!

На скамейке под окном, облокотившись о спинку, неподвижно сидел Мириманов и как будто дремал.

* * *

С Надеждой Александровной при каждой новой встрече отношения Кати портились все больше. Надежда Александровна не могла с нею говорить без раздражения. Вопросы, которые Катя ставила с обычною своею прямотою, были для Надежды Александровны, как докучливо-нудное жужжание мухи, бьющейся в пыльной паутине.

Катя заметила: все человечество резко делилось для нее на три расы. Первая—пролетариат; это была божественно-лучезарная и божественно-безупречная порода людей, полная мощи, благородства и вещего понимания жизни. Вторая—люди ее партии: тесная семья дорогих товарищей, занятых важным, единственно-нужным для жизни делом. И третья—все остальное: злобно-хлюпающая слякоть, только и думающая, чтобы залить своею зловонною жижею светлое пламя революции. Насколько было возможно, она сторонилась их с брезгливым чувством. Все их слова и дела были для нее сознательною ложью, саботажем и подкопом под революцию.

В революцию она была влюблена, как иная жена бывает влюблена в своего мужа: в нем все хорошо, у него не может быть ошибок и недостатков, малейший отрицательный отзыв о нем воспринимается ею, как обжигающее душу оскорбление.

Катя говорила ей:

— Смотрите, все кругом рассказывают: ваш жилищный отдел,—это сплошное гнездо взяточников, за деньги можно получить какую угодно квартиру, без взятки никогда не получишь ничего.

Острые гвозди маленьких глазок злобно устремлялись на Катю.

— Докажите!

И странно было: черные эти гвоздики,—неужели это те же огромные окна, из которых, как из прожекторов, лились снопы такого чудесного света?

— Надежда Алексадровна, как же это может доказать частный человек? А для власти, если только она захочет исследовать, это не составит никакого труда.

— Извините, Катерина Ивановна. Власти некогда заниматься обывательскими сплетнями.

А Корсаков, ее муж, Кате нравился все больше. Он ясно видел всю творившуюся бестолочь, жестокость, невозможность справиться с чудовищными злоупотреблениями и некультурностью носителей власти. В официальных выступлениях держался, как-будто ничего этого нет, но в частных разговорах откровенно признавал все. Он крепко верил в конечную цель, в общую правильность намеченного пути, но это не мешало ему признавать, что путь идет через густейшую чащу стихийных нелепостей и самых ребяческих ошибок.

Когда Катя говорила с Надеждой Александровной, или когда читала газеты, у нее было впечатление: пришли, похваляясь, самонадеянные, тупые, не видящие живой жизни люди, разжигают в массах самые темные инстинкты и, опираясь на них, пытаются строить жизнь по своим сумасшедшим схемам, а к этим людям со всех сторон спешат примазаться ловкие пройдохи, думающие только о власти и своих выгодах.

Когда Катя разговаривала с Корсаковым, ей представлялась картина: хрупкая ладья несется по течению в бешеном, стихийном потоке, среди шипящей пены и острых порогов, а сидящие в ладье со смертными усилиями только следят, чтобы ладья не опрокинулась, не дала течи, не налетела на подводную скалу. И верят, что, в конце-концов, выплывут на широкую светлую реку. А толчки, перекатывающиеся волны, треск бортов,—все это было естественно и неизбежно.

С Корсаковым у Надежды Александровны были постоянные столкновения. Корсаков говорил, устало потягиваясь и потирая ладони меж сжатых колен:

— Нелепость очевидная: с нашею неорганизованностью мы совершенно не в силах держать в своих руках все производство и всю торговлю. На дворах заводов образовались кладбища национализированных машин,—ржавеют под дождем, расхищаются. Частная торговля просачивается через все поры.

Надежда Александровна ядовито возражала:

— Значит, опять разрешить частную торговлю, возвратить фабрики хозяевам?

— Да, что-то тут нужно сделать... Рано или поздно придется ввести какие-то коррективы.

Надежда Александровна в негодовании вскакивала из-за стола.

— И это говорит коммунист! Положительно, таких людей надо бы выбрасывать из партии и расстреливать!

Корсаков посмеивался.

— И даже расстреливать?

— Да, и расстреливать.

* * *

Два раза Анна Ивановна приезжала на свидание с Иваном Ильичем. А потом произошло вот что.

Восемь солдат проходило через Арматлук. Узнали они, что есть склад вина, дали в зубы охранявшему склад милиционеру-почтальону, прикладами сбили замок, добыли вина и стали на

горке пить. Подпили. Остановили проезжавшую по шоссе порожнюю линейку и велели извозчику-греку катать их. Все восьмеро взвалились на линейку и в сумерках долго носились вскачь по улицам дачного поселка с гиканьем и песнями. А потом стали стрелять в цель по собакам на дворах. Пьяные заснули в степи за поселком. Грек уехал.

А утром Люба, дочь соседнего сторожа, увидела на дворе Сартановской дачи, перед свиною закуткою, труп Анны Ивановны. Около нее лежала миска с разлившимся хлебовом для поросенка. В левом боку была пулевая рана.

Дали по телефону знать в город, на следующий день приехали Катя с Верой. Смотрели они на спокойное, прекрасное в смерти лицо матери,—странное без круглых очков, такое милое и невозвратное. И горько плакали, и с ужасом думали, что будет с отцом, когда он узнает. Видела Катя арестованных солдат, бледных от похмелья и испуга,—испуга только за себя, а не за сделанное. Их гнали в город на расстрел. И все это было не нужно, и кому от этого стало бы легче? Во рту как будто был тошнотный вкус крови, а в душе—тупой ужас пред жизнью.

За время, пока дача была без призора, исчез поросенок, раскрали кур. В кухне высадили окно, выломали из печки духовку и бак.



Гостей собралось много. Было сегодня рождение Корсакова, кстати воскресенье, и все обрадовались случаю передохнуть от чудовищной работы, беззаботно попраздничать.

Белозеров, в заношенной куртке защитного цвета, положил ладонь на рояль, лицо его стало серьезно и строго. Разговоры затихли. Он дал знак аккомпаниатору.

Перед воеводой молча он стоит.
Голову потупил, сумрачно глядит.
С плеч могучих сняли бархатный кафтан,
Кровь струится тихо из широких ран.
Скован по рукам он, скован по ногам...

Как всегда, когда Катя слушала Белозерова, ее поразила колдовская сила, преображающая художника в минуты творчества. Мрачно-насмешливый взгляд исподлобья, дикая энергия, кроваво-веселая игра и чужими жизнями и своею. Все муки, все пытки—за один торжествующий удар в душу победителя-врага.

А еще певал я в домике твоем;
Запивал я песни все твоим вином;
Заедал я чарку хозяйскою едой;
Целовался сладко—да с твоей женой!!.

Где в своей душе берет он все,—этот дрянной человечишко с угодливою, мещански приобретательскою натурою? Как может лупоглазый кролик преображаться в самого подлинного тигра?.. Даже не посмел надеть своего смокинга,—к приходу большевиков нарочно раздобыл эту демократическую куртку.

На цыпочках вошел в залу седоватый человек в золотых очках. Корсаков приветливо кивнул ему головою. Он огляделся и тихонько сел на свободный стул подле Кати.

Белозерову хлопали восторженно, он еще пел. «Нас венчали не в церкви», «Не шуми ты, мать-дубравушка». Кате стало смешно: песни всё были разбойничьи; очевидно,—самый, думает, подходящий репертуар для теперешних его слушателей.

Корсаков лениво сказал:

— Спойте: «В двенадцать часов по ночам встает император из гроба».

Белозеров недоумело взглянул и ответил с сожалением:

— Я этих нот не захватил.

Вдруг электричество мигнуло и разом во всех лампочках погасло. Из темноты выскочили лунно-голубые четырехугольники окон.

— Пробка перегорела.

— Нет, во всем городе темнота.

— Дежурный у доски заснул на станции. Сейчас опять зажжется.



Но не зажигалось. Электричество вообще работало капризно. Надежда Александровна пошла раздобывать свечей. Гости разговаривали и пересмеивались в темноте.

Искусственно-глубоким басом кто-то сказал:

— Товарища Корсакова в круг! Советский анекдотик!

Все засмеялись, подхватили, стали вызывать.

Корсаков помолчал и спросил:

— «Путешествие русского за границу»—не слыхали?

— Нет. Валяйте.

Прежний бас:

— Вонмем!

Корсаков стал рассказывать.

— Гражданин Советской республики, отстояв тридцать семь очередей, получил заграничный паспорт и поехал в Берлин. На пограничной немецкой станции получил билет,—бегом на запасный путь, где формировался поезд, и с чемоданчиком своим на крышу вагона. Подали поезд к перрону. Кондуктор смотрит:— «Господин, вы что там? Слезайте!»—Ничего, товарищ, я так всегда езжу, я привык!—«У нас так нельзя, идите в вагон».— Видите ли, товарищ, у меня нет права на проезд ни в штабном поезде, ни в поезде В. Ч. К.—«Да билет-то есть у вас?»—Вот-он, вот-он билет.—«Так идите в вагон». Гражданин почесал за ухом, слез, вошел в вагон,—пулею в уборную и заперся. Стучатся.—«Некуда, некуда, товарищи! Тут двадцать человек сидит!» Поезд пошел, пассажиры толкаются в уборную,—заперто. Пришел кондуктор.—«Эй, мейн герр! Вы там долго будете сидеть?»—До Берлина!—«До Берлина? Вот странная болезнь!»

Сидевший рядом с Катею господин прыснул от смеха.

— Кондуктор отпер дверь своим ключом. «Так, господин нельзя. Иногда уступайте место и другим».

Рассказал Корсаков, как обыватель приехал в Берлин, как напрасно разыскивал Жилотдел, как приехал в гостиницу. Таинственно отзывает швейцара.—«Дело, товарищ, вот в чем: мне нужно переночевать. Так, где-нибудь! Я не прихотлив. Вот, хоть здесь, под лестницей, куда сор заметают. Я вам за это заплачу двести марок».—Да пожалуйте в номер. У нас самый лучший но-

мер стоит семьдесят марок.—«Суть, видите ли, в том, что я поздно приехал, Жилотдел был уже заперт, а у меня нет ордера...»

После многих приключений в Берлине обыватели в конце-концов посадили в железную клетку и над нею написали:

Р.С.Ф.С.Р

(редкий случай феноменального сумасшествия расы).

Вошла Надежда Александровна с двумя зажженными кухонными лампочками и раздраженно сказала:

— Всё с белогвардейскими своими анекдотами!

Толстый Климушкин закатисто хохотал. Господин рядом с Катею смеялся детским, неостанавливающимся смехом, каким смеются серьезные люди, у себя не имеющие смешного. Надежда Александровна с упреком взглянула на него.

— И вы тоже!

Господин вытирал под очками слезы.

— Очень, очень остроумно!

Он понравился Кате, она с ним заговорила. Серьезно и хорошо он отвечал на такие вопросы, на которые другие либо раздражались, либо отвечали задирающе-насмешливо.

Он говорил, выпуская сквозь усы дым из трубки:

— ...Это с самого начала можно было предвидеть, и логика вещей, естественно, привела к этому. Только подумать,—в свое время у нас в руках находились и Краснов, и Деникин, и Корнилов. Краснов, арестованный, был у нас в Смольном,—и его отпустили на свободу под честное слово, что не пойдет против нас. И сколько потом понапрасну пролилось из-за этого рабочей крови!.. Враги внутри еще страшнее. Принимают лойяльный вид, а тайно саботируют всякое наше начинание, дезорганизуют все, что могут, и в критический момент перебрасываются к нашим врагам.

В полумраке Катя видела серьезные глаза под высоким и очень крутым лбом, поблескивала золотая оправа очков, седоватые усы были в середине желто-рыжие от табачного дыма. Обыч-

ного вида интеллигент, только держался он странно-прямо, совсем не сутулясь.

Катя сказала:

— Ну, хорошо. Это бы все еще можно,—если не принять, то понять. Но ведь арестовывают и уничтожают часто совершенно невинных, по одному подозрению, даже без всякого подозрения, просто так.

— Бесспорно. Но тут лучше погубить десять невинных, чем упустить одного виновного. А главное, — важна эта атмосфера ужаса, грозящая ответственность за самое отдаленное касательство. Это и есть террор... Бесследное исчезновение в подвалах, без эффектных публичных казней и торжественных последних слов. Не бояться этого всего способны только идейные, непреклонные люди, а таких среди наших врагов очень мало. Без массы же они бессильны. А обывательская масса при таких условиях не посмеет даже шевельнуться, будет бояться навлечь на себя даже неосновательное подозрение.

Со смутным ужасом Катя глядела в поблескивавшие в полумраке очки под нависшим лбом. А собеседнику ее она, видимо нравилась,—нравились ее жадные к правде глаза, безоглядная страстность искания в голосе. Он говорил—хорошим, серьезным тоном старшего товарища:

— В тех невиданно-трудных условиях, в которых революция борется за свое существование, это единственный путь. Путь страшный, работа тяжелая. Нужен совсем особый склад характера: чтоб спокойно, без надсада, итти через все, не сойти с ума, — и чтоб не опьяняться кровью, властью, бесконтрольностью. И обычно, к сожалению, так большинство и кончает: либо сходят с ума, либо рано-поздно сами попадают под расстрел.

Катя тряхнула головою, чтобы сбросить наваливавшуюся тяжесть.

— Ах, нет!.. Господи! Вот я чего не понимаю. Я слышу по голосу, я вижу,—вы идейный, убежденный человек. И вот—вы, Надежда Александровна, Седой... Вы все так легко об этом говорите, потому что для вас это теория; делается это где-то там,

вне поля вашей деятельности. Ну, скажите,—ну, если бы вам, самому вам, пришлось бы... Как ваша фамилия?

— Воронько.

Катя отшатнулась.

— Во... Воронько?!

— Да.

Как ребенок, Катя в ужаснувшемся изумлении раскрыла рот и неподвижно глядела на Воронько.

Он улыбнулся про себя.

— Вы думали,—у меня не только руки, но даже губы в крови?

Катя молча продолжала смотреть. Обычное лицо русского интеллигента вдруг стало таинственно-страшным, единственным в своей небывалости. Она растерянно сказала:

— Я ничего не понимаю...

Подошел Корсаков и заговорил с Воронько.

Шумно ужинали, смеялись. Пили пиво и коньяк. Воронько молчаливо сидел,—прямой, с серьезными, глядящими в себя глазами, с нависшим на очки крутым лбом. Такая обычная, седенькая, слегка растрепанная бородка... Сколько сотен, может быть, тысяч жизней на его совести! А все так просто, по-товарищески, разговаривают с ним, и он смотрит так спокойно... Катя искала в этих глазах за очками скрытой, сладострастной жестокости,—не было. Не было и «великой тайной грусти».

Дома Катя ушла одна в сад. Верхушки кипарисов и пирамидальных акаций острыми языками черного пламени тянулись к ярким звездам, дрожавшим мелкою дрожью.

Это спокойствие и бессмущаемость перед тем, что он делает... И ведь, может быть, у него где-то в России есть дети, он их ласкает. Что это? Что это? Как ни старалась, она не могла соединить своего впечатления от него с тем, что о нем знала. И теперь она готова была считать вероятным, что про него с обычным своим умилением рассказывала Надежда Александровна,—что он живет бедняком и аскетом, обедает вместе с солдатами своей чеки, личной жизни совсем не знает. Перед революцией он пять лет провел в каторжной тюрьме.

Но как,—как может быть он таким? Катя быстро ходила по дорожкам сада, сжав ладонями щеки и глядя вверх, на дрожавшие меж черных ветвей огромные звезды.

И вдруг Кате пришла мысль: мораль, всякая мораль, в самых глубоких ее устоях,—не есть ли она нечто временное, служебное,—совсем то же, что, напр., гипотеза в науке? Перестала служить для жизни, как ее кто понимает,—и вон ее! Вон все, что раньше казалось незыблемым, без чего человек не был человеком?

В сущности, и до сих пор,—разве это всегда не было так? Вот, совсем недавно. Заманить тысячи людей в засаду и, не сморгнув, перебить их из дальнобойных орудий. Двинуть на окопы неожиданные, неведомые врагу танки и, как косилкою, начисто выкосить людскую ниву пулеметами. Возмущаться ядовитыми газами, а потом сказать: «вы так,—ну, и мы так!» И возвращаться в орденах, слышать восторженные приветственные клики, видеть свои портреты в газетах, считать себя героем, исключительно хорошим человеком. Держать на коленях сына, смотреть в его восторженные глаза и рассказывать о своих злодействах. К этому привыкли, так делают все. И человеку поэтому не стыдно. Только поэтому?

* * *

Утром, лежа в постели, Катя сказала Вере:

— Папу освободят, я теперь убеждена. Я сегодня пойду к Вороньке.

Вера, с неподвижным лицом, повела головою и глухо ответила:

— Он не освободит.

— Освободит, увидишь. Страшно иметь дело с Искандерами, с Белянкиными. А Воронько поймет, что папа за человек. С ним можно говорить человеческим языком.

Пошла. Трудно было добиться свидания. Воронько никаких посетителей лично не принимал. Но Катя сумела проникнуть к нему.

Воронько внимательно выслушал.

—Нет. Он закоренелый контрреволюционер, освободить нельзя. Мы имеем сведения от местных рабочих, что он при белых энергично агитировал против советской власти.

Катя изумилась.

— От местных рабочих? Каких рабочих?

И вдруг вспомнила: наверно, Тимофей Глухарь, который чинил у них крышу.

— Впрочем, если ваш батюшка согласится дать подписку, что не будет агитировать против смертной казни и советской власти, и если за него поручатся в этом отношении ваша сестра и тов. Седой,—я его освобожу.

И в спокойных, невраждебных глазах его за золотыми очками Катя увидела, что решений своих этот человек не меняет. Она сказала упавшим голосом:

— Он такой подписки не даст.

— Я знаю. Я ему уж предлагал.

— Товарищ Воронько!—Голос Кати зазвенел.—Вы отлично понимаете, что папа не контрреволюционер, а самый настоящий революционер, что он восстает не против революции, а только против ваших методов.

— Важны не его взгляды на революцию, а его действия.

— Господи! Что ж вы с ним сделаете?

Воронько глядел так же серьезно и бесстрастно, только чаще, чем нужно, совал в рот мундштук трубки и сжатыми губами пропускал дым сквозь закопченные усы.

— Если тут все будет благополучно, и сообщение наладится, отправим в Москву... Вот, тов. Сартанова, все, что могу вам сказать.

И он указал на плакат:

Не задерживайте лишними разговорами. Кончив свое дело, уходите.

Катя открыла было рот,—сжала зубы, пошла к двери. Нечаянно наткнулась плечом на косяк. Вышла.

По коридору навстречу вели под конвоем арестованного. Катя растерянно взглянула, прошла мимо. И вдруг остановилась. До сознания дошло отпечатавшееся в глазах горбоносое лицо с боль-

шим, извивающимся ртом, с выкатившимися белками глаз, в которых был животный ужас... Зайдберг! Начальник Жилотдела, который тогда Катю отправил в подвал. Она глядела вслед. Его ввели в кабинет Вороньки.

* * *

Давно-давно уже не было спокойного сна и светлых снов. Тяжелые кошмары приходили по ночам и давили Кате грудь, и душной подушкой наваливались на лицо.

Матрос с тесаком бросался на толстого буржуя без лица и, присев на корточки, тукал его по голове, и он рассыпался лучинками. Надежда Александровна, сияя лучеметными прожекторами глаз, быстро и однообразно твердила: «расстрелять! расстрелять!» Лежал, раскинув руки, задушенный генерал, и это был вовсе не генерал, а мама, со спокойным, странным без очков лицом. И молодая женщина с накрашенными губами тянула в нос: «мой муж пропал без вести,—уж два месяца от него нет писем».

Катя очнулась и быстро села на постели. Сердце стучало тяжелыми, медленными толчками. За незавешенными окнами чуть брезжил туманный рассвет.

Глухо, таинственно и грустно в монастыре на горе ударил колокол. Еще удар и еще,—мерно один за другим. Сосредоточенно гудя, звуки медленно плыли сквозь серую муть. И было в них что-то важное, организующее. И умершее. И чувствовалось,—ничего уж они теперь не могут организовать. И серый, мутный хаос вокруг, и нет оформливающей силы.

Вера во сне стонала, потом вдруг заплакала протяжно, всхлипывающе. Вздрогнула и замолчала, и закутала одеялом голову. Должно-быть, проснулась от собственного плача.

Катя тихонько позвала:

— Вера!

Не откликнулась. И грустно, уединенно звучал в тумане далекий колокол.

* * *

Надежда Александровна встретила Катю словами:

— Ну, Екатерина Ивановна, радуйтесь! Вы оказались правы. В Жилотделе раскрылись злоупотребления чудовищные, взятки брали все, кому не лень. Сегодня утром, по приказу Вороньки, расстреляли весь Жилотдел в полном составе. Ордера аннулированы, назначена общая их проверка.

Катя натопорщилась, как еж.

— Чего ж мне радоваться? Когда власть бесконтрольна, когда некому жаловаться, и никто не знает своих прав,—всякие другие будут такими же.

Звонок. Быстрыми шагами вошел в столовую человек в защитной куртке. Не здороваясь, хлопнул ладонью по скатерти, оглядел стол.

— Самовар? Хорошо. Сыр? Масло? Больше ничего не надо. Коньяк есть?

Надежда Александровна засмеялась.

— Кажется, есть. Посмотрю в буфете.

— Великолепно. На стол! Лордмэр дома.

— У себя в кабинете.

— Очень хорошо. Четверть часа разговору. Потом сюда к вам. Через полчаса в уезд... Тук-тук!

Он исчез в дверях кабинета. Надежда Александровна, смеясь, переглядывалась с Верой.

— Так всегда. Как вихрь. Три дня назад приехал из Симферополя,— и все в Продотделе закрутилось и закипело. Вот увидишь, неделя всего пройдет,—и вагоны хлеба вырастут, как из земли.

Катя спросила.

— Кто это?

— Губпродком, комиссар продовольствия. Колесников. Удивительный человек. Вот энергия! Всегда на ходу. Когда спит,— никто не знает. Весь живет в деле. Понимаете, как-будто все время пьян своим делом.

Вера сдержанно заметила:

— Да, энергичный. Я с ним зимою работала в Тамбовской губернии. Только не нравится он мне. Жестокий невероятно. Мужиков десятками расстреливал. И так равнодушно, деловито,—как будто баранов.

Надежда Александровна выставляла из буфета коньяк, холодное мясо, винегрет.

— А за то его уезд по количеству представленного хлеба оказался первым в России.

— Да... А все-таки... И себе самому ни в чем не отказывает. И коньяк у него всегда, и всего вдоволь. Совестно было приходить к нему. И потом: через каждые полгода новая жена.

— Конечно, это всё... Но я не знаю. Сколько гляжу,—все больше убеждаюсь, что общественная нравственность и нравственность личная очень редко совпадают. Повидимому, это—две совершенно различные области. И как бы он мог так работать, если бы ел хлеб с соломой? А потом,—если нужно, то он может и целыми днями ничего не есть, спать под кустом на дожде.

Вошли Колесников и Корсаков, продолжая разговаривать. Колесников быстро сел, взял бутылку с коньяком, посмотрел на этикетку.

— Мартель, три звездочки. Очень хорошо.

Налил большую рюмку, выпил и жадно стал есть. И еще выпил. Корсаков пить отказался. Из желтой склянки он зачерпнул ложечку белых крупинок проглотил.

— Что это?

— Глицерофосфат.

— Чтоб умным быть?

— Да.

— Помогает. В прошлом году сахару не было, я с глицерофосфатом чай пил. Так все на улицах пугались,—до того было умное лицо!

Надежда Александровна сияющими глазами смотрела и смеялась, радуясь на него. В раскрытых окнах было черно, и поблескивали молнии.

— Поскорее прекратил. А то еще за интеллигента российского примут.

Катя встрепенулась.

— А что же тут было плохого, если бы приняли за интеллигента?

Колесников стал ругать интеллигенцию. Катя сцепилась с ним. Как можно так относиться к интеллигенции! Ее обратили в каких-то париев, она погибает от голода и холода,—погибает вся умственная сила страны. Недавно профессор Дмитревский получил из Петербурга письмо. Знаменитый историк, академик Зябрев, чтоб не умереть с голоду, продал всю свою библиотеку за два пуда муки. Воротился домой, увидел пустые библиотечные полки—и повесился тут же в кабинете... И моральный уровень нашей революции так низок, так мало в ней благородства именно потому, что она оттолкнула от себя интеллигенцию.

Надежда Александровна скучливо поморщилась.

— Господи! Эти интеллигентские разговоры без конца!

Колесников смеющимися глазами с любопытством оглядел Катю: как, мол, сюда такая залетела? Он налил еще рюмку, выпил.

— Ну, барышня, давайте языками потреплем. Для дивертисменту. Что за моральный уровень такой у интеллигенции вашей? Прогнившая труха, а не уровень. Старые заслюнявленные словца. В помойку выкинуть эти окурки. Чистота души. На кой она кому нужна? Любовь к страждущим братьям... Чепуха! Долг народу... Ч-чепуха! Сочувствие народное, «глас народный». Наплевать!

— И на сочувствие народное?!

— Наплевать!

— И на сочувствие рабочих?

— Если за нами не идут,—наплевать! И их устраним. Заставим итти за собою. Не доросли, линии не видят, а нам из-за того на месте топтаться? Давать им разводить меньшевистскую слякоть?

Он протянул руку к бутылке. Надежда Александровна придержала бутылку.

— Смотрите: гроза, дождь так и льет. Вы все-таки хотите ехать?

— Через две минуты.

— Тогда не дам вам больше пить.

Он ладонью отрезал бутылку от Надежды Александровны.

— Никогда не бываю пьян. Когда до грозящей точки,—противно становится вино.

Выпил рюмку.

— Вот барышня хорошая. Усвойте. Интеллигенция ваша нам ни к чему. Только две нужны категории: бывшие кадровые офицеры,—боевики, фронтовики, вот с этим!—Он потряс сжатым кулаком.—Да еще инженеры. Не ваши интеллигенты мяклые, а инженеры американского типа. чтоб умели дело делать, не сантименты разводить. А до профессорских штанов нам нет дела.

— Каких штанов?

— Ну, книг, что ли!

Он встал.

— Еду!—Подошел к буфету, открыл.—Ого! Еще целая бутылка коньяку. Реквизирую.

Лил южный дождь, грохотал гром. В бурную темноту уносился ухающий стон автомобильной сирены.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Медленно извиваясь, по городу расползались глухие слухи. Замирали на время, приникали к земле—и опять поднимали голову, и ползли быстрее, смелее, будя тревогу в одних, надежду— в других.

Рассказывали: на севере Петроград в руках Юденича, и он уже подходит к Твери; добровольцы взяли Синельниково и Харьков; махновцы перешли на сторону Деникина. Советские газеты сообщали, что Деникин овладел Донецким бассейном. Военный комиссар Ворошилов докладывал на с'езде, что разбойничьи банды Григорьева рассеяны по лесам, но «идейное кулацкое ядро» кристаллизуется и представляет серьезную опасность. Передавали, что григорьевцы вовсе не рассеяны,—напротив: Григорьев идет к Перекопу на соединение с Махно, его лозунги: власть свободно избранным советам, отмена хлебной монополии и коммун, истребление евреев. Посланные навстречу красные войска перешли на его сторону. Советская власть в панике, на фронте полный развал, дисциплины никакой, солдаты пьянствуют и дезертируют.

Катя встретила на улице певца Белозерова.

— Владимир Иванович, вы слышали? Говорят, дела большевиков плоховаты.

— И вы верите! Какой вздор! И кто эти слухи распространяет! Сейчас мне это самое говорил и Семенов, член коллегии земотдела. Буду сегодня в ревкоме, спрошу тамошних моих приятелей.

Возвращаясь со службы, Катя опять встретила Белозерова. Он шел, обняв каждою рукою по десятифунтовой банке,—одну с

медом, другую с абрикосовым вареньем; через плечо висел окорок. Катя рассмеялась.

— Что это у вас?

— Сегодня утром на вилле Бенардаки открыли две замурованных комнаты. Полны были золотой и серебряной посудой, мануфактурой, всевозможными припасами. Садовник донес. Вот, снабдили меня в ревкоме.

— А что вам сказали насчет общего положения дел?

— Вздор, конечно. Я так и думал. Работа провокаторов. Дела великолепны. Спросили меня: «Кто эти слухи распространяет?» — Я сказал про Семенова. — «Как фимилия? Семенов? А вот мы его запишем и покорнейше попросим!»

— Да неужели вы назвали фамилию?

Белозеров удивился.

— А что?

— Владимир Иванович, ведь это у порядочных людей называется доносом! Неужели вам не стыдно?

— А зачем они подрывают авторитет советской власти? Так им и надо!

* * *

Ездил Белозеров в Арматлук, — отвезти кой-какие принакопленные запасы и проверить сохранность своей дачи, огражденной всякого рода очень грозными бумажками. Дача охранялась специальным милиционером от ревкома.

В деревне тоже только и было разговору, что об уходе большевиков. Белозеров вывесил на дверях ревкома грозное об'явление, что, мол, до сведения моего дошло о провокационных слухах, распространяемых злонамеренными лицами... Рабоче-крестьянская власть установилась в Крыму навсегда... Распространители злостных слухов будут караться революционным трибуналом расстрелом на месте...

Неизвестно, в качестве кого подписал Белозеров это свое об'явление. Он был только заведующим подотделом театра в Наробразе.

* * *

А слухи в городе становились настойчивее, тревога—ощутительнее. Шли повальные обыски. Произвели обыск у Мириманова Но, как всегда при повальных обысках, обыск был спешный и поверхностный. По ночам голубой луч прожектора пытливо шарил по морю и по горам над городом. Рассказывали, что в море были замечены миноноски, что им сигнализировали из садов на горах. Из уезда с береговых пунктов тоже доносили о появлении разведочных судов и о сигнализации с гор. Передавали, что на севере Крым вот-вот будет отрезан.

Профессор Дмитревский волновался и был задумчив. Катя расспрашивала Веру,—что слышно? Вера поспешно отвечала, что все идет хорошо. Но чувствовалось,—опять надвигается буря.

Рабочие, поселенные в верхнем этаже дома Мириманова, с угрюмыми лицами спешно укладывались и уносили куда-то свои вещи.

В сумерках к Мириманову приходил бородатый казак с красною звездою на околыше. Катя уж и раньше несколько раз видела его. Через полчаса Мириманов ушел из дому и в эту ночь не ночевал дома.

* * *

На краю города, в стороне от шоссе, стоит грязное двухэтажное здание с маленькими окнами в решетках. Поздним вечером к железным воротам подкатил автомобиль, из него вышли двое военных и прошли в контору. В темной конторе чадила коптилка, вооруженные солдаты пили вино, пели песни.

Один из военных властным голосом спросил:

— Комендант тюрьмы здесь?

Сидевший за столом матрос неохотно отозвался:

— Я комендант.

Военный отвел его в угол и на ухо спросил:

— Приказ, товарищ, получен вами?

— Получен. Сейчас ведем.

— Вот что. У вас тут есть арестант, подлежавший отправке в Москву. Доктор Сартанов. Нам нужно лично быть убежденными, что он больше... не будет опасен. Распорядитесь, чтобы его привели.

Матрос благодушно улыбнулся.

— Не хотите ли еще кого? Хоть десяточек берите. Хватит на всех.

— Нет, нужно только его.—Он обратился к своему спутнику.—Товарищ Чанг, вы примете арестанта, а я подожду в машине.

Спутник-китаец ответил:

— Халясо.

Первый военный ждал в автомобиле, усевшись на сиденье рядом с шофером, впереди. Китаец вышел из ворот с Иваном Ильичом. Руки Ивана Ильича были связаны позади веревкою. Он сильно оброс и шел, почему-то прихрамывая. Китаец сел рядом с ним.

Военный на переднем сиденьи коротко шепнул шоферу:

— В штаб Духонина.

Машина заворчала, плавно сорвалась с места и покатила к шоссе. Там свернула влево от города и помчалась в горы.

Иван Ильич удивленно огляделся.

— Куда вы меня везете?

Китаец не ответил. Иван Ильич выпрямил спину, глубоко вздохнул и поглядел на теплый, сухой сумрак, окутывавший придорожные кусты, на яркие звезды над горами. И еще раз он глубоко вздохнул, потом откинулся на спинку сиденья, опустил голову и больше ее уж не поднимал.

Машина мчалась по шоссе, средь тихого аромата лесных трав. Все молчали. Военный, сидевший рядом с шофером, вдруг сказал:

— Стой!

Остановились над лесистым откосом, оттороженным от шоссе рядом столбиков.

—Вы проедете дальше,—там можно будет повернуть машину.

И слез. Китаец тоже вышел и велел выйти Ивану Ильичу. Первый военный побледнел и срывающимся шопотом сказал на ухо китайцу:

— Я сам. Садитесь обратно в машину.

Китаец бесстрастно моргнул узенькими глазными щелками и полез назад.

Автомобиль покатил дальше. Внизу, где мягкая дорога впадала в шоссе, он повернул и, не спеша, двинулся обратно. Остановился над откосом, дал призывный гудок. Как бы в ответ, внизу, под черными купами ясеней, коротко ударил револьверный выстрел. Из кустов вышел военный, вкладывая в кобуру большой револьвер Кольта, молча сел в автомобиль рядом с китайцем.

Машина помчалась к городу.

* * *

Через полчаса после от'езда автомобиля от тюрьмы железные ворота широко распахнулись, вышла большая толпа людей, окруженная вооруженными солдатами.

Жители татарской слободки, еще не спавшие, слышали за окнами взволнованные мужские голоса, женский плач, пьяную матерную ругань, удалявшиеся по направлению к свалкам. Старик-татарин, вышедший к калитке посмотреть, через четверть часа услышал в темноте за свалками далекие вопли, сухие ружейные залпы, перемежающиеся отдельными выстрелами. Прорезал тишину безумный, зверино-предсмертный вопль, оборвавшийся выстрелом, и все стихло.

* * *

Улицы были пустынны. Ходили патрули вооруженных рабочих. В учреждениях висели об'явления о вздорных слухах, злостно распространяемых провокаторами, и приказывалось всем служащим быть на местах. Однако почти никто не явился.

Катя нагнала на улице Белозерова. С желтым, спавшимся лицом, он тащил огромный узел с вещами.

Катя смотрела смеющимися глазами.

— Ну, что, Владимир Иванович,—провокационные слухи?

Белозеров покрутил головой.

— Плохо дело.

— Куда это вы?

— В советской квартире оставаться неудобно. Перебираюсь к знакомым на частную.

Кате захотелось его подразнить.

— А ведь, пожалуй, придется вам дать ответ в кой-каких ваших действиях.

Он еще больше пожелтел, в глазах прополз унылый испуг.

— Собственно, что ж я такого делал?—Потом покрутил головою и бледно улыбнулся.—А ведь, чего доброго,—повесят!

— Ну, не повесят. Споете им из «Жизни за царя»: «Чуют правду».

У крыльца военного комиссариата стояла кучка красноармейцев. Один насмешливо спросил Белозерова:

— Что, товарищ, на дачу перебираетесь?

—Да, знаете,—на прежней воздух что-то плох стал.

В толпе засмеялись. Сзади до них донеслось:

— Пулю бы ему в спину!

Белозеров свернул в переулок.

На набережной просто одетая женщина, по виду прислуга, подбежала к парню с винтовкой и крикнула:

— Патруль! Останови эту женщину! Она контрреволюционерка!

Хорошо одетая дама спешила уйти в боковую улицу.

— Держи, а то уйдет!

Милиционер побежал за дамой и схватил ее за руку.

— Что вам надо?

— Она сейчас пропаганду пущала. Говорила, что слава, мол, богу, большевиков гонют. Грабителями называла большевиков.

— Что вы... Оставьте меня... Чего вы меня хватаете?

— Ты что говорила?

— Ничего я не говорила... Спрашивала только, правда ли, что большевики уходят из города.

— Ишь, какая теперь смирная стала! Нет, ты говорила: туда им и дорога, сволочи поганой. Придут доброволы, они

вам всем покажут, как нас обижать... Веди ее, патруль! Я в свидетелях.

Парень с обеими женщинами пошел к Особому Отделу.

На бульваре, у постамента снятого памятника Александру Второму, Катя встретила Мириманова. Он спросил глухим голосом:

— Вы слышали, что они сегодня ночью сделали?

— Что?

— Расстреляли всех заложников и политических арестованных. Вывели из тюрьмы и расстреляли за свалками.

— Что вы говорите?!

—Там уж целая толпа родственников.

—Господи! Да ведь в тюрьму, наверно, и папу перевели!..

Катя бросилась прочь. Вбежала в Женотдел. В загаженных комнатах был беспорядок, бумаги валялись на полу, служащих не было. В дальней комнате Вера с Настасьей Петровной и татаркою Мурэ жгли в камине бумаги. Вера исхудала за несколько часов, впалые щеки были бескровны.

— Вера! Скорей, пойди сюда!

Они вышли в пустую комнату.

— Ты знаешь, что сегодня ночью... Говорят, ночью расстреляли всех, кто в тюрьме.

Вера, прикусив губу, ответила:

—Да. Расстреляли. Увезти невозможно, а оставить — значит освободить. Опять пойдут против нас.

— Расстреляли! Всех! Значит, и папу!.. Господи! И это тоже нужно было для революции? Честного, благородного, непреклонного! Ни пятнышка на всем человеке!

Катя прорвалась рыданиями.

— Проклятье вашей революции, которая привлекает к себе только подлецов и хамов и уничтожает всех благородных! И ты,—ты тоже с этими палачами! А ведь раньше ты руку отказалась подать доктору только за то, что он присутствовал при казни!.. Вера, Верочка! Что же это такое случилось?

—Ну, Катя!..

— Что такое случилось? Верочка, да неужели же это возможно?

По бледным щекам Веры непроизвольно лились слезы, но лицо было неподвижно и строго. Катя сказала:

— Пойдем, посмотрим трупы. Может, отыщем папу.

— Пойдем.

Ивана Ильича среди трупов не оказалось.

* * *

Под вечер в комнату к ним поспешно вошла Надежда Александровна.

— Вера, едем. Машина у крыльца, наши ждут... Что это с тобою?

Вера безучастно спросила:

— Куда едем?

Надежда Александровна удивилась.

— Как куда? В Джанкой. Приказ—немедленно эвакуироваться всем ответственным работникам, ты же знаешь. Воинским частям тоже приказ,—как можно скорее уходить с позиций.

— Да, да...—Вера повела глазами, словно стараясь что-то припомнить.—Да. Захватите других товарищей.

— Ты с ума сошла, Вера! Обязательно должна и ты ехать. Что же тогда партийная дисциплина?

— Конечно, я еду. За мною обещал заехать Леонид. Я его жду.

—Ну, это другое дело. Только не держитесь. Деникинцы высадились в Трех'якорной бухте и идут наперерез железной дороги. Может быть, уже отрезали нас.

— Да, конечно...

Надежда Александровна пристально вглядывалась в Веру. Ее поразил ясный, радостный свет, сиявший на ее лице, и страдальчески сжатые губы.

— Вера, чего ты, право? Всегда же бывают неудачи. Приходится отдать Крым. Вообще это была ошибка, не следовало его сейчас занимать, Троцкий определенно это заявил.

— Да, это верно.

— Ну, пока!

Глаза Надежды Александровны вспыхнули светлыми прожекторами, с мягко-материнскою нежностью она обняла Веру, заглянула ей близко в глаза и крепко поцеловала. И еще раз с сомнением заглянула ей в глаза. Потом с усмешкою обратилась к Кате:

— До свиданья! Вы, наверно, рады, что возвращаются белые. Но недолго им тут быть!

Катя с ненавистью взглянула на нее и ничего не ответила.

* * *

— Значит, на повороте, у оврага, где разбитое дерево...

— Так точно!

Они стояли близко друг от друга и, глядя в стороны, говорили вполголоса. Пищальников продолжал седлать лошадей, а Храбров вышел из сарая и жадно закурил.

Спешно грузились на дворе фурманки. По улице проезжали орудия. Над крылечком в вечерних сумерках еще трепыхался красный флаг. Из помещения штаба вышел Крогер и холодно сказал:

— Нужно спешить, пока месяц не взошел. Едем.

— Едем. Лошадей седлают... Товарищ Мохов, через час вы выступите по маршруту, не дожидаясь нас. Мы выезжаем на позиции, пойдем вместе с полками.

— Хорошо, товарищ Храбров,—отозвался начальник-штаба.

Пищальников вывел из сарая трех оседланных лошадей.

Храбров и Крогер, а сзади них Пищальников, поехали крупной рысью через безлюдную деревню, разрушенную артиллерийским огнем. Выехали в степь. Запад слабо светился зеленоватым светом, и под ними черным казался простор некошенной степи. Впереди, за позициями, изредка бухали далекие пушечные выстрелы белых. Степь опьяненно дышала ароматами цветущих трав, за канавкой комками чернели полевые пионы.

Ехали молча. Лошадь Пищальникова горячилась, прыгала, то наскакивала сзади почти на круп лошади Крогера, то отставала, и Пищальников ругался на нее.

— Застоялся, Ирод!.. У, чума тебя возьми!..

Уродливою массою зачернелась над оврагом разбитая снарядом ветла, с надломившимся, поникшим к земле стволом. Опять лошадь Пищальникова наскочила сзади на лошадь Крогера. Быстрым движением Пищальников выхватил шашку, сжал коленями бока лошади и, наклонившись, с тяжелым размахом ударил Крогера по голове. Крогер охнул, повалился на гриву, и еще раз Пищальников полоснул его наискось по затылку.

Лошадь скакала, изогнув шею, на боку ее висел вниз головою Крогер, запутавшийся в поводьях и стременах, а рядом, нагнувшись, скакал Пищальников и старался схватить лошадь за узду.

Слезли с коней. Храбров коротко сказал:

— Стащи его в овраг.

В овраге, под кустом тальника, Храбров обшарил карманы латыша, вытащил у него печать и жестяную коробочку с чернильною подушкой. Засветил карманный электрический фонарик и приложил печати к заготовленным заранее бумагам. Пищальников обтирал с шашки кровь о потник крогеровой лошади.

— Ну, вот, Пищальников. Скачи на позиции, отдай по бумаге каждому из командиров и приезжай назад. Буду ждать там подальше, в овраге... Спустишься в овраг, свистни.

— Слушаю, ваше благородие!

Пищальников радостно поскакал, а Храбров с двумя лошадьми пошел вглубь оврага.

Тихо было. Над степью поднялся красный, ущербный месяц. Привязанные к кусту лошади об'едали листву, и слышно было их крепкое жевание. В росистой траве светились мирным своим светом светляки. Храбров сидел на откосе и курил.

С дороги донесся осторожный свист. Храбров откликнулся. Продираясь сквозь кусты, подошел Пищальников, ведя на поводу лошадь и доложил:

— Выступают.

Они сидели и прислушивались. Долго сидели. Месяц поднялся выше.

Глухой, медленный топот ног донесся от дороги и сдержанный говор. Пищальников выполз на край оврага и наблюдал из-под пушистого куста тамариска. Все новые проходили толпы, с тем же темным топотом.

Пищальников сошел вниз.

— Все прошли. Дорога пустая.

Храбров вскочил.

— Ну, Пищальников...

Они поглядели друг на друга,—вдруг обнялись и крепко поцеловались.

— Едем!.. Погоди:

Храбров снял с околыша пятиконечную звезду, бросил ее наземь и растоптал каблуком.

Потом вырезал в орешнике палку и привязал к ней в виде флага свой носовой платок.

Жадно дыша степным воздухом, они скакали к опустевшим окопам, навстречу свободе.

* * *

Солнце еще не было видно за горами, но небо сияло розовато-золотистым светом, и угасавший месяц белым облачком стоял над острой вершиной Кара-Агача. Дикие горы были вокруг, туманы тяжелыми темно-лиловыми облаками лежали на далеких отрогах. В ущелье была тишина.

Командир полка, бывший ефрейтор царской службы, спросил:

— Это—ущелье Гяур-Бах? Верно?

Красноармеец, с белыми усиками на бронзовом лице, ответил:

— Верно, верно! Говорю вам, места эти мы хорошо знаем, весною, как в партизанах были, все эти горы исходили вдоль и поперек.

Командир полка и политком со скрытым недоумением перечитывали приказ. Командир озабоченно оглядывал широкое ущелье с каменистым руслом ручейка, крутые обрывы скал по бо-

кам. Впереди, на отроге горы, чернел лес, в двигавшихся клубах розовевшего тумана мелькали шедшие к опушке серые фигуры разведчиков.

Лица солдат были серые от бессонной ночи и пыли. Солдат с белыми усиками радостно говорил:

— Места знакомые. Помнишь, Гриша, весною из того самого леска мы обоз с провиантом отбили у белых.

Другой солдат, с черной бородкой на желтовато-бледном лице, отозвался:

— Как не помнить! С голоду там подыхали в горах.—Он засмеялся.—Как ты тогда на муку-то налетел? Увидал, братцы, муку, затрусился весь. Ну ее горстями в рот совать! Рожа вся белая, как у мельника. Потеха!

Белоусый зевнул продрогшим зевком и потопал ногами.

— Хорошо бы теперь в открытую подраться. Надоело в окопах сидеть.

Теплый ветерок дул от невидимого моря. Далеко где-то бухали пушечные выстрелы.

— Стой, где же это пушки стреляют? Вот так штука! Неужто уж в Крыму белые?

— Не иначе, как в Эски-Керыме стрельба.

— Ишь, св-волочи... Высадку, что ль, сделали?

Смутная тревога пронеслась по рядам. Лица стали серьезны, глаза внимательно оглядывали горы.

Показалось солнце. Зазолотившиеся клубы тумана, как настигнутые воры, стремглав катились по скатам вверх, бесшумно перекатывались через кусты, срывались с вершин и уносились в сверкающую синь.

Вдруг в лесу гулко раздались выстрелы. Под гору, пригнувшись, бежали назад разведчики, один, подстреленный, упал и закувыркался с винтовкою. Охнул и со стоном опустился наземь чернобородый. Лес ожил и загудел выстрелами.

Ничего нельзя было понять. Валились вокруг убитые и раненые, люди метались, ища прикрытия. Лес быстро и мерно тикал невидимыми пулеметами, трещал залпами. Командир, задыхаясь, крикнул:

— Товарищи! Засада!.. Рассыпайся! Назад к шашше!

Бежали, пригнувшись. Припадали за камнями, отстреливались и перебегали дальше. Чернобородый, опираясь прикладом в землю, с выпученными глазами прыгал на одной ноге.

Вдруг на противоположной стороне, у входа в ущелье, на выступе горы замелькали цепи. Стройные фигуры юнкеров перебегали, стреляя, от куста к кусту. Двое устанавливали за большим камнем пулемет.

Держась за окровавленную голову, командир крикнул с веселым отчаянием:

— Вперед, товарищи! Пробивайся к шашше!.. Да здравствует трудовая власть!

И, шатаясь, побежал. Белоусый, потрясая винтовкою, обогнал его.—Ура!

— Ур-ра-а!!!

Солдаты бурно побежали в гору на юнкеров. А в спину, из леса, частым грозовым дождем сыпались пули; люди, дергаясь в судорогах, катились с откосов. Из глубины ущелья скакали казаки.

* * *

Город отрезан!

Это на следующий день все повторяли. Большинство ответственных работников успело ночью проскочить на автомобилях (железнодорожный мост накануне опять был взорван кем-то), но некоторые попали в руки белых. Войска с позиций прошли мимо города и тоже успели выйти из кольца. Только два полка, на основании каких-то странных распоряжений из штаба бригады, ушли куда-то в сторону, в горы. Там они попали в засаду и были истреблены до последнего человека. Небольшой отряд засел в каменоломнях, в шести верстах от города, и собирался защищаться. Рабочая молодежь из города маленькими группками пробиралась тоже в каменоломни, но по дороге туда, рассказывали, уже рыскали раз'езды кубанских казаков.

Утром Вера поспешно связала в узелок немногочисленные свои пожитки. Лицо ее было окаменевшее, но глаза светились

освобождающею душу радостью. И вся она странно светилась. Катя с изумлением глядела на нее.

— Куда ты?

— Ну, куда! К товарищам, конечно. В каменоломни.

— Вера, да что ты?!

Катя хотела начать ее убеждать, но слова не дошли до губ, когда она почувствовала душою это блаженное свечение вериного лица: как-будто радость пришла, освобождавшая от всех раздумий и мук, и впереди ждало что-то несомненное и бесконечно-светлое.

Катя впилась глазами в лицо Веры и, задыхаясь, спросила:

— Вера... Мы больше не увидимся?

— Отчего же? Не знаю... Все может быть.

Катя зарыдала и охватила руками шею Веры.

— Вера! Прости меня!

— За что? Девочка моя, да что ты? За что простить?

— Ты знаешь, ты знаешь!.. Но я не могла удержаться, слишком больно было за папу... Господи! И ты,—ты тоже уходишь!

Она плакала жалобным детским плачем. Вера гладила ее по голове.

* * *

В шестом часу вечера в город без сопротивления вошли кубанские казаки и стали биваком на базаре.

Утром Катя вышла на улицу. Блестели золотые погоны. Повсюду появились господа в крахмальных воротничках, изящно одетые дамы. И странно было: откуда у них это после всех реквизиций?

На стенах были расклеены большие афиши:

Сегодня, 12 июня 1919 года,
в пользу доблестной Добровольческой армии
в Городском театре
дан будет спектакль
с участием артиста Государственных театров
В. И. БЕЛОЗЕРОВА.

Сообщалось, что пойдет пьеса «В старые годы», с участием лучших сил труппы, и что затем выступит В. И. Белозеров в любимейших номерах своего репертуара.

Из вестибюля театра взволнованно выходили актеры. К Кате подошла премьерша театра, Борина-Струйская, с красивым и нервным лицом.

— Читали вы афишу?

— Да.

— Представьте себе, мы все тоже узнали об этом спектакле только сегодня из афиши. Вчера вечером Белозеров явился к коменданту города и от лица труппы заявил, что мы желаем дать спектакль в пользу добровольцев... Мы не большевики. Но как же это можно? На днях только получили жалованье от большевиков, а сегодня—играть в пользу добровольцев! Сейчас был в театре Белозеров, мы на него. А он: «Хорошо! Не хотите,— ваше дело. Поеду к коменданту, заявлю, что труппа отказывается играть в этом спектакле»... Каков подлец! Ну, что же нам делать? Приходится играть. Каждому своя шкура дорога.

В «Астории» играла музыка. На панели перед рестораном, под парусиновым навесом, за столиками с белоснежными скатертями, сидели офицеры, штатские, дамы. Пальмы стояли умытые. Сновали официанты с ласковыми и радостными лицами. Звякала посуда, горело в стаканчиках вино.

Из ресторана вышел Белозеров с довольным, успокоенным лицом, в свежем летнем костюме. Увидел Катю, дрогнул и вежливо, низко поклонился. Катя с холодным удивлением оглядела его и отвернулась.

* * *

Молодой хорунжий-кубанец вежливо разговаривал с Миримановым.

— Уверяю вас, вам же будет удобнее, если полковник поселится у вас. Он и двое нас, ад'ютантов, и уж никто больше не будет вас тревожить. Знаете, первые дни всякие бывают неприятности. А у нас вы будете себя чувствовать, как у Христа за пазухой.

Через два часа они приехали. Полковник поселился в кабинете, ад'ютанты в соседней комнате. Обедали они в столовой.

Долго, до поздней ночи, в столовой гудели голоса, приходили и уходили люди, то-и-дело хлопала дверь. Мириманова это заинтересовало. Он вошел в столовую, как-будто, чтобы взять графин.

Полковник пил вино. На столе стояли бутылки. Ад'ютант писал в большой тетради, а перед ним лежала груда золотых колец, браслетов, часов, серебряных ложек. Входили казаки с красными лицами и клали на стол драгоценности.

— А-а, господин хозяин!

Полковник радушно вытянул руки в его направлении.

— Присаживайтесь. Могу предложить стаканчик винца?

Мириманов сел.

— Что это у вас тут на столе?

— Это? Военная добыча.

Мириманов удивленно смотрел.

— Какая военная добыча?

Полковник переглянулся с ад'ютантом и засмеялся, как при наивном вопросе ребенка.

— Ну! Какая!.. Вы что же думаете, казаки наши не хотят пить-есть?.. Но вы поглядите, какая «организованность»! «Товарищи» бы позавидовали. Не каждый сам для себя, а в громаду несут, в полковой фонд.

Мириманов задумчиво поглаживал усы.

— А вы не думаете, полковник, что это может раздражать население, возбуждать его против добровольческой армии?

— Да ведь мы не так, как махновцы: те с пальцами отрезают кольца, а мы снимаем. И больше все у жидков.

Ночью, средь притаившейся тишины, изредка слышались вдалеке крики «караул!» и одиночные ружейные выстрелы.

* * *

Жители прятались по домам. Казаки вламывались в квартиры, брали все, что приглянется. Передавали, что по занятии

города им три дня разрешается грабить. На Джититской улице подвыпившие офицеры зарубили шашками двух проходивших евреев.

Шли обыски и аресты. В большом количестве появились доносчики-любители и указывали на «сочувствующих». К Кате забежала фельдшерица Сорокина, с замершим ужасом в глазах, и рассказала: перед табачной фабрикой Бенардаки повешено на фонарных столбах пять рабочих, бывших членов фабричного комитета. Их вчера еще повесили, и она сейчас проходила,— все еще висят, голые по пояс, спины в темных полосах.

Арестовали и профессора Дмитревского. Жена его, Наталья Сергеевна, пришла в контр-разведку. Ротмистр с взлохмаченными усиками, очень напоминавший прежних жандармских ротмистров, встретил ее сурово.

— Нет, ему никакого снисхождения не будет. Можно еще простить учителя какого-нибудь, который с голоду пошел к ним на службу. Но он,—тайный советник!—и связался с этими негодяями!

— Но ведь он заведывал просвещением. Он не большевик, он смотрит, что самое убийственное оружие против большевиков, как и против самодержавия,—просвещение. Он пошел к ним, как шел раньше к самодержавию.

Ротмистр покоробился при таком упоминании о самодержавии. Он резко ответил:

— Вы, г-жа Дмитревская, этими фразами нас не убедите. У нас против него есть такой один документик...

И он развернул перед нею газету «Красный Пролетарий» с отчетом о первомайском празднике.

— Вот что он говорил, ваш поклонник просвещения! «Социализм сумеет насадиться только беспощадной винтовкой и штыком в мозолистой руке рабочего».

Наталья Сергеевна побледнела.

— Тут его слова извращены, он говорил совсем другое!

— Ну, конечно! Что ж вам еще на это возразить.

Наталья Сергеевна указывала, сколько людей спас Дмитревский от расстрела и тюрьмы своими хлопотами.

— Это, сударыня, нас очень мало трогает. Чем больше компрометировали бы себя большевики, тем для нас было бы выгоднее.

Само же европейское имя Дмитревского, видимо, ничего не говорило ротмистру. Большевики ценили крупных деятелей науки и искусства, относились к ним подчеркнуто-бережно. Здесь же Дмитревский был только тайный советник.

Катя бросилась к Гольдбергу, бывшему управляющему делами их отдела. Оба они развили чисто-электрическую деятельность. Катя написала заявление, где, как свидетельница, рассказывала об извращении газетным отчетом речи профессора, об их совместном посещении редакции. Гольдберг отыскал несколько других свидетелей, слышавших речь и согласившихся дать показание. Расшевелил учительский союз, союз деятелей науки и искусства, убедил их подать заявление с ходатайством за Дмитревского, как европейского ученого, гордость русской науки. Собирал под ходатайством подписи и у именитых граждан. Бывший городской голова Гавриленко охотно подписался. Катя обратилась к Мириманову. Мириманов отрицательно помотал головою и ответил:

— Нет, извините,—не подпишу. Зачем он к ним пошел? Сама себя раба бьет...

— Но ведь вы же знаете, как он корректно все время держался, как он всегда...

— Екатерина Ивановна! Все мы отлично понимаем, для чего он пошел к большевикам: спасался от издевательств, сберегал дачу свою от разгрома. И для этого выбрасывал иконы из школ, говорил демагогические речи... Должен был знать, на что идет.

* * *

Депутация шла по коридору «Европейской гостиницы», занятой управлением командования. Были в депутации председатели учительского союза, союза деятелей науки и искуcств, городской голова Гавриленко, Катя с Гольдбергом.

Вызвали адъютанта

— Нам нужно видеть коменданта города. Вы нам назначили прийти сегодня в пять часов.

— Пожалуйста, немножко подождите. Его еще нет.

В ожидании, они медленно расхаживали по коридору с стоявшими у дверей часовыми-кубанцами. В глубине коридора показался сухощавый казачий офицер. Он вдруг остановился перед молодым казаком-часовым и сказал:

— Здравствуй!

Казак ответил:

— Здравия желаю, господин есаул!

— Что? Не слышу!

Казак подтянулся и громко повторил:

— Здравия желаю, господин есаул!

— Не слышу, чорт твою мать дери!!!... Как руки держишь, с-сукин сын?!!

Часовой вытянул руки по швам и гаркнул на весь коридор:

— Здравия желаю, господин есаул!!

Офицер постоял, молча погрозил пальцем перед его носом и вошел в номер.

Катя в изумлении спросила казака:

— Неужели у вас и теперь офицеры так разговаривают с солдатами?

Часовой, сконфуженно улыбаясь, покрутил головою.

— Он так всегда с молодыми казаками. Хочет, чтоб мы были казаки, а не бабы. Он хороший, мы его любим.

Оказалось, это и есть комендант. Но ад'ютант попросил еще немножко подождать. Ждали долго. За дверью номера слышались грозные, раскатывающиеся крики, робкий голос что-то отвечал.

Катя опять вызвала ад'ютанта. Он вышел растерянный.

— Господа! Вот что я вам скажу: утро вечера мудренее. Придите лучше завтра.

Катя настаивала.

— Завтра, завтра приходите. Сейчас не совсем удобно. Прошу вас, уходите!

И он исчез в номере. За дверью слышался шум, грозные выкрики. Подошел Гольдберг.

— Мне сейчас сказали: комендант пьян, и лучше его сегодня не тревожить.

Дверь стремительно распахнулась. В коридор, шатаясь, выскочил молодой офицер в коричневом френче. Он крикнул, всхлипывая:

— Посмотрите, что они со мною делают!

Рука держалась за расшибленные зубы, из перебитого носа лилась кровь, пуговицы френча были оборваны. Часовые втолкнули его обратно в номер. Катя вдруг узнала Бориса Долинского, племянника Мириманова.

Опять за дверью зарокотали пьяно-грозные выкрики:

— Руки по швам, мерзавец! Большевикам продался! А еще офицер!

Вышел ад'ютант.

— Потрудитесь уйти. Сказал же я вам!

Катя крикнула:

— Господи! Вы там избиваете человека!

Часовые выпроводили их вон.

Катя шла по улице и дрожала мелкою внутреннею дрожью. И вдруг ей вспомнились подведенные глаза Бориса, его кокетливо поющий голос:

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском,
Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс...

Навстречу, под-руку с офицером в блестящих погонах, шел, весело болтая, певец Белозеров.

* * *

На стенах и каменных заборах висели об'явления новой власти. Не приказы большевиков,—грозные, безоглядные и прямо говорящие. Скользко, увилисто сообщалось о твердом намерении итти навстречу «действительным» нуждам рабочих, о необходи-

мости «справедливого» удовлетворения земельной нужды крестьян. И чувствовалось,—это говорят чужие люди с камнем за пазухой, готовые уступить только то, чего никак нельзя удержать,—и все отобрать назад, как только это будет возможно.

Мириманов, довольно посмеиваясь, писал в суд исковое прошение о взыскании с рабочих, живших в его доме, квартирной платы и убытков за побитые стекла, испорченные водопроводные краны. Вселились обратно Гавриленко и доктор Вайнштейн. Мириманов предложил им свои безвозмездные услуги по отобранию у рабочих унесенных ими вещей. Гавриленко поморщился и отказался. Вайнштейн лукаво улыбнулся, поднял ладони и ответил:

— Нет, бог с ними! Что с возу упало, то пропало. Разве я знаю, что будет опять через два месяца?

* * *

Загорелый, оживленный и радостный Дмитрий сидел у Кати, с жадной любовью оглядывал ее и рассказывал:

— В народных массах совершился несомненный перелом, большевизм изживается. В Купянске жители встретили нас на коленях, с колокольным звоном. Когда полки наши выступали из Кубани, состав их был двести-триста человек, а в Украйну они вступают в составе по пять, по шесть тысяч. Крестьяне массами записываются в добровольцы. В Харькове рабочие настроены резко-антибольшевистски, не позволили большевикам эвакуировать заводы. Вот увидишь, через два месяца мы будем в Москве.

Катя устало слушала.

— А не кажется вам, Дмитрий, что вы все время вдеваете толстую нитку в узенькое игольное ушко, и все силы на это кладете? Не кажется вам, что ваша нитка никогда в это ушко не пройдет?

Дмитрий дрогнул и удивленно взглянул на Катю.

— «Вам»? Катя, ты сказала—«вам».

Она сказала «вам», но не заметила этого. Покраснела и с усилием стала говорить «ты».

Когда через полчаса ушел Дмитрий, оба почувствовали, что ничего между ними нет.

* * *

Из Арматлука пришла в город Конкордия Дмитриевна, дочь священника Воздвиженского, и сообщила Кате, что Иван Ильич дома, у себя на даче. Уже с неделю дома, пришел пешком, рано утром. Только он очень болен, все лежит. И совсем без призора.

Катя, сумасшедшая от радости, расспрашивала, что случилось с отцом, как он попал домой.

— Не знаю. Он ничего не рассказывает.

Катя в полчаса собралась и пошла в Арматлук.

Пришла она под вечер. В спаленке своей лежал Иван Ильич со страшно исхудалым, темным лицом и запавшими глазами. Он слабо и радостно улыбнулся навстречу Кате, и улыбался все время, когда она, рыдая, целовала его руку.

С трудом, на каждой фразе останавливаясь, он рассказал, как его вывели из тюрьмы и повезли на автомобиле в горы, как ссадили на дороге, и как военный повел его под откос в кусты.

— Ну, думаю, конец! Вдруг он говорит: «дядя, не бойтесь ничего, это я». Вглядываюсь в темноте:—Леонид! Ты?—«Тише! Идите скорей!» Спустились под откос, он развязал мне руки. Наверху зашумел приближающийся автомобиль, загудел призывной гудок.—«Не пугайтесь»,—говорит,—«я сейчас выстрелю. С час посидите тут, а потом идите к себе, в Арматлук. В город не показывайтесь, пока мы еще здесь». Выстрелил из револьвера в кусты и пошел наверх.

Иван Ильич помолчал, потом спросил:

— А с другими что сделали?

— Всех расстреляли ночью за свалками.

Про Анну Ивановну они не говорили. Катя спросила:

— А что с тобою?

— Не знаю... Сначала думал,—ревматизм. Холодно было в подвале и сыро. Сильнейшие боли в колене,—в одном, потом по-

явились в другом. И слабость бесконечная, все бы лежал, лежал. По бедрам красные точки, как от блошиных укусов. А вчера посмотрел,— багровые и желто-голубые пятна на бедрах... Ясное дело,—цынга. Только странно, что на деснах ничего. Но так бывает. Это все пустяки.

Он устал говорить и закрыл глаза.

— Ты что-нибудь ел сегодня?

— Да, да, ел. Старуха Воздвиженская приносила супу.

— Я сейчас что-нибудь приготовлю.

Катя пошла в кухню. Плита была снята, духовой шкап и котел выломаны, виднелись закоптелые кирпичи. В комнатах, где жили солдаты, с диванов и кресел была срезана материя, голые пружины торчали из мочалы. Разбитые окна, грязь.

Столбы проволочной ограды были срублены, по неогороженному саду бродили коровы. Об'еденные фруктовые деревья и виноградник, затоптанные гряды огорода. В пустом курятнике белел давно высохший куриный помет, пусто было в чуланчике под лестницею, где жил поросенок.

Кате вдруг со смехом пришло в голову:

... мы старый мир разроем
До основанья, а затем...

Она вяло побрела в кухню.

* * *

За поселком, под шоссейным мостом, чабаны нашли труп застреленного татарина. Спина его была исполосована стальными шомполами. Узнали председателя ревкома соседней татарской деревни. Сгубил его георгиевский его крест, который он нацепил, чтобы умилостивить белых. Накануне вечером казаки, гнавшие арестованных в город, пили вино в кофейне Аврамиди. Урядник бил татарина по щекам и говорил:

— Этакую грязь разводил,—а еще крест носишь!

И сговаривались между собою:

— Всем по двадцать пять шомполов вкатим по дороге, а этого прямо в канаву.

Арестовали в саду во время работы Афанасия Ханова. Арестовали почему-то и Капралова, и увезли обоих в город. Гребенкин скрылся. Тимофей Глухарь тоже скрывался, а вечером, в сумерках, бегал по дачам и просил более мягкосердечных дачников подписать бумагу, что они от него обиды не имели. Почтительно кланялся, стоял без шапки.

Агапов, ласково и торжествующе улыбаясь, ходил с милиционером по крестьянским хатам и отбирал свою мебель, посуду и белье. Вечерами же писал в контр-разведку длинный доклад с характеристикою всех дачников и крестьян. Бубликов немедленно высадил из квартиры княгиню Андожскую. Все комнаты своей гостиницы он сдал наехавшим постояльцам. Круглая голова его, остриженная под нолевой номер, сияла, как арбуз, облитый прованским маслом.

* * *

Откуда их столько появилось? Было непонятно. По пляжу и по горам гуляли дамы в белых платьях и господа в панамах, на теннисных площадках летали мячи, на песке у моря жарились под солнцем белые тела, тела плескались в голубых волнах.

Урожай выдался колоссальный. По шоссе с утренней зари до полной темноты скрипели мажары с ячменем, почерневшие от солнца мужики проезжали из степи с косилками, проходили с косами. Они поглядывали на берег, белевший телами, в негодующем изумлении разводили руками и говорили:

— А—они, они опять голые на песке лежат!

* * *

В женскую камеру городской тюрьмы, позвякивая шпорами, вошли два офицера, за ними—начальник тюрьмы и солдаты. Молодой офицер выкликнул по списку:

— Сартанова!

Вера отозвалась. Офицер постарше спросил:

— Это которая?

— Что по дороге в каменоломни поймана, г. полковник. Сама заявляет, что коммунистка.

Вызвали еще четырех работниц. Полковник громко сказал:

— Этих пятерых. Завтра утром на тех же свалках, где они сами расстреливали. Перевести в камеру № 7.

Начальник тюрьмы почтительно наклонился к нему.

— Там мужчины, г. полковник.

— Что ж из того! Вы их этим не удивите. Привыкли ночи спать с мужчинами. Только веселей будет напоследок. У них это просто.

Спутники засмеялись.

В тесной камере № 7 народу было много. Вера села на край грязных нар. В воздухе висела тяжело задумавшаяся тишина ожидаемой смерти. Только в углу всхлипывал отрыдавшийся женский голос.

Рядом с Верою, с ногами на нарах, сидел высокий мужчина в кожаных болгарских туфлях-ársталах,—сидел, упершись локтями в колени и положив голову на руки. Вера осторожно положила ему ладонь на плечо. Он поднял голову и чуждо оглядел ее прекрасными черными глазами.

— Товарищ, не нужно падать духом.

Он поспешно ответил:

— Нет, я, понимаете, ничего... Так только, задумался...

— У вас семья есть, дети?

— Да. Только я не об этом.

Он помолчал, внимательно поглядел на Веру.

— Вы, товарищ, коммунистка?

— Да. А вы?

— Я, понимаете, тоже коммунист. А только... Фамилия ваша как будет?

— Сартанова.

— Сартанова? У нас в поселке дачном доктор один есть, тоже Сартанов фамилия.

Вера быстро спросила:

— Вы из Арматлука?

— Да.

— Где сейчас доктор Сартанов?

— Дома. Его, было, арестовали, а в последний день, видно, выпустили. Только теперь он дома.

Вера задыхалась.

— Верно?

— Ну, да. Сам его видел.

Он с удивлением глядел на Веру. Она прижалась головою к столбу нар и беззвучно рыдала, закрыв глаза руками. А когда опять взглянула на него, лицо было светлое и радостное.

— А вы родственница ему?

— Это отец мой.. Ну, да!—Она овладела собой.

— Хороший человек. И дочка его, Катерина Ивановна,—тоже хорошая. Очень она интересно, понимаете, о жизни всегда разговаривает. Выходит,—сестрица вам. А вы вот коммунистка. У меня на этот счет мысли всякие.

— Какие мысли?

Он помолчал.

— Вообще,—насчет жизни... Вот, говорим мы,—чтобы всем хорошо стало. А делаем так, что все еще хуже. Я вот был председателем ревкома. Сколько всяких делал зверств! А из города приезжают, —кричат: «что ты их жалеешь? Какой ты коммунист! Ты, видно, кулацкого елементу!» Мужиков всех разобидели, они нас ненавидят. А я ведь сам мужик. И с интеллигенцией тоже,—как бы ее поприжать, да поиздеваться над нею. Батюшку вашего в тюрьму потащили,—за что? Понимаете, сам его арестовывал, а потом неделю целую во сне видел.

— Слушайте, товарищ... Как ваша фамилия?

— Ханов.

— Слушайте, товарищ Ханов. Что вы говорите,—это все и мне так близко! Скажите мне,—вы раньше когда-нибудь читали евангелие?

— Читал. Я раньше и Толстова много читал, даже жить, было, по нем начал. Да как-то у него все это... Не получил я покою.

— Так вот, в евангелии есть: «кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее». Пришло такое время, что нельзя думать о чисто-

те своей души, об ее спокойствии. С этим—как бы все было легко! Вы только подумайте: ну, что—лишения, смерть? Какие пустяки! Правда, как все это было бы легко? Разве вас сейчас смерть мучает, которая вас ждет? Я вижу: вас мучает, что перед вами смерть, а позади—кровь и грязь, грязь, в которой вы все время купались.

Ханов изумленно глядел на Веру.

— Как вы это узнали?.. Да, да. Понимаете,—вот, как вы сказали,—в грязи купался!

— Вот. В том и ужас, что другого пути нет. Миром, добром, любовью ничего нельзя добиться. Нужно итти через грязь и кровь, хотя бы сердце разорвалось. И только помнить, во имя чего идешь. А вы помнили,—иначе бы все это вас не мучило. И нужно помнить, и не нужно делать бессмысленных жестокостей, как многие у нас. Потому что голова кружилась от власти и безнаказанности. А смерть,—ну, что же, что смерть!

Стали подходить другие осужденные.

Вера говорила, и все жадно слушали. Вера говорила: они гибнут за то, чтоб была новая, никогда еще в мире не бывавшая жизнь, где не будет рабов и голодных, повелителей и угнетателей. В борьбе за великую эту цель они гибнут, потому что не хотели думать об одних себе, не хотели терпеть и сидеть, сложа руки. Они умрут, но кровь их прольется за хорошее дело; они умрут, но дело это не умрет, а пойдет все дальше и дальше.

На замасленном столе тускло чадила одинокая коптилка. В спертую вонь камеры сквозь решетчатое окно чуть веяло свежим воздухом, пахнувшим горными цветами.

Красавец-брюнет с огненными глазами, в матросской куртке, спросил:

— А как скажете, товарищ,—скоро социализм придет?

Вера почувствовала, какой нужен ответ.

— Теперь скоро. В Германии революция, в Венгрии уже установилась советская власть, везде рабочие поднимаются.

— Через два месяца будет?

— Ну, не через два...—Вера поглядела на него и улыбнулась.—Через два-три года.

— Это ничего. Столько можно подождать.—Матрос радостно засмеялся.—То-то они так злобятся: чуют, что кончено их дело!

Рабочий в пиджаке, с умными, смеющимися глазами, отозвался:

— И ничего не кончено. Не выйдет у нас никакого социализму. Не такой народ.

Ханов нетерпеливо отмахнулся.

— Ну, ты, Капралов,—всегда вот так!

Матрос, сверкая глазами, ринулся на него.

— Как не выйдет?!

— Не выйдет. Не будет ничего. Не справится народ. Больно работать не любит. Только когда для себя. И опять прихлопнут вас буржуи, как перепелок сеткой.

Вера с удивлением смотрела на него.

— За что же вы сюда попали?

Ханов засмеялся.

— Он у дачников книжки отбирал для общественной библиотеки, а они на него и показали. Вот и попал в загон, как козел меж барашков.

Спорили. Шутили, смеялись. Засиделись до поздней ночи и улеглись спать, не думая о завтрашнем, и спали крепко.

* * *

Толпа людей рыла за свалками ров,—в него должны были лечь их трупы. Мужчины били в твердую почву кирками, женщины и старики выбрасывали лопатами землю. Лица были землистые, люди дрожали от утреннего холода и волнения. Вокруг кольцем стояли казаки с наведенными винтовками.

Солнце вставало над туманным морем. Офицер сидел на камне, чертил ножнами шашки по песку и с удивлением приглядывался к одной из работавших. Она все время смеялась, шутила, подбадривала товарищей. Не под'ем и не шутки дивили офицера.—это ему приходилось видеть. Дивило его, что ни следа волнения или надсада не видно было на лице девушки. Лицо сияло рвущеюся из души, торжествующею радостью, как-будто

она готовилась к великому празднику, к счастливейшей минуте своей жизни.

Девушка выпрямилась, блаженно взглянула на синевшее под солнцем море, на город под ногами, сверкавший в дымке золотыми крестами и белыми стенами вилл. И глубоко вдохнула ветер. Рядом привычными, мужицкими взмахами работал киркою высокий болгарин в светло-зеленых пасталах.

— Товарищ Ханов, правда, как хорошо?

На всю жизнь в памяти офицера осталось ее лицо. Он не мог бы сказать, красиво ли было это лицо, и все-таки такой красоты он никогда больше не видел.

Офицер ощерил зубы под подстриженными темными усиками и встал.

— Стройся! Спиной ко рву!

Ханов ревниво отстранил ставшего подле Веры Капралова, расправил широкую свою грудь и восторженно вздохнул. Никогда не знала его душа такой странно-легкой, блаженной радости, как сейчас, под направленными на грудь дулами. Он запел, и другие подхватили:

> Вставай, проклятьем заклейменный,
> Весь мир голодных и рабов...

Матрос, горя глазами, тряс кулаком в воздухе:

—Да здравствует советская власть! Да здравствует социализм! Недолго уж вам, проклятые!..

Офицер бешено крикнул:

— Пли!!

* * *

Дачка на шоссе. Муж и жена. И попрежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И попрежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. Он—с ввалившимися щеками, с глазами, как у быка, которого ударили обухом меж рогов. У нее, вместо золотистого ореола волос,—слежавшаяся собачья шерсть, бегающие глаза исподлобья, как у затырканной кухарки. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.

— Не стану я поливать абрикосов! Понимаешь ты это? И так погибаем от работы. Не до абрикосов.

— Ты-то погибаешь? Барином живешь, все на меня свалил. Ну, что ж делать, придется мне и абрикосы поливать.

— Ну, да послушай же, наконец, Лидочка! Сообрази хоть немножко...

— Ах, оставь! Все, все на меня рад свалить! Клещем каким-то, паразитом настоящим впился в меня и сосет все силы, все соки... Да еще зудит с утра до вечера. О, жизнь проклятая!

* * *

Четыре подводы перед кофейнею. Деревенские парни с красными от вина лицами. Заливались гармоники.

Катя спросила:

— Вы—мобилизованные?

Парень, с свесившимися через грядку сапогами, ответил с усмешкою:

— Ну, да, значит,—мобилизованные.

— Воевать едете?

— Нет, не воевать.

— А что же!

Парень помолчал.

— Мир вам привезти.

— Как же это?

— А вот так. Будет воевать, надоело. Через месяц придем к вам назад с красными флагами и вот этак мир вам принесем.— Он расставил ладони, как-будто держал в них большой, хрупкий шар.—И будет спокойствие.

— Я не пойму. К большевикам перейдете?

— Зачем? Нет. А просто, значит, принесем мир. Чего нам воевать со своими? Вот у меня двух братьев большевики взяли, с собою угнали, а меня сюда гонят. И у всех так. Кому эта война нужна? Просто, сговоримся и уйдем.

* * *

В один ясный вечер, когда уже отзвенели цикады, и лиловые тени всползали на выбегающие мысы, и, в предночной дремоте, с тихим плеском ложились волны на темный песок,—Иван Ильич лежал на террасе, а возле него сидела Катя, плакала и жалующимся, детским голосом говорила:

— Мне больше не хочется жить! Зачем? Опять в этой разоренной дырке сколачивать щепочку со щепочкой, кур разводить, кормить поросенка... Не хочу! Из-за чего биться, из-за чего выматывать силы?

Иван Ильич ясными глазами смотрел на тускневшее, жемчужное море. Он медленно сказал:

— Жить хорошо, когда впереди крепкая цель, а так... Жизнь изжита, впереди—ничего. Революция превратилась в грязь. Те ли одолеют, другие ли,—и победа не радостна, и поражение не горько. Ешь собака собаку, а последнюю чорт с'ест. И еще чернее реакция придет, чем прежде.

— Господи, как я устала! Наверно, так земля устанет в свой последний день!

Иван Ильич положил исхудалую руку на ее руку, загрубевшую и загорелую, тихо улыбнулся и вдруг сказал:

— Давай, умрем.

Катя вздрогнула, выпрямилась и впилась глазами в его глаза.

— Убить себя? — Она вскочила.— У меня мелькала эта мысль... Нет, ни за что! Сдаться, убежать! Забиться в угол и там умереть, как отравленная крыса!... Ни за что! Какая скупость к жизни, какая убогость!.. Нет, я хочу умереть, но чтоб бороться! Пусть меня пилами режут пополам, пусть сдирают кожу, но только, чтоб не было бегства!

Иван Ильич тихонько плакал и целовал ее руку.

— А за что бороться... Девочка моя, как я тебе завидую! Если бы я был молод!

Она в ответ целовала его седую, растрепанную голову, и слезы лились по щекам.

— Милый мой, любимый!.. Честность твоя, благородство твое, любовь твоя к народу,—ничего, ничего это никому не нужно!

И Катя увидела,—ясный свет был в глазах Ивана Ильича, и все лицо светилось, как у Веры в последний день.

Гуще становились сумерки. Зеленая вечерняя звезда ярко горела меж скал. Особенная, редкая тишина лежала над поселком, и четко слышен был лай сабачонки на дереве. Они долго сидели вместе, пожимали друг другу руки и молчали. Иван Ильич пошел спать. Катя тоже легла, но не могла заснуть. Душа металась, и тосковала, и беззвучно плакала.

Катя встала, на голое тело надела легкое платье из чадры и босиком вышла в сад. Тихо было и сухо, мягкий воздух ласково приникал к голым рукам и плечам. Как тихо! Как тихо!.. Месяц закрылся небольшим облачком, долина оделась сумраком, а горы кругом светились голубовато-серебристым светом. Вдали ярко забелела стена дачи,—одной, потом другой. Опять осветилась долина и засияла тем же сухим, серебристым светом, а тень уходила через горы вдаль. В черных кустах сирени трещали сверчки.

* * *

Катя похоронила Ивана Ильича, распродала мебель, лишние вещи, и однажды утром, ни с кем не простившись, уехала из поселка, неизвестно куда.

Конец

1920—1923.


ИЗДАТЕЛЬСТВО
НЕДРА

В. В. ВЕРЕСАЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том X

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„НЕДРА“
МОСКВА—1930

В. ВЕРЕСАЕВ

ЭЛЛИНСКИЕ ПОЭТЫ

ПЕРЕВОДЫ
С ДРЕВНЕ-ГРЕЧЕСКОГО

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„НЕДРА"
МОСКВА—1930

Москва. Главлит А 66.396 5.000 экз.

„Мосполиграф“, 16 типография, Трехпрудный, 9.

ГОМЕРОВЫ ГИМНЫ

Так называемые «гомеровы гимны» относятся к литературной эпохе более поздней, чем гомеровы поэмы «Илиада» и «Одиссея», но, несомненно,—за малыми исключениями,—вытекли из тех же истоков и текут в том же русле, как великие поэмы Гомера. В каждом из гимнов воспевается то или другое божество. Однако они не носят религиозного характера в узком смысле. Это—prooimia,—прелюдии, вступления, которые декламировал рапсод, приступая к исполнению эпического произведения (oimos). Большинство гимнов прямо и заканчивается словами:

Ныне, тебя помянув, я к песне другой приступаю.

В некоторых гимнах встречается определенное указание, что за вступлением следовали песни о деяниях героев-полубогов (XXXI, 18; XXXII, 19). Из гимна VI, 20 видим, что такие вступления пели рапсоды и перед состязаниями, призывая к себе на помощь божество.

«На религиозных празднествах,—говорит Бергк,—естественно было, что рапсоды обращались к божеству, праздник которого праздновался. Так например, первый гимн, который хиосский певец поет на острове Делосе, посвящен Апполону Делосскому; VI и X гимны (к Афродите) первоначально распевались, вероятно, на празднике Афродиты в Саламине (на Кипре). Но, с другой стороны, рапсоды могли и по собственному желанию воздавать хвалу тому или другому божеству; находясь в каком-нибудь городе, певец, уже конечно, не забывал воздать хвалу именно тому богу или богине, которых чтил этот город. Но нередко выбор мог определяться и самим содержанием последующей песни. Вообще тут был предоставлен полный простор индивидуальности рапсода».

Собрание состоит из 34 гимнов. Размеры их весьма неодинаковы. Первые пять гимнов представляют большие, самостоятельные поэмы.

Их величина,—несмотря на ясные указания в заключительном стихе,—даже вызывает у иных исследователей сомнение, могли ли они быть вступлениями к другим песням. Остальные гимны—произведения небольшого размера. Иногда они представляют простые воззвания к тому или иному божеству, иногда—изложение какого-либо события из жизни божества, по большей части—повествование об его рождении (любимейшая тема).

Автор гимнов,—конечно, не Гомер, если он даже когда и существовал, и вообще—не одно лицо. Более того: только гимны XXXI и XXXII написаны, несомненно, одним автором. У остальных гимнов авторы, повидимому, все разные. Весьма различно также и время создания гимнов. Наиболее ранние относятся к VIII—VII в. до Р. Х., наиболее поздние—к эпохе александрийской и даже еще к более позднему времени.

Поэтическая ценность различных гимнов неодинакова. Но многие из них обладают большими художественными достоинствами. Большинство же крупных гимнов—истинные драгоценные камни, каждый из которых блещет своим светом, ярким и своеобразным. Недаром их перевел на английский язык Шелли. Тем удивительнее, что до настоящего времени у нас с ними не только незнакомы, но даже не знают об их существовании.

Текст гимнов дошел до нас с большими или меньшими пробелами; отдельные стихи и слова непоправимо искажены переписчиками и нередко представляют полную бессмыслицу. Пробелы обозначены у нас рядом звездочек, недостающие отдельные стихи—многоточием. Стихи искаженные, смысл которых сомнителен, отмечены звездочкою, помещенною впереди стиха. Стихи, очевидно, представляющие позднейшие вставки, либо заключены в прямые скобки, либо отнесены в примечания, либо, наконец, совсем нами выброшены. Этим объясняется, что нумерация стихов кое-где представляет перерывы

I

К АПОЛЛОНУ ДЕЛОССКОМУ

Вспомню,—забыть не смогу,—о метателе стрел Аполлоне.
По дому Зевса пройдет он,—все боги, и те затрепещут.
С кресел своих повскакавши, стоят они в страхе, когда он
Ближе подступит и лук свой блестящий натягивать станет.
5. Только Лето остается близ молнелюбивого Зевса;
Лук распускает богиня и крышкой колчан закрывает,
С Фебовых плеч многомощных оружье снимает руками
И на колок золотой на столбе близ седалища Зевса
Вешает лук и колчан; Аполлона же в кресло сажает.
10. В чаше ему золотой, дорогого приветствуя сына,
Нектар отец подает. И тогда божества остальные
Тоже садятся по креслам. И сердцем Лето веселится,
Радуясь, что родила луконосного, мощного сына.

19. Что же мне спеть о тебе? Песнопений во всем ты достоин.
25. Спеть ли, как смертных утеха Лето тебя на-свет родила,
К Кинфской горе прислонясь, на утесистом острове бедном
Делосе, всюду водою омытом? Свистящие ветры
На берег гнали с обеих сторон почерневшие волны.
Выйдя оттуда, над всеми ты смертными властвуешь ныне.
30. Родами мучаясь, Крит посетила Лето и Афины,
Остров Эгину, Евбею,—страну моряков знаменитых,—
Морем омытый кругом Пепареф и Пейреские Эги,
Также Фракийский Афон, Пелиона высокие главы,
Самофракию и тенью покрытые Идские горы,
35. Скирос, Фокею, крутые высоты горы Автоканы,
Благоустроенный Имброс и Лемнос трудно-подступный,
Эолиона Макара обитель, божественный Лесбос,
Хиос, тучнейший из всех островов, расположенных в море,
И каменистый Мимант, и высокие главы Корика,
40. Кларос блестящий, крутые высоты горы Эсагеи,
Самос, богатый водою, высокие главы Микале,
Коос, город людей меропийских, Милет и высоко
Вверх возносящийся Книд, и Карпаф, от ветров не закрытый,
Рению, остров с землей каменистой, и Наксос, и Парос,—

45. Все их Лето обошла, собираясь родить Дальновержца,
Всех опросила, не хочет ли кто стать родиной сыну.
Но трепетали все земли от страха, никто не решился
Фебу пристанище дать, хоть и были они плодородны.
В Делос пришла, наконец, каменистый Лето пречестная

50. И, обратившись к нему, окрыленное молвила слово:
«Делос! Не хочешь ли ты, чтоб имел тут пристанище сын мой,
Феб-Аполлон, чтобы храм на тебе был основан богатый?
Вряд ли тобою другой кто прельстится иль почесть окажет:
Думаю я, что ни овцами ты не богат, ни быками,

55. Зелень скудна на тебе, и плодов никаких не родится.
Если же будешь ты храм Аполлона иметь Дальновержца,
Станут все люди на остров сюда пригонять гекатомбы,
Жертвенный дым без конца над тобою начнет подниматься...

* * * * *

Если б ты долго кормил их, владыка, имели бы боги...

* * * * *

60. От посторонней руки: под почвой твоею нет жира».

Так говорила. И радостно Делос богине ответил:

«Верь мне, Лето, многославная дочерь великого Коя:
С радостью принял бы я Дальновержца-владыки рожденье.
Ибо ужасно я сам по себе для людей неприятен.

65. После же этого все бы почет мне оказывать стали.
Сильно однако,—не скрою, богиня,—страшат меня слухи:
Больно уж будет рожденный тобой Аполлон, как я слышал,
Неукротим и суров, и великая власть над богами
И над людьми ожидает его на земле хлебодарной.

70. Вот я чего опасаюсь ужасно умом и душою:
Ну, как, сияние солнца впервые увидев, презреньем
К острову он загорится,—скалиста, бедна моя почва,—
И в многошумное море меня опрокинет ногами.
Будут бежать чередой непрерывной высокие волны

75. Там над моей головою. А он себе больше по вкусу
Землю найдет, чтобы храм заложить и тенистые рощи.
Черные вместо людей лишь тюлени одни да полипы
Гнезда и домики будут на мне возводить беззаботно.
Если б, однако, посмела ты клятвой поклясться великой,

80. Что благолепнейший храм свой на мне он воздвигнет на первом
Для провещания божьих велений, и после того лишь...

* * * * *

Всюду, меж всеми людьми. Ибо много имен он имеет».

И поклялася Лето великою клятвой бессмертных:

«Этой Землею клянуся и Небом широким над нами,

85. Стикса подземно-текущей водой,—меж богов всеблаженных
Клятвою, самой ужасной из всех и великою самой:

Истинно, Фебов душистый алтарь и участок священный
Вечно останутся здесь, и почтит он тебя перед всеми».

После того, как она поклялась и окончила клятву,
90. С радостью роды царя-Дальновержца приветствовал Делос.
Девять уж мучилась дней и ночей в безнадежно-тяжелых
Схватках родильных Лето. Собралися вокруг роженицы
Все наилучшие между богинь,—Ихнея-Фемида,
Рея, шумящая плесками волн Амфитрита, Диона,
95. Также другие. Лишь не было там белолокотной Геры.
97. Да ни о чем не слыхала Илифия, помощь родильниц:
Под облаками златыми сидела она на Олимпе;
Хитростью там удержала ее белорукая Гера,
100. Злобой ревнивой горя, потому что могучего сына
На свет родить предстояло в то время Лето пышнокудрой.

С острова спешно богини послали Ириду с приказом,
Чтобы Илифию к ним привела, обещав ожерелье
Длинное, в девять локтей, золотое, из зерен янтарных.
105. Но приказали богиню позвать потихоньку от Геры,
Чтобы словами ее, как пойдет, не вернула обратно.
Только сказали они ветроногой и быстрой Ириде,—
Та побежала и вмиг через все пронеслася пространство.
Быстро примчавшись в обитель богов на высоком Олимпе,
110. Вызвала тотчас Ирида Илифию вон из чертога
И с окрыленными к ней обратилась словами, сказавши
Все, что сказать олимпийские ей приказали богини.
И убедила Илифии душу в груди ее милой.
Обе помчались, походкой подобные робким голубкам.

115. Только ступила на Делос Илифия, помощь родильниц,—
Схватки тотчас начались, и родить собралася богиня.
Пальму руками она охватила, колени уперла
В мягкий ковер луговой. И под нею земля улыбнулась.
Мальчик же выскочил на свет. И громко богини вскричали.

120. Тотчас тебя, Стреловержец, богини прекрасной водою
Чисто и свято омыли и, белою тканью повивши,—
Новою, сделанной тонко,—ремнем золотым закрепили.
Груди своей не давала Лето златолирному Фебу:
Нектар Фемида впустила в нетленные губы младенца
125. Вместе с амбросией чудной. И сердцем Лето веселилась,
Радуясь, что родила луконосного, мощного сына.

После того, как вкусил ты, владыка, от пищи бессмертной,
Бурных движений твоих не сдержали ремни золотые,
Слабы свивальники стали, и все распустились завязки.
130. Тотчас же Феб-Аполлон обратился к бессмертным богиням:

«Пусть подадут мне изогнутый лук и любезную лиру.
Людям начну прорицать я решенья неложные Зевса!»

Молвивши так, зашагал по земле неисчетнодорожной
Феб длинновласый, далеко-стреляющий. Все же богини

135. Остолбенели. И весь засиял, словно золотом, Делос:
139. Так покрываются гор возвышенья лесными цветами.

140. Ты же, о, с луком серебряным царь, Аполлон дальнострельный,
То поднимался на Кинф, каменисто-суровую гору,
То принимался блуждать, острова и людей посещая.
Много, владыка, имеешь ты храмов и рощ многодревных;
Любы все вышки тебе, уходящие в небо вершины
145. Гор высочайших и реки, теченье стремящие в море.
К Делосу больше всего ты, однако, душой расположен.
Длиннохитонные сходятся там ионийцы на праздник,
С ними и жены достойные их, и любезные дети.
Помнят они о тебе и, когда состязанья назначат,
150. Боем кулачным, и пляской, и пеньем тебя услаждают.
Кто б ионийцев ни встретил, когда они вместе сберутся,
Всякий сказал бы, что смерть или старость над ними бессильны.
Видел бы он обходительность всех и душой веселился б,
Глядя на этих детей и на жен в поясах несравненных,
155. На корабли быстроходные их и на все их богатства.
К этому ж—диво большое, которого славе не сгинуть:
Острова Делоса девы, прислужницы Феба-владыки.
Песнью хвалебной они Аполлона сначала прославят;
После, Лето помянув пышнокудрую и Артемиду
160. Стрелолюбивую, песни поют о мужах и о женах,
В древности живших, и племя людей в восхищенье приводят.
Дивно умеют они подражать голосам и напевам
Всяких людей; и сказал бы, услышав их, каждый, что это—
Голос его, до того хорошо их налажены песни.

165. Милость свою ниспошлите на нас, Аполлон с Артемидой!
Вам же, о, девы, привет! Обо мне не забудьте и позже.
Если какой-либо вас посетит человек земнородный,
Странник, в скитаньях своих повидавший немало, и спросит:
«Девы, скажите мне, кто здесь у вас из певцов наилучший?
170. Кто доставляет из них наибольшее вам наслажденье?»—
Страннику словом хорошим немедленно все вы ответьте:
«Муж слепой. Обитает на Хиосе он каменистом.
Лучшими песни его и в потомстве останутся дальнем».
Мы же великую славу об вас разнесем повсеместно,
175. Сколько ни встретим людей в городах хорошо населенных.
Все нам поверят они, потому что мы правду расскажем.

Я же хвалить не устану метателя стрел Аполлона,
Сына Лето пышнокудрой, владыку с серебряным луком.

II

К АПОЛЛОНУ ПИФИЙСКОМУ

Ликией ты, повелитель, владеешь, Меонией милой,
Около моря лежащим Милетом, желаемым всеми;
Сам же с великою честью на Делосе царствуешь славном.

*   *   *   *   *

Стопы свои направляет к утесам скалистым Пифона
5. Сын многославной Лето, на блистающей лире играя.
Благоухают на боге одежды бессмертные. Струны
Страстно под плектром звучат золотым на божественной лире.
Мысли быстрее с земли на Олимп перенесшись оттуда,
Входит в палаты он Зевса, в собрание прочих бессмертных.
10. Тотчас желанье у всех появляется песен и лиры.
Сменными хорами песнь начинают прекрасные Музы,
Божьи дары воспевают бессмертные голосом чудным
И терпеливую стойкость, с какою под властью бессмертных
Люди живут,—неумелые, с разумом скудным, не в силах
15. Средства от смерти найти и защиты от старости грустной.
Пышноволосые девы Хариты, веселые Оры,
Зевсова дочь Афродита, Гармония, юная Геба,—
За руки взявшись, водить хоровод начинают веселый.
Не безобразная с ними танцует, не малая с виду,—
20. Ростом великая, видом дивящая всех Артемида,
Стрелолюбивая дева, родная сестра Аполлона.
С ними же здесь веселятся и Арес могучий, и зоркий
Аргоубийца. А Феб-Аполлон на кифаре играет,
Дивно, высоко шагая. Вокруг него блещет сиянье,
25. Быстрые ноги мелькают, и пышные вьются одежды.
И веселятся, душою великою радуясь много,
Фебова матерь, Лето златокудрая с Зевсом всемудрым,
Глядя на милого сына, как тешится он меж бессмертных.

Что же мне спеть о тебе? Песнопений во всем ты достоин.
30. Спеть ли о том, как ты был женихом, как любовью горел ты,
Как приходил, домогаясь Азановой дочери милой,
С Исхием, равным богам, многоконным Елатионидом?

Иль как Форбанта из рода Триопова, иль Амаринфа...
Или, как вместе с Левкиппом и вместе с женою Левкиппа...

*　　*　　*　　*　　*

35. Пеший, а он на конях. . . . .

*　　*　　*　　*　　*

Или о том, как, замысливши первый для смертных оракул,
Места ища для него, по земле ты бродил, Дальновержец?

Прежде всего в Пиерию ты путь свой направил с Олимпа;
Лакмос, Имафию после того миновал, Эниены,
40. Через Перребы прошел ты. И скоро достиг Иаолка.
В славной судами Евбее на мыс поднимался Кенейский.
Стал пред Лелантской равниной,—но сердце твое не прельстилось
Храм твой на ней заложить и тенистые рощи густые.
После того перешел ты Еврип, Аполлон-дальновержец,
45. И поднялся на зеленую гору святую, с нее же
Быстро сошел в Микалесс и в луга травяные Тевмесса.
В Фивы оттуда пришел ты, дремучим одетые лесом:
Не жили в те времена еще люди в божественных Фивах,
И ни дорог, ни тропинок еще никаких не бежало
50. По хлебородной равнине фиванской: лишь лес простирался.

Дальше оттуда отправился ты, Аполлон дальнострельный,
И до Онхеста дошел, посейдоновой рощи блестящей.
Новообъезженный конь, в колеснице идущий прекрасной,
Там переводит дыханье от бремени: добрый возница,
55. Спрыгнувши на-земь с повозки, пешком по дороге шагает;
Кони ж, не зная возжей, опустевшей гремят колесницей.
Если с повозкою въедут они в многодревную рощу,—
Ждет уход лошадей, а ее, прислонив, оставляют.
Ибо таков изначально священный обычай: владыке
60. Молятся люди, а божью повозку судьба охраняет.

Дальше оттуда отправился ты, Аполлон дальнострельный.
Вскоре достиг ты прекрасно-струящейся речки Кефиса,
Льющейся светло-текучей своею водой из Лилеи.
Через Кефис перейдя, миновав Окалейские башни,
65. Ты пересек, Дальновержец, густые луга Галиарта
И до Тельфусы дошел. И прельстился ты местом спокойным.
Здесь захотел ты свой храм заложить и тенистые рощи,
Встал пред Тельфусою близко и слово такое ей молвил:

«Здесь основать я, Тельфуса, прекраснейший храм собираюсь.
70. Чтоб прорицалищем был для людей он, которые вечно
Станут сюда пригонять безукорные мне гекатомбы,—
В пелопоннесском ли кто обитает краю плодоносном,
На островах ли, водой отовсюду омытых, в Европе-ль.
Будут они вопрошать мой оракул. И всем непреложно
75. В храме моем благолепном начну подавать я советы».

Молвивши так, заложил основанье сплошное для храма
Феб-Аполлон широко и пространно. Увидевши это,
Сильно разгневалась сердцем Тельфуса и слово сказала:

«Феб-дальновержец, владыка, скажу тебе некое слово.
80. Храм заложить благолепный на этом замыслил ты месте,
Чтоб прорицалищем был для людей он, которые вечно
Станут тебе приносить безукорные здесь гекатомбы.
Вот что, однако, скажу я тебе,—и подумай об этом:
Топотом будут тебя раздражать быстроногие кони
85. И у божественных наших истоков поимые мулы.
Станет иной тут охотней глядеть на коней пышногривых,
С топотом мчащих в пыли колесницу с отделкой прекрасной,
Чем на великий твой храм и сокровища многие в храме.
Если б, однако, меня ты послушал,—могучей и лучше
90. Ты, о, владыка, чем я, и весьма велика твоя сила,—
Храм ты построил бы в Крисе, в долине под снежным Парнасом.
На колеснице прекрасной никто уже там не промчится,
Топот коней быстроногих вокруг алтаря не раздастся.
Станут в безмолвии там племена знаменитые смертных
95. Иэпеану дары приводить, и прекрасные будут
Жертвы окрестных людей доставлять тебе радость большую».

Так говоря, убедила она Дальновержца, чтоб слава
Не Дальновержцу была на земле, а самой ей, Тельфусе.

Дальше оттуда отправился ты, Аполлон дальнострельный.
100. В город Флегийцев, мужей нечестивых и гордых, пришел ты:
Знать не желая о Зевсе, они на земле обитают
Недалеко от болот кефисийских в прекрасной долине.
Быстро оттуда бегом на скалистый хребет поднялся ты.
В Крису пришел, наконец, под Парнасом лежащую снежным;
105. Обращена она склоном на запад, над ней нависает
Сверху скала, а внизу глубоко пробегает долина
Дикая. Там-то в душе порешил Аполлон-повелитель
Храм свой построить уютный и слово такое промолвил:

«Вот где прекраснейший храм для себя я воздвигнуть решаю,
110. Чтоб прорицалищем был для людей он, которые вечно
Станут сюда пригонять безупречные мне гекатомбы,—
В пелопоннесском-ли кто обитает краю плодоносном,
На осровах-ли, водой отовсюду омытых, в Европе-ль.
Будут они вопрошать мой оракул. И всем непреложно
115. В храме моем благолепном начну подавать я советы».

Молвивши так, заложил основанье сплошное для храма
Феб-Аполлон широко и пространно. На том основаньи
Входный порог из каменьев Трофоний возвел с Агамедом,
Славные дети Эргина, любезные сердцу бессмертных.
120. Вкруг же порога построили храм из отесанных камней
Неисчислимые роды людей, на бессмертную славу.
Близко оттуда—прекрасно-струистый родник, где владыкой,

Зевсовым сыном, дракон умерщвлен из могучего лука,—
Дикое чудище, жирный, огромный, который немало
125. Людям беды причинил на земле,—причинил и самим им,
И легконогим овечьим стадам,—бедоносец кровавый.

[Был на вскормление отдан ему златотронною Герой
Страшный, свирепый Тифаон, рожденный на пагубу людям.
Некогда Гера его родила, прогневившись на Зевса,
130. После того, как Афину преславную из головы он
На свет один породил. Разъярилась владычица-Гера
И средь собранья бессмертных такое промолвила слово:

«Слушайте, слушайте все вы, о, боги, и вы, о, богини,
Как опозорил меня мой супруг, облаков собиратель,—
135. Прежде, когда еще только я стала женой ему доброй,
Ныне-же снова, помимо меня разрешившись Афиной,
Всех остальных превзошедшей блаженных богов олимпийских.
Мной-же самою рожденный Гефест, между тем, оказался
На ноги хилым весьма и хромым между всеми богами...

* * * * *

140. В руки поспешно схватив, и в широкое бросила море.
Но среброногая дочерь Нерея Фетида младенца
Там приняла и его меж сестер меж своих воспитала.
Лучше б другим чем она угодить постаралась бессмертным...
Жалкий, коварный изменник! Теперь еще что ты замыслишь?
145. Как-же один породить светлоокую смел ты Афину?
Разве бы я не сумела родить? Ведь твоею женою
Я средь бессмертных зовусь, обладающих небом широким.
Ныне, однако, и я постараюся, как бы дитя мне,—
Не опозоривши наших с тобою священных постелей,—
150. На свет родить, чтоб блистало оно между всеми богами.
Больше к тебе на постель не приду. От тебя в отдаленьи
Буду я с этой поры меж бессмертных богов находиться».

Молвивши так, от богов удалилась с разгневанным сердцем.
И возложила на землю ладонь волоокая Гера
155. И, сотворяя молитву, такое промолвила слово:

«Слушайте ныне меня вы, Земля и широкое Небо!
Слушайте, боги-Титаны, вкруг Тартара в глуби подземной
Жизнь проводящие,—вы, от которых и люди, и боги!
Сделайте то, что прошу я: помимо супруга-Кронида
160. Дайте мне сына, чтоб силою был не слабее он Зевса.
Но превзошел бы его, как Кроноса Зевс превосходит».

Так восклицала. И в землю ударила пышной рукою.
Заколебалась земля живоносная. Это увидев,
Возвеселилася Гера: решила,—услышана просьба.
165. И ни единого разу с тех пор в продолжение года
Не восходила она на постель многомудрого Зевса
И не садилась, как прежде, на пышный свой трон, на котором
Часто советы супругу разумные в спорах давала.
В многомолитвенных храмах священных своих пребывая,

170. Тешилась жертвами, ей приносимыми, Гера-царица.
После-ж того, как и дней, и ночей завершилось теченье,
Год свой закончил положенный круг, и пора наступила,—
Сын у нее родился,—ни богам не подобный, ни смертным,
Страшный, свирепый Тифаон, для смертных погибель и ужас.

175. Тотчас дракону его отдала волоокая Гера,
Зло приложивши ко злу. И дракон принесенного принял.
Славным людским племенам причинил он несчастий немало].

День роковой наступал для того, кто с драконом встречался.
Но поразил, наконец-то, стрелою его многомощный
180. Царь Аполлон-дальновержец. Терзаемый болью жестокой,
Тяжко хрипя и вздыхая, по черной земле он катался.
Шум поднялся несказанный, безмерный. А он, извиваясь,
По лесу ползал туда и сюда. Наконец, кровожадный
Дух испустил он. И, ставши над ним, Аполлон похвалялся:

185. «Здесь ты теперь изгнивай, на земле, воскормляющей смертных!
Больше, живя, ты не будешь свирепою пагубой людям!
Мирно вкушая плоды многодарной земли, постоянно
Станут они приносить мне отборные здесь гекатомбы.
Ныне от гибели злой не спасти тебя ни Тифоэю,
190. Ни злоимянной Химере. На этом-же месте сгниешь ты
Силою черной Земли и лучистого Гипериона».

Так он хвалился. Глаза же драконовы мглою покрылись.
Гелиос в г н и л ь превратил его силой своею святою.
Вот почему он П и ф о н о м зовется теперь, а владыку
195. Мы называем п и ф и й с к и м: на месте на этом сгноила
Острого Гелия сила останки свирепого гада *).

Здесь только понял в уме своем Феб-Аполлон дальнострельный,
Из-за чего он обманут прекрасно-струистой криницей.
Гневом пылая, пошел он к Тельфусе, достиг ее быстро,
200. Стал очень близко пред нею и слово такое ей молвил:

«Ты обманула, Тельфуса, меня. Не хотела ты, видно,
Местом прелестным владея, струить светлобежную воду.
Славу свою ты зато здесь отныне разделишь со мною».

Так сказавши, скалой завалил каменистое устье
205. Царь-Аполлон дальновержец и скрыл под обвалом теченье.
Здесь же себе он построил и жертвенник в роще тенистой
Около самой криницы прекраснотекущей. Владыке
Все там возносят мольбы, именуя его Т е л ь ф у с и й с к и м,
Так как Т е л ь ф у с ы священной течения там посрамил он.

210. Начал в уме своем тут размышлять Аполлон-дальновержец,
Как бы ему и кого из людей привести в это место,

---

*) Python—Пифон; pytho (пифо)—сгниваю.

Чтобы жрецами его они стали в Пифоне скалистом
Жертвы ему приносили б и всем возвещали законы
Золотолукого Феба-властителя, что б ни сказал он,
215. Из-под Парнасской скалы прорицанья давая из лавра.

Так размышляя, узрел он в дали винночерного моря
Быстрое судно. Везло оно много мужей благородных,
Критян из града Миносова Кноса,—они для владыки...

* * * * *

Ради богатств и товаров они на судне своем черном
220. Плыли в песчанистый Пилос, к родившимся в Пилосе людям.
Вдруг повстречался им Феб-Аполлон. На корабль быстроходный
Выскочил он из воды, уподобившись видом дельфину.
Там и остался лежать он чудовищем страшным, огромным.
Из моряков же никто догадаться не мог и не видел...

* * * * *

225. И отовсюду толкал он и тряс корабельные балки.
Молча, объятые страхом, сидели внутри мореходцы;
Не распустили снастей на бокастом судне они черном
И парусов корабля черноносого ставить не стали:
Как они что-либо где укрепили ремнями сначала,
230. Так и поплыли. Порывами Нот быстроходный корабль их
Сзади, с кормы, подгонял. Миновали сначала Малею,
Землю Лаконскую мимо проплыли и Гелос приморский,
Прибыли в Тэнар,—страну, где царит утешающий смертных
Гелиос,—в мягких лугах превосходного этого края
235. Много пасется обычно овец густорунных владыки.
Здесь пожелали они свой корабль задержать и, сошедши,
Дивное диво вблизи осмотреть и глазами увидеть,
Будет ли чудище дальше на днище лежать корабельном,
Иль в многорыбную бездну морскую опустится снова.
240. Не подчинился, однако, рулю превосходный корабль их,—
Дальше пошел самовольно вдоль тучного Пелопоннеса:
Легким своим дуновеньем его направлял потихоньку
Царь-Аполлон дальнострельный. Дорогу свою совершая,
Судно в Арену пришло, в Аргифею, приятную видом,
245. В Фриос на броде Алфейском и славные зданьями Эпи,
Дальше—в песчанистый Пилос, к родившимся в Пилосе людям.
Круны потом их корабль миновал, и Халкиду, и Диму,
Мимо Элиды священной прошел он,—державы Епейцев.
Зевсову радуясь ветру попутному, Феры покинул.
250. И показались вдали из-за облак утесы Итаки,
Следом—Дулихий, и Саме, и Закинф, покрытый лесами.
Пелопоннес целиком обогнул их корабль быстроходный,
И беспредельный Крисейский залив пред глазами открылся
Пелопоннес плодоносный собой отделивший от суши.
255. Вдруг, при безоблачном небе, бурливо рванул из эфира
С запада ветер великий, по Зевсовой воле, чтоб морем
Горько-соленым как можно скорее промчался корабль их.
Быстро обратной дорогой они на зарю и на солнце
Поплыли. Вел же Кронионов сын, Аполлон-повелитель.

260. К Крисе пришли они, издали видной, богатой лозами,
В гавань. И врезался в берег песчаный корабль мореходный.

Из корабля поднялся тут наверх Аполлон-дальновержец,
Видом средь белого полдня звезде уподобившись; искры
Сыпались густо с нее; достигало до неба сиянье.
265. В храм он спустился, пронесшись дорогой треножников ценных,
Ярко сверкнувши лучами, зажег он в святилище пламя,
И осветилась вся Криса сияньем. И громко вскричали
Жены Крисейцев и дочери их в поясах многоценных
От Аполлонова взблеска. И ужас объял их великий.
270. Снова оттуда назад к кораблю он, как мысль, устремился,
Образ принявши весьма молодого и сильного мужа;
Длинные кудри его на широкие падали плечи.
Громко он Критян окликнул и слово крылатое молвил:

«Странники, кто вы? Откуда плывете дорогою влажной?
275. Едете ль вы по делам, иль блуждаете в море бесцельно,
Как поступают обычно разбойники, рыская всюду,
Жизнью играя своею и беды неся чужеземцам?
Что так печально сидите вы здесь, отчего не сойдете
На берег вы, отчего не свернете снастей корабельных?
280. Нет меж трудящихся тяжко людей, кто бы делал иначе,
После того, как на черном своем корабле быстроходном
К суше пристанет, трудом изнуренный; душой его тотчас
Овладевает желанье великое сладостной пищи».

Так он сказал и сердца их отвагою бодрой наполнил.
285. Критян начальник немедля в ответ ему слово промолвил:

«О, чужестранец! Осанкой и всем своим видом походишь
Ты не на смертно-рожденных людей,—на бессмертного бога.

* * * * *

Здравствуй! Привет тебе наш! Да пошлют тебе счастие боги!
Дай мне, прошу я, правдивый ответ, чтоб доподлинно знать мне:
290. Что за земля? Что за край? Что за смертные здесь обитают?
В место другое держали мы путь по великому морю,—
В Пилос из Крита: оттуда мы родом, и этим гордимся.
Ныне ж сюда мы пришли с кораблем не по собственной воле,
Плыли б домой мы другою дорогой, другими путями:
295. Против желания кто-то сюда нас привел из бессмертных».

Им, на их речь отвечая, сказал Аполлон-дальновержец:

«Странники! В Кносе, богатом деревьями, вы обитали
Раньше. Но ныне домой вы к себе не воротитесь больше,
В город возлюбленный ваш и в прекрасные ваши жилища,
300. К милым супругам. Но здесь вы получите храм мой богатый,
Здесь вы останетесь жить, почитанием пользуясь общим.
Сын я великого Зевса. Горжуся я быть Аполлоном.
Вас же сюда я привел чрез великую бездну морскую,
Не замышляя вам зла. Богатейший мой храм во владенье

305. Здесь вы получите, всеми людьми почитаемый много.
Волю бессмертных вы будете знать и, богов изволеньем,
Станете жить в величайшем почете во вечные-веки.
Ну, а теперь поскорее исполните все, что скажу я:
Прежде всего развяжите ремни и спустите ветрила;
310. Сделавши это, ваш черный корабль извлеките на сушу,
Из равнобокого выньте судна все богатства и снасти,
Соорудите мне жертвенник здесь высоко над прибоем,
И разожгите огонь, и ячмень принесите мне в жертву,
И обступите алтарь, и молитву ко мне сотворите.
315. Так как впервые из моря туманного в виде дельфина
Близ корабля быстроходного я поднялся перед вами,
То и молитесь мне впредь, как Дельфинию, и да зовется
Жертвенник этот дельфийским. И будет он славен вовеки.
Кончивши, сядьте обедать близ черного вашего судна
320. И возлиянья свершите блаженным богам олимпийским.
После ж того, как свой голод вы сладкой едой утолите,
Вместе идите со мною, пэан затянувши, доколе
Вы не придете в страну, где получите храм богатейший».

Так он промолвил. Они же приказу его подчинились.
325. Прежде всего развязали ремни и ветрила спустили,
Мачту к гнезду притянули, спустивши ее на канатах,
Сами же вышли на берег крутой многошумного моря.
После того из воды высоко на песок оттащили
Свой быстроходный корабль, укрепив на огромных подпорках.
330. Жертвенник богу воздвигли над берегом шумноприбойным,
Белых насыпали зерен ячменных в огонь разожженный,
Сами же стали вокруг и молились ему, как велел он.
Кончивши, сели обедать вблизи быстроходного судна
И возлиянье свершили блаженным богам олимпийским.
335. После того, как желанье питья и еды утолили,
Двинулись в путь. Во главе их пошел Аполлон-дальновержец,
С лирой блестящей в руках, превосходно и сладко играя,
Дивно, высоко шагая. И, топая дружно ногами,
Критяне следом спешили в Пифон и пэан распевали,
340. Как распевается песня у Критян, которым вложила
В груди бессмертная Муза искусство сладчайшего пенья.
Неутомимо на холм поднимались они и достигли
Вскоре Парнаса и края уютного, где предстояло
Жить им остаться теперь, почитанием пользуясь общим.
345. Храм свой богатый он им показал и святилище в храме.
Но нерешимостью в милой груди волновалась душа их,
И, вопрошая владыку, сказал ему Критян начальник:

«О, повелитель! Сюда, далеко от друзей и отчизны,
Нас ты завел, ибо так твоему пожелалося сердцу.
350. Как-же, однако, мы будем тут жить? Укажи нам, владыка!
Ни виноградников нет, ни лугов в этом крае прелестном,
Чтобы прожить хорошо и не хуже людей оказаться».

И, улыбнувшись, ответствовал им Аполлон дальнострельный:

«Вечно вы ищете духом, нестойкие, глупые люди,
355. Тягостных мук для себя, и забот, и душевных стеснений!
Легкое слово скажу я и в души его заложу вам:
В правую руку возьмете вы жертвенный нож и закланью
Будете скот предавать, что сюда чередой непрерывной
Станут ко мне пригонять племена знаменитые смертных.
360. Храм сторожите священный и роды людей принимайте.
Сколько б сюда ни пришло их, и, волю мою соблюдая...

* * * * *

Если же слово пустое за вами замечу иль дело,
Если проявите гордость, что часто меж смертных бывает,—
Люди другие тогда властелинами станут над вами,
365. И в подчиненьи у них навсегда вам придется остаться.
Сказано все. А тебе сохранить это следует в сердце!»

Славься, о, сын Громовержца-царя и Лето пышнокудрой!
Ныне ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю.

III

К ГЕРМЕСУ

Муза! Гермеса восславим, рожденного Майей от Зевса!
Благостный вестник богов, над Аркадией многоовечной
И над Килленою царствует он. Родила его Майя,
Нимфа, достойная чести великой, в любви сочетавшись
5. С Зевсом-Кронионом. Сонма блаженных богов избегая,
В густо-тенистой пещере жила пышнокудрая нимфа.
Там-то на ложе всходил к ней Кронион глубокою ночью,
В пору, как сон многосладкий владел белолокотной Герой.
Втайне равно от богов и людей заключен был союз их.
10. Время пришло,—и свершилось решенье великого Зевса:
13. Сын родился у богини,—ловкач изворотливый, дока,
Хитрый пролаз, быкокрад, сновидений вожатай, разбойник,
15. В двери подглядчик, ночной соглядатай, которому вскоре
Много преславных деяний явить меж богов предстояло.
[Утром, чуть свет, родился он, к полудню играл на кифаре,
К вечеру выкрал коров у метателя стрел Аполлона;
Было четвертого это числа, как явился он на свет].
20. После того, как из недр материнских он вышел бессмертных,
В люльке священной своей лишь недолго Гермес оставался:
Вылез и в путь припустился на розыск коров Аполлона,
Через порог перешедши пещеры со сводом высоким.
Там, черепаху найдя, получил он большое богатство.
26. Встретил ее многославный Гермес у наружного входа.
Сочную траву щипала она перед самым жилищем,
Мягко ступая ногами. Увидев ее, рассмеялся
Сын благодетельный Зевса и слово немедля промолвил:

30. «Знаменье очень полезное мне,—и его не отвергну!
Здравствуй, приятная видом, размерная спутница хора,
Пира подруга! Откуда несешь ты так много утехи,
Пестрый ты мой черепок, черепаха, живущая в скалах?
Дай-ка, возьму я тебя и домой отнесу: ты нужна мне.
35. Мимо тебя не пройду; мне на выгоду первою будешь.
Дома полезнее быть, оставаться снаружи опасно.

Правда, пока ты жива, то защитой от чар вредоносных
Служишь; зато, как умрешь, превосходною станешь певицей».

Так он сказал. И, руками обеими взяв черепаху,
40. Снова домой воротился, неся дорогую утеху.
Стиснувши крепко руками, резцом из седого железа
Горную стал потрошить черепаху Гермес многославный.
Как через грудь человека, которого злые заботы
Мучают, быстрые мысли несутся одна за другою,
45. Как за миганием глаза другое миганье приходит,
Так у Гермеса за словом немедленно делалось дело.
Точно по сделанной мерке нарезав стеблей тростниковых,
Их укрепил он над камнеподобной спиной черепахи,
Шкурой воловьей вокруг обтянул, догадавшись разумно,
50. Пару локтей прикрепил, перекладину сделал меж ними
И из овечьих кишок семь струн приладил созвучных.
Милую эту утеху своими сготовив руками,
Плектром одну за другою он струны испробовал. Лира
Звук испустила гудящий. А бог подпевал ей прекрасно,
55. Без подготовки попробовав петь, как на пире веселом
Юноши острой насмешкой друг друга язвят, не готовясь.
Пел он о Зевсе-Крониде и Майе прекрасно-обутой,
Как сочетались когда-то они в упоеньи любовном
В темной пещере; о собственном пел многославном рожденьи;
60. Славил прислужников он и жилище блестящее нимфы,
И изобилие прочных котлов и треножников в доме.
Пел он одно, а другое в уме уж держал в это время.
Кончив, отнес он и бережно спрятал блестящую лиру
В люльке священной своей. И мясца ему вдруг захотелось.
65. Выскочил вон из чертога душистого быстро в пещеру,
Хитрость в уме замышляя высокую: темною ночью
Замыслы часто такие в умах воровских возникают.

Гелий меж тем в Океан опустился под землю с конями
И с колесницей своею. Сын Майи бежал без оглядки
70. И к пиерийским горам, наконец, прибежал многотенным.
Там у блаженных богов на прелестных лугах некошеных
Стойло имели коровьи стада их, не знавшие смерти.
Быстро полсотни протяжно-мычащих коров криворогих
Аргуса зоркий убийца, сын Майи, отрезал от стада.
75. Путанной он их дорогой погнал по песчанистой почве,
Перевернувши следы им: повадки он хитрые помнил.
Задом ведя их, копыта передние задними сделал,
Задние сделал передними, задом и сам подвигался.
Снявши сандалии с ног, на морской он песок их забросил
80. И принялся измышлять несказанные, дивные вещи:
Миртоподобные ветви с ветвями смешав тамариска,
Эти охапки ветвей зеленеющих крепко связал он,
Их под подошвами в виде сандалий искусно приладил
Вместе с листвой и пошел, избегая проезжей дороги,
86. Словно спеша напрямик, чтобы путь сократить себе дальний.
И увидал тут старик, в винограднике землю копавший,

Как чрез богатый травою Онхест на равнину спешил он.
Это заметивши, первым Гермес к старику обратился:

90. «Старец с согнутой спиною! Мотыжишь ты землю усердно.
Только бы вызрели лозы,—вина ты получишь немало!

* * * * *

Если и видишь,—не видь! Оглохни, если и слышишь!
Сделайся нем, раз тебе самому здесь не будет убытка!»

Столько сказавши, погнал он гурьбою коров крепколобых.
95. Много в пути за собою Гермес многославный оставил
Гор густотенных, цветущих лугов и шумливых ущелий.
Но уже близкий конец надвигался помощнице черной,—
Ночи священной. Вставало к работе зовущее утро.
101. Сын многомощный Кронида к Алфею-реке в это время
Широколобых коров подогнал Аполлона-владыки.
Бодро приблизилось стадо к загону со сводом высоким
И к водопойным корытам, стоявшим пред лугом прелестным.
105. Вволю протяжно-мычащих коров накормивши травою,
Всех их гурьбою направил в пещеру Гермес многославный.
Шли они, клевер жуя и росою обрызганный кипер.
Сам же искусство огонь добывать он измысливать начал.
Ветку блестящую лавра ножом от коры он очистил,
110. Чтоб по руке приходилась. И дым заклубился горячий.
112. Много поленьев набравши сухих, он обильно и тесно
Яму глубокую ими набил. Засветилося пламя
И далеко задышало горячим, пылающим жаром.
115. Силой Гефеста огонь разгорался, а он в это время
Двух крепкорогих, протяжно мычащих коров из загона
Вывел наружу к огню: обладал он великою силой.
Дышащих тяжко коров повалил он спиною на землю
*И, наклонив, опрокинул, и мозг им спинной перерезал.
120. Дело свершалось за делом. Отрезавши мясо от жира,
Тщательно начал он жарить, на вертел надев деревянный,
Бедра и спины,—почетный кусок,—и наполненный черной
Кровью кишечник; а рядом на землю сложил остальное.
Шкуры-ж убитых коров на кремнистом утесе развесил:
125. И до сих пор еще те, долговечными ставшие, шкуры
Можно на той же скале увидать. А потом, разложивши
Жирное мясо на камне широком и гладком, разрезал
Радостнодушный Гермес на двенадцать частей это мясо,
Жребий метнув. И почет соответственный каждой воздал он;
130. Очень хотелось Гермесу попробовать мяса от жертвы:
Хоть и бессмертен он был,—раздражал его ноздри призывно
Запах приятный. Но дух его твердый ему не позволил
*Жертвенной шеи священной попробовать, как ни тянуло.
Часть приношенья сложил он в загоне со сводом высоким,—
135. Мясо обильное, сало; другую-ж на воздух вознес он,
*Нового знак воровства. И сухих набросавши поленьев,
Ноги и головы все целиком сожжению предал.
После того, как исполнил он все сообразно обряду,
В водовороты Алфея сын Майи сандалии бросил,

140. Угли костра затушил и по воздуху пепел развеял.

142. Утром, едва рассвело, на священные главы Киллены
Снова вернулся Гермес. И на длинном пути никого он
Ни из бессмертных богов, ни из смертнорожденных не встретил.
145. Даже собаки молчали. И Зевсов Гермес-благодавец,
Съежившись, в дом сквозь замочную скважину тихо пробрался,
Ветру осеннему или седому подобный туману.
150. Там в колыбельку поспешно улегся Гермес многославный.
Плечи окутав пеленкой, лежал он, как глупый младенец,
В руки простынку схватил и ею играл вкруг коленок.
Лиру же милую слева подмышкой прижал. Но не смог он
Скрыться от матери,—бог от богини. И молвила Майя:

155. «Выдумщик хитрый! Откуда сюда, облеченный бесстыдством,
Ты возвращаешься ночью глухой? Погоди, мой голубчик!
Крепкими узами скрутит по ребрам тебя Дальновержец,
И под тяжелой рукой Летоида пойдешь ты отсюда,—
Либо же впредь воровством заниматься начнешь по долинам.
160. Прочь убирайся, несчастный! Ведь вот на какую заботу
Людям и вечным богам произвел тебя на свет отец твой!»

Матери тотчас Гермес хитроумный ответствовал речью:

«Мать! Не пугай, не старайся! Меня запугать не удастся!
Или меня ты считаешь младенцем невинным и глупым?
165. Видит, разгневалась мать,—испугался младенец, затрясся.
Знай, заниматься я стану искусством, из всех наилучшим:
* Будем мы в день изо дня скотоводничать вместе с тобою.
И уж тогда без даров и молитв меж блаженных бессмертных
Нам не придется с тобой никогда оставаться, как ныне.
170. Много приятней с богами бессмертными вечно общаться,
В полном довольстве, в богатстве, с запасами хлеба, чем дома
В сумрачной этой пещере сидеть. И с великою честью
Буду такую ж, как Феб, отправлять я священную службу.
Ну, а не даст мне ее мой родитель,—так что-же? Другое
175. Я попытаю: могу предводителем жуликов стать я.
Если же здесь меня сын многославной Лето и отыщет,—
Штуку другую, куда покрупней уж, ему я устрою:
Тотчас отправлюсь в Пифон, проломаю дворцовую стену,
Вдоволь котлов и прекрасных треножников там наворую,
180. Золота вдоволь себе наберу с искрометным железом,
Много и разной одежды. Увидишь сама, коль захочешь».

Так они оба словами вели меж собой разговоры,—
Зевса эгидодержавного сын и почтенная Майя.

Смертным несущая свет, спозаранку рожденная Эос
185. Из Океана вставала глубокотекущего. Прибыл
Феб в это время в Онхест, многомилую рощу святую
Земледержателя громко шумящего. Там увидал он:
* Скармливал изгородь старец волу в стороне от дороги.
Первым сын многославной Лето к старику обратился:

190. «Старец, срыватель колючек в Онхесте, богатом травою!
Из Пиерии пришел я, ищу я омй скот запропавший:
Всё это были коровы из стада, с кривыми рогами.
Бык же пасся один, от других в отдалении, черный;
Огненнооких четыре собаки за стадом ходили,
195. Дружно его охраняя, как будто разумные люди.
Бык и собаки остались—и это особенно странно,—
Все-же коровы, как только стемнело, куда-то исчезли,
Мягкий покинувши луг и от вкусной травы удалившись.
Вот что, о древнерожденный старик, мне скажи, не видал ты,
200. Не прогонял-ли какой человек их по этой дороге?»

И Апполону словами ответил старик и промолвил:

«Друг! Нелегко рассказать обо всем, что придется глазами
Видеть кому: по дороге тут путников много проходит.
Эти идут, замышляя худые дела, а другие,—
205. Очень хорошие. Где там узнать, что у каждого в мыслях?
Я же весь день непрерывно, покуда не скрылося солнце,
Землю прилежно копал в винограднике, там вот, на склоне.
Точно, хороший, не знаю, однако мальчишку я словно
Видел,—который мальчишка коров подгонял крепкорогих.
210. Малый младенец, с хлыстом. И, ступая, усердно вертелся.
Взад он коров оттеснял, с головою, к нему обращенной».

Так он сказал. Аполлон поскорее отправился дальше.
Вдруг быстрокрылую птицу узрел он и понял тотчас же,
Что похититель—родившийся сын Громовержца-Кронида.
215. Чтобы коров отыскать тяжконогих, в божественный Пилос
Быстро направил шаги Аполлон-повелитель, сын Зевса,
Облаком темнобагряным покрывши широкие плечи.
И увидал Дальновержец следы, и промолвил он слово:

«Боги! Великое чудо своими глазами я вижу!
220. Вот на дороге следы предо мною коров круторогих,
Снова однако они повернули на луг асфодельный.
Эти же вот отпечатки—ни женщины след, ни мужчины,
Также ни серого волка, ни дикого льва, ни медведя;
И не сказал бы я также, что это кентавр густогривый
225. Быстрым копытом своим тот чудовищный след наворочал.
Жутки следы и туда, но оттуда—того еще жутче».

Так сказавши, пошел Аполлон-повелитель, сын Зевса.
Вскоре пришел на гору он Киллену, заросшую лесом,
К густо-тенистой пещере в скале, где бессмертная нимфа
230. Милого сына на свет родила Громовержцу-Крониду.
Склоны священной горы той окутывал запах прелестный.
Много овец легконогих паслося на пастбище мягком.
Там, через каменный входный порог торопливо шагнувши,
В сумрак тенистый пещеры сошел Аполлон-дальновержец.

235. Только завидел сын Зевса и Майи могучего Феба,
Из-за пропавшего стада горящего гневом ужасным,



Быстро нырнул он в пеленки душистые. Как под покровом
Пепла скрывается куча углей раскаленных и ярких,
Так под пеленками скрылся Гермес, увидав Дальновержца.
240. Голову, руки и ноги собрал в незаметный комочек,
Только что, будто, из ванны, приятнейший сон предвкушая,
Хоть и не спящий пока. А подмышкой держал черепаху.

Сразу узнал,—не ошибся,—Кронионов сын дальнострельный
Маию, горную нимфу прекрасную, с сыном любезным,
245. Малым младенцем, исполненным каверз и хитрых уловок.
Все оглядев закоулки жилища великого нимфы,
Ключ захватил он блестящий и три отомкнул кладовые:
Нектаром были они и приятной амвросией полны,
Золота много хранили внутри, серебра и блестящих
250. Платьев серебряно-белых и пурпурных нимфы прекрасной,—
То, что обычно хранится в священных домах у бессмертных.
Все оглядевши места потайные великого дома,
С речью такой Аполлон-Летоид обратился к Гермесу:

«Мальчик! Ты! В колыбели! Показывай,—где тут коровы?
255. Живо! Не то мы с тобою неладно расстанемся нынче!
Ибо тебя ухвачу я и в Тартар туманный заброшу,
В сумрак злосчастный и страшный, и на-свет тебя не сумеют
Вывесть оттуда обратно ни мать, ни отец твой великий.
Будешь бродить под землею, погибших людей провожая».

260. Тотчас лукавою речью Гермес отвечал Аполлону:

«Сын Лето! На кого ты обрушился словом суровым?
Как ты искать здесь придумал коров, обитательниц поля?
Видом твоих я коров не видал, и слыхом не слышал,
И указать бы не мог, и награды не взял бы за это.
265. Я ли похож на коров похитителя, мощного мужа?
Нет мне до этого дела, совсем я другим озабочен:
Сон у меня на уме, молоко материнское,—вот что.
Мысли мои—о пеленках на плечи, о ванночке теплой.
Как бы нас кто не услышал, чего ради спор происходит:
270. Право, великое было бы то меж бессмертными чудо,
Если бы новорожденный ребенок, да выскочил за дверь,
Чтобы коров воровать. Несуразную вещь говоришь ты!
Я лишь вчера родился, ноги нежны, земля камениста.
Хочешь, великою клятвой,—отца головой,—поклянуся,
275. Что и ни сам я ничем в этом деле ничуть неповинен,
И не видал никого, кто украл. Да притом и не знаю,
Что за коровы бывают: одно только имя их слышал».

Так он ответил и начал подмигивать часто глазами,
Двигать бровями, протяжно свистеть и кругом озираться,
280. Чтоб показать, сколь нелепой считает он речь Аполлона.
И, добродушно смеясь, отвечал Аполлон-дальновержец:

«О, мой голубчик,—хитрец и обманщик! Я чую, как часто
Будешь в дома хорошо населенные ты пробираться
Темною ночью,—как много народу до тла ты очистишь,

285. Делая в доме без шума свою воровскую работу.
Много и в горных долинах ты бед принесешь овцепасам,
Жизнь проводящим под небом открытым, когда, возжелавши
Мяса, ты встретишься с стадом коров и овец руноносных.
Если, однакоже, сном ты последним заснуть не желаешь,
290. Черной ночи товарищ,—вставай, покидай колыбельку!
Почесть же эту, мой друг, и потом меж богов ты получишь:
Будешь главою воров называться во вечные-веки».

Так сказал Аполлон. И, схвативши, понес он мальчишку.

В руки попав Дальновержца, в уме своем принял решенье
295. Аргоубийца могучий и выпустил знаменье в воздух,—
Наглого вестника брюха, глашатая с запахом гнусным;
Вслед же за этим поспешно чихнул он. Услышавши это,
На-земь из рук Аполлон многославного бросил Гермеса,
Сел перед ним, хоть и очень с дальнейшим путем торопился,
300. И, над Гермесом глумяся, такое сказал ему слово:

«Не беспокойся, пеленочник мой, сын Зевса и Майи:
Время придет,—и позднее найду я по знаменьям этим
Крепкоголовых коров. И дорогу мне ты-же укажешь!»

Так он промолвил. И быстро Гермес поднялся килленийский
305. И побежал, поспешая за Фебом. К ушам он руками
Крепко пеленку прижал, облекавшую плечи, и молвил:

«О, Дальновержец, в богах силачина! Куда меня мчишь ты?
Из-за каких-то коров, разозлившись, ты так меня треплешь.
Пусть бы пропало все племя коров! Да клянусь же, не крал я
310. Ваших коров, не видал никого, кто украл, и не знаю,
Что за коровы бывают. Одно только имя их слышал.
Дай-же ты мне и прими правосудье пред ликом Кронида!»

Так, препираясь, подробно в отдельности все перебрали
Пастырь овечий Гермес с Аполлоном далекоразящим,
315. Разное в сердце имея: один—говорящий лишь правду,
Знающий верно, что сцапал того за коров не напрасно,
Тот-же, другой, Киллениец,—коварно-ласкательной речью
Только хотел обмануть Аполлона с серебряным луком.
Но не сумел многохитрый от многоразумного скрыться,—
320. И, поспешая, шагал он теперь по песчаной дороге
Спереди,—сзади же, следом за ним,—Аполлон-дальновержец.

Прибыли скоро на многодушистые главы Олимпа
К Зевсу-родителю оба прекрасные сына Кронида.
Там ожидали того и другого весы правосудья.
325. Ясен и тих был Олимп многоснежный. Толпою сбирались
Боги бессмертные после восхода Зари златотронной.
Остановились Гермес с Аполлоном серебрянолуким
Перед коленями Зевса. И Зевс, в поднебесьи гремящий,
Спрашивать сына блестящего начал и слово промолвил:

330. «Феб! Откуда несешь ты богатую эту добычу,—
Мальчика, только что на свет рожденного с видом герольда?
Важное дело, я вижу, встает пред собраньем бессмертых!»

Царь Аполлон дальнострельный немедля в ответ ему молвил:

«О, мой родитель! Услышишь сейчас непустое ты слово:
335. Ты ведь смеялся, что я лишь один до добычи охотник.
Путь совершивши великий, нашел я в горах Килленийских
Этого вот негодяя, мальчишку, плута продувного.
В мире мошенников много,—такого, однако, ни разу
Ни меж бессмертных богов, ни меж смертных людей не встречал я.
340. Выкрал он с мягкого луга коров у меня и погнал их
Вечером поздно песками прибрежными шумного моря.
К Пилосу он их пригнал. Но на диво чудовищны видом
Были следы их,—деянье, по истине, славного бога!
В черной пыли подорожной коровьих следов отпечатки
345. Шли в направленьи обратном опять к асфодельному лугу.
Неуловимый же этот хитрец за коровами следом
Сам не ногами ступал, не руками по почве песчаной:
Способ измыслив какой-то особый, следы натоптал он
Столь непонятные, словно ступал молодыми дубами!
350. Первое время с коровами шел он по почве песчаной,
И отпечатались ясно следы их в пыли подорожной.
После ж того, как песчаной дорогой прошел он немало,
Сделалась твердою почва; и стал на дороге невиден
След ни его, ни коров. Но один человек заприметил,
355. Как направлялся со стадом лобастых коров он на Пилос.
После того, как коров преспокойно куда-то он запер,
Накуралесивши в разных местах в продолженье дороги,—
С черною сходствуя ночью, залег он в свою колыбельку,
В темной пещере, во мраке. И даже орел остроглазый
360. Там рассмотреть бы его не сумел. И руками усердно,
Хитрые замыслы в сердце питая, глаза протирал он.
А на вопрос мой тотчас же решительным словом ответил:
Видом твоих я коров не видал, и слыхом не слышал,
И указать бы не мог, и награды не взял бы за это!»

365. Так сказав, замолчал Аполлон и уселся на место.
Начал с своей стороны и Гермес отвечать, и промолвил,
И указал на Кронида, богов олимпийских владыку:

«Зевс, мой родитель! Всю правду, как есть, от меня ты услышишь.
Правдолюбив я и честен душою, и лгать не умею.
370. Только что солнышко нынче взошло, как приходит вот этот
В дом наш и ищет каких-то коров, и притом не приводит
Вместе с собой ни свидетелей, ни понятых из бессмертных.
Дать указанья приказывал мне с принужденьем великим,
И многократно грозился швырнуть меня в Тартар широкий.
375. Он-то вон в нежном цвету многорадостной юности крепкой,
Я-же всего лишь вчера родился,—он и сам это знает,—

И не похож на коров похитителя, мощного мужа.
Верь мне,—ведь хвалишься ты, что отцом мне приходишься милым:
Если коров я домой пригонял,—да не буду я счастлив!
380. И за порогом я не был совсем, говорю тебе верно!
Гелия я глубоко уважаю, и прочих бессмертных,
Также тебя я люблю, и вот этого чту. И ты знаешь
Сам, как невинен я в том. Поклянуся великою клятвой:
Этой прекрасною дверью бессмертных клянусь,—невиновен!
385. А уж за обыск я с ним сосчитаюся так или этак,
Будь он, как хочешь, силен! Ты-ж тому помогай, кто моложе!»

Кончил Килленец и глазом хитро подмигнул Громовержцу.
Так и висела на локте пеленка,—ее он не сбросил.
Расхохотался Кронид, на мальчишку лукавого глядя,
390. Как хорошо и искусно насчет он коров отпирался.
И приказал он обоим с согласной душою на поиск
Вместе итти, а Гермес чтоб указывал путь, как вожатый,
И чтоб привел Аполлона-владыку, умом не лукавя,
К месту, в котором коров крепколобых его он запрятал.
395. Зевс головою кивнул, и Гермес не ослушался славный:
Разум Эгидодержавца его убедил без усилий.

Оба прекрасные сына владыки-Кронида поспешно
Прибыли в Пилос песчаный, лежащий на броде Алфейском;
К полю пришли, наконец, и к загону со сводом высоким,
400. Где сберегал он добычу свою в продолжение ночи.
Тут многославный Гермес, подойдя к каменистой пещере,
Крепкоголовых коров аполлоновых вывел наружу.
В сторону взор Летоид обратил, на высоком утесе
Шкуры коровьи заметил и быстро к Гермесу промолвил:

405. «Как же, однако, сумел ты, хитрец, две коровы зарезать,—
Этакий малый младенец, едва только на свет рожденный?
Будущей силы твоей я страшусь. Невозможно позволить,
Чтобы ты вырос большой, о, Майи сын, Киллениец!»

Так он промолвил и прутьями ивы скрутил ему крепко
410. *Руки. Но сами собою на нем распустилися узы
И, перепутавшись, тотчас к ногам его на земь упали...

* * * * *

413. По измышленью Гермеса, лукавого бога. Увидел
Феб-Аполлон и весьма изумился. Усердно моргая,
415. Аргоубийца могучий оглядывал искоса местность... *)

* * * * *

Спрятать пытаясь. И очень легко, как желал, успокоил
Сердце он сына Лето многославной, царя-Дальновержца,

---

*) Следует помнить, что Гермес все время держал подмышкой изобретенную им лиру; по тому он и не расставался с пеленкою, что прятал под нею лиру. Когда Аполлон стал вязать Гермеса, лира, повидимому, упала на землю. Она именно и вызывает изумление Аполлона.

Как тот ни был могуч. Положивши на левую руку,
Плектром испробовал струны одну за другою. Кифара
420. Звук под рукою гудящий дала. Аполлон засмеялся
Радуясь; в душу владыки с божественной силой проникли
Эти прелестные звуки. И всею душою он слушал,
Сладким объятый желаньем. На лире приятно играя,
Смело сын Майи по левую руку стоял Аполлона.
425. Вскоре, прервавши молчанье, под звонкие струнные звуки
Начал он петь, и прелестный за лирою следовал голос.
Вечно-живущих богов воспевал он и темную землю,—
Как и когда родились, и какой кому жребий достался.
Первою между богинями он Мнемосину восславил,
430. Матерь божественных Муз: то она вдохновляла Гермеса.
Следом и прочих богов по порядку, когда кто родился,
И по достоинству стал воспевать сын Зевса преславный,—
Все излагая прекрасно. На локте же лиру держал он.
Неукротимой любовью душа разгорелася Феба,
435. И, обратившись к Гермесу, слова он крылатые молвил:

* «О, скоторез, трудолюбец, искусник, товарищ пирушки!
Всех пятьдесят бы коров подарить тебе можно за это!
Мирно отныне с тобою, я думаю, мы разойдемся.
Вот что, однако, скажи мне, о, Майи сын многохитрый:
440. Дивные эти деянья тебе от рожденья-ль присущи,
Либо-же кто из бессмертных иль смертных блистательным этим
Даром тебя одарил, обучив богогласному пенью?
Слушаю я этот дивный, доселе неслыханый голос,—
Нет, никогда не владел тем искусством никто ни из смертных,
445. Ни из бессмертных богов, в Олипмийских чертогах живущих,
Кроме тебя одного, сын Зевса и Майи, воришка!
Что за искусство? Откуда забвенье забот с ним приходит?
Как научиться ему? Три вещи дает оно сразу:
Светлую радостность духа, любовь и сон благодатный.
450. Сопровождаю и сам я божественных Муз олимпийских,
Дело же их—хороводы и песенный строй знаменитый,
Пышно-цветущие песни и страстные флейт переливы.
Но никогда ни к чему еще сердце мое не лежало
Больше, чем к этим деяньям искусным, явленным тобою.
455. Сын Кронидов, игре превосходной твоей удивляюсь!
Хоть невелик ты, но что за прекрасные знаешь ты вещи!
Сядь же, голубчик, и слово послушай того, кто постарше.
Ныне же славу великую ты меж бессмертных получишь,—
Верно тебе говорю я,—и сам ты, и мать твоя также.
460. Этим тебе я клянуся кизилевым дротиком крепким:
Славным тебя и богатым я сделаю между богами,
Пышных даров надарю и ни в чем никогда не надую!»

Речью лукавою Фебу Гермес отвечал многославный:

«Как осторожно меня ты пытаешь! А мне бы завидно
465. Не было вовсе, когда бы искусство мое изучил ты.
Нынче-ж узнаешь. Желаю тебе от души угодить я
Словом своим и советом: ведь все тебе ведомо точно.

Ибо на первом ты месте сидишь меж богов всеблаженных,
Смелый душой и могучий. И любит тебя не напрасно
470. Зевс-промыслитель. По праву так много даров и почета
Ты от него получил. Говорят, прорицать ты умеешь
С голоса Зевса-отца: ведь все прорицанья от Зевса.
Ныне-ж и сам я узнал хорошо, до чего ты всеведущ.
Выбор свободный тебе—обучаться, чему пожелаешь.
475. Так как, однако, желаешь душой на кифаре играть ты,—
*Пой и играй на кифаре́, и праздник устраивай пышный,
В дар ее взяв от меня. Ты-же, друг, дай мне славу за это.
Звонкую будешь иметь на руках ты певицу-подругу,
Сможет она говорить обо всем хорошо и разумно.
480. С нею ты будешь желанным везде,—и на пире цветущем,
И в хороводе прелестном и в шествии буйно-веселом.
Радость дает она ночью и днем. Кто искусно и мудро
Лиру заставит звучать, все приемы игры изучивши,—
Много приятных для духа вещей он узнает чрез звуки,
485. *Тешиться нежными станет привычками с легкою душою
И от работы бессчастной забудется. Если же неуч
Грубо за струны рукою неопытной примется дергать,
Будет и впредь у него дребезжать она плохо и жалко.
Выбор свободный тебе,—обучаться, чему пожелаешь.
490. Сын многославный Кронида, тебе отдаю эту лиру!
Мы же на пастбищах этой горы и равнины привольной
Будем пасти, Дальновержец, коров, обитательниц поля.
И в изобилии станут коровы, сопрягшись с быками,
Нам и бычков, и телушек рожать. А тебе не годится,—
495. Как бы о выгоде ты ни заботился, гневаться слишком!»

Так говоря, протянул он кифару. И Феб ее принял.
Сам же Гермесу вручил он блистающий бич свой и отдал
Стадо коровье в подарок. И с радостью принял сын Майи.
В левую руку тотчас же кифару гермесову взявши,
500. Сын знаменитый Лето, Аполлон, дальнострельный владыка,
Плектром испробовал струны одну за другою. Кифара
Сладостный звук испустила. А бог подпевал ей прекрасно.

После того повернули назад они стадо коровье
К лугу священному, сами-ж, прекрасные дети Кронида,
505. На многоснежный Олимп воротились, в собранье бессмертных.
Лирою тешась. И радость взяла промыслителя-Зевса.

* * * * *

Дружбу меж ними возжег он. И с этого времени крепко
И нерушимо навеки Гермес возлюбил Летоида,
Милую дав Дальновержцу кифару, как знаменье дружбы.
510. И, обучившись приемам, играл он, с кифарой на локте.
Сам же Гермес изобрел уж искусство премудрости новой:
Тотчас создал далеко разносящийся голос свирелей.

И обратился к Гермесу тогда Летоид со словами:

«Очень боюсь я, сын Майи, вожатай, на выдумки хитрый,
515. Как бы кифары моей не стянул ты и гнутого лука:
Ибо в удел тебе Зевсом дано всевозможные мены
Производить между смертных людей на земле многодарной.
Если б, однако, великою клятвой богов поклялся ты,—
Либо кивком головы, либо Стикса могучей водою,—
520. Все бы тогда мне приятным и милым ты сделал для сердца».

И головою кивнул знаменитый Гермес, обещаясь
Не воровать никогда ничего из имущества Феба,
Не приближаться и к прочным палатам его. И ответно
Клятву в союзе и дружбе принес Аполлон дальнострельный,—
525. В том, что милее не будет ему ни один из бессмертных,—
Ни человек, от Кронида рожденный, ни бог.

«Превосходным
* Будешь посредником ты у меня меж людьми и богами,
Веры достойным моей и почтенным. Позднее тебе дам я
Посох прекрасный богатства и счастья,—трилистный, из злата.
530. Будет тебя этот посох повсюду хранить невредимым,
* Все указуя дороги к хорошим словам и деяньям,
Сколько бы я их ни знал по внушению вещему Зевса.
Что-ж до гаданий, которым ты, друг, научиться желаешь,—
Этой наукой владеть не дано ни тебе, ни другому.
535. Ведает только Кронида великого ум. Поручившись,
Я головою кивнул и поклялся великою клятвой,
Что, исключая меня, средь богов бесконечно живущих
Знать ни единый не будет решений обдуманных Зевса.
Так не настаивай также и ты, златожезленный брат мой,
540. Чтобы тебе я поведал Кронидовы вещие мысли.
Вред я несу одному человеку и пользу другому:
Много имею я дела с родами бессчастными смертных.
И от оракула пользу получит лишь тот, кто, доверясь
Лету и голосу птицы надежной, ко мне обратится:
545. Тот от оракула пользу получит, не будет обманут.
Кто-ж, положившись на знаменья птиц, для гаданий негодных,
За прорицанием к нам безрассудно захочет прибегнуть,
Больше узнать домогаясь, чем знают бессмертные боги,—
Тот, говорю я, без пользы придет и дары принесет мне.
550. Но расскажу я тебе и другое, сын Майи преславной
И Эгиоха-Кронида, в богах божество-благодавец!
Некие Фрии на свете живут, урожденные сестры,
Девы. На быстрые крылья свои веселятся те девы.
Трое числом. Волоса их посыпаны белой мукою.
555. А обитают они в углубленьи Парнасской долины,
Там обучая гаданью. И мальчиком подле коров я
Им занимался и сам. Но отец ни во что его ставил.
Дом свой покинув и с места на место проворно летая,
К сотам они приникают и каждый до-тла очищают.
560. Если безумьем зажгутся, поевши янтарного меда,—
Всею душою хотят говорить они чистую правду.
Если же сладостной пищи богов не отведают нимфы,—
Тех, кто доверится им, поведут безо всякой дороги.
Их я тебе отдаю. Обо всем вопрошая подробно,

565. Тешь себе душу. А если гадать ты и смертному станешь,
Часто твоих прорицаний запросит он: лишь бы сбывались!
Это возьми ты, сын Майи, и стадо коров криворогих.
На попеченье прими лошадей и выносливых мулов...

* * * * *

Огненноокие львы, белоклыкие вепри, собаки,
570. Овцы, сколько бы их на земле ни кормилось широкой,—
Четвероногие все да пребудут под властью Гермеса!
Быть лишь ему одному посланцом безупречным к Аиду.
*Дар принесет он немалый, хоть сам одарен и не будет».

Так возлюбил Дальновержец Гермеса, рожденного Майей,
575. Всяческой дружбой. А прелесть придал их союзу Кронион.
Дело имеет Гермес и с людьми, и со всеми богами.
Пользы кому-либо мало дает, но морочит усердно
Смертных людей племена, укрываемый черною ночью.

Радуйся также и ты, сын Зевса-владыки и Майи!
580. Ныне-ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю.

IV

К АФРОДИТЕ

Муза! Поведай певцу о делах многозлатной Киприды!
Сладкое в душах богов вожделенье она пробудила,
Власти своей племена подчинила людей земнородных,
В небе высоком летающих птиц и зверей всевозможных,
5. Скольким из них ни дает пропитанье земля или море.
Всем одинаково близко сердцам, что творит Киферея.
Только троих ни склонить, ни увлечь Афродита не в силах:
Дочери Зевса-владыки, сиятельноокой Афины,—
Мало лежит ее сердце к делам многозлатной Киприды.
10. Любит она только войны и грозное Ареса дело,
Схватки жестокие, битвы, заботы о подвигах славных.
Плотников, смертных мужей, обучила впервые богиня
Сооружать для боев колесницы, пестрящие медью.
Девушек с кожею нежной она обучила в чертогах
15. Славным работам, вложив понимание каждой в рассудок.
Также не в силах Киприда улыбколюбивая страстью
Жаркой и грудь Артемиды зажечь златострельной и шумной:
Любит она только луки, охоту в горах за зверями,
Звяканье лир, хороводы, далеко звучащие клики,
20. Рощи, богатые тенью, и город мужей справедливых.
Дел Афродиты не любит и скромная дева-Гистия,
Перворождённая дочь хитроумного Крона-владыки,—
Снова-ж потом и последне-рожденная, волею Зевса.
Феб-Аполлон добивался ее, Посейдон-земледержец,—
25. Не пожелала она, но сурово обоих отвергла.
Клятвой она поклялася великой,—и клятву сдержала,—
До головы прикоснувшись эгидодержавного Зевса,
Что навсегда она в девах пребудет, честная богиня.
Дал ей отличье прекрасное Зевс в возмещенье безбрачья:
30. Жертвенный тук принимая, средь дома она восседает;
С благоговеньем богине во всех поклоняются храмах,
Смертными чтится она, как первейшая между богами.

Этих троих ни склонить, ни увлечь Афродита не в силах.
Из остальных же избегнуть ее никому невозможно,

35. Будь то блаженные боги иль смертно-рожденные люди.
Зевс-молнелюбец, и тот оболщаем бывал не однажды,—
Он, величайший из всех, величайшей чести причастный!
Разум глубокий вскружив, без труда и его Афродита,—
Стоило лишь пожелать ей,—сводила со смертной женою
40. И забывать заставляла о Гере, сестре и супруге,
Между бессмертных богинь выдающейся видом прекрасным.
Славную Крон хитроумный и матерь-Рея родили.
Знающий вечные судьбы властительный Зевс-молнелюбец
Сделал разумную Геру своею супругой почтенной.

45. Но и саму Афродиту зажег сладострастным желаньем
Ласк человеческих Зевс, чтоб, как можно скорей, оказалось,
Что не смогла и она не взойти к человеку на ложе,
И чтоб нельзя уже было хвалиться пред всеми богами
Сладко смеющейся, любящей смех Афродите прекрасной,
50. Как она с женами сводит земными богов всеблаженных,
И сыновей для бессмертных богов они смертных рождают,
Как и с мужами земными блаженных богинь она сводит.

Зевс ей забросил к Анхизу желание сладкое в душу.
Пас в это время быков на горах он высоковершинных
55. Иды, богатой ключами,—осанкой бессмертным подобный.
И загорелось любовью улыбколюбивой Киприды
Сердце. И, ужас будя, вожделенье ей в душу проникло.
Быстро примчавшись на Кипр, низошла она в храм свой душистый
В Пафосе: есть у нее там алтарь благовонный и роща.
60. В храм Афродита вошла и закрыла блестящие двери.
Там искупали богиню Хариты и тело натерли
Маслом бессмертным, какое обычно для вечно-живущих.
64. Чудной облекшись одеждой и все превосходно оправив,
65. Золотом тело украсив, покинула Кипр благовонный
И понеслась Афродита улыбколюбивая в Трою,
На высоте, в облаках, свой стремительный путь совершая.
Быстро примчалась на Иду, зверей многоводную матерь.
Прямо к жилищам пошла через гору. Виляя хвостами,
70. Серые волки вослед за богинею шли и медведи,
Огненноокие львы и до серн ненасытные барсы.
И веселилась душою при взгляде на них Афродита.
В грудь заронила она им желание страстное. Тотчас
По-двое все разошлися по логам тенистым. Она же
75. Прямо к пастушьим куреням приблизилась, сделанным прочно.
Там-то Анхиза-героя нашла. В отдаленьи от прочих,
Он в шалаше пребывал, от богов красоту получивший.
Вслед за стадами бродили по пастбищам густо-травистым
Все остальные. От них вдалеке, он туда и обратно
80. По шалашу одиноко ходил, на кифаре играя.
Встала внезапно пред ним Афродита, Кронидова дочерь,
Ростом и видом вполне уподобившись деве невинной,
Чтобы Анхиз не пугался, ее увидавши глазами.
Он же, увидев богиню, в уме размышлял и дивился

85. Виду и росту ее, и блестящим ее одеяньям.
Пеплос надела она, лучезарный, как жаркое пламя,
Ярко блистали на теле витые запястья и пряжки,
И золотые висели на шее крутой ожерелья,
Разнообразные, видом прекрасные; словно блестящий
90. Месяц вкруг нежных грудей Афродиты светился чудесно.
Страсть овладела Анхизом. Он слово навстречу ей молвил:

«Здравствуй, владычица, в это жилище входящая,—кто бы
Ты ни была из блаженных,—Лето, Артемида, Афина,
Иль Афродита златая, иль славная родом Фемида!
95. Или же ты мне явилась, одна из Харит, что бессмертных
Сопровождают богов и бессмертными сами зовутся?
Или ты нимфа,—из тех, что источники рек населяют,
Влажно-густые луга и прекрасно-тенистые рощи?
Или из тех, что на этой горе обитают прекрасной?
100. Я для тебя на холме, отовсюду открытом для взоров,
Жертвенник пышный воздвигну и буду на нем постоянно
Жертвы тебе приносить многоценные. Ты же, богиня,
Будь благосклонна ко мне, возвеличь меж сограждан троянских,
Даруй, как время настанет, цветущих потомков и сделай
105. Так, чтоб,—в народах блаженный,—и сам хорошо я и долго
Жил и на солнце глядел, и до старости дожил глубокой».

Зевсова дочь Афродита немедля ему отвечала:

«Славный Анхиз! Из мужей, на земле порожденных, славнейший!
Я не богиня. Напрасно меня приравнял ты к бессмертным.
110. Смерти подвержена я. И жена родила меня матерь.
Славноименный Отрей—мой отец, коли слышал о нем ты.
Царствует он нераздельно над всей крепкостенной Фригией.
Но языком хорошо я и нашим, и вашим владею,
Ибо меня воскормила троянка-кормилица дома,
115. Девочкой малой принявши от матери многолюбимой.
Вот почему хорошо языком я и вашим владею,
Ныне же Аргоубийца с лозой золотою из хора
Золотострельной и шумной похитил меня Артемиды:
Много нас нимф веселилось и дев, для мужей вожделенных,
120. И неисчетные толпы венком хоровод окружали.
Там-то меня и похитил Гермес с золотою лозою.
Нес он меня через земли, являвшие труд человека,
Нес и чрез дикие земли, лишенные меж, на которых
Лишь плотоядные звери блуждают по логам тенистым;
125. Кажется мне, что ногами я даже земли не касалась.
Он мне сказал, что на ложе Анхиза законной супругой
Я призываюсь взойти и детей народить тебе славных.
Все указавши и все объяснив, возвратился обратно
Аргоубийца могучий в собрание прочих бессмертных.
130. Я же к тебе вот пришла: принуждает меня неизбежность.
Именем Зевса тебя заклинаю! Родителей добрых
Именем,—ибо худые такого, как ты, не родили-б!
Девой невинной, любви не познавшей, меня отведи ты
И покажи как отцу твоему, так и матери мудрой,

135. Также и близким, с тобой находящимся в родственных связях,
Буду ли я подходящей невесткой для них, иль не буду?
Быстрого вестника тотчас пошли к резвоконным Фригийцам,
Пусть сообщит и отцу он, и матери тяжко скорбящей.
Золота много они тебе вышлют и тканой одежды.
140. Ты-же прими за невестой в приданое эти богатства.
Все это сделавши, свадебный пир снаряди богатейший,
Чтоб оценили его и бессмертные боги, и люди».

Так говорила, и сладким желаньем наполнила душу.
Страсть овладела Анхизом; он слово сказал и промолвил:

145. «Если ты смертная впрямь, и жена родила тебя матерь,
Если отец твой—Отрей знаменитый, как ты утверждаешь,
Если ты здесь по решенью бессмертного Аргоубийцы,
И навсегда суждено тебе быть мне законной женою,—
То уж никто из богов и никто из людей земнородных
150. Мне помешать не сумеет в любви сочетаться с тобою
Тотчас, теперь-же! Хотя-б даже сам Аполлон-дальновержец
Луком серебряным слал на меня многостонные стрелы!
Мне бы хотелось, о, дева, богиням подобная видом,
Ложе с тобой разделивши, спуститься в жилище Аида!»

155. Руку он взял Афродиты улыбколюбивой. Она же,
Светлый потупивши взор, повернулась и тихо скользнула
К постланной пышно постели. Там сложено было уж раньше
Ложе из мягких плащей для владыки и сверху покрыто
Шкурами тяжко-рыкающих львов и косматых медведей,
160. Собственноручно в высоких горах умерщвленных Анхизом.
Рядом воссели они на прекрасно-устроенном ложе.
Снял он ей прежде всего украшенья блестящие с тела,—
Пряжки, застежки, витые запястья для рук, ожерелья.
Пояс потом распустил, и сиявшие светом одежды
165. С тела богини совлек и на стуле сложил сребргвоздном.
И сочетался любовью, по божеской мысли и воле,
С вечной богинею смертный, и сам того точно не зная.

В час же, когда пастухи на стоянку коров пригоняют
С тучными овцами к дому с цветами усыпанных пастбищ,
170. Крепкий и сладостный сон излила на Анхиза богиня,
С ложа сама поднялась и прекрасное платье надела.
Всё со вниманьем вкруг тела оправив, у самого входа
Остановилась богиня богинь, головой достигая
Притолки, сделанной прочно, и ярко сияли ланиты
175. Той красотою нетленной, какою славна Киферея.
И пробудила от сна, и такое промолвила слово:

«Встань поскорей, Дарданид! Что лежишь ты во сне непробудном?
Встань и ответь себе точно, кажусь ли сейчас я подобной
Деве, какою сначала меня ты увидел глазами».

180. Так говорила. Ее он из сна очень быстро услышал.
И увидал он глаза и прекрасную шею Киприды,
И ужаснулся душою, и, в сторону взор отвративши,
Снова закрылся плащем, и лицо несравненное спрятал,
И, умоляя богиню, слова окрыленные молвил:

185. «Сразу, как только тебя я, богиня, увидел глазами,
Понял я, кто ты, и понял, что ты мне неправду сказала.
Зевсом эгидодержавным, простершись, тебя заклинаю:
Не допусти, чтоб живой между смертных я жить оставался
Силы лишенным. Помилуй! Ведь силы навеки теряет
190. Тот человек, кто с бессмертной богинею ложе разделит!»

И отвечала ему Афродита, Кронидова дочерь:

«Славный Анхиз! Из людей, на земле порожденных, славнейший!
Духом не падай и в сердце своем не пугайся чрезмерно.
Ни от меня, ни от прочих блаженных богов ты не должен
195. Зол испытать никаких: Олимпийцы к тебе благосклонны.
Милого сына родишь. Над троянцами он воцарится.
Станут рождать сыновья сыновей чередой непрерывной.
Имя же мальчику будет Эней, потому что в ужасном*)
Горе была я, попавши в объятия смертного мужа.
200. Больше всего меж людей походили всегда на бессмертных
Люди из вашего рода осанкой и видом прекрасным.
Так златокудрого некогда Зевс Ганимеда похитил
Ради его красоты, чтобы вместе с бессмертными жил он,
И чтобы в Зевсовом доме служил для богов виночерпцем,—
205. Чудо на вид и богами блаженными чтимый глубоко,—
Из золотого кратера пурпуровый черпая нектар.
Тросом же тяжкая скорбь овладела: не знал он, куда-же
Сына его дорогого умчало божественным вихрем.
Целые дни непрерывно оплакивал он Ганимеда.
210. Сжалился Зевс над отцом и ему, в возмещенье за сына,
Дал легконогих коней, на которых бессмертные ездят.
Их ему дал он в подарок. Про сына ж, велением Зевса,
Аргоубийца, глашатай бессмертных, владыке поведал,
Что нестареющим стал его сын и бессмертным, как боги.
215. После того, как услышал он Зевсово это известье,
Трос горевать перестал, и душою внутри веселился,
И, веселяся душой, разъезжал на конях ветроногих.
Так и Тифона к себе увлекла златотронная Эос,—
Тоже из вашего рода, и видом подобного богу.
220. С просьбой прибегла она к чернотучему Зевсу-Крониду
Сделать бессмертным его, чтобы жил он во вечные веки.
Зевс головою на это кивнул и исполнил желанье.
Глупая! Вон из ума упустила владычица-Эос
Вымолить юность ему, избавление от старости жалкой.
225. Первое время, пока многомилою юностью цвел он,
Рано рожденною он наслаждался Зарей златотронной,

---

*) Эней—Ainèias (Айнейас), ужасный—ainòs (айнос).

Блив океанских течений у граней земли обитая.
С той же поры, как сединки в его волосах появились
На голове благородной и на подбородке прекрасном,
230. Ложе его посещать перестала владычица-Эос,
Но за самим продолжала ходить и амвросией сладкой,
Пищей кормила его, одевала в прекрасное платье.
После ж того, как совсем его грозная старость настигла,
И ни единого члена не мог ни поднять он, ни двинуть,—
235. Вот каковое решенье представилось ей наилучшим:
В спальню его положила, закрывши блестящие двери;
Голос его непрерывно течет, но исчезла из тела
Сила, которою были исполнены гибкие члены.
Не пожелала бы я, чтоб подобным владея бессмертьем,
240. Между блаженных бессмертных ты жил бесконечною жизнью.
Если б, однако, с такою, как ныне, осанкой и видом
Жить навсегда ты остался, моим именуясь супругом,
Заволочить не могло бы рассудка мне ясного горе.
Ныне же быстро тебя беспощадная старость охватит,—
245. Старость, пред вами так скоро встающая, общая всем вам,
Трудная, полная горя, которой и боги боятся.
Ныне позор величайший и тяжкий на вечное время
Из-за тебя между всеми бессмертными я заслужила:
Раньше боялися боги моих уговоров и козней,
250. Силой которых сводила бессмертных богов на любовь я
С смертными женами: всех покоряла я мыслью своею.
Но никогда уже уст я отныне своих не раскрою
Перед бессмертными чем похвалиться. Бедою ужасной,
Невыразимой постигнута я, заблудился мой разум:
255. Сына под поясом я зачала, сочетавшись со смертным!..
После того, как впервые он солнца сиянье увидит,
Горные нимфы с грудями высокими вскормят младенца,—
Здесь обитают они, на горе на божественной этой.
Род их—особый; они не бессмертны, но также не смертны:
260. Долгое время живут, амвросийной питаются пищей
И в хороводах прекрасных участвуют вместе с богами.
Их в закоулках уютных пещер заключают в объятья
С лаской любовной Силены и Аргуса зоркий убийца.
С ними, как только родятся они, появляются на-свет
265. Из многоплодной земли на высоких горах либо сосны,
Либо высокие дубы,—прекрасные, с зеленью пышной.
Стройно стоят и высоко. Священною рощей бессмертных
Их называют. И люди рубить их железом не смеют.
Но наступает судьбою назначенный час умиранья,—
270. И на корню засыхают деревья прекрасные, гибнет
И отмирает кора, опадают зеленые ветви.
В это же время и души тех нимф расстаются со светом.
Сына они моего у себя воспитают и вскормят.
После ж того, как впервые придет к нему милая юность,
275. Мальчика нимфы сюда же к тебе приведут и покажут.
278. Милый свой отпрыск впервые когда ты увидишь глазами,
Радость тобой овладеет: бессмертным он будет подобен,
280. Мальчика тотчас в открытый ветрам Илион отведешь ты.
Если ж какой-нибудь смертный о матери спросит, приявшей
В страстных объятьях твоих многомилого сына под пояс,

То отвечай,—и навеки запомни мое приказанье,—
Что родила тебе сына того цветколицая нимфа,—
285. Из обитающих здесь вот, на этих горах многолесных.
Если же правду ты скажешь и хвастать начнешь безрассудно,
Что сочетался в любви с Кифереей прекрасновеночной,—
Зевс тебя в гневе низвергнет, обугливши молнией жгучей.
Все я сказала тебе. А ты поразмысли об этом:
290. Не проболтайся, сдержись,—трепещи перед гневом бессмертных!»

Так Афродита сказала и в ветреном небе исчезла.

Радуйся много, богиня, прекрасного Кипра царица!
Песню начавши с тебя, приступаю к другому я гимну.

V

К ДЕМЕТРЕ

1. Пышноволосую петь начинаю Деметру-богиню
С дочерью тонколодыжной, которую тайно похитил
Аидоней, с изволенья пространно-гремящего Зевса.
Не было матери с ней, златосерпой Деметры, в то время.
5. В сонме подруг полногрудых, рожденных седым Океаном,
Дева играла на мягком лугу и цветы собирала,
Ирисы, розы срывая, фиалки, шафран, гиацинты,
Также нарциссы,—цветок, из себя порожденный Землею,[1]
По наущению Зевса, царю-Полидекту в угоду,
10. Чтоб цветколицую деву прельстить,—цветок благовонный,
Ярко блистающий, диво на вид для богов и для смертных.
Сотня цветочных головок от корня его поднималась,
Благоуханью его и вверху все широкое небо,
Вся и земля улыбалась, и горько-соленое море.
15. Руки к прекрасной утехе в восторге она протянула
И уж сорвать собиралась,—как вдруг раскололась широко
Почва Нисийской равнины, и прянул на конях бессмертных
Гостеприимец-владыка, сын Кроноса многоимянный.
Деву насильно схватив, он ее в золотой колеснице
20. Быстро помчал. Завопила пронзительным голосом дева,
Милого клича отца, высочайшего Зевса-Кронида.
Но не услышал призыва ее ни один из бессмертных,
И ни один из людей, ни одна из подруг пышноруких.
Слышала только из темной пещеры Персеева дочерь,
25. Нежная духом Геката, с блестящей повязкою дева.
Слышал и Гелиос-царь, Гиперионов сын лучезарный,
Как призывала богиня Кронида-отца. Но далеко
В многомолитвенном храме отец пребывал в это время,
От земнородных людей принимая прекрасные жертвы.
30. Деву-же, против желанья ее, наущением Зевса,
Прочь от земли на бессмертных конях увлекал ее дядя,
Гостеприимец-властитель, сын Кроноса многоимянный.
Все-же, покамест земля и богатое звездами небо,
И многорыбное, сильно текущее море, и солнце

35. С глаз не исчезли у девы,—надежды она не теряла
Добрую матерь увидеть и племя богов вековечных:
В горькой печали надежда ей все еще тешила душу...

* * * * *

Ахнули тяжко от вопля бессмертного темные бездны
Моря и горные главы. И вопль этот мать услыхала.
40. Горе безмерное остро пронзило смущенное сердце.
Разодрала на бессмертных она волосах покрывало,
Сбросила с плеч сине-черный свой плащ и на поиски девы
Быстро вперед устремилась по суше и влажному морю,
Как легкокрылая птица. Но правды поведать никто ей
45. Не захотел ни из вечных богов, ни из смертнорожденных,
И ни одна к ней из птиц не явилась с правдивою вестью.

Девять скиталася дней непрерывно Део пречéстная,
С факелом в каждой руке, обходя всю широкую землю,
И не вкусила ни разу амвросии с нектаром сладким,
50. Кожи нетленной своей не омыла ни разу водою.
Но лишь десятая в небе забрезжила светлая Эос,
Встретилась скорбной богине Геката, держащая светоч,—
Вествуя матери, слово сказала и так взговорила:

«Пышнодарящая, добропогодная матерь-Деметра!
55. Кто из небесных богов или смертных людей дерзновенно
Персефонею похитил и милый твой дух опечалил?
Голос ее я слыхала, однако не видела глазом,
Кто—похититель ее. По совести все говорю я»...

* * * * *

Так говорила Геката. И ей не ответила речью
60. Реи прекрасноволосой дочь, но вперед устремилась
С факелом в каждой руке, в сопутствии девы-Гекаты.
К Гелию обе пришли, пред конями его они стали,

И взговорила к богов и людей соглядатаю матерь:

«Гелиос! Сжалься над видом моим, если словом иль делом
65. Я хоть когда-нибудь сердце и душу тебе утешала.
Дева, дитя мое, отпрыск желанный, прекрасная видом,—
Слышала я сквозь пустынный эфир ее громкие вопли,
Словно бы как от насилья,—однако не видела глазом.
Ты из священного смотришь эфира своими лучами,
70. Все озираешь ты сверху,—широкую землю и море.
Если ты милую дочь мою видел, скажи мне всю правду.—
Кто из бессмертных богов иль, быть может, из смертнорожденных,
Быстро схватив ее, силой похитил, от матери тайно».

Так говорила. В ответ же ей сын Гиперионов молвил:

75. «Реи прекрасноволосой дочь, о, царица Деметра!
Все я поведаю. Чту я тебя глубоко и о деве
Тонколодыжной печалюсь совместно с тобой. Не иной кто

В том из бессмертных виновник, как Зевс, облаков собиратель.
Брату-Аиду назвать твою дочерь цветущей супругой
80. Зевс разрешил, и ее он, вопящую громко, схвативши,
В сумрак туманный под землю увлек на конях быстроногих.
Но прекрати, о, богиня, великий свой плач. Понапрасну
Гневом безмерным себя не терзай. Недостойным ужели
Зятем себе почитаешь властителя-Аидонея,
85. Единокровного брата родного? Притом же и чести
Он удостоен немалой, как на-трое братья делились.
С теми живет он, над кем ему властвовать жребий достался».

Так отвечав, на коней закричал он. И быстрые кони,
Как легкокрылые птицы, помчали вперед колесницу.
90. Ей же еще тяжелей и ужасней печаль ее стала.
Гневом исполнилось сердце на тучегонителя-Зевса.
Сонма богов избегая, Олимп населяющих светлый,
Долго она по людским городам и полям плодоносным
Всюду блуждала, свой вид изменив. И никто благодатной
95. Ни из мужей не узнал, ни из жен, подпоясанных низко,
Прежде, чем в дом не пришла она храброго духом Келея
(Был в это время царем благовонного он Элевсина).
Сердцем печалуясь милым, богиня близ самой дороги
У Парфенейского села колодца, где граждане воду
100. Черпают,—села в тени под оливковым деревом, образ
Древней старухи приняв, для которой давно уже чужды
Венколюбивой дары Афродиты и деторожденье.
Няни такие бывают у царских детей, или также
Ключницы, в гулко звучащих домах занятые хозяйством.
105. Дочери там элевсинца Келея ее увидали.
Шли за водою они легкочерпною, чтобы, сосуды
Медные ею наполнив, в родительский дом воротиться.
Четверо, словно богини, цветущие девичьим цветом,—
Каллидика, Демо миловидная, и Клейсидика,
110. И Каллифоя (меж всеми другими была она старшей).
И не узнали: увидеть богов нелегко человеку.
Остановились вблизи и крылатое молвили слово:

«Кто ты из древне-рожденных людей и откуда, старушка?
Что ты сидишь здесь одна, вдалеке от жилищ, и не входишь
115. В город? Немало там женщин нашла б ты в тенистых чертогах
В возрасте том-же, в каком и сама ты, равно и моложе.
Все бы любовь проявили к тебе на словах и на деле».

Так говорили. Ответила им пречестная богиня:

«Милые детки! Кто б ни были вы между жен малосильных,
120. Здравствуйте! Все расскажу я. Ведь было бы мне непристойно
Гнусной неправдою вам на вопросы на ваши ответить.
Доя мне имя: такое дала мне почтенная матерь.
Ныне из Крита сюда по хребту широчайшему моря
Я прибыла не по воле своей. Но помимо желанья
125. Силой меня захватили разбойники. Вскоре пристали
На быстроходном они корабле к Форикосу, где все мы,

Женщины, на берег вышли, равно и разбойники сами,
Близ корабельных причалов они там устроили ужин.
Сердце ж мое не к еде, услаждающей душу, стремилось.
130. Тайно от всех, я пустилась бежать через черную сушу
И от хозяев надменных ушла, чтобы, в рабство продавши
Взятую даром меня, барышей бы на мне не нажили;
Так вот, блуждая, сюда, наконец, я пришла и не знаю,
Что это здесь за земля, что за люди ее населяют.
135. Дай вам великие боги Олимпа законных супругов,
Дай вам и деток они, по желанью родителей ваших,—
Вы-же, о, девы, меня пожалейте, во мне благосклонно,
Милые детки, примите участье, и в дом помогите
Мужа попасть и жены, чтоб могла я для них со стараньем
140. Делать работу, какая найдется для женщины старой.
Я и за новорожденным ходить хорошо бы сумела,
Няньча его на руках; присмотрела б в дому за хозяйством;
Стлала б хозяевам ложа в искусно устроенных спальнях,
И обучать рукодельям могла бы служительниц-женщин».

145. Тотчас ответила еи Каллидика, не знавшая мужа
Дева,—из всех дочерей Келеевых лучшая видом:

«Бабушка! Как ни горюй человек, все же волей-неволей
Сносит он божьи дары, ибо много сильнее нас боги.
Всё я подробно тебе расскажу и мужей перечислю,
150. Кто здесь у нас обладает великой силой почета,
Кто выдается в народе и кто многомудрым советом
И справедливым судом охраняет у города стены.
Встретишь у нас хитроумного ты Триптолема, Диокла,
Долиха и Поликсена, и знатного родом Евмолпа,
155. Также отца моего, знаменитого храбростью духа.
Дома у всех их обширным хозяйством заведуют жены:
Вряд-ли из них изо всех хоть одна, после первого-ж взгляда,
Видом твоим пренебрегши, твое предложенье отвергнет.
Все тебя примут охотно: богине ты видом подобна.
160. Если желаешь, то здесь подожди нас. Домой воротившись,
Всё подпоясанной низко Метанире, матери нашей,
Мы по порядку расскажем. Быть может, к себе она приме
В дом наш тебя, и к другим обращаться тебе не придется.
Сын у нее многомилый в чертоге, устроенном прочно,
165. Позднорожденный растет, горячо и издавна желанный.
Если б его ты вскормила, и юности мальчик достиг бы,—
Право, любую из жен слабосильных, тебя увидавших,
Зависть взяла бы: такую награду бы ты получила».

Так говорила. Она головою кивнула. И девы
170. Воду в блестящих сосудах назад понесли величаво.
Прибыли быстро в великий отцовский дворец и поспешно
Матери всё сообщили, что видели, что услыхали.
Тотчас велела им мать поскорей за безмерную плату
К ней чужестранку призвать. Как олени иль юные телки
175. Прыгают по лугу в пору весеннюю, сытые кормом,
Так понеслись по дороге ущелистой девы, руками

Тщательно складки держа прелестных одежд; развевались
Волосы их над плечами, подобные цвету шафрана.
Возле дороги богиню нашли они, там же, где прежде
180. С нею расстались. К чертогам отца повели ее девы.
Сердцем печалуясь милым, богиня за девами следом
Шла, с головы на лицо опустив покрывало, и пеплос
Черный вокруг ее ног развевался божественно-легких.
Быстро жилища достигли любимого Зевсом Келея
185. И через портик пошли. У столба, подпиравшего крышу
Прочным устоем, сидела почтенная мать их царица,
Мальчика, отпрыск недавний, держа у груди. Подбежали
Дочери к ней. А богиня взошла на порог, и достала
До потолка головой, и сияньем весь вход озарила.
190. Благоговенье и бледный испуг охватили царицу.
С кресла она поднялась и его уступила богине.
Не пожелала, однако, присесть на блестящее кресло
Пышнодарящая, добропогодная матерь-Деметра,
Но молчаливо стояла, прекрасные очи потупив.
195. Пестрый тогда ей придвинула стул многоумная Ямба,
Сверху овечьим руном серебристым покрывши сиденье.
Села богиня, держа пред лицом покрывало руками.
Долго без звука на стуле сидела, печалуясь сердцем,
И никого не старалась порадовать словом иль делом.
200. Но без улыбки сидела, еды и питья не касаясь,
Мучаясь тяжкой тоскою по дочери с поясом низким.
Бойким тогда балагурством и острыми шутками стала
Многоразумная Ямба богиню смешить пречестную:
Тут улыбнулась она, засмеялась и стала веселой.
205. Милой с тех пор навсегда ей осталась и в таинствах Ямба.
Кубок царица меж тем протянула богине, наполнив
Сладким вином. Отказалась она. Негодится, сказала,
Красное пить ей вино. Попросила, чтоб дали воды ей,
Ячной мукой для питья замесивши и нежным полеем.
210. Та, приготовивши смесь, подала, как велела богиня.
Выпила чашу Део. С этих пор стал напиток обрядным.
И говорить начала ей Метанира с поясом пышным:

«Радуйся, женщина! Не от худых, а от добрых и славных
Ты происходишь, я вижу, родителей. В царских родах лишь
215. Благоволеньем таким и достоинством светятся взоры.
Что же до божьих даров,—все мы волей-неволей их сносим,
Как ни горюем душой: под ярмом наши согнуты шеи.
Здесь же, в дому у меня, будешь так же ты жить, как сама я.
Мальчика этого мне воспитай. Ниспослали мне боги
220. Поздно его и нежданно, его горячо я желала.
Если б его ты вскормила, и юности мальчик достиг бы,—
Право, любую из жен слабосильных, тебя увидавших,
Зависть взяла бы: такую награду бы ты получила».

Тотчас прекрасновеночная ей отвечала Деметра:

225. «Радуйся также и ты, да пошлют тебе счастие боги!
Сына с великим стараньем вскормить я тебе обещаюсь,

Как ты велишь. Никакие, надеюсь, по глупости няньки,
Чары иль зелья вреда принести не смогут ребенку:
Противоядье я знаю сильнее, чем всякие травы,
230. Знаю и против вредительных чар превосходное средство.

Молвила так, и прижала младенца к груди благовонной,
Взяв на бессмертные руки; и радость обьяла царицу.

Вскармливать стала богиня прекрасного Демофоонта,
Поздно рожденного на-свет Метанирой с поясом пышным,
235. Сына Келея-владыки. И рос божеству он подобным.
Не принимал молока материнского, пищи не ел он;
Днем натирала Деметра амвросией тело младенца,
Нежно дыша на него и к бессмертной груди прижимая;
Ночью же, тайно от милых родителей, мальчика в пламя,
240. Словно как факел, она погружала, и было им дивно,—
Так он стремительно рос, так богам становился подобен.
И неподверженным стал бы ни старости мальчик, ни смерти,
Если бы, по неразумью, Метанира с поясом пышным,
Ночи глубокой дождавшись, из спальни своей благовонной
245. Не подглядела. Вскричав, по обоим ударила бедрам
В страхе за милого сына, и ум у нее помутился.
Проговорила слова окрыленные в горе великом:

«Сын Демофонт! Чужестранка в великом огне тебя держит,
Мне же безмерные слезы и горькую скорбь доставляет!»

250. Так говорила, печалясь. Услышала это богиня.
Гневом наполнилось сердце Деметры прекрасновенчанной.
Милого сына, царицей нежданно рожденного на свет
В прочных чертогах, из рук уронила бессмертных на землю,
Вырвав его из огня, возмущенная духом безмерно.
255. И взговорила при этом к Метанире с поясом пышным:

«Жалкие, глупые люди! Ни счастья, идущего в руки,
Вы неспособны предвидеть, ни горя, которое ждет вас!
Непоправимое ты неразумьем своим совершила.
Клятвой богов я клянуся, водой беспощадною Стикса,—
260. Сделать могла бы навек нестареющим я и бессмертным
Милого сына тебе и почет ему вечный доставить.
Ныне-же смерти и Кер уж избегнуть ему невозможно.
В непреходящем, однако, почете пребудет навеки:
К нам он всходил на колени, и в наших объятиях спал он.
265. Многие годы пройдут, и всегда в эту самую пору
Будут сыны элевсинцев войну и жестокую свалку
Против афинян вчинять ежегодно во вечные-веки...

* * * * *

Чтимая всеми Деметра пред вами. Бессмертным и смертным
Я величайшую радость несу и всегдашнюю помощь.
270. Пусть же великий воздвигнут мне храм и жертвенник в храме
Целым народом под городом здесь, под высокой стеною,

Чтобы стоял на холме, выдающемся над Каллихором.
Таинства-ж в нем я сама учрежу, чтобы впредь, по обряду
Чин совершая священный, на милость вы дух мой склоняли».

275. Так сказала богиня, и рост свой, и вид изменила,
Сбросила старость и вся красотою обвеялась вечной.
Запах чудесный вокруг разлился от одежд благовонных,
Ярким сиянием кожа бессмертная вдруг засветилась,
И по плечам золотые рассыпались волосы. Словно
280. Светом от молнии прочно-устроенный дом осветился.
Вон из чертога пошла. А у той ослабели колени.
Долго немой оставалась царица и даже забыла
Многолюбимого сына поднять, уроненного на-земь.
Жалобный голос младенца услышали издали сестры,
285. С мягких постелей вскочили и быстро на крик прибежали.
Мальчика с полу одна подняла и на грудь возложила;
Свет засветила другая; на нежных ногах устремилась
К матери третья,—из спальни ее увести благовонной.
Бился младенец, купали его огорченные сестры,
290. Нежно лаская. Однако, не мог успокоиться мальчик:
Было кормилицам этим и няням далёко до прежней!

Целую ночь напролет, трепеща от испуга, молились
Славной богине они. А когда засветилося утро,
Всё рассказали Келею широкодержавному точно,
295. Что приказала Деметра прекрасновеночная сделать.
Он-же, созвавши немедля на площадь народ отовсюду,
Отдал приказ на холме выдающемся храм богатейший
Пышноволосой воздвигнуть Деметре и жертвенник в храме.
Тотчас послушались все, и словам его вняли, и строить
300. Начали, как приказал. И с божественной помощью рос он.
После того, как исполнили всё и труды прекратили,
Каждый домой воротился. Тогда золотая Деметра
Села во храме одна, вдалеке от блаженных бессмертных,
Мучаясь тяжкой тоскою по дочери с поясом низким.

305. Грозный, ужаснейший год низошел на кормилицу-землю
Волею гневной богини. Бесплодными сделались пашни:
Семя сокрыла Деметра прекрасновеночная в почве.
Тщетно по пашням быки волокли искривленные плуги,
Падали в борозды тщетно ячменные белые зерна.
310. С голоду племя погибло б людей, говорящих раздельно,
Всё без остатка, навек прекратились бы славные жертвы
И приношенья богам, в олимпийских чертогах живущим,
Если бы Зевс не размыслил и в сердце решенья не принял.
Прежде всего златокрылой Ириде призвать повелел он
315. Пышнокудрявую, милую видом Деметру-богиню.
Так он сказал. И словам чернотучего Зевса-Кронида
Внявши, помчалась Ирида на быстрых ногах сквозь пространство,
В город сошла Элевсин, благовонным куреньем богатый,
В храме сидящей нашла в одеянии черном Деметру
320. И окрыленное слово, окликнув богиню, сказала:

«Вечное знающий Зевс-промыслитель тебя, о Деметра,
К племени вечно-живущих богов призывает вернуться.
Ты же иди,—да не будет напрасным Кронидово слово!»

Так говорила, прося. Но душой не склонилась богиня.
325. Тотчас отец и других к ней отправил богов всеблаженных,
Вечно живущих. И все к ней один за другим приходили,
Звали богиню и много дарили даров превосходных,
Почестей много сулили, ее меж бессмертными ждущих.
Но не сумел ни один убедить ни рассудка, ни сердца
330. Гневной Деметры. Сурово все речи отвергла богиня.
На благовонный Олимп и ногою, сказала, не ступит,
Черной земле не позволит плода ни единого выслать,
Прежде, чем дочери милой своей не увидит глазами.

Это услышавши, Зевс тяжело и пространно гремящий
335. Тотчас отправил в Эреб златожезлого Аргоубийцу,
Чтобы приятною речью хитро обольстивши Аида,
Чистую Персефонею из темного мрака он вывел
На-свет, в собранье богов, чтоб, ее увидавши глазами,
Мать оскорбленная гнев свой великий в душе прекратила.
340. И не ослушался Зевса Гермес, но в глубины земные
Тотчас поспешно спустился, покинув жилище Олимпа.
Аидонея-владыку нашел он в подземных чертогах;
С ним, против воли своей, восседала на ложе супруга,
Черной терзаясь тоскою по матери. Гневом безмерным
345. Все еще дух волновался ее на решенье бессмертных.
Близко представши, могучий сказал ему Аргоубийца:

«Чернокудрявый Аид, повелитель ушедших от жизни!
Зевс мне родитель велел достославную Персефонею
Вывести вон из Эреба к своим, чтоб, ее увидавши,
350. Гнев на бессмертных и злобу ужасную мать прекратила.
Ибо великое дело душою она замышляет,—
Слабое племя людей земнородных в конец уничтожить,
Скрывши в земле семена, и лишить олимпийцев бессмерт-
ных
Почестей. Гневом ужасным богиня полна. Не желает
355. Знаться с богами. Сидит вдалеке средь душистого храма,
Город скалистый избрав Элевсин для себя пребываньем».

Так он сказал. Улыбнулся бровями владыка умерших
Аидоней и, послушный веленьям властителя-Зевса,
Персефонее разумной тотчас же отдал приказанье:

360. «К матери черноодежной немедля иди, Персефона,
Кроткую силу и благостный дух во груди сохраняя.
И не печалься чрезмерно: не хуже других твоя доля.
Право, не буду тебе я в богах недостойным супругом,
Брат родителя Зевса родной. У меня пребывая,
365. Будешь владычицей ты надо всем, что живет и что ходит,
Почести будешь иметь величайшие между бессмертных.
Вечная кара постигнет того из людей нечестивых,

Кто с подобающим даром к тебе не придет, и не будет
Радовать силы твоей, принося, как положены, жертвы».

370. Так он промолвил. Вскочила, объятая радостью, с ложа
Мудрая Персефонея. Тогда повелитель умерших
Зернышко дал проглотить ей граната, сладчайшее меда,
С замыслом тайным, чтоб навек супруга его не осталась
Там наверху с достославной Деметрою черноодежной.
375. Раньше того уж бессмертных своих лошадей быстроногих
Многодержавный Аид в колесницу запрег золотую.
На колесницу богиня вступила. И в милые руки
Вожжи и бич захвативши, коней устремил из чертогов
Аргоубийца могучий; охотно они полетели.
380. Быстро великий проделали путь; ни широкое море
Бега бессмертных коней задержать не могло, ни речные
Воды, ни гор высота, ни зеленых долин углубленья.
Поверху резали воздух они высоко над землею.
Там, где сидела Деметра в прекрасном венке, колесницу
385. Остановил он,—пред храмом душистым. Она же, увидев,
Ринулась, словно менада в горах по тенистому лесу.
А Персефона . . . .
Матери милой своей . . . .
Бросилась . . . .
390. Ей-же . . . .
. . . .
. . . .
«Дочь моя . . . .
Пищи. Скажи откровенно . . . .
395. Ибо тогда, возвратившись . . . .
Подле меня и отца твоего, чернотучего Зевса,
Будешь ты жить на Олимпе, бессмертными чтимая всеми.
Если ж вкусила,—обратно пойдешь, и в течение года
Третью будешь ты часть проводить в глубине преисподней,
400. Две остальные—со мною, а также с другими богами.
Чуть-же наступит весна, и цветы благовонные густо
Черную землю покроют,—тогда из туманного мрака
Снова ты явишься на-свет, на диво бессмертным и смертным.

* * * * *

Также о том, как тебя обманул Полидегмон могучий».

405. Тотчас в ответ ей сказала прекрасная Персефонея:

«Всё, как случилось, тебе откровенно, о мать, расскажу я.
После того, как Гермес-благодавец, глашатай проворный,
Мне приказанье принес от Кронида и прочих бессмертных
К ним из Эреба притти, чтоб, меня увидавши глазами,
410. Гнев на бессмертных и злобу ужасную ты прекратила,—
Радостно тотчас вскочила я с ложа. Тогда потихоньку
Сунул зерно мне граната он в руку,—сладчайшее вкусом,—
И, против воли моей, проглотить его силой заставил.
Что ж до того, как похитил меня он по мысли коварной

415. Зевса, отца моего, как увлек в преисподнее царство,—
Я расскажу, без ответа вопросов твоих не оставив.
Все мы, собравшись на мягком лугу, беззаботно играли.
Было нас много: Левкиппа, Ианфа, Файно и Электра,
Также Мелита и Яхе, Родеия и Каллироя,
420. Тиха, Мелóбосис, и цветколикая с ней Окироя,
И Хризеида с Акастой, Адмета с Янирою вместе,
Также Родопа, Плутó и прелестная видом Калипсо,
С ними Урания, Стикс и приятная всем Галаксавра,
Дева-Паллада, к сраженьям зовущая, и Артемида
425. Стрелолюбивая,—все мы играли, цветы собирали,—
Ирисы рвали с шафраном приветливым и гиацинты,
Роз благовонных бутоны и лилии, дивные видом,
Также нарциссы, коварно землею рожденные черной.
Радуясь сердцем, цветок сорвала я. Земля из-под низу
430. Вдруг раздалася. Взвился из нее Полидегмон могучий,
Быстро под землю меня он умчал в золотой колеснице,
Как ни противилась я. Закричала я голосом громким.
Хотя и с печалью, но всё я по правде тебе сообщаю».

Так целый день непрерывно, душе отзываясь душою,
435. Крепко обнявшись, сидели они и душой веселились,
Глядя одна на другую. Забыло все горести сердце.
Радость взаимно они получали и радость давали.
Дева-Геката приблизилась к ним в покрывале блестящем;
Чистую дочерь Деметры в объятья она заключила.
440. С этой поры ей служанкой и спутницей стала царица.
С вестью отправил к ним Зевс, тяжело и пространно гремящий,
Пышноволосую Рею, чтоб в пеплосе черном Деметру
В сонм олимпийцев обратно она привела, обещаясь
Почести ей даровать величайшие между бессмертных.
445. Постановил он, чтоб дочерь ее в продолжение года
Треть проводила одну в многосумрачном царстве подземном,
Две ж остальные—с Деметрой, а также с другими богами.
Так он сказал, и приказа его не ослушалась Рея.
Быстро покинув вершины Олимпа, она ниспустилась
450. В Рарион. Выменем был он земли живоносным дотоле,
Но живоносным теперь уже не был. Без зелени, дикий,
Он простирался, в себе сохранивши ячменные зерна,
Как порешила Деметра прекраснолодыжная. Вскоре,
С новой весной, предстояло, однако, опять ему пышно
455. Заколоситься, густые колосья с зерном полновесным
К самой земле преклонить и снопами обильно покрыться.
Там-то впервые сошла из эфира пространного Рея.
Радуясь духом, с любовью они друг на друга взглянули.
И заговорила к ней вот как блестящеодежная Рея:

460. «Встань, о дитя мое! Зевс, тяжело и пространно гремящий,
В сонм олимпийцев тебя призывает вернуться, и много
Почестей хочет тебе даровать средь блаженных бессмертных.
Постановил он, чтоб дочерь твоя в продолжение года
Треть проводила одну в многосумрачном царстве подземном,

[illegible] дарон к тебе не придет, и не будет
[illegible] как положены, жертвы».

370. [illegible] промолвил. Вскочила, объятая радостью, с ложа
[illegible] Персефонея. Тогда повелитель умерших
[illegible] проглотить ей граната, сладчайшее меда,
С[illegible] тайно, чтоб навек супруга его не осталась
[illegible] наверху с достославной Деметрою черноодежной.
375. [illegible] того уж бессмертных своих лошадей быстроногих
[illegible] Аид в колесницу запрег золотую.
На колесницу богиня вступила. И в милые руки
[illegible] и бич захвативши, коней устремил из чертогов
[illegible]бийца могучий; охотно они полетели.
380. [illegible] великий проделали путь; ни широкое море
[illegible] бессмертных коней задержать не могло, ни речные
Воды, ни гор высота, ни зеленых долин углубленья.
[illegible] резали воздух они высоко над землею.
Там, где сидела Деметра в прекрасном венке, колесницу
385. Остановил он,— пред храмом душистым. Она же, увидев,
Ринулась, словно менада в горах по тенистому лесу.
А Персефона . . . .
Матери милой своей . . . .
Бросилась . . . .
390. Ей-же . . . .
. . . .
. . . .
«Дочь моя . . . .
Пищи. Скажи откровенно . . . .
395. Ибо тогда, возвратившись . . . .
Подле меня и отца твоего, черпотучего Зевса,
Будешь ты жить на Олимпе, бессмертными чтимая всеми.
Если ж вкусила,—обратно пойдешь, и в течение года
Третью будешь ты часть проводить в глубине [illegible],
400. Две остальные—со мною, а также с другими богами.
Чуть-же наступит весна, и цветы благовонные [illegible]
Черную землю покроют,—тогда из туманного [illegible]
Снова ты явишься на-свет, на диво бессмертным и смертным.

* * * * *

Также о том, как тебя обманул Полидегмон могучий».

405. Тотчас в отве[illegible]

«Всё, [illegible]
После [illegible]
Мне [illegible]
Б[illegible]
410. [illegible]

415. Зевса, отца моего, как увлек в преисподнее царство,—
Я расскажу, без ответа вопросов твоих не оставив.
Все мы, собравшись на мягком лугу, беззаботно играли.
Было нас много: Левкиппа, Ианфа, Файно и Электра,
Также Мелита и Яхе, Родеия и Каллироя,
420. Тиха, Мело́босис, и цветколикая с ней Окироя,
И Хризеида с Акастой, 'Адмета с Янирою вместе,
Также Родопа, Плуто́ и прелестная видом Калипсо,
С ними Урания, Стикс и приятная всем Галаксавра,
Дева-Паллада, к сраженьям зовущая, и Артемида
425. Стрелолюбивая,—все мы играли, цветы собирали,—
Ирисы рвали с шафраном приветливым и гиацинты,
Роз благовонных бутоны и лилии, дивные видом,
Также нарциссы, коварно землею рожденные черной.
Радуясь сердцем, цветок сорвала я. Земля из-под низу
430. Вдруг раздалася. Взвился из нее Полидегмон могучий,
Быстро под землю меня он умчал в золотой колеснице,
Как ни противилась я. Закричала я голосом громким.
Хотя и с печалью, но всё я по правде тебе сообщаю».

Так целый день непрерывно, душе отзываясь душою,
435. Крепко обнявшись, сидели они и душой веселились,
Глядя одна на другую. Забыло все горести сердце.
Радость взаимно они получали и радость давали.
Дева-Геката приблизилась к ним в покрывале блестящем;
Чистую дочерь Деметры в объятья она заключила.
440. С этой поры ей служанкой и спутницей стала царица.
С вестью отправил к ним Зевс, тяжело и пространно гремящий,
Пышноволосую Рею, чтоб в пеплосе черном Деметру
В сонм олимпийцев обратно она привела, обещаясь
Почести ей даровать величайшие между бессмертных.
445. Постановил он, чтоб дочерь ее в продолжение года
Треть проводила одну в многосумрачном царстве подземном,
Две ж остальные—с Деметрой, а также с другими богами.
Так он сказал, и приказа его не ослушалась Рея.
Быстро покинув вершины О[illegible] она ниспустилась
450. В Рарион. Выменем был он [illegible]живоносным дотоле,
Но живоно[illegible] теперь уж[illegible]. Без зелени, дикий,
Он прост[illegible] себе с[illegible]и ячменные зерна,
Как пор[illegible]етра [illegible]одыжная. Вскоре,
С новой [illegible]дстоя[illegible], опять ему пышно
455. Заколо[illegible]е к[illegible]ерном полновесным
К сам[illegible]клон[illegible]ами обильно покрыться.
Там-то [illegible]ила [illegible] пространного Рея.
Радуя[illegible]люб[illegible]руг на друга взглянули.
[illegible]ящеодежная Рея:

[illegible]кело и пространно гремящий,
[illegible]ает вернуться, и много
[illegible]ть средь блаженных бессмертных.
[illegible]воя в продолжение года
[illegible]сумрачном царстве подземном,

465. Две остальные—с тобою, а также с другими богами.
Так он решил и главою своею кивнул в подтвержденье.
Встань-же, дитя мое, волю исполни его и чрезмерно
В гневе своем не упорствуй на тучегонителя-Зевса.
Произрасти для людей живоносные зерна немедля!»

470. Так говорила. И ей не была непослушна Деметра.
Выслала тотчас колосья на пашнях она плодородных,
Зеленью буйной, цветами широкую землю одела
Щедро. Сама же, поднявшись, пошла и владыкам державным,—
С хитрым умом Триптолему, смирителю коней Диоклу,
475. Силе Евмолпа, а также владыке народов Келею,—
Жертвенный чин показала священный и всех посвятила
В таинства. Святы они и велики. Об них ни расспросов
Делать не должен никто, ни ответа давать на расспросы:
В благоговеньи великом к бессмертным уста замолкают.
480. Счастливы те из людей земнородных, кто таинство видел.
Тот-же, кто им непричастен, по смерти не будет вовеки
Доли подобной иметь в многосумрачном царстве подземном.
Всё учредив и устроив, богиня богинь воротилась
С матерью вместе на светлый Олимп, в собранье бессмертных.
485. Там обитают они подле Зевса, метателя молний,
В славе и чести великой. Блажен из людей земнородных,
Кто благосклонной любви от богинь удостоится славных:
Тотчас нисходит в жилище его очага покровитель
Плутос, дарующий людям обилье в стадах и запасах.

490. Вы же, под властью которых живут Элевсин благовонный
Парос, водой отовсюду омытый, и Антрон скалистый,—
Ты, о царица, Део,—пышнодарная, чтимая всеми,—
С дочерью славной своею, прекрасною Персефонеей,—
Нам благосклонно счастливую жизнь ниспошлите за песню!
495. Ныне же, вас помянув, я к песне другой приступаю.



VI

К АФРОДИТЕ

Песня моя—к Афродите прекрасной и златовенчанной,
Чести великой достойной. В удел ей достались твердыни
В море лежащего Кипра. Туда по волнам многозвучным
В пене воздушной пригнало ее дуновенье Зефира
5. Влажною силой своею. И Оры в златых диадемах,
Радостно встретив богиню, нетленной одели одеждой:
Голову вечную ей увенчали сработанным тонко
Чудно-прекрасным венцом золотым и в проколы ушные
Серьги из золотомеди и ценного золота вдели;
10. Шею прекрасную вместе с серебряно-белою грудью
Ей золотым ожерельем обвили, какими и сами
Оры в повязках златых украшают себя, отправляясь
На хоровод ли прелестный бессмертных, в дворец ли отцовский.
После того, как на тело ее украшенья надели,
15. К вечным богам повели. И, Киприду приветствуя, боги
Правую руку ей жали, и каждый желаньем зажегся
Сделать супругой законной своей и ввести ее в дом свой,
Виду безмерно дивясь Кифереи фиалковенчанной.

Славься, с ресницами гнутыми, нежная! Даруй победу
20. Мне в состязании этом, явись мне помощницей в песне!
Ныне ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю.

VII

ДИОНИС И РАЗБОЙНИКИ

О Дионисе я вспомню, рожденном Семелою славной,—
Как появился вблизи берегов он пустынного моря
На выступающем мысе, подобный весьма молодому
Юноше. Вкруг головы волновались прекрасные кудри
5. Из-синя черные. Плащ облекал многомощные плечи
Пурпурный. Быстро разбойники вдруг появились морские
На крепкопалубном судне в дали винночерного моря,
Мужи Тирренские. Злая вела их судьба. Увидали,
Перемигнулись и, на берег выскочив, быстро схватили
10. И посадили его на корабль, веселяся душою.
Верно, то сын,—говорили,—царей, питомцев Кронида.
Тяжкие узы они на него наложить собралися.
Но не смогли его узы сдержать, далеко отлетели
Вязи из прутьев от рук и от ног. Восседал и спокойно
15. Черными он улыбался глазами. Всё это заметил
Кормчий и тотчас, окликнув товарищей, слово промолвил:

«Что за могучего бога, несчастные, вы захватили
И заключаете в узы? Не держит корабль его прочный.
Это—иль Зевс громовержец, иль Феб-Аполлон сребролукий,
20. Иль Посейдон. Не на смертнорожденных людей он походит,
Но на бессмертных богов, в олимпийских чертогах живущих.
Ну же, давайте, отчалим от черной земли поскорее,
Тотчас! И рук на него возглагать не дерзайте, чтоб в гневе
Он не воздвигнул свирепых ветров и великого вихря!»

25. Так он сказал. Но сурово его оборвал предводитель:

«Видишь,—ветер попутный! Натянем же парус, несчастный!
Живо за снасти берись! А об нем позаботятся наши.
Твердо надеюсь: в Египет-ли с нами прибудет он, в Кипр-ли,
К Гиперборейцам, еще-ли куда,—назовет, наконец, он
30. Нам и друзей, и родных, и богатства свои перечислит.
Ибо само божество нам в руки его посылает».

Так он сказал и поднял корабельную мачту и парус.
Ветер парус срединный надул, натянулись канаты.
И совершаться пред ними чудесные начали вещи.
35. Сладкое прежде всего по судну быстроходному всюду
Вдруг зажурчало вино благовонное, и амбросийный
Запах вокруг поднялся. Моряки в изумленьи глядели.
Вмиг протянулись, за самый высокий цепляяся парус,
Лозы туда и сюда, и в обилии гроздья повисли;
40. Черный вкруг мачты карабкался плющ, покрываясь цветами,
Вкусные всюду плоды красовались, приятные глазу,
А на уключинах всех появились венки. Увидавши,
Кормчему тотчас они приказали корабль поскорее
К суше направить. Внезапно во льва превратился их пленник.
45. Страшный безмерно, он громко рычал; средь судна-же, являя
Знаменья, создал медведицу он с волосистым затылком.
Яростно встала она на дыбы. И стоял на высокой
Палубе лев дикоглазый. К корме моряки побежали:
Мудрого кормчего все они в ужасе там обступили.
50. Лев, к предводителю прыгнув, его растерзал. Остальные,
Как увидали,—жестокой судьбы избегая, поспешно
Всею гурьбой с корабля поскакали в священное море
И превратились в дельфинов. А к кормчему жалость явил он,
И удержал, и счастливейшим сделал его, и промолвил:

55. «Сердцу ты мил моему, о, божественный кормчий,—не бойся!
Я Дионис многошумный. На свет родила меня матерь,
Кадмова дочерь Семела, в любви сочетавшись с Кронидом».

Славься, дитя светлоокой Семелы! Тому, кто захочет
Сладкую песню наладить, забыть о тебе невозможно.

VIII

К АРЕСУ

Арес, сверхмощный боец, колесниц тягота, златошлемный,
Смелый оплот городов, щитоносный, медяноружный,
Сильный рукой и копьем, неустанный, защита Олимпа.
Многосчастливой Победы родитель, помощник Фемиды,
5. Грозный тиран для врагов, предводитель мужей справедливых,
Мужества царь скиптроносный, скользящий стезей огнезарной
Меж семипутных светил по эфиру, где вечно коней ты
Огненных гонишь своих по небесному третьему кругу!
Слух преклони, наш помощник, дарующий смелую юность,
10. Жизнь освещающий нам с высоты озарением кротким,
Ниспосылающий доблесть Аресову. Если бы мог я
Горькое зло от моей отогнать головы, незаметно
Разумом натиск обманный души укротить и упрочить
Сызнова острую силу в груди, чтоб меня побуждала
15. В бой леденящий вступить. Ниспошли-же, блаженный, мне смелость,
Сень надо мной сохрани неколеблемых мирных законов,
И да избегну насильственных Кер и схватки с врагами!



IX

К АРТЕМИДЕ

Муза, воспой Артемиду, родную сестру Дальновержца,
Стрелолюбивую деву, совместно взращенную с Фебом.
Поит она лошадей в тростниках высоких Мелита
И через Смирну несется в своей всезлатой колеснице
5. В Кларос, богатый лозами, туда, где сидит, дожидаясь
Стрелолюбивой сестры-дальновержицы, Феб сребролукий.

Радуйся-ж песне и ты, и с тобой все другие богини!
Первая песня—тебе, с тебя свою песнь начинаю.
Славу ж воздавши тебе, приступаю к другому я гимну.

X

К АФРОДИТЕ

Кипророжденную буду я петь Киферею. Дарами
Нежными смертных она одаряет. Не сходит улыбка
С милого лика ее. И прелестен цветок на богине.

Над Саламином прекрасным царящая с Кипром обширным,
5. Песню, богиня, прими и зажги ее страстью горячей!
Ныне ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю.

XI

К АФИНЕ

Славить Палладу-Афину, оплот городов, начинаю,
Страшную. Любит она, как и Арес, военное дело,
Яростный воинов крик, городов разрушенье и войны.
Ею хранится народ, на сраженье-ль идет, из сраженья-ль.

5. Славься богиня! Пошли благоденствие нам и удачу!

XII

К ГЕРЕ

Золототронную славлю я Геру, рожденную Реей,
Вечноживущих царицу, с лицом красоты необычной,
Громогремящего Зевса родную сестру и супругу,
Славную. Все на великом Олимпе блаженные боги
5. Благоговейно ее наравне почитают с Кронидом.

XIII

К ДЕМЕТРЕ

Пышноволосую петь начинаю Деметру честную
С дочерью славной ее, прекрасною Ферсефонеей.

Славься, богиня! Наш город храни. Будь первая в песне.

XVI

К МАТЕРИ БОГОВ

Мать всех бессмертных богов и смертных людей восславь мне,
Дочерь великого Зевса, о, звонкоголосая Муза!
Любы ей звуки трещоток и бубнов, и флейт переливы,
Огненноокиx рыкание львов, завывания волчьи,
5. Звонкие горы и лесом заросшие логи глухие.

Радуйся ж песне и ты, и с тобою другие богини!

XV

К ГЕРАКЛУ ЛЬВИНОДУШНОМУ

Зевсова сына Геракла пою, меж людей земнородных
Лучшего. В Фивах его родила, хороводами славных,
С Зевсом-Кронидом в любви сочетавшись, царица-Алкмена
Некогда, тяжко трудяся на службе царю Еврисфею,
5. По бесконечной земле он и по морю много скитался;
Страшного много и сам совершил, да и вынес немало.
Ныне, однако, в прекрасном жилище на снежном Олимпе
В счастье живет и имеет прекраснолодыжную Гебу.

Славься, владыка, сын Зевса! Подай добродетель и счастье.

XVI

К АСКЛЕПИЮ

Всяких целителя болей, Асклепия петь начинаю.
Сын Аполлона, рожден Коронидою он благородной,
Флегия царственной дщерью, на пышной Дотийской равнине,—
Радость великая смертных и злых облегчитель страданий.

Радуйся также и ты, о, владыка! Молюсь тебе песней.

XVII

К ДИОСКУРАМ

Кастора и Полидевка пою, Тиндаридов могучих.
От олимпийского Зевса-владыки они происходят.
Их родила под главами Тайгета владычица Леда,
Тайно принявшая бремя в объятиях Зевса-Кронида.

Славьтесь вовек, Тиндариды, коней укротители быстрых!

XVIII

К ГЕРМЕСУ

Петь начинаю Гермеса Килленского, Аргоубийцу.
Благостный вестник богов, над Аркадией многоовечной
И над Килленою царствует он. Родила его Майя,
Чести достойная дочерь Атланта, в любви сочетавшись
5. С Зевсом-Кронионом. Сонма блаженных богов избегая,
В густо-тенистой пещере жила пышнокудрая нимфа.
Там-то на ложе взошел к ней Кронид непогодною ночью
В пору, как сладостный сон овладел белолокотной Герой.
Втайне равно от бессмертных и смертных свершился союз их.

10. Радуйся с нами и ты, сын Зевса-владыки и Майи!
Песню начавши с тебя, приступаю к другому я гимну.

XIX

К ПАНУ

Спой мне, о Муза, про Пана, Гермесова милого сына.
С нимфами светлыми он,—козлоногий, двурогий, шумливый,—
Бродит по горным дубравам, под темною сенью деревьев.
Нимфы с верхушек скалистых обрывов его призывают,
5. Пана они призывают с курчавою, грязною шерстью,
Бога веселого пастбищ. В удел отданы ему скалы,
Снежные горные главы, тропинки кремнистых утесов.
Бродит и здесь он, и там, продираясь сквозь частый кустарник;
То приютится над краем журчащего нежно потока,
10. То со скалы на скалу понесется, все выше и выше,
Вплоть до макушки, откуда далеко все пастбища видны.
Часто мелькает он там, на сверкающих, белых вершинах,
Часто, охотясь, по склонам проносится, с дикого зверя
Острых очей не спуская. Как только же вечер наступит,
15. Кончив охоту, берет он свирель, одиноко садится
И начинает так сладко играть, что тягаться и птичка
С ним не могла бы, когда она в чаще, призывно тоскуя,
В пору обильной цветами весны заливается песней.
Звонкоголосые к богу сбираются горные нимфы,
20. Пляшут вблизи родника темноводного быструю пляску,
И далеко по вершинам разносится горное эхо.
Сам же он то в хороводе ступает, а то в середину
Выскочит, топает часто ногами, на звонкие песни
Радуясь духом. И рысья за ним развивается шкура.
25. Так они пляшут на мягком лугу, где с травой вперемежку
Крокусы и гиацинты душистые густо пестреют.
Песни поют про великий Олимп, про блаженных бессмертных,
И про Гермеса,—как всех, благодетельный, он превосходит,
Как для богов олимпийских посланником служит проворным,
30. И как в Аркадию он, родниками обильную, прибыл,
В место, где высится роща его на Киллене священной.
Бог,—у смертного мужа там пас он овец густорунных.
Там, для себя незаметно, зажегся он нежною страстью
К дочери Дриопа, нимфе прекрасноволосой и стройной.

35. Скорый устроился брак. Родила ему нимфа в чертогах
Многолюбевного сына,—поистине чудище с виду!
Был он с рогами, с ногами козлиными, шумный, смешливый.
Ахнула мать и вскочила и, бросив дитя, убежала:
В ужас пришла от его бородатого, страшного лика.
40. На руки быстро Гермес благодетельный принял ребенка.
Очень душой веселился он, глядя на милого сына.
С ним устремился родитель в жилище блаженных бессмертных,
Сына укутавши шкурой пушистою горного зайца.
Сел перед Зевсом-властителем он меж другими богами
45. И показал им дитя. Покатилися со смеху боги.
Больше же прочих бессмертных Вакхей-Дионис был утешен.
Всех порадовал мальчик,—и назвали мальчика *Паном* *).

Радуйся также и сам ты, владыка! Молюсь тебе песней.
Ныне ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю.

---

*) По гречески все—pantes (пантес). Этимология фантастическая. Имя пастушеского бога Пана, всего вероятнее, происходит от корня «па», латинское pasco,—пасу.

XX

К ГЕФЕСТУ

Муза, Гефеста воспой, знаменитого разумом хитрым!
Вместе с Афиною он светлоокою славным ремеслам
Смертных людей на земле обучил. Словно дикие звери,
В прежнее время они обитали в горах по пещерам.
5. Ныне-ж без многих трудов, обученные всяким искусствам
Мастером славным Гефестом, в течение целого года
Время проводят в жилищах своих, ни о чем не заботясь.

Милостив будь, о Гефест! Подай добродетель и счастье!

XXI

К АПОЛЛОНУ

Феб! Воспевает и лебедь тебя под плескание крыльев,
С водоворотов Пенейских взлетая на берег высокий.
Также и сладкоречивый певец с многозвучною лирой
Первым всегда и последним тебя воспевает, владыка.

5. Радуйся много! Да склонит тебя моя песня на милость!

XXII

К ПОСЕЙДОНУ

Песня—о боге великом, владыке морей Посейдоне.
Землю и море бесплодное он в колебанье приводит,
На Геликоне царит и на Эгах широких. Двойную
Честь, о, земли Колебатель, тебе предоставили боги:
5. Диких коней укрощать и спасать корабли от крушенья.

Слава тебе, Посейдон,—черновласый, объемлющий землю!
Милостив будь к мореходцам и помощь подай им, блаженный!

XXIII

К ЗЕВСУ

Зевс, меж богов величайший и лучший, к тебе моя песня!
Громораскатный, владыка державный, судья-воздаятель,
Любишь вести ты беседы с Фемидой, согбенно сидящей.

Милостив будь, громозвучный Кронид,—многославный, великий!

XXIV

К ГЕСТИИ

Дом священный метателя стрел, Аполлона-владыки,
Ты охраняешь в Пифоне божественном, дева-Гестия!
Влажное масло с твоих нистекает кудрей непрестанно.
Этот, владычица, дом посети,—низойди благосклонно
5. Вместе с Кронидом всемудрым. И дай моей песне приятность.

XXV

К МУЗАМ И АПОЛЛОНУ

С Муз мою песню начну, с Аполлона и с Зевса-Кронида.
Ибо от Муз и метателя стрел, Аполлона-владыки,
Все на земле и певцы происходят, и лирники-мужи;
Все же цари—от Кронида. Блажен человек, если Музы
5. Любят его: как приятен из уст его льющийся голос!

Радуйтесь, дочери Зевса, и песню мою отличите!
Ныне же, вас помянув, я к песне другой приступаю.

XXVI

К ДИОНИСУ

Шумного славить начну Диониса, венчанного хмелем,
Многохвалимого сына Кронида и славной Семелы.
Пышноволосые нимфы вскормили младенца, принявши
К груди своей от владыки-отца, и любовно в долинах
5. Нисы его воспитали. И, волей родителя-Зевса,
Рос он в душистой пещере, причисленный к сонму бессмертных.
После того, как возрос он, богинь попечением вечных,
Вдаль устремился по логам лесным Дионис многопетый,
Хмелем и лавром венчанный. Во след ему нимфы спешили,
10. Он же их вел впереди. И гремел весь лес необъятный.

Так же вот радуйся с нами и ты, Дионис многогроздный!
Дай и на будущий год нам в веселии снова собраться!

XXVII

К АРТЕМИДЕ

Песня моя—к златострельной и любящей шум Артемиде,
Деве достойной, оленей гоняющей, стрелолюбивой,
Одноутробной сестре златолирного Феба-владыки.
Тешась охотой, она на вершинах, открытых для ветра,
5. И на тенистых отрогах свой лук всезлатой напрягает,
Стрелы в зверей посылая стенящие. В страхе трепещут
Главы высокие гор. Густотенные чащи лесные
Стонут ужасно от рева зверей. Содрогается суша
И многорыбное море. Она-же с бестрепетным сердцем
10. Племя зверей избивает, туда и сюда обращаясь.
После того, как натешится сердцем охотница-дева,
Лук свой красиво-согнутый она, наконец, ослабляет
И направляется к дому великому милого брата
Феба, царя-дальновержца, в богатой округе дельфийской,
15. Чтобы из Муз и Харит хоровод устроить прекрасный.
Там она вешает лук свой с концами загнутыми, стрелы,
Тело приятно украсив, вперед выступает пред всеми
И хоровод зачинает. И пеньем бессмертным богини
Славят честную Лето, как детей родила она на-свет,
20. Между бессмертными всеми отличных умом и делами.

Радуйтесь, дети Кронида-царя и Лето пышнокудрой!
Ныне же, вас помянув, я к песне другой приступаю.

XXVIII

К АФИНЕ

Славную петь начинаю богиню, Палладу-Афину,
С хитро-искусным умом, светлоокую, с сердцем немягким,
Деву достойную, градов защитницу, полную мощи,
Тритогенею. Родил ее сам многомудрый Кронион.
5. Из головы он священной родил ее, в полных доспехах,
Золотом ярко сверкавших. При виде ее изумленье
Всех охватило бессмертных. Пред Зевсом эгидодержавным
Прыгнула быстро на землю она из главы его вечной,
Острым копьем потрясая. Под тяжким прыжком Светлоокой
10. Заколебался вéликий Олимп, застонали ужасно
Окрест лежащие земли, широкое дрогнуло море
И закипело волнами багровыми; хлынули воды
На берега. Задержал Гиперионов сын лучезарный
Надолго быстрых коней, и стоял он, доколе доспехов
15. Богоподобных своих не сложила с бессмертного тела
Дева Паллада-Афина. И радость объяла Кронида.

Радуйся много, о, дочерь эгидодержавного Зевса!
Ныне ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю.

XXIX

К ГЕСТИИ

Почесть большая на долю тебе, о, Гестия, досталась:
Вечно иметь пребыванье внутри обиталищ высоких
Всех олимпийцев и всех на земле обитающих смертных.
Дар превосходный и ценный тебе: у людей не бывает
5. Пира, в котором бы кто, при начале его, возлиянья
Первой тебе и последней не сделал вином медосладким.
Также и ты, сын Кронида и Маии, Аргоубийца,
Вестник блаженных бессмертных, с жезлом золотым, благодавец,
Помощь пошли благосклонно с Гестией почтенной и милой!
10. Оба в прекрасных жилищах людей, населяющих землю,
Вы обитаете, зная душою, что мило другому,
Разум и молодость в людях успехом прекрасным венчая.

Радуйся, Кроноса дочь,—и ты, и Гермес златожезлый!
Ныне же, вас помянув, я к песне другой приступаю.

XXX

К ГЕЕ, МАТЕРИ ВСЕХ

Петь начинаю о Гее-всематери,—прочно-устойной,
Древней, всему, что живет, пропитанье обильно дающей.
Ходит ли что по священной земле, или плавает в море,
Носится ль в воздухе,—все лишь твоими щедротами живо.
5. Ты плодовитость, царица, даешь, и даешь плодородье;
Можешь ты жизнь даровать человеку и можешь обратно
Взять ее, если захочешь. Блажен между смертных, кого ты
Благоволеньем почтишь: в изобилии все он имеет.
Тяжкие гнутся колосья на ниве, на пастбище тучном

10. Бродит бессчетное стадо, и благами дом его полон.
Сами ж они изобильный красивыми женами город
Правят по добрым законам. Богатство и счастие с ними.
Хвалятся их сыновья жизнерадостным, свежим весельем,
Девушки-дочери их, в хороводах кружась цветоносных,
15. Нежные топчут цветы на лугах в ликовании светлом.
Так отличаешь ты их, многочтимая, щедрая Гея!

Радуйся, матерь богов, о, жена многозвездного Неба!
Сердцу приятную жизнь ниспошли благосклонно за песню!
Ныне ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю.

XXXI

К ГЕЛИЮ

О, Каллиопа, от Зевса рожденная Муза! Возславь мне
Гелия: был он рожден волоокою Эйрифаессой
Сыну Геи-Земли и звездного Неба-Урана.
Эйрифаессу, родную сестру, Гиперион в супруги
5. Взял, и его подарила богиня потомством прекрасным:
Эос-Зарей розорукой, кудрявой Селеной-Луною
И богоравным, не знающим устали Гелием-Солнцем.
Свет с высоты посылает бессмертным богам он и людям,
На колесницу взойдя. Из-под шлема глядят золотого
10. Страшные очи его. И блестящими сам он лучами
Светится весь. От висков же бессмертной главы ниспадают
Волосы ярко-блестящие, лик обрамляя приятный,
Светом пронзающий даль. И под ветром сверкают на теле
Складки прекрасных и тонких одежд. Жеребцы же под богом...

* * * * *

15. Там задержавши коней с колесницею златояремной,
К вечеру с неба на них в Океан опускается Гелий.

Радуйся, царь! Благосклонно счастливую жизнь подари нам!
Песню начавши с тебя, воспою я людей говорящих,
Полубогов. Их дела показали бессмертные людям.

XXXII

К СЕЛЕНЕ

О длиннокрылой, прекрасной Луне расскажите мне, Музы,
Сладкоречивые, в пенье искусные дочери Зевса!
Неборожденное льется сиянье на темную землю
От головы ее вечной, и все красотою великой
5. Блещет в сиянии том. Озаряется воздух бессветный
Светом венца золотого, и небо светлеет, едва лишь

Из глубины Океана, омывши прекрасную кожу,
Тело облекши блестящей одеждою, издали видной,
И лучезарных запрягши коней,—крепкошеих, гривастых,—
10. По небу быстро погонит вперед их Селена-богиня
Вечером, в день полнолунья. Великий свой круг совершая,
Ярче всего в это время она, увеличившись, блещет,
В небе высоком, служа указаньем и знаменьем людям.
С нею когда-то сопрягся Кронион любовью и ложем.
15. Затяжелевши, ему родила она деву-Пандию,
Между бессмертными всеми отличную видом прекрасным.

Слава царице, Селене святой, белокурой богине,
С мудрым умом, пышнокудрой! Начавши с тебя, воспою я
Полубогов, знаменитых героев, деянья которых
20. Сладкими славят устами служители Муз, песнопевцы.

XXXIII

К ДИОСКУРАМ

Об Тиндаридах начните рассказ, быстроглазые Музы,—
Зевсовых детях, рожденных прекраснолодыжною Ледой,
Касторе, коннике мощном, и брате его Полидевке
Безукоризненном. С Зевсом-владыкой в любви сочетавшись,
5. Их под главою Тайгета, великой горы, во спасенье
Людям она родила, населяющим черную землю,
И кораблям быстроходным, когда на неласковом море
Зимние бури бушуют. С судна воссылая молитвы,
Люди на помощь зовут сыновей многомощного Зевса,
10. Режут им белых ягнят, на носу корабельном собравшись.
Ветер великий меж тем и свирепые волны морские
В воду корабль погрузили. Но вдруг появилися братья.
Быстро промчавшись эфиром на крыльях своих золотистых,
Ветров неистово-злых бушеванье тотчас прекратили.
15. Сделали гладкой поверхность над бездною белого моря,—
Для мореходцев прекраснейший знак и трудов разрешенье.
Радость взяла их, и горестный труд свой они прекратили.

Славьтесь во век, Тиндариды, коней укротители быстрых!
Ныне же, вас помянув, я к песне другой приступаю.

XXXIV

ОТРЫВКИ ГИМНА К ДИОНИСУ

* * * * *

Кто говорит, что в Дракане, а кто,—что в Икаре ветристом,
Кто,—что на Наксосе иль на Алфее глубокопучинном
Зевсу Семела тебя, забеременев, на свет родила,
Отрасль Кронида, Зашитый в бедро! Утверждают другие,
5. Будто бы в Фивах божественных ты, повелитель, родился.
Все они лгут. Вдалеке от людей породил тебя, прячась
От белолокотной Геры, родитель бессмертных и смертных.
Есть, вся заросшая лесом, гора высочайшая, Ниса:
От Финикии вдали, и вблизи от течений Египта...

* * * * *

10. «Изображений ее (?) немало воздвигнется в храмах.
Так как их три, то и будут на третьем году постоянно
Люди тебе приносить гекатомбы из жертв безупречных»...

(Молвил Кронион и иссиня черными двинул бровями:
Волны нетленных волос с головы Громовержца бессмертной
15. На плечи пали его: И Олимп всколебался великий.)

Так сказавши, кивнул головою Кронид-промыслитель.

Милостив будь, женолюб, Зашитый в бедро! И в начале
Мы воспеваем тебя, и в конце. Для того, кто захочет
Помнить о песне священной, забыть о тебе невозможно.

20. Радуйся также и ты, Дионис, из бедра порожденный,
С матерью славной Семелой, что ныне зовется Фионой!

ПРИМЕЧАНИЯ

I. К АПОЛЛОНУ ДЕЛОССКОМУ

Древнейший из всех дошедших гимнов. Его относят к седьмому и даже к началу восьмого века до Р. Х. Фукидид и Аристофан считали его принадлежащим Гомеру. Стиль серьезный и архаически-строгий. Интересно в конце гимна указание на его автора, слепого певца из Хиоса. Жители Делоса очень дорожили этим гимном: он был ими начертан на «левкоме» (набеленная гипсом доска для публичных записей и об'явлений) и помещен в храме Артемиды.

37.—Макар, сын Эола, основатель Лесбоса. «Обителью Макара» Лесбос называется и в «Илиаде» XXIV, 554.

60.—«Под почвой твоею нет жира». В интересной книге Б. Л. Богаевского «Земледельческая религия Афин» (Том I, Петроград, 1916) находим изложение взглядов древних эллинов на строение почвы. «Почва представляла собою верхний слой земли и обладала различными составными частями. Взрыхленная поверхность, приспособленная под вспашку и посев, была занята хлебным полем. Это была пахотная почва, эпихтонический слой земли, связанный с общим массивом почвы (хтонический слой), отличавшейся значительною мощностью. В этом хтоническом слое, непосредственно под пахотной почвой, находился мелкий слой почвы, питавший корни хлебных злаков и трав, а несколько ниже располагался более глубокий слой, в котором корни деревьев находили себе питание (Феофраст). Присутствие питательных элементов хтонического слоя определялось наличностью особой, лежавшей под слоем почвы, жировой прослойки (piar), благодаря которой поля приобретали плодородие, так как жировые соки оказывались весьма полезными для полей и способствовали урожаям. В силу присутствия под почвой «жира», остров циклопов, про который Одиссей рассказывал Алкиною, отличался особым плодородием (Одисс. IX, 135)».

II. К АПОЛЛОНУ ПИФИЙСКОМУ

Во всех дошедших кодексах этот гимн составляет одно целое с предыдущим. *Рункен* первый указал, что здесь—два отдельных гимна, лишь механически связанных вместе.

Пифийский гимн создан позже делосского. Относится, всего вероятнее, к девяностым годам шестого века.

7.—Плектр—пластинка, которою играющий на струнных инструментах ударял по струнам.

52—60. Очень темное место, различно толкуемое. «Несомненно только то,—говорит Преллер,—что речь идет о колесницах, которые приносились в дар богу Посейдону. Повидимому, с этим был связан обычай, что лицо, приносящее такой дар, перед въездом в священную рощу сходило с колесницы, и лошади одни, без управления, должны были везти ее в рощу. В том, куда направлялись лошади, могло заключаться знамение, принимает ли Посейдон милостиво приносимый дар, или нет».

95.—Иэпеан—Аполлон.

122.—Прекрасно струящийся родник—Кастальский.

127—177. Очевиднейшая вставка.

135—136. Прежде Зевс опозорил Геру тем, что рожденный ею Гефест оказался хромым и хилым.

231—252. Порядок географических названий в достаточной мере фантастический. Попытки составить по ним правильный маршрут были бы напрасны.

III. К ГЕРМЕСУ

По мнению *Баумгартена и Германна*, создан около 40 олимпиады (620—616 г. до Р. Х.). Перл юмористической поэзии, что, впрочем, вовсе не делает его антирелигиозным. «Новейшего читателя,—говорит проф. *Ф. Ф. Зелинский*,—этот гомерический гимн поражает прежде всего своим своеобразным отношением к богу Гермесу, да и к остальным богам. Непочтительным его назвать нельзя: его автор с видимой симпатией относится к плутням своего героя. Но в то же время он, повидимому, совсем забывает, что имеет дело с богом; мы имели бы право назвать его отношение к нему прямо атеистическим, если бы это слово не было слишком страшным для детской наивности нашего певца. Оглядываясь в прочей гомерической литературе, мы найдем самую близкую параллель нашему гимну в той песне Демодока в честь любви Ареса и Афродиты, которая составляет жемчужину восьмой рапсодии «Одиссеи». Та песнь поется у благочестивых феакийцев, очевидно, об атеизме не может быть и речи. Но она поется на пиршестве, последовавшем за жертвоприношением, после многих чарок вина, когда и людьми, и богами овладевало самое благодушное, беззаботное настроение. Смех и насмешка—приправа веселой трапезы; от них не убудет ни людям, ни, подавно, легко-живущим богам. А если так, то ясно одно: своеобразный характер нашего гимна знаменателен только для греческой религиозности, но не для греческой религии».

Интересное толкование гимна в связи с недавно открытою сатирическою драмою Софокла «Следопыты» см. во вводной статье *Ф. Ф. Зелинского* к его переводу этой драмы (*Софокл. Драмы, том III*).

Гимн к Гермесу больше всех других гимнов изувечен пропусками, позднейшими вставками и многочисленными искажениями переписчиков. Искажениями этими об'ясняется то обстоятельство, что средь речи четкой и яркой, сверкающей великолепными образами, то и дело попадаются обороты неточные и вялые, выражения произвольные, нередко граничащие с бессмыслицей. См., напр., ст.ст. 133, 136, 457, 476, 485. Этим же, вероятно, об'ясняются также мелкие противоречия и несоответствия, в таком обилии встречающиеся в гимне.

Гимн, повидимому, оканчивался на стихе 506. Конец—позднейшая прибавка.

25. Из черепахи хитро смастеривши певучую лиру.

36. Этот же стих в «Работах и днях» Гесиода, 365. Повидимому, пословица.

53. П л е к т р—см. прим. к ст. 7 второго гимна.

82—86. Место очень испорчено. Конъектур предложено много. Принимаем одну из более вероятных.

99—100. Только что вышла с дозором на небо Селена-богиня,
Дочерь Палланта-царя, Мегамедова славного сыно.

111. Так нам он дал и огонь, и снаряд для его добыванья,

127—133. Гермес приносит жертву двенадцати олимпийским богам. Курьез в том, что сам он также принадлежит к числу этих двенадцати. Его тянет поесть жареного мяса, как делают приносящие жертву; однако, как бог, он должен довольствоваться только запахом сжигаемой жертвы.

135—136. Место совершенно непонятное. Многочисленные толкования и конъектуры дают очень мало.

141. Целую ночь на пролет, при свете прекрасной Селены.

148—149. Прямо в богатый направился храм из тенистой пещеры,
Тихо ступая ногами: не топал, как делал снаружи.

167. Вместо бессмысленного buleuon мы принимаем поправку Гемолля и Лудвиха: bucoleon.

185. З е м л е д е р ж а т е л ь — Посейдон.

190. С р ы в а т е л ь к о л ю ч е к. Аполлон, повидимому, называет так старика потому, что он скармливает своему волу колючую изгородь.

221. Л у г а с ф о д е л ь н ы й. Асфодель—растение из семейства лилейных с крупными белыми цветами. В Греции асфодели занимают иногда большие пространства на влажных лугах. Когда они цветут, луга кажутся как бы покрытыми снегом.

236. Ж у т к и с л е д ы и т у д а, н о о т т у д а—т о г о е щ е ж у т ч е.—Жутки следы коров, ведущие туда, откуда коровы исчезли; еще жутче—ведущие оттуда загадочные следы, оставленные самим Гермесом.

552—567. Н е к и е Ф р и и... Имеется в виду гадание посредством метания жребьев. Камушки, которые употреблялись при этом, по Филохору, назывались также фриями. Очевидно, этот род гадания ценился в Греции невысоко. Апполлон отзывается об нем с иронией.

IV. К АФРОДИТЕ

Гимн, сравнительно хорошо сохранившийся. Время создания,—повидимому, седьмой век до Р. Х. Очень много заимствований из Гомера, ряд эпитетов и выражений взят также у Гесиода. Автор

без всякой нужды старается показать свои мифологические познания (длиннейший рассказ Афродиты о Ганимеде и Тифоне, совершенно ненужные вставки вроде ст. 23 или 42—45), сильно этим растягивая повествование. Но все это можно простить автору за то, что в гимне его, по-истине, чувствуется присутствие подлинной богини Афродиты. Богиня, действительно, зажгла его песню «страстью горячей», как о том молится автор десятого гимна. В гимне ярко чувствуется грозная сила властительной, необоримой страсти, покоряющей одинаково как владыку богов Зевса, так и барсов с волками; всех она делает своими рабами, и ужасом наполняет обезволенную душу даже самой богини любви. Многие критики находят, что гимн носит слишком «светский» характер, что чувственная окраска гимна принижает первоначальную высоту и достоинство богини. Нам такая точка зрения представляется слишком неисторичной. Можно ли с подобною меркою подходить к религии, где издавна священным изображением считался фаллус? И никак нельзя сказать, что Афродита низведена здесь на уровень Venus vulgivaga. Это она-то— vulgivaga, подчиняющаяся налетевшей на нее страсти с таким у ж а с о м, что даже в имени зачатого ею сына завещает запечатлеть этот ужас! Перед нами не поэмка о пикантных похождениях веселой богини, а трагическое повествование о роковой и сладостной мировой силе, подчиняющей себе все, что ни встретит.

23. С н о в а ж п о т о м и п о с л е д н е р о ж д е н н у ю, в о л е ю З е в с а. Крон, боясь что дети свергнут его с небесного престола, проглатывал каждого своего ребенка, немедленно по его рождении. Жене его Рее удалось скрыть от мужа последнего своего ребенка Зевса. Когда Зевс вырос, он победил Крона и заставил его извергнуть обратно проглоченных детей. «Перворожденная» Гистия, проглоченная первою, естественно, была извергнута обратно последнею. Поэтому она названа во второй раз «последнерожденною»

63. Нежным, нетленным, нарочно надушенным для Киферeи.

276—277. Я же, как только душою со всем, что случилось, управлюсь,
Снова на пятом году посещу тебя с сыном любезным.

V. К ДЕМЕТРЕ

Найден, сравнительно, совсем недавно, в 1780 году, у нас в Москве. Сложен в Аттике в начале шестого столетия до Р. Х., во времена Солона. Характер повествования серьезный и глубоко-религиозный, обвеянный духом мистерий Элевсина. Мы то и дело встречаем в гимне указания на связь описываемых событий с элевсинскими мистериями. Один из прекраснейших гимнов всего собрания.

9. Ц а р ь-П о л и д е к т.—Полидект, Полидегмон, Гостеприимец, Аидоней—названия «многоименного» Аида, властителя подземного царства.

202—205. Служанка Я м б а своим балагурством рассмешила Деметру и за это получила впоследствии право участвовать в таинствах богини: в

программу элевсинских празднеств входили бойкие шуточки и остроты) («ямбы»), которыми участники празднеств задирали друг друга и прохожих.

265—267. Смысл темен. Повидимому, речь идет об играх или состязаниях, ежегодно происходивших между элевсинцами и афинянами в память событий, связанных с пребыванием Деметры в Элевсине.

450. Рарион лежит вблизи Элевсина. Античный «бедекер» Павсаний сообщает: «Говорят, Рарийское поле первым было обсеяно и первым принесло плоды; отсюда обычай—брать с него ячмень, из муки которого приготовляются жертвенные пирожки. Здесь же показывают ток, названный по имени Триптолема, и алтарь» (1, 38, 6).

VI. К АФРОДИТЕ

9. Золотомедь, орихалк—желтая медь, латунь (сплав меди с цинком).

VII. ДИОНИС И РАЗБОЙНИКИ

Произведение эпохи поздней,—вероятно, александрийской. Эта же тема у Овидия в Метаморфозах, у Аполлодора и др., в скульптуре—на известном хорегическом памятнике Лисикрата, который и теперь можно видеть на улице Лисикрата в Афинах.

VIII. К АРЕСУ

Стилем, характером и настроением резко отличается от прочих гомеровых гимнов. В собрание гомеровых гимнов попал, повидимому, случайно. Большинство исследователей относит его к т. наз. орфическим гимнам.

7. Семипутные светила—семь планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и солнце с луною, которые древними также причислялись к планетам.

IX. К АРТЕМИДЕ

5. В Кларосе близ Колофона (Мал. Азия) находился храм Артемиды.

XV. К ГЕРАКЛУ ЛЬВИНОДУШНОМУ

Повидимому, относится к эпохе византийской.

XIX. К ПАНУ

Большинство исследователей относит к александрийской эпохе.

XXV. К МУЗАМ И АПОЛЛОНУ

Существеннейшая часть гимна, ст. 2—5, целиком заимствованы у Гесиода Теогония, 94—97).

XXIX. К ГЕСТИИ

10—12. Дошли в очень испорченном виде. Смысл не ясен и спорен.

XXXI. К ГЕЛИЮ

Этот гимн и два следующие относятся к эпохе очень поздней.

11—12. Вместо бессмысленного «pareiai» (щеки), мы принимаем поправку Пьерсона и Ильгена: «etheirai» (волосы).

XXXIV. ОТРЫВКИ ГИМНА К ДИОНИСУ

Александрийской эпохи. Ст. 13—15 взяты из «Илиады», 1,528—530.

4. «Зашитый в бедро». Зевс вынул из чрева своей погибшей возлюбленной Семелы недоношенного младенца—Диониса, зашил в свое бедро, доносил и родил его.

ГЕСИОД

РАБОТЫ И ДНИ

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ПОЭМА

Гесиод,—после Гомера самый популярный в Элладе эпический поэт,—жил, всего вероятнее, в восьмом веке до Р. Х. Отец его переселился из эолийской Кимы в Беотию, в местечко Аскру. Там Гесиод родился и вырос. С ранних лет он занимался обработкою отцовского участка. Пахота, сев, жатва, сбор винограда—все те же работы чередовались для него из года в год с однообразною правильностью и создавали типичнейшую мужицкую психологию, которая так характерна для Гесиода и так отличает его от героически настроенного Гомера.

У Гесиода был брат Перс,—человек ленивый, гулящий и завистливый. После смерти отца Перс остался недоволен произведенным разделом наследства и затеял против Гесиода процесс перед «царями» Феспийского округа, к которому принадлежала деревушка Аскра. Эти семь начальственных лиц стояли во главе управления краем; к ним же граждане обращались со своими распрями, как к судьям. Цари эти были подкуплены Персом и постановили приговор в его пользу. Но Персу не пошло в прок его добро, нажитое неправильным путем. Он наделал долгов, впал в бедность и стал влачить плачевную жизнь, нищенствуя с женою и детьми. Тщетно теперь умолял он брата о помощи. Гесиод остался бесчувствен ко всем его мольбам.

Это происшествие и послужило отправной точкой для составления поэмы «Работы и дни». Гесиод, прекрасно знакомый со всем деревенским укладом, рисует Персу жизнь, какую он должен был бы вести, чтобы быть добрым земледельцем. Это давало случай Гесиоду развернуть свои познания, которые могли оказаться полезными людям, находящимся в подобных же условиях жизни. Поэма

содержит советы по земледелию, мореходству, сведения по естественной истории и астрономии; она обнаруживает также близкое знакомство автора со старинными мифами и со всеми приемами, которыми приобретается благоволение богов. По мнению исследователей, часть этого знания, во всяком случае, Гесиоду могло дать только обучение у жрецов.

Поэма «Работы и дни» пользовалась у всей древности исключительной славою за обилие содержащихся в ней практических советов, религиозных сведений и моральных сентенций. Дети в школах изучали эту поэму. Характер самого Гесиода, как он вырисовывается в поэме, Пьер Вальц рисует так: «деятельный, практичный, склонный к приобретательству, но щепительно-честный, безжалостный в своей суровой добродетельности, всегда бодрый и редко удовлетворенный, то холодно рассудительный, то суеверный до полнейшей бессмыслицы, натура угрюмая и мрачная, у которой даже улыбка хранит горькую складку иронии,—Гесиод напоминает нам здоровое и крепкое растение, не имевшее возможности вполне развиться в тяжелом воздухе Беотии, на скудной почве горы Геликона». От себя прибавим: в поэме Гесиода с поразительною яркостью отражается весь духовный уклад мелкого земледельца-собственника, прошедший неизменным через десятки веков до настоящего времени.

Вас, пиерийские Музы, дающие песнями славу,
Я призываю,—воспойте родителя вашего Зевса!
Слава ль кого посетит, неизвестность ли, честь иль бесчестье,—
Все происходит по воле великого Зевса-владыки.
5. Силу бессильному дать и в ничтожество сильного ввергнуть,
Счастье отнять у счастливца, безвестного вдруг возвеличить,
Выпрямить сгорбленный стан или спину надменному сгорбить—
Очень легко громовержцу-Крониду, живущему в вышних.

Глазом и ухом внимай мне, во всем соблюдай справедливость,
10. Я же, о Перс, говорить тебе чистую правду желаю.

Знай же, что две существует различных Эриды на свете,
А не одна лишь всего. С одобреньем отнесся б разумный
К первой. Другая достойна упреков. И духом различны:
Эта—свирепые войны и злую вражду вызывает,
15. Грозная. Люди не любят ее. Лишь по воле бессмертных
Чтут они против желанья тяжелую эту Эриду.
Первая раньше второй рождена многосумрачной Ночью;
Между корнями земли поместил ее кормчий всевышний,
Зевс, в эфире живущий, и более сделал полезной:
20. Эта способна понудить к труду и ленивого даже;
Видит ленивец, что рядом другой близ него богатеет,
Станет и сам торопиться с насадками, с севом, с устройством
Дома. Сосед соревнует соседу, который к богатству
Сердцем стремится. Вот эта Эрида для смертных полезна.

25. Зависть питает гончар к гончару и к плотнику плотник;
Нищему нищий, певцу же певец соревнуют усердно.

Перс! Глубоко себе в душу сложи, что тебе говорю я:
Не поддавайся Эриде злорадной, душою от дела
Не отвращайся, беги словопрений судебных и тяжеб.
30. Некогда времени тратить на всякие тяжбы и речи
Тем, у кого невелики в дому годовые запасы
Вызревших зерен Деметры, землей посылаемых людям.
Пусть, кто этим богат, затевает раздоры и тяжбы
Из-за чужого достатка. Тебе же совсем не пристало б
35. Сызнова так поступать: но давай-ка, рассудим сейчас же
Спор наш с тобою по правде, чтоб было приятно Крониду.

Мы уж участок с тобой поделили, но много другого,
Силой забравши, унес ты, и славишь царей-дароядцев,
Спор наш с тобою вполне, как желалось тебе, рассудивших.

40. Дурни не знают, что больше бывает, чем всё, половина,
Что на великую пользу идут асфодели и мальва.

Скрыли великие боги от смертных источники пищи:
Иначе каждый легко бы в течение дня наработал
Столько, что целый бы год, не трудяся, имел пропитанье.
45. Тотчас в дыму очага он повесил бы руль корабельный,
Стала б ненужной работа волов и выносливых мулов.
Но далеко Громовержец источники пищи запрятал,
В гневе на то, что его обманул Прометей хитроумный.
Этого-ради жестокой заботой людей поразил он...

* * * * *

50. Спрятал огонь. Но опять благороднейший сын Иапета
Выкрал его для людей у всемудрого Зевса-Кронида,
В нарфекс порожний запрятав от Зевса, метателя молний.
В гневе к нему обратился Кронид, облаков собиратель:

«Сын Иапета, меж всеми искуснейший в замыслах хитрых!
55. «Рад ты, что выкрал огонь и мой разум обманом опутал
«На величайшее горе себе и людским поколеньям!
«Им за огонь ниспошлю я беду. И душой веселиться
«Станут они на нее и возлюбят, что гибель несет им».

Так говоря, засмеялся родитель бессмертных и смертных.
60. Славному отдал приказ он Гефесту, как можно, скорее
Землю с водою смешать, человеческий голос и силу
Внутрь заложить и обличье прелестное девы прекрасной,
Схожее с вечной богиней, придать изваянью. Афине
Он приказал обучить ее ткать превосходные ткани,
65. А золотой Афродите—обвеять ей голову дивной
Прелестью, мучащей страстью, грызущею члены заботой.
Аргоубийце ж Гермесу, вожатаю, разум собачий
Внутрь ей вложить приказал и двуличную, лживую душу.

Так он сказал. И Кронида-владыки послушались боги.
70. Зевсов приказ исполняя, подобие девы стыдливой
Тотчас слепил из земли знаменитый хромец обеногий.
Пояс надела, оправив одежды, богиня Афина.
Девы-Хариты с царицей-Пейфо золотым ожерельем
Нежную шею обвили. Прекрасноволосые Оры
75. Пышные кудри цветами весенними ей увенчали.
(Все украшенья на теле оправила дева-Афина).
Аргоубийца ж, вожатый, вложил после этого в грудь ей
Льстивые речи, обманы и лживую, хитрую душу.
80. Женщину эту глашатай бессмертных Пандорою назвал,
Ибо из вечных богов, населяющих домы Олимпа,
Каждый свой дар приложил, хлебоядным мужам на погибель.

Хитрый, губительный замысел тот приводя в исполненье,
Славному Аргоубийце, бессмертных гонцу, свой подарок
85. К Эпиметею родитель велел отвести. И не вспомнил
Эпиметей, как ему Прометей говорил, чтобы дара
От олимпийского Зевса не брать никогда, но обратно
Тотчас его отправлять, чтобы людям беды не случилось.
Принял он дар и тогда лишь, как зло получил, догадался.

90. В прежнее время людей племена на земле обитали,
Горестей тяжких не зная, не зная ни трудной работы,
Ни вредоносных болезней, погибель несущих для смертных.
94. Снявши великую крышку с сосуда, их все распустила
95. Женщина эта и беды лихие наслала на смертных.
Только Надежда одна в середине за краем сосуда
В крепком осталась своем обиталище,—вместе с другими
Не улетела наружу: успела захлопнуть Пандора
Крышку сосуда, по воле эгидодержавного Зевса.
100. Тысячи ж бед улетевших меж нами блуждают повсюду.
Ибо исполнена ими земля, исполнено море.
К людям болезни,—которые днем, а которые ночью,
Горе неся и страданья, по собственной воле приходят
В полном молчании: не дал им голоса Зевс-промыслитель.
105. Замыслов Зевса, как видишь, избегнуть никак невозможно.

Если желаешь, тебе расскажу хорошо и разумно
Повесть другую теперь. И запомни ее хорошенько.

109. Создали прежде всего поколенье людей золотое
110. Вечно-живущие боги, владельцы жилищ олимпийских.
Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба.
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны
115. Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили.
А умирали, как будто объятые сном. Недостаток
Был им ни в чем неизвестен. Большой урожай и обильный
Сами давали собой хлебодарные земли. Они же,
Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства,—
120. Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных.
После того, как земля поколение это покрыла,
В благостных демонов все превратились они наземельных
Волей великого Зевса: людей на земле охраняют,
Зорко на правые наши дела и неправые смотрят.
125. Тьмою туманной одевшись, обходят всю землю, давая
Людям богатство. Такая им царская почесть досталась.

После того поколенье другое, уж много похуже,
Из серебра сотворили великие боги Олимпа.
Было не схоже оно с золотым ни обличьем, ни мыслью.
130. Сотню годов возрастал человек неразумным ребенком,
Дома близ матери доброй забавами детскими тешась.
А, наконец, возмужавши и зрелости полной достигнув,

Жили лишь малое время, на беды себя обрекая
Собственной глупостью: ибо от гордости дикой не в силах
135. Были они воздержаться, бессмертным служить не желали,
Не приносили и жертв на святых алтарях олимпийцам,
Как по обычаю людям положено. Их под землею
Зевс-громовержец сокрыл, негодуя, что почестей люди
Не воздавали блаженным богам, на Олимпе живущим.
140. После того, как земля поколенье и это покрыла,
Дали им люди названье подземных смертных блаженных.
Хоть и на месте втором, но в почете у смертных и эти.

Третье родитель-Кронид поколенье людей говорящих,
Медное создал, ни в чем с поколеньем несхожее прежним.
145. С копьями. Были те люди могучи и страшны. Любили
Грозное дело Арея, насильщину. Хлеба не ели.
Крепче железа был дух их могучий. Никто приближаться
К ним не решался: великою силой они обладали,
И необорные руки росли на плечах многомощных.
150. Были из меди доспехи у них и из меди жилища,
Медью работы свершали: никто о железе не ведал.
Сила ужасная собственных рук принесла им погибель.
В затхлую область они леденящего душу Аида
Все низошли безымянно; и, как ни страшны они были,
155. Черная смерть их взяла и лишила сияния солнца.

После того, как земля поколенье и это покрыла,
Снова еще поколенье, четвертое, создал Кронион
На многодарной земле, справедливее прежних и лучше,—
Славных героев божественный род. Называют их люди
160. Полубогами: они на земле обитали пред нами.
Грозная их погубила война и ужасная битва.
В Кадмовой области славной одни свою жизнь положили,
Из-за эдиповых стад подвизаясь у Фив семивратных;
В Трое другие погибли, на черных судах переплывши
165. Ради прекрасноволосой Елены чрез бездны морские.
Многих в кровавых боях исполнение смерти покрыло;
Прочих к границам земли перенес громовержец-Кронион,
Дав пропитание им и жилища отдельно от смертных.
170. Сердцем ни дум, ни заботы не зная, они безмятежно
Близ океанских пучин острова населяют блаженных.
Трижды в году хлебодарная почва героям счастливым
Сладостью равные меду плоды в изобилье приносит.

Если бы мог я не жить с поколением пятого века!
175. Раньше его умереть я хотел бы, иль позже родиться.
Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя,
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им.
[Все же ко всем этим бедам примешаны будут и блага.
180. Зевс поколенье людей говорящих погубит и это
После того, как на свет они станут рождаться седыми].
Дети—с отцами, с детьми—их отцы сговориться не смогут.

Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю—хозяин.
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то.
185. Старых родителей скоро совсем почитать перестанут;
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети
Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет
Больше никто доставлять пропитанья родителям старым.
Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью.
190. И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель,
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право.
Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые
Лживыми станут вредить показаньями, ложно кляняся.
195. Следом за каждым из смертных бессчастных пойдет неотвязно
Зависть злорадная и злоязычная, с ликом ужасным.
Скорбно с широкодорожной земли на Олимп многоглавый,
Крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело,
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,
200. Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды
Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет.

Басню теперь расскажу я царям, как они ни разумны.
Вот что однажды сказал соловью пестрогласному ястреб,
Когти вонзивши в него и неся его в тучах высоких.
205. Жалко пищал соловей, пронзенный кривыми когтями,
Тот же властительно с речью такою к нему обратился:

«Что ты, несчастный, пищишь? Ведь на много тебя я сильнее!
«Как ты ни пой, а тебя унесу я, куда мне угодно.
«И пообедать могу я тобой, и пустить на свободу.
210. «Разума тот не имеет, кто меряться хочет с сильнейшим:
«Не победит он его,—к униженью лишь горе прибавит!»

Вот что стремительный ястреб сказал, длиннокрылая птица.

Слушайся голоса правды, о, Перс, и гордости бойся!
Гибельна гордость для малых людей, Да и тем, кто повыше,
215. С нею прожить нелегко; тяжело она ляжет на плечи,
Только лишь горе случится. Другая дорога надежней:
Праведен будь! Под конец посрамит гордеца непременно
Праведный. Поздно, уже пострадав, узнает это глупый.

Ибо тотчас за неправым решением Орк поспешает.
220. Правды же путь неизменен, куда бы ее ни старались
Неправосудьем своим своротить дароядные люди.
С плачем вослед им обходит она города и жилища,
Мраком туманным одевшись, и беды на тех посылает,
Кто ее гонит и суд над людьми сотворяет неправый.

225. Там же, где суд справедливый находят и житель туземный,
И чужестранец, где правды никто никогда не преступит,—
Там государство цветет, и в нем процветают народы;
Мир, воспитанью способствуя юношей, царствует в крае;
Войн им свирепых не шлет никогда Громовержец-владыка.

230. И никогда правосудных людей ни несчастье, ни голод
Не посещают. В пирах потребляют они, что добудут.
Пищу обильную почва приносит им; горные дубы
Жолуди с веток дают и пчелиные соты из дупел.
Еле их овцы бредут, отягченные шерстью густою,
235. Жены детей им рожают, наружностью схожих с отцами.
Всякие блага у них в изобильи. И в море пускаться
Нужды им нет: получают плоды они с нив хлебодарных.

Кто же в надменности злой и в делах нечестивых коснеет,
Тем воздает по заслугам владыка-Кронид дальнозоркий.

240. Целому городу часто в ответе бывать приходилось
За человека, который грешит и творит беззаконье.

Беды великие сводит им с неба владыка-Кронион,—
Голод совместно с чумой. Исчезают со света народы.
Женщины больше детей не рожают, и гибнут дома их
245. Предначертаньем владыки богов, олимпийского Зевса.
Или же губит у них он обильное войско, иль рушит
Стены у города, либо им в море суда потопляет.

Сами, цари, поразмыслите вы о возмездии этом.
Близко, повсюду меж нас, пребывают бессмертные боги
250. И наблюдают за теми людьми, кто своим кривосудьем,
Кару презревши богов, разоренье друг другу приносит.
Посланы Зевсом на землю-кормилицу три мириады
Стражей бессмертных. Людей земнородных они охраняют,
Правых и злых человеческих дел соглядатаи, бродят
255. По миру всюду они, облеченные мглою туманной.
Есть еще дева великая Дике, рожденная Зевсом,
Славная, чтимая всеми богами, жильцами Олимпа.
Если неправым деяньем ее оскорбят и обидят,
Подле родителя-Зевса немедля садится богиня
260. И о неправде людской сообщает ему. И страдает
Целый народ за нечестье царей, злоумышленно правду
Неправосудьем своим от прямого пути отклонивших.
И берегитесь, цари-дароядцы, чтоб так не случилось!
Правду блюдите в решеньях и думать забудьте о кривде.

265. Зло на себя замышляет, кто зло на другого замыслил.

Злее всего от дурного совета советчик страдает.

Зевсово око все видит и всякую вещь примечает;
Хочет владыка, глядит,—и от взоров не скроется зорких,
Как правосудье блюдется внутри государства любого.
270. Нынче-ж и сам справедливым я быть меж людей не желал бы,
Да заказал бы и сыну: ну, как же тут быть справедливым,
Если, чем кто неправее, тем легче управу находит?
Верю, однако, что Зевс не всегда же терпеть это будет.

Перс! Хорошенько запомни душою внимательной вот что:

275. Слушайся голоса правды и думать забудь о насильи.
Ибо такой для людей установлен закон Громовержцем:
Звери, крылатые птицы и рыбы, пощады не зная,
Пусть поедают друг друга: сердца их не ведают правды.
Людям же правду Кронид даровал,—высочайшее благо.
280. Если кто, истину зная, правдиво дает показанья,—
Счастье тому посылает Кронион широкоглядящий.
Кто-ж в показаньях с намереньем лжет и неправо клянется,
Тот, справедливость разя, самого себя ранит жестоко.
Жалким, ничтожным у мужа такого бывает потомство;
285. А доброклятвенный муж и потомков оставит хороших.

С доброю целью тебе говорю я, о, Перс безрассудный!
Зла натворить, сколько хочешь,—весьма немудреное дело.
Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко.
Но добродетель от нас отделили бессмертные боги
290. Тягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога,
И трудновата в начале. Но если достигнешь вершины,
Легкой и ровною станет дорога, тяжелая прежде.

Тот—наилучший меж всеми, кто всякое дело способен
Сам обсудить и заране предвидит, что выйдет из дела.
295. Чести достоин и тот, кто хорошим советам внимает.
Кто-же не смыслит и сам ничего, и чужого совета
К сердцу не хочет принять,—совсем человек бесполезный.

Помни всегда о завете моем и усердно работай,
Перс, о, потомок богов,—чтобы голод тебя ненавидел,
300. Чтобы Деметра в прекрасном венке неизменно любила
И наполняла амбары тебе всевозможным припасом.
Голод, тебе говорю я, всегдашний товарищ ленивца.

Боги и люди по праву на тех негодуют, кто праздно
Жизнь проживает, подобно безжальному трутню, который,
305. Сам не трудяся, работой питается пчел хлопотливых.
Так полюби-же дела свои во-время делать и с рвеньем.
Будут ломиться тогда у тебя от запасов амбары.

Труд человеку стада добывает и всякий достаток.
Если трудиться ты любишь, то будешь гораздо милее
310. Вечным богам, как и людям: бездельники всякому мерзки.

Нет никакого позора в работе: позорно безделье.
Если ты трудишься,—скоро богатым, на зависть ленивцам,
Станешь. А вслед за богатством идут добродетель с почетом.
Хочешь бывалое счастье вернуть, так уж лучше работай,
315. Сердцем к чужому добру перестань безрассудно тянуться
И, как советую я, о своем пропитаньи подумай.

Стыд нехороший повсюду сопутствует бедному мужу,—
Стыд, от которого людям так много вреда, но и пользы.
Стыд—удел бедняка, а взоры богатого смелы.

320. Лучше добром богоданным владеть, чем захваченным силой.
Если богатство великое кто иль насильем добудет,
Или разбойным своим языком,—как бывает нередко
С теми людьми, у которых стремлением жадным к корысти
Ум отуманен, и вытеснен стыд из сердца бесстыдством,—
325. Боги легко человека такого унизят, разрушат
Дом,—и лишь краткое время он тешиться будет богатством.
То же случиться и с тем, кто обидит просящих защиты
Иль чужестранцев, кто к брату на ложе взойдет, чтобы тайно
Совокупиться с женою его,—что весьма непристойно!—
330. Кто легкомысленно против сирот погрешит малолетних,
Кто нехорошею бранью отца своего обругает,—
Старца, на грустном пороге стоящего старости тяжкой.
Истинно, вызовет гнев самого он Кронида, и кара
Тяжкая рано иль поздно постигнет его за нечестье!

335. Этого ты избегай безрассудной своею душою.
Жертвы бессмертным богам приноси, сообразно достатку,
Свято и чисто, сжигай перед ними блестящие бедра,
Кроме того, возлиянья богам совершай и куренья,
Спать ли идешь, появленье ль священного света встречаешь,
340. Чтобы к тебе относились они с благосклонной душою,
Чтоб покупал ты участки других, а не твой бы—другие.

Друга зови на пирушку, врага обходи приглашеньем.
Тех, кто с тобою живет по соседству, зови непременно:
Если несчастье случится,—когда еще пояс подвяжет
345. Свойственник твой! А сосед и без пояса явится тотчас.

Истая язва—сосед нехороший; хороший—находка.

В жизни хороший сосед приятнее почестей всяких.

Если бы не был сосед твой дурен, то и бык не погиб бы.

Точно отмерив, бери у соседа взаймы; отдавая,
350. Меряй такою же мерой, а можешь,—так даже и больше,
Чтобы наверно и впредь получить, коль нужда приключится,

Выгод нечистых беги: нечистая выгода—гибель.

Тех, кто любит,—люби; если кто нападет,—защищайся.

Только дающим давай; ничего не давай не дающим.

355. Всякий дающему даст, не дающему всякий откажет.

Дать—хорошо; но насильно берущего смерть ожидает.

Тот, кто охотно дает, если даже дает он и много,—
Чувствует радость, давая, и сердцем своим веселится.
Если же кто своевольно берет, повинуясь бесстыдству,—
360. Пусть и немного он взял,—но печалит нам милое сердце.

Если и малое даже прикладывать к малому будешь,
Скоро большим оно станет; прикладывай только почаще.

Жгучего голода тот избежит, кто копить приучился.

Если что заперто дома, об этом заботы немного.

365. Дома полезнее быть, оставаться снаружи опасно.

Брать—хорошо из того, что имеешь. Но гибель для духа
Рваться к тому, чего нет. Хорошенько подумай об этом.

Пей себе вволю, когда начата иль кончается бочка,
Будь на середке умерен; у дна же смешна бережливость.

370. Другу всегда обеспечена будь договорная плата,

С братом,—и с тем, как бы в шутку, дела при свидетелях делай.

Как подозрительность, так и доверчивость гибель приносит.

Женщин беги вертихвосток, манящих речей их не слушай.
Ум тебе женщина вскружит и живо амбары очистит.
375. Верит, поистине, вору ночному, кто женщине верит!

Единородным да будет твой сын. Тогда сохранится
В целости отческий дом и умножится всяким богатством.
Пусть он умрет стариком, и опять одного лишь оставит.
Впрочем, Крониду легко осчастливить богатством и многих:
380. Больше о многих заботы, однако, и выгоды больше.

Если к богатству в груди твоей сердце стремится, то делай,
Как говорю я, свершая работу одну за другою.

Лишь на востоке начнут восходить Атлантиды-Плеяды,
Жать поспешай; а начнут заходить,—за посев принимайся.
385. На сорок дней и ночей совершенно скрываются с неба
Звезды-Плеяды, потом же становятся видными глазу
Снова в то время, как люди железо точить начинают.
Всюду таков на равнинах закон,—и для тех, кто у моря
Близко живет, и для тех, кто в ущелистых горных долинах,
390. От многошумного моря седого вдали, населяет
Тучные земли. Но сеешь ли ты, или жнешь, или пашешь,—
Голым работай всегда! Только так приведешь к окончанью
Во-время всякое дело Деметры. И во-время будет
Все у тебя возрастать. Недостатка ни в чем не узнаешь
395. И по чужим безуспешно домам побираться не будешь.
Так ведь ко мне ты теперь и пришел. Но тебе ничего я
Больше не дам, не отмерю: работай, о Перс безрассудный!

Вечным законом бессмертных положено людям работать.
Иначе вместе с детьми и женою, в стыде и печали,
400. По равнодушным соседям придется тебе побираться.
Разика два или три подадут вам, но, если наскучишь,
То ничего не добьешься, напрасно лишь речи потратишь.
Пастбище слов твоих будет без пользы. Подумай-ка лучше,
Как расплатиться с долгами и с голодом больше не знаться.

405. В первую очередь—дом и вол работящий для пашни,
Женщина, чтобы волов подгонять: не жена,—покупная!
Все же орудия в доме да будут в исправности полной,
Чтоб не просить у другого; откажет он,—как обернешься?
Нужное время уйдет, и получится в деле заминка.
410. И не откладывай дела до завтрева, до послезавтра:
Пусты амбары у тех, кто работать ленится и вечно
Дело откладывать любит: богатство дается стараньем.
Мешкотный борется с бедами всю свою жизнь непрерывно.

В позднюю осень, когда ослабляет палящее солнце
415. Жгучий свой зной потогонный, и льется на землю дождями
Зевс многомощный, и снова становится тело людское
Быстрым и легким,—недолго тогда при сиянии солнца
Над головами рожденных для смерти людей совершает
Сириус путь свой, но больше является на небе ночью.
420. Леса, который теперь ты подрубишь, червяк не источит.
Сыплются листья с деревьев, побеги свой рост прекращают.
Самое время готовить из дерева нужные вещи.
Срезывай ступку длиной в три стопы, а пестик—в три локтя;
Ось—длиною в семь стоп,—всего это будет удобней;
425. Если ж и в восемь, то выйдет еще из куска колотушка.
Режь косяки по три пяди к колесам в десять ладоней.
Режь и побольше суков искривленных из падуба; всюду
В поле ищи и в горах и, нашедши, домой относи их:
Нет превосходнее скрепы для плуга, чем скрепа такая,
430. Если рабочий Афины, к рассохе кривую ту скрепу
Прочно приладив, гвоздями прибьет ее к плужному дышлу.
Два снаряди себе плуга, чтоб были всегда под рукою,—
Цельный один, а другой составной; так удобнее будет:
Если сломаешь один, остается другой наготове.
435. Дышло из вяза иль лавра готовь,—не точат их черви;
Скрепу из падуба делай, рассоху—из дуба. Быков же
Девятилетних себе покупай ты, вполне возмужалых:
Сила таких немала, и всего они лучше в работе.
Драться друг с другом не станут они в борозде, не сломают
440. Плуга тебе, и в работе твоей перерыва не будет.
Сорокалетний за ними да следует крепкий работник,
Съевший к обеду четыре куска восьмидольного хлеба,
Чтобы работал усердно и борозду гнал бы прямую,
Вбок на приятелей глаз не косил бы, но душу в работу
445. Вкладывал. Лучше его никогда молодой не сумеет
Поля засеять, чтоб не было нужды в посеве вторичном.
Кто помоложе, тот больше на сверстников в сторону смотрит.

Строго следи, чтобы во-время крик журавлиный услышать,
Из облаков с поднебесных высот ежегодно звучащий;
450. Знак он для сева дает, провозвестником служит дождливой
Зимней погоды и сердце кусает мужам безволовным.
Дома корми у себя в это время волов криворогих.
Слово нетрудно сказать: «одолжи мне волов и телегу!»
Но и нетрудно отказом ответить: «волы, брат, в работе!»
455. Самонадеянно скажет иной: «сколочу-ка телегу!»
Но ведь в телеге-то сотня частей! Иль не знает он, дурень?
Их бы вот загодя он на дому у себя заготовил!

Только что время для смертных придет приниматься за вспашку,
Ревностно все за работу берись,—батраки и хозяин.
460. Влажная-ль почва, сухая-ль,—паши, передышки не зная,
С ранней вставая зарею, чтоб пышная выросла нива.
Вспашешь весною, а летом вздвоишь,—и обманут не будешь.
Передвоив, засевай, пока еще борозды рыхлы.
Пар вздвоённый детей от беды защитит и утешит.

465. Жарко подземному Зевсу молись и Деметре пречистой,
Чтоб полновесными вышли священные зерна Деметры.
В самом начале посева молись им, как только за ручку
Плужную взявшись рукой, острием батога прикоснешься
К спинам волов, на ярмо налегающих. Сзади с мотыгой
470. Мальчик-невольник пускай затруднение птицам готовит,
Семя землей засыпая. Для смертных порядок и точность
В жизни полезней всего, а вреднее всего беспорядок.
Склонятся так до земли наливные колосья на ниве,—
Только бы добрый конец пожелал даровать Олимпиец!
475. От паутины очисти сосуды. И будешь, надеюсь,
Всею душой веселиться, припасы из них доставая.
В полном достатке до светлой весны доживешь, и не будет
Дела тебе до соседей,—в тебе они будут нуждаться.

Если священную почву засеешь при солнповороте,—
480. Жать тебе сидя придется, помалу горстями хватая;
Пылью покрытый, не очень-то радуясь; свяжешь колосья
И понесешь их в корзине; никто на тебя и не взглянет.
Впрочем, изменчивы мысли у Зевса-эгидодержавца,
Людям, для смерти рожденным, в решенья его не проникнуть.
485. Если посеешься поздно, то вот что помочь тебе может:
В пору, когда куковать начинает кукушка в дубовой
Темной листве, услаждая людей на земле беспредельной,
К третьему дню пусть Кронид задождит и струится, доколе
В уровень станет с воловьим копытом,—не выше, не ниже.
490. Так—и посеявший поздно сравняется с сеявшим рано.
Все это в сердце своем сбереги и следи хорошенько
За наступающей светлой весной, за дождливыми днями.

Не заходи ни в корчму, разогретую жарко, ни в кузню
Зимней порою, когда человеку работать мешает

495. Холод: прилежный работу найдет и теперь себе дома.
Бойся, чтоб бедность жестокой зимою тебя не настигла:
Будешь ты тискать рукой исхудалой опухшие ноги.
Часто лентяй, исполненья надежды пустой ожидая,
Впавши в нужду, на дела нехорошие сердцем склонялся.
500. Трудно тому бедняку, кто в корчмах заседает, надеждой
Тешиться доброй, когда он и хлеба куска не имеет.

Предупреждай домочадцев, когда еще лето в разгаре:
«Помните, лето не вечно продлится,—готовьте запасы!»

Месяц очень плохой—Ленеон, для скотины тяжелый.
505. Бойся его и жестоких морозов, которые почву
Твердою кроют корой под дыханием ветра Борея:
К нам он из Фракии дальней приходит, кормилицы коней,
Море глубоко взрывает, шумит по лесам и равнинам.
Много высоковетвистых дубов и раскидистых сосен
510. Он, налетев безудержно, бросает на тучную землю
В горных долинах. И стонет под ветром весь лес неисчетный.
Дикие звери, хвосты между ног поджимая, трясутся,—
Даже такие, что мехом одеты. Пронзительный ветер
Их продувает теперь, хоть и густо-косматы их груди.
515. Даже сквозь шкуру быка пробирается он без задержки,
Коз длинношерстых насквозь продувает. И только не может
Стад он овечьих продуть, потому что пушисты их руна,—
Он, даже старцев бежать заставляющий силой своею.
Не продувает он также и девушки с кожею нежной;
520. Дома сидеть остается она подле матери милой,
Чуждая мыслей пока о делах многозлатной Киприды;
Тщательно нежное тело омывши и смазавши жирно
Маслом, во внутренней комнате спать она мирно ложится
В зимнюю пору, когда в своем доме холодном и темном
525. Грустно **безкостый** ютится и сам себе ногу кусает;
Солнце не светит ему и не кажет желанной добычи:
Ходит оно далеко-далеко, над страной и народом
Черных людей, и приходит к всеэллинам много позднее.
Все обитатели леса, без рог ли они, иль с рогами,
530. Щелкая жалко зубами, скрываются в чащи лесные.
Всем одинаково душу тревожит им та же забота:
Как бы в лесистом ущельи каком иль скалистой пещере
Скрыться от холода. Выглядят люди тогда, как **триногий**
С сгорбленной круто спиной, с головою, к земле обращенной:
535. Бродят, подобно ему, избегая блестящего снега.

В эту бы пору советовал я, для укрытия тела,
Мягкий плащ надевать и хитон до земли доходящий,
Вытканный густо уточною нитью по редкой основе.
В них одевайся, чтоб волосы кожи твоей не дрожали
540. И не стояли по телу торчмя, не ерошились зябко.
На ноги—обувь из кожи быка, что не сдох, а зарезан;
В пору тебе чтоб была и выстлана войлоком мягким.
Шкуры козлят первородных, лишь холод осенний наступит,
Сшей сухожильем бычачьим и на спину их и на плечи,

545. Если под дождь попадаешь, накидывай. Голову сверху
Войлочной шляпой искусной покрой, чтобы уши не мокли.
Холодны вори в то время, как на-земь Борей упадает.
Зорями с звездного неба на землю туман благодатный
Сходит и нивам владельцев блаженных несет плодородье.
550. С рек непрерывно текущих, набравши воды изобильно
И высоко от земли унесенный дыханием ветра,
То он вечерним дождем проливается, то улетает,
Если подует фракийский Борей, разгоняющий тучи.
Раньше тумана работу кончай и домой отправляйся,
555. Чтоб непроглядный туман тот, спустившись, тебя не окутал,
Не промочил бы одежды и влажным не сделал бы тела.
Этого ты избегай. Тяжелейший за целую зиму
Названный месяц; тяжел для людей он, тяжел для скотины.
Корму довольно волам половины теперь, человеку ж
560. Больше давай: тут поможет сама долгота благосклонной.

Строго за этим следи, и до самого нового года
Ночи выравнивай с днями, пока не родит тебе снова
Общая матерь-земля пищевых всевозможных припасов.

Только лишь царственный Зевс шестьдесят после солнцеворота
565. Зимних отмеряет дней, как выходит с вечерней зарею
Из океанских священных течений Арктур светоносный
И в продолжение ночи все время сверкает на небе.
Следом за ним, с наступившей весною, является к людям
Ласточка-Пандионида с звенящею, громкою песнью;
570. Лозы подрезывать лучше всего до ее появленья.

В пору, когда от Плеяд убегая, с земли на растенья
Станет всползать домоносец, не время окапывать лозы.
Нужно серпы навострять и рабочих будить спозаранку;
Долгого сна по утрам избегай и тенистых местечек
575. В жатву, когда иссыхает от солнца и морщится кожа.
Утром пораньше вставай и старайся домой поскорее
Весь урожай увезти, чтобы пищей себя обеспечить.
Добрую треть целодневной работы заря совершает.
Путь ускоряет заря, ускоряет и всякое дело.
580. Только забрезжит заря,—и выводит она на дорогу
Много людей, и на многих волов ярмо налагает.

В пору, когда артишоки цветут, и, на дереве сидя,
Быстро, размеренно льет из-под крыльев трескучих цикада
Звонкую песню свою средь томящего летнего зноя,—
585. Козы бывают жирнее всего, а вино всего лучше,
Жены всего похотливей, всего слабосильней мужчины:
Сириус сушит колени и головы им беспощадно,
Зноем тела опаляя. Теперь для себя отыщи ты
Место в тени под скалой и вином запасися библинским.
590. Сдобного хлеба к нему, молока от козы некормящей,
Мяса кусок от телушки, вскормленной лесною травою,
Иль первородных козлят. И винцо попивай беззаботно,

Сидя в прохладной тени и насытивши сердце едою,
Свежему ветру Зефиру навстречу лицо повернувши,
595. Глядя в прозрачный источник с бегущею вечно водою.
Часть лишь одну ты вина наливай, воды же три части.

Только начнет восходить Орионова сила, рабочим
Тотчас вели молотить священные зерна Деметры
На округленном и ровном току, не закрытом от ветра.
600. Тщательно вымерив, ссыпь их в сосуды. А после того, как
Кончишь работу и дома припасы готовые сложишь,
Мой бы совет,—батраком раздобудься бездомным, да бабой,—
Но чтоб была без ребят! С сосунком неудобна прислуга.
Псом заведись острозубым, да с кормом ему не скупися,—
605. Спящего днем человека ты можешь тогда не бояться.
Сена к себе наноси и мякины, чтоб на год хватило
Мулам твоим и волам. И тогда пусть рабочие отдых
Милым коленям дадут, и волов отпрягут под'яремных.

Вот высоко середь неба уж Сириус стал с Орионом,
610. Уж начинает заря розоперстая видеть Арктура:
Режь, о, Перс, и домой уноси виноградные гроздья.
Десять дней и ночей непрерывно держи их на солнце,
Дней на пяток после этого в тень положи, на шестой же
Лей уже в бочки дары Диониса, несущего радость.
615. После ж того, как Плеяды, Гиады и мощь Ориона
Станут на западе,—помни, что время посева настало.

Вот как дели полевые работы в течение года.

Если же по морю хочешь опасному плавать, то помни:
После того, как ужасная мощь Ориона погонит
620. С неба Плеяд, и падут они в мглисто-туманное море,
С яростной силою дуть начинают различные ветры.
На море темном не вздумай держать корабля в это время;
Не забывай о совете моем и работай на суше.
Черный корабль из воды извлеки, обложи отовсюду
625. Камнем его, чтобы ветра выдерживал влажную силу;
Вытащи втулку,—иначе сгниет он от зевсовых ливней;
После того отнесешь к себе в дом корабельные снасти
Да поладнее свернешь корабля мореходного крылья;
Прочно сработанный руль корабельный повесишь над дымом,—
630. И дожидайся, пока не настанет для плаванья время.
В море тогда свой корабль быстроходный спускай и такою
Кладью его нагружай, чтоб домой с барышем воротиться,
Как это делал отец наш с тобою, о Перс безрассудный,
В поисках добрых доходов на легких судах раз'езжая.
635. Некогда так и сюда вот на судне заехал он черном
Длинной дорогой морской, эолийскую Киму покинув.
Не от избытка, богатства иль счастья оттуда бежал он,
Но от жестокой нужды, посылаемой людям Кронидом.
Близ Геликона осел он в деревне нерадостной Аскре,
640. Тягостной летом, зимою плохой, никогда не приятной.

В памяти сроки держи, и ко времени всякое дело
Делай, о, Перс. В мореходстве особенно все это важно.
Малое судно хвали, но товары грузи на большое:
Больше положишь товару,—и выгоды больше получишь;
645. Только бы ветры сдержали дурные свои дуновенья!

Если же в плаванье вздумаешь ты безрассудно пуститься,
Чтоб от долгов отвертеться и голода злого избегнуть,
То покажу я тебе многошумного моря законы,
Хоть ни в делах корабельных, ни в плаваньи я неискусен.
650. В жизнь я свою никогда по широкому морю не плавал,—
Раз лишь в Евбею один из Авлиды, где некогда зиму
Пережидали ахейцы, сбирая в Элладе священной
Множество войск против славной прекрасными женами Трои.

На состязание в память разумного Амфидаманта
655. Ездил туда я, в Халкиду; заране об'явлено было
Призов немало сынами его большедушными. Там-то,
Гимном победу стяжав, получил я ушатый треножник.
Этот треножник в подарок я Музам принес Геликонским,
Где они звонкому пенью впервые меня обучили.
660. Вот лишь насколько я ведаю толк в кораблях многогвоздных.
Все ж и при этом тебе сообщу я, что в мыслях у Зевса,
Ибо обучен я Музами петь несравненные гимны.

Вот пятьдесят уже минуло дней после солноворота,
И наступает конец многотрудному, знойному лету.
665. Самое здесь-то и время для плаванья; ни корабля ты
Не разобьешь, ни людей не поглотит пучина морская,
Разве нарочно кого Посейдон, сотрясающий землю,
Или же царь небожителей Зевс погубить пожелают.
Ибо в руке их кончина людей и дурных, и хороших.
670. Море тогда безопасно, а воздух прозрачен и ясен.
Ветру доверив без страха теперь свой корабль быстроходный
В море спускай и товаром его нагружай всевозможным.
Но воротиться обратно старайся, как можно, скорее:
Не дожидайся вина молодого и ливней осенних,
675. И наступленья зимы, и дыханья ужасного Нота;
Яро вздымает он волны и зевсовым их поливает
Частым осенним дождем, и тягостным делает море.

Плавают по морю люди нередко еще и весною.
Только что первые листья на кончиках веток смаковниц
680. Станут равны по длине отпечатку вороньего следа,
Станет тогда же и море для плаванья снова доступным.
В это-то время весною и плавают. Но не хвалю я
Плаванья этого; очень не по сердцу как-то оно мне:
Краденым кажется. Трудно при нем от беды уберечься.
685. Но в безрассудстве своем и на это пускаются люди:
Ныне богатство для смертных самою душою их стало.
Страшно в волнах умереть. Не забудь же моих увещаний,
Все хорошенько обдумай в уме, что тебе говорю я.
И на чреватое судно всего не грузи, что имеешь;

690. Большую часть придержи, нагрузи же лишь меньшую долю!
Страшно несчастью подпасть на волнах многобурного моря.
Страшно, когда на телегу чрезмерную тяжесть наложишь,
И переломится ось под телегой, и груз твой погибнет.
Меру во всем соблюдай, и дела свои во-время делай.

---

695. В дом свой супругу вводи, как в возраст придешь подходящий.
До тридцати не спеши, но и за-тридцать долго не медли:
Лет тридцати ожениться—вот самое лучшее время.
Года четыре пусть зреет невеста, женитесь на пятом.
Девушку в жены бери,—ей легче внушить благонравье.
700. Взять постарайся из тех, кто с тобою живет по соседству.
Все обгляди хорошо, чтоб не на смех соседям жениться.
Лучше хорошей жены ничего не бывает на свете,
Но ничего не бывает ужасней жены нехорошей,
Жадной сластены. Такая и самого сильного мужа
705. Высушит пуще огня и до времени в старость загонит.

Кару блаженных бессмертных навлечь на себя опасайся.

Также не ставь никогда наравне товарища с братом.
Раз же, однако, поставил, то зла ему первым не делай,
И не обманывай, чтобы язык потрепать. Если ж сам он
710. Первый тебя обижать или словом начнет, или делом,
Это попомнив, вдвойне отплати ему. Если же снова
В дружбу с тобой он захочет вступить и обиду загладить,
Не уклоняйся: друзей то и дело менять не годится.
Только, чтоб видом наружным не ввел он тебя в заблужденье!

715. Слыть нелюдимым не надо, не надо и слыть хлебосолом;
Бойся считаться товарищем злых, ненавистником добрых.

Также людей не дерзай попрекать разрушающей душу,
Гибельной бедностью: шлют ее людям блаженные боги.

Лучшим сокровищем люди считают язык не болтливый.
720. Меру в словах соблюдешь,—и всякому будешь приятен;
Станешь злословить других,—о себе еще хуже услышишь.

На многолюдном, в складчину устроенном пире не хмурься;
Радостей он очень много дает, а расход пустяковый.

Также, не вымывши рук, не твори на заре возлияний
725. Черным вином ни Крониду, ни прочим блаженным бессмертным;
Так они слушать не станут тебя и молитвы отвергнут.

Стоя, и к солнцу лицом обратившись, мочиться негоже.
Даже тогда на ходу не мочись, как зайдет уже солнце,
Вплоть до утра,—все равно, по дороге ль идешь, без дороги ль;

730. Не обнажайся при этом: над ночью ведь властвуют боги.
Мочится чтущий богов, рассудительный муж либо сидя,
Либо,—к стене подойдя на дворе, огороженном прочно.

Совокупившись, не стой неодетый, с . . . .
Перед огнем очага, но держись в это время подальше.

735. Также, не с похорон грустно-зловещих домой воротившись,
Сей потомство свое, а с пира пришедши бессмертных.

Прежде, чем в воду струистую рек непрерывно текущих
Ступишь ногой, помолись, поглядев на прекрасные струи,
И многомилою, светлой водою умой себе руки.
740. Рук не умывши, души не очистив, пойдешь через реку,—
Боги тебя покарают, несчастье пославши вдогонку.

На пятипалом суку средь цветущего пира бессмертных
Светлым железом не надо с зеленого срезывать суши.

Также, в то время, как пьют, черпака на кратерную крышку
745. Не помещай никогда: не весельем окончится это.

Дом себе строить начав, приводи к окончанью постройку,
Чтобы не каркала, сидя на доме, болтушка-ворона.

Также не ешь и не мойся из тех горшконогов, в которых
Не приносилося жертв: и за это последует кара.

750. Мало хорошего, если двенадцатидневный ребенок
Будет лежать на могиле,—лишится он мужеской силы;
Или двенадцатимесячный: это нисколько не лучше.
Также не мой себе тело водою, которою мылась
Женщина: ибо придет и за это со временем кара
755. Тяжкая. Если увидишь горящую жертву, не смейся
Над непонятною тайной: воздаст тебе бог и за это.
Также, смотри, не мочись никогда ни в истоки, ни в устье
В море впадающих рек,—берегись и подумать об этом!
Не опоражнивай в них и желудка,—то будет не лучше.

760. Так поступай: от ужасной молвы человеческой бегай.
Слава худая мгновенно приходит, поднять ее людям
Очень легко, но нести тяжеленько и сбросить не просто.

И никогда не исчезнет бесследно молва, что в народе
Ходит о ком-нибудь: как там ни как,—и Молва ведь богиня.

---

765. Тщательно Зевсовы дни по значенью и сам различай ты
И обучай домочадцев. Тридцатое—день наилучший
767. Для обозренья свершенных работ, для дележки припасов.

768. Вот что различные дни у Кронида всемудрого значат,
769. Если в сужденьях народов об этом содержится правда.

770. Дни священные: день перед первым числом и четвертый,
День седьмой,—в этот день родился Аполлон златолирный,—
Также восьмой и девятый. Особенно-ж в месяце два есть
Дня при растущей луне, превосходных для смертных свершений:
День одиннадцатый и двенадцатый; оба счастливы
775. Для собиранья плодов и для стрижки овец густорунных.
Но между ними двоими—двенадцатый много счастливей.
Ткет паутину высоко-парящий паук в это время
Летом,—в ту пору, когда *запасливый* кучу готовит.
Женщина пусть в этот день к тканью на станке приступает.

780. Сев начинать на тринадцатый день опасайся всемерно;
Но для посадки растений тринадцатый день превосходен.

В среднем десятке шестое число для растений опасно,
Но хорошо для зачатия мальчика. Девочке вредно
Замуж итти в этот день, равно как и на-свет рождаться.

785. Также и в первом десятке шестое число для рожденья
Девочек мало полезно; козлят вылегчать и баранов
В это число хорошо и поскотину строить для стада.
День недурен для зачатия мальчика: будет любить он
Шутки, лукавые речи, обманы и шопот любовный.

790. В день восьмой кабанов подрезай и протяжно мычащих,
Крепких быков, а в двенадцатый день—выносливых мулов.

День наиболее длинный меж чисел двадцатых рождает
Мужа искусного,—будет весьма он умом выдаваться.
День недурной мужеродный—десятый; а день женородный—
795. В среднем десятке четвертый; овец и собак острозубых,
Тяжелоногих, рогатых быков и выносливых мулов
В этот же день хорошо приручать. Берегися в четвертый
День после новой иль полной луны допускать себе в сердце
Скорби, грызущие дух: ибо день этот очень священный.

800. Также в четвертый вводи к себе в дом молодую супругу,
Птиц перед тем вопросив, наилучших для этого дела.

Пятых же дней избегай: тяжелы эти дни и ужасны;
В пятый день, говорят, Эринии пестуют Орка,
Клятвопреступным на гибель рожденного на свет Эридой.

805. В среднем десятке седьмого священные зерна Деметры
Вей на току округленном, душою отдавшись работе.
В этот же день лесорубы пусть рубят домовые бревна
И деревянные части для стройки судов быстроходных.
А за постройку саму приниматься четвертого надо.

810. В среднем десятке девятка лишь к вечеру лучше бывает.
Что же до первой девятки—вреда не несет она людям:
День для посадки растений хорош, для рожденья ребенка,—
Мальчика-ль, девочки-ль. Очень он плох никогда не бывает.

Мало кто знает, как в месяце третья девятка полезна:
815. Бочку-ль с вином начинать, налагать-ли ярмо на затылки
Мулам, быкам и коням быстроногим, спускать-ли на воду
Многоскамейчатый, быстрый корабль—в этот день превосходно.
Мало, однако, таких, кто про день этот правильно скажет.

Винную бочку вскрывай четвертого; самый священный
820. День меж четвертыми—средний; про тот, что идет за двадцатым
Мало кто знает, что утром хорош он, но к вечеру хуже.

Эти вот дни для людей земнородных—великая польза.
Прочие все—ничего не несущие дни, без значенья.
Каждый различное хвалит. Но толком лишь мало кто знает.
825. То, словно мачеха, день, а другой раз,—как мать, человеку.

Тот меж людьми и блажен, и богат, кто, все это усвоив,
Делает дело, вины за собой пред богами не зная,
Птиц вопрошает и всяких деяний бежит нечестивых.

(В 1918 г. Государственной Академией Наук перевод удостоен полной пушкинской премии).

ПРИМЕЧАНИЯ

11. Эрида—богиня вражды и соревнования.

38. Цари-дароядцы. Во времена Гесиода в Беотии царской власти уже не существовало. Под «царями» здесь разумеются представители семи аристократических родов, правившие городом Феспиями, к области которого принадлежала и деревня Аскра, где жил Гесиод.

40. «Половина—больше целого». Повидимому, пословица. Диоген Лаэртский вкладывает ее также в уста Питтаку, лесбосскому правителю и законодателю.

41. Асфодели и мальва употреблялись в пищу бедняками. Асфодели— из семейства лилейных, растение, очень распространенное в Греции, особенно в сырых местах. По Феофрасту, в пищу употреблялись поджаренные стебли асфодели, семена, особенно же—корень, истолченный вместе с фигами.

52. Нарфекс — растение из семейства зонтичных.

80. Пандора значит «всеми одаренная».

93:

Быстро стареют в страданьях для смерти рожденные люди.

Стих, заимствованный из Одиссеи (XIX, 360) и здесь совершенно неуместный; он был, очевидно, введен в текст для того, чтобы объяснить предыдущий стих, в некоторых списках читавшийся: «... болезней, несущих людям старость» (geras вм. keras)

108:

Как появились на свете и боги, и смертные люди.

125. Тьмою туманной одевшись (ср. ст. 255). Эрвин Роде: Это—наивное обозначение понятия «невидимый», как вполне правильно объясняет Цецес. Так это всегда следует понимать и у Гомера, когда идет речь об окутывании облаком и т. п.

169:

Там, вдалеке от бессмертных, под властью живут они Крона.

109—201. Рассказ о пяти человеческих поколениях. Нельзя не признать, рассказ страдает очень крупными дефектами. Введение повествования

о четвертом, героическом поколении остается искусственным и немотивированным. Про людей серебряного поколения говорится, что сто лет они жили глупыми ребятами, в дальнейшей же кратковременной жизни отличались единственно только непочтением к богам. Совершенно непонятно, почему люди этого ничтожного поколения удостоились посмертных почестей.

219. Орк (клятва), сын богини Эриды. Ср. Гесиода, Теогония 230—231.

...Наиболее горя несущий мужам земнородным
Орк, наказующий тех, кто лживою клятвой клянется.

233. Горные дубы жолуди с веток дают,—вероятно, для корма свиньям. Однако, в Греции жолуди иногда употреблялись в пищу и людьми. Ср., напр., Геродота, I, 66 о жителях Аркадии.

318. Стих заимствован из Илиады (XXIV, 45) и здесь не совсем уместен: речь идет не о таком стыде, от которого бывает человеку польза.

337. Свято и чисто,—т.-е. с чистою душою и чистым телом.

365. Другие переводят:

Дома полезней держать, оставлять же снаружи опасно.

Повидимому, пословица. Этот же стих находим в гомеровом гимне к Гермесу.

383. Только что станут на небе всходить Атлантиды-Плеяды.—Разумеется восход Плеяд вместе с утреннею зарею (в середине мая).

384. А начнут заходить.—Разумеется заход Плеяд при восходе солнца (в середине ноября).

385. На сорок дней. — Точнее, на 44 дня.

387. Точить железо,—т.-е. серпы для жатвы. По Зиттлю, долго жившему в Греции и издавшему в Афинах полное собрание сочинений Гесиода с обширными комментариями на греческом языке, жатва происходит в Аттике от половины мая до половины июня.

388. Всюду таков на равнинах закон,—не на возвышенных местах, где хлеб вызревает не ранее августа (Зиттль).

392. Голым работай всегда.—То же самое повторяет Вергилий (*Георг.* 1, 299): «Nudus ara, sere nudus, hiems ignava colono!» Ср. Еванг. от Матф. XXIV, 18: «И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои».

421. Сыплются листья с деревьев.—Листопад начинается в Греции в конце октября (Зиттль).

423. Ступка и пестик.—Судя по Гесиоду,—говорит Бергк,— культура в Средней Греции стояла в его время в некоторых отношениях на довольно низкой ступени. Гомер в своих изображениях героической эпохи постоянно упоминает о ручной мельнице,—следовательно, не смотрит на нее, как на изобретение новейшего времени. Между тем в «Работах и днях» Гесиода нигде не говорится об этом необходимом орудии, которое в Ионии, очевидно, находилось в каждом хозяйстве. Зато говорится о ступке и пестике. Конечно, инструменты эти употреблялись в хозяйстве и позднее для надобностей всякого рода. Но здесь длина ступки определяется в три фута, длина пестика—в три локтя. Уж одни эти размеры указывают на то, что дело идет о первоначальном назначении этих инструментов. Очевидно, в Средней Греции в те времена еще не мололи зерна, а толкли его по старому способу в ступке. Меньше значения можно придавать тому, что Гесиод о некоторых обычаях не упоминает

из этого, конечно, нельзя еще делать заключения, что соответственные обычаи были неизвестны Гесиоду и его землякам. Однако, уже Цицерон удивляется, что Гесиод ни одним словом не упоминает об удобрении полей, тогда как гораздо более ранний поэт Гомер очень хорошо знал употребление этого средства. В Одиссее, напр., говорится:

> Аргус лежал у ворот на навозе, который от многих
> Мулов и многих коров на запас там копили, чтоб после
> Им Одиссеевы были поля унавожены тучно (XVII, 297-299).

425. Колотушка употреблялась для разбивания на пашне земляных комьев и глыб. Бороны Гесиод не знает.

426. Косяки—составная часть колесного обода, а также неободового так наз. косящатого колеса.

427. Падуб—вечно-зеленый дуб, ilex. По Плутарху, дерево это редко встречается в Беотии. Поэтому Гесиод и советует собирать его всюду, где только можно.

430. Рабочий Афины—кузнец, плотник.

432—433. Два снаряди себе плуга,—цельный один, а другой составной,—Зиттль: «цельный, у которого скрепа и дышло сделаны из цельного куска, а не сбиты гвоздями, как в составном плуге». Проф. А. Тэр (в немецкой «Сельскохозяйственной газете Фюлинга», 1877, № 11): «обыкновенно это место понимается так, как будто Гесиод говорит о двух родах плугов,—о цельном, у которого рассоха, скрепа и дышло состоят из одного куска дерева, и о составном, в котором эти части сколочены друг с другом. Но, во-первых, так понимаемый «цельный» плуг есть техническая невозможность или, по крайней мере, чрезвычайная маловероятность; во-вторых, против такого понимания говорит следующее за этим перечисление древесных пород, из которых Гесиод предписывает готовить различные части плуга. Намерения Гесиода были здесь совсем другие: побудить всегда держать наготове два плуга,—один в сарае, другой, собранный,—для работы, чтобы в случае, если он сломается, было чем его заменить».

453—457. Не стоит ни в какой связи с предыдущим. Флах все эти пять стихов выбрасывает.

462—463. Б. Л. Богаевский («Очерк земледельческого хозяйства Афин». Журн. Мин. Нар. Просв., 1915, № 6): «Земля, предназначенная под посев и лежавшая со времени последней жатвы под паром, вспахивалась осенью, вероятно, продольными бороздами, и продолжала лежать под зимним паром, подвергаясь действию холодной и дождливой погоды. Если год выпадал не слишком дождливый, то земля иногда переворачивалась и зимой. Весною земля получала вторую главную обработку. Ее «передваивали» теперь, проводя, вероятно, поперечные борозды, и земля, лежавшая в бороздах, получала тот вид, который в современной Аттике носит название «земли, перевернутой в поперечном направлении». Земля, получившая вторую, поперечную вспашку, получала, как можно полагать, название «дважды перепаханной». По способу применявшихся в Аттике двух главных вспашек земля противополагалась тяжелым почвам, подвергавшимся тройной вспашке. Весенняя вспашка, помимо взрыхливания земли, заменяла необходимую для почвы бороньбу (бороны, как известно, греки не знали) и преследовала уничтожение выросшей за время зимнего пара травы, обращавшейся на удобрение поля. В летнее время паровая земля получала, хотя, повидимому, и не всегда, лишь легкую обработку, имевшую целью разбить засохшие комки и предоставить жарким солнечным лучам проникнуть во влажные борозды. Незадолго до раннего захода Плеяд паровая земля получала окончательную обработку перед самым посевом. После этого наступало время посева, и земледелец выжидал удобного дня для начала работ. Первый мелкий осенний дождь служил разрешительным знаком для производства посева. Он выпадал обычно дней через семь после захода Плеяд, открывая благоприятный для посева дождливый период. Раньше всего сеяли ячмень, затем пшеницу и различные виды полбы».

464. Если положить ребенка на свеже-проведенную борозду пашни, то это предохраняет его от всякого зла. Об обычае класть маленьких детей на землю см. Albrecht Dieterich, Mutter Erde, гл. I.

471. Семя землей засыпая.—А. Тэр: «если мальчик с мотыгою должен забросать землею столько зерна, сколько сеятель посеял, то последний должен при этом делать еще какую-либо другую работу. Я думаю, что обработка происходила таким способом, каким она и теперь ведется у мелких землевладельцев на отдельных участках: пахали, сеяли и забрасывали семя землею в один и тот же день. Вспахавши кусок, пахарь засевал его и переходил к следующему куску, а помощник заделывал землею засеянный первый кусок. О бороне мы не встречаем упоминаний ни у Гесиода, ни у позднейших греческих авторов».

486. В Аттике кукушка прилетает в двадцатых числах марта (Зиттль).

493. Кузницы были у древних без дверей, всякий желавший заходил в них и грелся. Таким образом, они стали местом сбора для всех, любивших посудачить и побездельничать.

497. Будешь ты тискать рукой исхудалой (от голода) опухшие (от усталости) ноги.

504. Ленеон—наш декабрь. Название месяца ионическое; по-беотийски он назывался Букатий.

525. Безкостый—полип. Мнение, будто голодный полип гложет собственную ногу, признавал неверным уже Плиний.

533. Трингий—старик, по известной загадке Сфинкса, разгаданной Эдипом: утром на четырех ногах, в полдень на двух, вечером на трех.

547. Прокл: Борей дует с более возвышенных мест, и это производит впечатление, как будто он падает.

559. Корму довольно волам половины теперь,—потому что они не работают.

560. Благосклонная—обозначение ночи. Название, позднее обычное у Пиндара и трагиков, впервые встречается у Гесиода.—Долгота ночи помогает в том отношении, что люди больше спят, следовательно, меньше едят.

562. Ночи выравнивай с днями. По мнению Зиттля речь идет о сне: Гесиод советует спать зимою в течение полусуток.

565. В 800 г. до Р. Х. Арктур, восходя с вечернею зарею, стоял всю ночь на небе 27 февраля.

569. Ласточка-Пандионида. В ласточку была превращена Прокна, дочь Пандиона. Зиттль: в Аттике ласточек нельзя увидеть раньше 6 марта, но в Патрах они иногда появляются уже в середине февраля.

571. От Плеяд убегая,—т.-е., от жары. Разумеется время, когда Плеяды ходят вместе с солнцем (май).

572. Домоносец—улитка.—Не время окапывать лозы: нужно было сделать это раньше. В Феспиях, по Зиттлю, виноградные лозы окапываются около двадцатого марта, самое позднее—в начале апреля.

582. В пору, когда артишоки цветут. По Зиттлю, в июне.

585. Козы жирнее всего,—потому что перестают кормить.

582—588. Древние поэты не стыдились самых очевидных плагиатов и широкою рукою заимствовали у своих предшественников все, что находили для

себя подходящим. У лесбосского поэта Алкея, современника Сафо, находим такой парафраз этого места гесиодовой поэмы:

Орошай вином желудок: совершило круг созвездье,
Время тяжкое настало, все кругом от зноя жаждет.
Мерно нежная цикада стонет в листьях, из-под крыльев
Песнь ее уныло льется, между тем, как жар жестокий,
Над землею расстилаясь, все палит и выжигает.
Зацветают артишоки. В эту пору жены грязны,
И мужчины слабы: сушит им и головы, и ноги
Жаркий Сириус...

589. Библинское вино. Неизвестно, от чего оно получило свое имя,—от Виблинских ли гор во Фракии, от реки ли Библоса на о. Наксосе, или от Финикийского города Библоса. Во всяком случае, трудно предположить, чтобы при том укладе жизни, который описывается в поэме, мужики бедной деревушки употребляли привозное вино,—особенно, раз они сами разводили виноград. Библинским назывался сорт винограда, разводившийся между прочим и в Аскре.

597. Только начнет восходить Орионова сила—вместе с утреннею зарею (в середине июля).

605. Спящий днем человек—вор.

609. Вот высоко середь неба уж Сириус стал с Орионом—опять-таки во время утренней зари.

610. Уж начинает заря розоперстая видеть Арктура.—Вместе с утреннею зарею Арктур восходит 6 сентября.

612. Зиттль: Незрелый виноград срезается и выставляется на солнце, чтобы влага его уменьшилась, и началось брожение. Теперь так поступают преимущественно островитяне, из жителей же материковой Греции почти никто об этом не заботится. Однако, в Феспиях виноград все-таки выкладывается на солнце дня на два, на три.

654. Амфидамант—царь Халкиды, пал в морском бою с эретрийцами.

675. Нот (южный ветер) дует у греческих берегов преимущественно с ноября по март.

698. Года четыре пусть зреет невеста, женитесь на пятом.—Считая, что девушка начинает созревать с 14 лет, замуж она должна выходить по Гесиоду 19-ти. (Геттлинг).

742—743. Пятипалый сук—рука. Смысл, повидимому, тот, что во время жертвоприношения не следует стричь себе ногтей.

744. Кратер—сосуд, в котором вино смешивали с водою.

766. В тридцатое число месяца никаких сельских работ не производилось, только осматривались поля и распределялся между рабочими провиант на следующий месяц. В этот день, по греческому поверию, даже муравей не работает.

770. Счет дней месяца у Гесиода довольно запутанный. Во-первых, счет ведется от первого числа до тридцатого, как у нас (напр., ст.ст. 766, 792); во-вторых,—по полумесяцам, по растущей или убывающей луне (ст.ст. 773—798); наконец,—самое частое,—по десяткам: «первая девятка» (811), «шестое число в среднем десятке» (782), «четвертый день, идущий за двадцатым» (820).

778. Запасливый—муравей.

ГЕСИОД

О ПРОИСХОЖДЕНИИ БОГОВ

(теогония)

Древность единодушно приписывала эту поэму автору «Работ и дней». Большинство нынешних исследователей также склонно считать авторами обеих поэм одно лицо,—Гесиода. Поэма представляет из себя систематическое изложение эллинской священной истории, связанной с историей происхождения мира. Она пользовалась всеобщим признанием и приобрела каноническое значение. Все позднейшие опыты поэтической обработки сказаний о богах явственно находятся под большим или меньшим влиянием гесиодовой «Теогонии».

Очевидно, существовало много обработок поэмы. Дошедший до нас текст представляет не особенно искусное соединение различных обработок. Этим, отчасти, и об'ясняется разнообразие тона и отрывочность изложения. Нужно признать, что в общем для современного читателя поэма довольно-таки скучна. Отдельные яркие эпизоды, как рассказ о Прометее или описание борьбы богов с титанами, тонут в бесконечных генеалогиях и в голых перечислениях ничего нам не говорящих имен. «Тем не менее,—говорит Теодор Бергк,—творца «Теогонии» нельзя ставить низко. Генеалогический принцип по необходимости господствует над всем планом поэмы. Перечисление имен, естественно, утомляет. Но на греческого слушателя такие перечисления должны были действовать возбуждающе и радостно уже вследствие необычайного благозвучия и значительности имен, а еще больше—вследствие живых представлений, которые тотчас вызывались в каждом этими именами. Однако, часто испытываешь недоумение, были ли недостаточны сведения самого автора, или он выпускал в рассказе все то, что мог предполагать известным своим слушателям».

С Муз, геликонских богинь, мы песню свою начинаем.
На Геликоне они обитают высоком, священном.
Нежной ногою ступая, обходят они в хороводе
Жертвенник Зевса-царя и фиалково-темный источник...

5. Нежное тело свое искупавши в теченьях Пермесса,
Иль в роднике Иппокрене, иль в водах священных Ольмея,
На геликонской вершине они хоровод заводили,
Дивный для глаза, прелестный, и ноги их в пляске мелькали.
Снявшись оттуда, туманом одевшись густым, непроглядным,
10. Ночью они проходили и пели чудесные песни,
Славя эгидодержавца-Кронида с владычицей-Герой,
Города Аргоса мощной царицею златообутой,
Зевса великую дочь, синеокую деву Афину,
И Аполлона-царя с Артемидою стрелолюбивой,
15. И земледержца, земных колебателя недр Посейдона,
И Афродиту с ресницами гнутыми, также Фемиду,
Златовенчанную Гебу-богиню с прекрасной Дионой,
С ними—Лето, Иапета и хитроразумного Крона,
Эос-Зарю и великого Гелия с светлой Селеной,
20. Гею-мать с Океаном великим и черною Ночью,
Также и все остальное священное племя бессмертных.

Песням прекрасным своим обучили они Гесиода
В те времена, как овец под священным он пас Геликоном.
Прежде всего обратились ко мне со словами такими
25. Дщери великого Зевса-царя, олимпийские Музы:

«Эй, пастухи полевые,—несчастные, брюхо сплошное!
«Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду.
«Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем!»

Так мне сказали в рассказах искусные дочери Зевса.
30. Вырезав посох чудесный из пышно-зеленого лавра,
Мне его дали и дар мне божественных песен вдохнули.
Чтоб воспевал я в тех песнях, что было и что еще будет.
Племя блаженных богов величать мне они приказали,
Прежде ж и после всего—их самих воспевать непрестанно...

35. Впрочем,—ну, как я могу говорить о скале или дубе?

С Муз песнопенье свое начинаем, которые пеньем
Радуют разум великий отцу своему на Олимпе,
Все излагая подробно, что было, что есть и что будет,
Хором согласно звучащим. Без устали сладкие звуки
40. Льют их уста. И смеются палаты родителя-Зевса
Тяжко-гремящего, лишь зазвучат в них лилейные песни
Славных богинь. И ответно звучат им жилища блаженных
И олимпийские главы. Богини же гласом бессмертным
Прежде всего воспевают достойное почестей племя
45. Тех из богов, что Землей рождены от широкого Неба,
И благодавцев-богов, что от этих богов народились.
Зевса вторым после них,—отца и бессмертных, и смертных,—
В самом начале и в самом конце воспевают богини,—
Сколь превосходнее всех он богов и могучее силой.
50. Племя затем воспевая людей и могучих Гигантов,
Радуют разум великий отцу своему на Олимпе
Дщери великого Зевса-царя, олимпийские Музы.
Семя во чрево приняв от Кронида-отца, в Пиерии
Их родила Мнемосина, царица высот Елевфера,
55. Чтоб улетали заботы, и беды душа забывала.
Девять ночей сопрягался с богинею Зевс-промыслитель,
К ней вдалеке от богов восходя на священное ложе.
После ж того, как исполнился год, времена обернулись,
Месяцы круг совершили, и дней унеслося немало,—
60. Единомысленных девять она дочерей народила,
С рвущейся к песням душой, с беззаботным и радостным духом,
Близ высочайшей вершины одетого снегом Олимпа.
Светлые там хороводы у них и прекрасные домы.
Рядом жилища имеют Хариты и Гимер-Желанье,
65. В празднествах жизнь проводя. Голосами прелестными Музы
Песни поют о законах, которые всем управляют,
Добрые нравы богов голосами прелестными славят.

Песнью бессмертной своею и голосом тешась прекрасным,
Музы к Олимпу пошли. И далеко звучали их гимны,
70. Милый их топот по черной земле раздавался в то время,
Как возвращались богини к родителю. В небе царит он,
Громом владеющий страшным и молнией огненно-жгучей,
Силою верх одержавший над Кроном-отцом. Меж богами
Все хорошо поделил он и каждому почесть назначил.

75. Это вот пели в дворцах олимпийских живущие Музы,
Девять богинь, дочерей многославного Зевса-владыки,—
Девы Клио и Евтерпа, и Талия, и Мельпомена,
И Эрато̀ с Терпсихорой, Полимния и Урания,
И Каллиопа,—меж всеми другими она выдается:
80. Шествует следом она за царями, достойными чести.
Если кого отличить пожелают Кронидовы дщери,
Если увидят, что родом от Зевсом вскормленных царей он,—
То орошают счастливцу язык многосладкой росою.
Речи приятны с уст его льются тогда. И народы

85. Все на такого глядят, как в суде он выносит решенья,
С строгой согласные правдой. Разумным, решительным словом
Даже великую ссору тотчас прекратить он умеет.
Ибо затем и разумны цари, чтобы всем пострадавшим,
Если к суду обратятся они, без труда возмещенье
90. Полное дать, убеждая обидчиков мягкою речью.
Благоговейно его, словно бога, приветствуют люди,
Как на собранье пойдет он: меж всеми он там выдается
Вот сей божественный дар, что приносится Музами людям.
Ибо от Муз и метателя стрел, Аполлона-владыки,
95. Все на земле и певцы происходят, и лирники-мужи.
Все же цари от Кронида. Блажен человек, если Музы
Любят его: как приятен из уст его льющийся голос!
Если нежданое горе внезапно душой овладеет,
Если кто сохнет, печалью терзаясь, то стоит ему лишь
100. Песню услышать служителя Муз, песнопевца, о славных
Подвигах древних людей, о блаженных богах олимпийских,
И забывает он тотчас о горе своем; о заботах
Больше не помнит: совсем он от дара богинь изменился.

Радуйтесь, дочери Зевса, даруйте прелестную песню!
105. Славьте священное племя богов, существующих вечно,—
Тех, кто на свет родился от Земли и от звездного Неба,
Тех, кто от сумрачной Ночи, и тех кого Море вскормило,
Все расскажите,—как боги, как наша земля зародилась,
Как беспредельное море явилося шумное, реки,
110. Звезды, несущие свет, и широкое небо над нами;
Кто из бессмертных подателей благ от чего зародился,
Как поделили богатства и почести между собою,
Как овладели впервые обильноложбинным Олимпом.
С самого это начала вы все расскажите мне, Музы.
115. И сообщите при этом, что прежде всего зародилось.

Прежде всего по вселенной Хаос зародился, а следом
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,
119. Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких,
120. И, между вечными всеми богами прекраснейший,—Эрос.
Сладкоистомный,—у всех он богов и людей земнородных
Душу в груди покоряет, и всех рассужденья лишает.
Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса.
Ночь же Эфир родила и сияющий День иль Гемеру:
125. Их зачала она в чреве, с Эребом в любви сочетавшись.

Гея же прежде всего родила себе равное ширью
Звездное небо, Урана, чтоб точно покрыл ее всюду,
И чтобы прочным жилищем служил для богов всеблаженных;
Горы потом народила,—приятный приют для бессмертных
130. Нимф, обитающих в чащах нагорных лесов многотенных;
Также еще родила, ни к кому не всходивши на ложе,
Шумное море бесплодное Понт. А потом, разделивши
Ложе с Ураном, на свет Океан породила глубокий,
Коя и Крия, еще—Гипериона и Иапета,

135. Фею и Рею, Фемиду великую и Мнемосину,
Златовенчанную Фебу и милую видом Тефию.
После их всех родился, меж детей наиболе ужасный,
Крон хитроумный. Отца многомощного он ненавидел.

Также Киклопов с душою надменною Гея родила,—
140. Счетом троих, а по имени—Бронта, Стеропа и Арга.
Молнию сделали Зевсу-Крониду и гром они дали.
Были во всем остальном на богов они прочих похожи,
Но лишь единственный глаз в середине лица находился.
Вот потому-то они и звались «Круглоглазы», «Киклопы»,
145. Что на лице по единому круглому глазу имели.
А для работы была у них сила, и мощь, и сноровка.

Также другие еще родилися у Геи с Ураном
Трое огромных и мощных сынов, несказанно-ужасных,—
Котт, Бриарей крепкодушный и Гиес,—надменные чада.
150. Целою сотней чудовищных рук размахивал каждый
Около плеч многомощных, меж плеч же у тех великанов
По пятьдесят поднималось голов из туловищ крепких.
Силой они неподступной и ростом большим обладали.

Дети, рожденные Геей-Землею и Небом-Ураном,
155. Были ужасны и стали отцу своему ненавистны
С первого взгляда. Едва лишь на свет кто из них появлялся,
Каждого в недрах Земли немедлительно прятал родитель,
Не выпуская на свет, и злодейством своим наслаждался.
С полной утробою тяжко стонала Земля-великанша.
160. Злое пришло ей на ум и коварно-искусное дело.
Тотчас породу создавши седого железа, огромный
Сделала серп и его показала возлюбленным детям,
И, возбуждая в них смелость, сказала с печальной душою:

«Дети мои и отца нечестивого! Если хотите
165. «Быть мне послушными, сможем отцу мы воздать за злодейство
«Вашему: ибо он первый ужасные вещи замыслил».

Так говорила. Но, страхом объятые, дети молчали.
И ни один не ответил. Великий же Крон хитроумный,
Смелости полный, немедля ответствовал матери милой:

170. «Мать! С величайшей охотой за дело такое возьмусь я.
«Мало меня огорчает отца злоимянного жребий
«Нашего. Ибо он первый ужасные вещи замыслил».

Так он сказал. Взвеселилась душой исполинская Гея.
В место укромное сына запрятав, дала ему в руки
175. Серп острозубый и всяким коварствам его обучила.

Ночь за собою ведя, появился Уран, и возлег он
Около Геи, пылая любовным желаньем, и всюду
Распространился кругом. Неожиданно левую руку
Сын протянул из засады, а правой, схвативши огромный

180. Серп острозубый, отсек у родителя милого быстро
Член детородный и бросил назад его сильным размахом.
И не бесплодно из Кроновых рук полетел он могучих:
Сколько на землю из члена ни вылилось капель кровавых,
Все их земля приняла. А когда обернулися годы,
185. Мощных Эринний она родила и великих Гигантов
С длинными копьями в дланях могучих, в доспехах блестящих,
Также и нимф, что Мелиями мы на земле называем.
Член же отца детородный, отсеченный острым железом,
190. По морю долгое время носился, и белая пена
Взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене
В той зародилась. Сначала подплыла к Киферам священным,
После же этого к Кипру пристала, омытому морем.
На берег вышла богиня прекрасная. Ступит ногою,—
195. Травы под стройной ногой вырастают. Ее Афродитой,
«Пенорожденной», еще «Киферееей» прекрасновенчанной
Боги и люди зовут, потому что родилась из пены.
А Кифереей зовут потому, что к Киферам пристала,
«Кипророжденной»,—что в Кипре, омытом волнами, родилась.
201. К племени вечных блаженных отправилась тотчас богиня.
Эрос сопутствовал деве, и следовал Гимер прекрасный.
С самого было начала дано ей в удел и владенье
Между земными людьми и богами бессмертными вот что:
205. Девичий шопот любовный, улыбки, и смех, и обманы,
Сладкая нега любви и пьянящая радость объятий.

Детям, на свет порожденным Землею, názванье Т и т а н о в
Дал в поношенье отец их, великий Уран-повелитель.
Руку,—сказал он,—п р о с т е р л и они к нечестивому делу
210. И совершили злодейство, и будет им кара за это.

Ночь родила еще Мора ужасного с черною Керой.
Смерть родила она также, и Сон, и толпу Сновидений.
К мрачной богине на ложе никто не всходил перед этим.
Мома потом родила и Печаль, источник страданий,
215. И Гесперид,—золотые, прекрасные яблоки холят
За океаном они на деревьях, плоды приносящих.
Мойр родила она также и Кер беспощадно казнящих.
[Мойры—Клофо именуются, Лахесис, Атропос. Людям
Определяют они при рожденьи несчастье и счастье].
220. Тяжко карают они и мужей, и богов за проступки,
И никогда не бывает, чтоб тяжкий их гнев прекратился
Раньше, чем полностью всякий виновный отплату получит.
Также еще Немезиду, грозу для людей земнородных,
Страшная Ночь родила, а за нею—Обман, Сладострастье,
225. Старость, несущую беды, Эриду с могучей душою.

Грозной Эридою Труд порожден утомительный, также
Голод, Забвенье и Скорби, точащие слезы у смертных,
Схватки жестокие, Битвы, Убийства, мужей Избиенья,
Полные ложью, слова, Словопренья, Судебные Тяжбы,
230. И Ослепленье души с Беззаконьем,—родные друг другу,—
И, наиболее горя несущий мужам земнородным,

Орк, наказующий тех, кто солжет добровольно при клятве.

Понт же Нерея родил,—ненавистника лжи, правдолюбца,
Старшего между детьми. Повсеместно зовется он старцем,
235. Ибо душою всегда откровенен, беззлобен, о правде
Не забывает, но сведущ в благих, справедливых советах.
Вслед же за этим Тавманта великого с Форкием храбрым
Понту Земля родила, и прекрасноланитную Кето,
И Еврибию, имевшую в сердце железную душу.

240. Многожеланные дети богинь родились у Нерея
В темной морской глубине от Дориды прекрасноволосой,
Дочери милой отца-Океана, реки совершенной.
Дети, рожденные ею: Плото̀, Сао̀ и Евкранта,
И Амфитрита с Евдорой, Фетида, Галена и Главка,
245. Дальше—Спейо̀, Кимофоя, и Фоя с прелестной Галией,
И Эрато̀ с Пасифеей и розоворукой Евникой,
Дева Мелита, приятная всем, Евлимена, Агава,
Также Дото̀ и Прото̀, и Фѐруса, и Динамена,
Дальше—Несея с Актеей и Протомедея с Доридой,
250. Также Пано̀пейя и Галатея, прелестная видом,
И Гиппофоя, и розоворукая с ней Гиппоноя,
И Кимодока, которая волны на море туманном
И дуновения ветров губительных с Киматолегой
И с Амфитритой прекраснолодыжной легко укрощает.
255. Дальше—Кимо̀, Эиона, в прекрасном венке Галимеда,
И Главконома улыбколюбивая, Понтопорея,
И Леагора, еще Евагора и Лаомедея,
И Пулиноя, а с ней Автоноя и Лисианасса,
Ликом прелестная и безупречная видом Еварна,
260. Милая телом Псамата с божественной девой Мениппой,
Также Несо̀ и Евпомпа, еще Фемисто̀ и Проноя,
И, наконец, Немертея с правдивой отцовской душою.
Вот эти девы, числом пятьдесят, в беспорочных работах
Многоискусные, что рождены беспорочным Нереем.

265. Дочь Океана глубокотекущего, деву Электру
Взял себе в жены Тавмант. Родила она мужу Ириду
Быструю и Аэлло с Окипетою, Гарпий кудрявых.
Как дуновение ветра, как птицы, на крыльях проворных
Носятся Гарпии эти, паря высоко над землею.

270. Граий прекрасно-ланитных от Форкия Кето родила.
Прямо седыми они родились. Потому и зовут их
Г р а я м и боги и люди. Их двое: одета в изящный
Пеплос одна, Пемфредо̀, Энио-же, другая, — в шафранный.
Также Горгон родила, что за славным живут Океаном
275. Рядом с жилищем певец-Гесперид, близ конечных пределов
Ночи: Сфенно̀, Евриалу, знакомую с горем Медузу.
Смертной Медуза была. Но бессмертны, бесстаростны были
Обе другие. Сопрягся с Медузою той Черновласый
На многотравном лугу, средь весенних цветов благовонных.

280. После того, как Медузу могучий Персей обезглавил,
Конь появился Пегас из нее и Хрисаор великий.
Имя Пегас—оттого, что рожден у ключей океанских,
Имя Хрисаор,—что с луком в руках золотым он родился.
Землю, кормилицу стад, покинул Пегас и вознесся
285. К вечным богам. Обитает теперь он в палатах у Зевса,
И Громовержцу всемудрому молнию с громом приносит.

Этот Хрисаор родил трехголового Гериона,
Соединившись в любви с Каллироею Океанидой.
Герионея того умертвила Гераклова сила
290. Возле ленивых коров на омытой водой Ерифее.
В тот же направился день к Тиринфу священному с этим
Стадом коровьим Геракл, через броды пройдя Океана,
Орфа убивши и стража коровьего Евритиона
За Океаном великим и славным, в обители мрачной.

295. Кето ж в пещере большой разрешилась чудовищем новым,
Ни на людей, ни на вечно-живущих богов не похожим,—
Неодолимой Ехидной,—божественной, с духом могучим,
На половину—прекрасной с лица, быстроглазою нимфой,
Наполовину—чудовищным змеем, большим, кровожадным,
300. В недрах священной земли залегающим, пестрым и страшным.
Есть у нее там пещера внизу глубоко под скалою,
И от бессмертных богов, и от смертных людей в отдаленьи:
В славном жилище ей там обитать предназначили боги.
Так-то, не зная ни смерти, ни старости, нимфа-Ехидна,
305. Гибель несущая, жизнь под землей проводила в Аримах.

Как говорят, с быстроглазою девою той сочетался
В жарких объятиях гордый и страшный Тифон беззаконный.
И зачала от него, и детей родила крепкодушных.
Для Гериона сперва родила она Орфа-собаку;
310. Вслед-же за ней—несказанного Цербера, страшного видом,
Медноголосого адова пса, кровожадного зверя,
Нагло-бесстыдного, злого, с пятьюдесятью головами.
Третьей потом родила она злую Лернейскую Гидру.
Эту вскормила сама белорукая Гера-богиня,
315. Неукротимою злобой пылавшая к силе Геракла.
Гибельной медью, однако, ту Гидру сразил сын Кронида,
Амфитрионова отрасль Геракл, с Иолаем могучим,
Руководимый советом добычницы мудрой Афины.
Также еще разрешилась она изрыгающей пламя,
320. Мощной, большой, быстроногой Химерой с тремя головами:
Первою—огненноокого льва, ужасного видом,
Козьей—другою, а третьей—могучего змея-дракона.
Спереди лев, позади же дракон, а коза в середине;
Яркое, жгучее пламя все пасти ее извергали.
325. Беллерофонт благородный с Пегасом ее умертвили.
Грозного Сфинкса еще родила она в гибель Кадмейцам,
Также Немейского льва, в любви сочетавшися с Орфом.
Лев этот, Герой вскормленный, супругою славною Зевса,
Людям на горе в Немейских полях поселен был богиней.

330. Там обитал он и племя людей пожирал земнородных,
Царствуя в области всей Апесанта, Немеи и Трета.
Но укротила его многомощная сила Геракла.

Форкию младшего сына родила владычица-Кето,—
Страшного змея: глубоко в земле залегая и свившись
335. В кольца огромные, яблоки он сторожит золотые.
Это—потомство, рожденное на свет от Форкия с Кето.

От Океана ж с Тефией пошли быстротечные дети,
Реки Нил и Алфей с Эриданом глубокопучинным,
Также Стримон и Меандр с прекрасноструящимся Истром,
340. Фазис и Рес, Ахелой серебристопучинный и быстрый,
Несс, Галиакмон, а следом за ними Гептапор и Родий,
Греник-река с Симоентом, потоком божественным, Эсеп,
Реки Герм и Пеней и прекрасноструящийся Каик,
И Сангарийский великий поток, и Парфений, и Ладон,
345. Быстрый Эвен и Ардекс с рекою священной Скамандром.

Также и племя священное дев народила Тефия.
Вместе с царем-Аполлоном и с Реками мальчиков юных
Пестуют девы,—такой от Кронида им жребий достался.
Те Океановы дщери: Адмета, Пейтȯ и Электра,
350. Янфа, Дорида, Примнȯ и Урания с видом богини,
Также Гиппȯ и Климена, Родеия и Каллироя,
Дальше—Зейксȯ и Клития, Идийя и с ней Пасифоя,
И Галаксавра с Плексаврой, и милая сердцу Диона,
Фоя, Мелȯбозис и Полидора, прекрасная видом,
355. И Керкеида с прелестным лицом, волоокая Плуто,
Также еще Персеида, Янира, Акаста и Ксанфа,
Милая дева Петрея, за ней—Менесфо и Европа,
Полная чар Калипсȯ, Телестȯ в одеянии желтом,
Азия, с ней Хрисеида, потом Евринома и Метис,
360. Тиха, Эвдора, и с ними еще—Амфирȯ, Окироя,
Стикс, наконец: выдается она между всеми другими.
Это—лишь самые старшие дочери, что народились
От Океана с Тефией. Но есть и других еще много.
Ибо всего их три тысячи, Океанид стройноногих.
365. Всюду рассеявшись, землю они обегают, а также
Бездны глубокие моря,—богинь знаменитые дети.
Столько же есть на земле и бурливо-текущих потоков,
Также рожденных Тефией,—шумливых сынов Океана.
Всех имена их назвать никому из людей не под силу.
370. Знает названье потока лишь тот, кто вблизи обитает.

Фейя—великого Гелия с яркой Селеной и с Эос,
Льющею сладостный свет равно для людей земнородных
И для бессмертных богов, обитающих в небе широком,
С Гиперионом в любви сочетавшись, на свет породила.

С Крием в любви сочетавшись, богиня богинь Еврибия
На свет родила Астрея великого, также Палланта
И между всеми другими отличного хитростью Перса.

Эос-богиня к Астрею взошла на любовное ложе,
И родились у нее крепкодушные ветры от бога,—
380. Быстролетящий Борей, и Нот, и Зефир белопенный.
Также звезду-Зареносца и сонмы венчающих небо
Ярких звезд родила спозаранку рожденная Эос.

Стикс, Океанова дочерь, в любви сочетавшись с Паллантом,
Зависть в дворце родила и прекраснолодыжную Нике.
385. Силу и Мощь родила она также, детей знаменитых.
Нет у них дома отдельно от Зевса, пристанища нету,
Нет и пути, по которому шли бы не следом за богом;
Но неотступно при Зевсе живут они тяжкогремящем.
Так это сделала Стикс, нерушимая Океанида,
390. В день тот, когда на великий Олимп небожителей вечных
Созвал к себе молневержец Кронид, олимпийский владыка,
И объявил им, что тот, кто пойдет вместе с ним на Титанов
Почестей прежних не будет лишен и удел сохранит свой,
Коим дотоле владел меж богов бесконечно-живущих.
395. Если же кто не имел ни удела, ни чести при Кроне,
Тот и удел, и почет подобающий ныне получит.
Первой тогда нерушимая Стикс на Олимп поспешила
Вместе с двумя сыновьями, совету отца повинуясь.
Щедро за это ее одарил и почтил Громовержец:
400. Ей предназначил он быть величайшею клятвой бессмертных,
А сыновьям приказал навсегда у него поселиться.
Также и данные всем остальным обещанья сдержал он,
Сам же с великою властью и силой царит над вселенной.

Феба же к Кою вступила на многожеланное ложе
405. И, восприявши во чрево,—богиня в объятиях бога,—
Черноодежной Лето разрешилася,—милою вечно,
Милою искони, самою кроткой на целом Олимпе,
Благостной к вечно-живущим богам и благостной к людям.
Благоименную также она родила Астерию,—
410. Ввел ее некогда Перс во дворец свой, назвавши супругой.

Эта, зачавши, родила Гекату,—ее перед всеми
Зевс отличил громовержец и славный удел даровал ей:
Править судьбою земли и бесплодно-пустынного моря.
Был ей и звездным Ураном почетный удел предоставлен,
415. Более всех почитают ее и бессмертные боги.
Ибо и ныне, когда кто-нибудь из людей земнородных,
Жертвы свои принося по закону, о милости молит,
То призывает Гекату: большую он честь получает
Очень легко, раз молитва его принята благосклонно.
420. Шлет и богатства богиня ему: велика ее сила.
Долю имеет Геката во всяком почетном уделе
Тех, кто от Геи-Земли родился и от Неба-Урана.
Не причинил ей насилья Кронид и не отнял обратно,
Что от Титанов, от прежних богов, получила богиня.
425. Все сохранилось за ней, что при первом разделе на долю
Выпало ей из даров на земле, и на небе, и в море.
Чести не меньше она, как единая дочь, получает.—

Даже и больше еще: глубоко она чтима Кронидом.
Пользу богиня большую, кому пожелает, приносит.
430. Хочет,—в народном собраньи любого меж всех возвеличит.
Если на мужегубительный бой снаряжаются люди,
Рядом становится с теми Геката, кому пожелает
Дать благосклонно победу и славою имя украсить.
Возле достойных царей на суде восседает богиня.
435. Очень полезна она, и когда состязаются люди:
Рядом становится с ними богиня и помощь дает им.
Мощью и силою кто победит,—получает награду,
Радуясь в сердце своем, и родителям славу приносит.
Конникам также дает она помощь, когда пожелает,
440. Также и тем, кто, средь синих, губительных волн промышляя,
Станет молиться Гекате и шумному Энносигею.
Очень легко на охоте дает она много добычи,
Очень легко, коль захочет, покажет ее—и отнимет.
Вместе с Гермесом на скотных дворах она множит скотину;
445. Стадо-ль в разброску пасущихся коз иль коров круторогих,
Стадо-ль овец густорунных, душой пожелав, она может
Самое малое сделать великим, великое-ж—малым.
Так-то,—хотя и единая дочерь у матери,—все-же
Между бессмертных богов почтена она всяческой честью.
450. Вверил ей Зевс попеченье о детях, которые узрят
После богини Гекаты восход многовидящей Эос.
Искони юность хранит она. Вот все уделы богини.

Рея, поятая Кроном, детей родила ему светлых,—
Деву-Гистию, Деметру и златообутую Геру,
455. Славного мощью Аида, который живет под землею,
Жалости в сердце не зная, и шумного Энносигея,
И промыслителя-Зевса, отца и бессмертных и смертных,
Громы которого в трепет приводят широкую землю.
Каждого Крон пожирал, лишь к нему попадал на колени
460. Новорожденный младенец из матерна чрева святого:
Сильно боялся он, как бы из славных потомков Урана
Царская власть над богами другому кому не досталась.
Знал он от Геи-Земли и от звездного Неба-Урана,
Что суждено ему свергнутым быть его собственным сыном,
465. Как он сам ни могуч,—умышленьем великого Зевса.
Вечно на страже, ребенка, едва только на свет являлся,
Тотчас глотал он. А Рею брало неизбывное горе.
Но наконец, как родить собралась она Зевса-владыку,
Смертных отца и бессмертных, взмолилась к родителям Рея,
470. К Гее великой, Земле, и к звездному Небу-Урану,—
Пусть подадут ей совет рассудительный, как бы, родивши,
Спрятать ей милого сына, чтоб мог он отмстить за злодейство
Крону-владыке, детей поглотившему, ею рожденных.
Вняли мольбам дщери возлюбленной Гея с Ураном
475. И сообщили ей точно, какая судьба ожидает
Мощного Крона-царя и его крепкодушного сына.
В Ликтос послали ее, плодородную критскую область,

Только лишь время родить наступило ей младшего сына,
Зевса-царя. И его восприяла Земля-великанша,
480. Чтобы на Крите широком владыку вскормить и взлелеять.
Быстрою, черною ночью сначала отправилась в Дикту
С новорожденным богиня и, на руки взявши младенца,
Скрыла в божественных недрах земли, в недоступной пещере,
На многолесной Эгейской горе, середь чащи тенистой.
485. Камень в пеленки большой завернув, подала его Рея
Мощному сыну Урана. И прежний богов повелитель
В руки завернутый камень схватил и в желудок отправил.
Злой нечестивец! Не ведал он в мыслях своих, что остался
Сын невредимым его, в безопасности полной, что скоро
490. Верх над отцом ему взять предстояло руками и силой,
С трона низвергнуть и стать самому над богами владыкой.

Начали быстро расти и блестящие члены, и сила
Мощного Зевса-владыки. Промчались года за годами.
Перехитрил он отца, предписаний послушавшись Геи:
495. Крон хитроумный обратно, великий, извергнул потомков,
Хитростью сына родного и силой его побежденный.
Первым извергнул он камень, который последним пожрал он.
Зевс на широкодорожной земле этот камень поставил
В многосвященном Пифоне, в долине под самым Парнассом,
500. Чтобы всегда там стоял он, как памятник, смертным на диво.

Братьев своих и сестер Уранидов, которых безумно
Вверг в заключенье отец, на свободу он вывел обратно.
Благодеянья его не забыли душой благодарной
Братья и сестры и отдали гром ему вместе с палящей
505. Молнией: прежде в себе их скрывала Земля-великанша.
Твердо на них полагаясь, людьми и богами он правит.

Океаниду прекраснолодыжную, деву Климену,
В дом свой увел Иапет и всходил с ней на общее ложе.
Та-же ему родила крепкодушного сына Атланта,
510. Также Менетия, славой затмившего всех, Прометея
С хитрым, искусным умом и недальнего Эпиметея.
С самого этот начала несчастьем явился для смертных:
Первый от Зевса он девушку, им сотворенную, принял
В жены. Менетия ж наглого Зевс протяженно-гремящий
515. В мрачный отправил эреб, ниспровергнувши молнией дымной
За нечестивость его и чрезмерную, страшную силу.
Держит Атлант, принужденный к тому неизбежностью мощной,
На голове и руках неустанных широкое небо
Там, где граница земли, где певицы живут Геспериды.
520. Ибо такую судьбу ниспослал ему Зевс-промыслитель.
А Прометея, на выдумки хитрого, к средней колонне
В тяжких и крепких оковах Кронид привязал Громовержец
И длиннокрылого выслал орла: бессмертную печень
Он пожирал у титана, но за ночь она вырастала
525. Ровно настолько же, сколько орел пожирал ее за день.
Сыном могучим Алкмены прекраснолодыжной, Гераклом,
Был тот орел умерщвлен, а сын Иапета избавлен

От жесточайших страданий и тяжко-мучительной скорби,—
Не против воли высоко-царящего Зевса-Кронида:
530. Ибо желалось Крониду, чтоб сделалась слава Геракла
Фиворожденного больше еще на земле, чем дотоле.
Честью великой решив отличить знаменитого сына,
Гнев прекратил он, который дотоле питал к Прометею
Из-за того, что тягался он в мудрости с Зевсом сверхмощным.
535. Ибо в то время, как боги с людьми препирались в Меконе,
Тушу большого быка Прометей многохитрый разрезал
И разложил на земле, обмануть домогаясь Кронида.
Жирные в кучу одну потроха отложил он и мясо,
Шкурою все обернув и покрывши бычачьим желудком,
540. Белые ж кости собрал он злокозненно в кучу другую
И, разместивши искусно, покрыл ослепительным жиром.
Тут обратился к титану родитель бессмертных и смертных:

«Сын Иапета, меж всеми владыками самый отличный!
«Очень неровно, мой милый, на части быка поделил ты!»

545. Так насмехался Кронид, многосведущий в знаниях вечных.
И, возражая, ответил ему Прометей хитроумный,—
Мягко смеясь, но коварных повадок своих не забывши:

«Зевс, величайший из вечно-живущих богов и славнейший!
«Выбери то для себя, что в груди тебе дух твой укажет!»

550. Так он сказал. Но Кронид, многосведущий в знаниях вечных,
Сразу узнал, догадался о хитрости. Злое замыслил
Против людей он, и замысел этот исполнить решился.
Правой и левой рукою блистающий жир приподнял он,—
И рассердился душою, и гнев ворвался ему в сердце,
555. Как увидал он искусно прикрытые кости бычачьи.
С этой поры поколенья людские во славу бессмертных
На алтарях благовонных лишь белые кости сжигают.
В гневе сказал Прометею Кронид, облаков собиратель:

«Сын Иапета, меж всех наиболе на выдумки хитрый!
560. «Козней коварных своих, мой любезный, еще не забыл ты!»

Так говорил ему Зевс, многосведущий в знаниях вечных.
В сердце великом навеки обман совершонный запомнив,
Силы огня неустанной решил ни за что не давать он
Людям ничтожным, которые здесь на земле обитают.
565. Но обманул его вновь благороднейший сын Иапета:
Неутомимый огонь он украл, издалёка заметный,
Спрятавши в нарфексе полом. И Зевсу, гремящему в высях,
Дух уязвил тем глубоко. Разгневался милым он сердцем,
Как увидал у людей свой огонь, издалека заметный.
570. Чтоб отплатить за него, изобрел для людей он несчастье:
Тотчас слепил из земли знаменитый хромец обеногий,
Зевсов приказ исполняя, подобие девы стыдливой;
Пояс на ней застегнула Афина, в сребристое платье
Деву облекши; руками держала она покрывало
575. Ткани тончайшей, с главы ниспадавшее,—диво для взоров.

578. Голову девы венцом золотым увенчала богиня.
Сделал венец этот сам знаменитый хромец обеногий
580. Ловкой рукою своей, угождая родителю-Зевсу.
Много на нем украшений он вырезал,—диво для взоров,—
Всяких чудовищ, обильно питаемых сушей и морем.
Много их тут поместил он, сияющих прелестью многой,
Дивных: казалось, что живы они, и что голос их слышен.

585. После того, как создал он прекрасное зло вместо блага,
Деву привел он, где боги другие с людьми находились,—
Гордую блеском нарядов Афины могучеотцовной.
Диву бессмертные боги дались и смертные люди,
Как увидали приманку искусную, гибель для смертных.

591. Женщин губительный род от нее на земле происходит.
Нам на великое горе, они меж мужчин обитают,
В бедности горькой не спутницы,—спутницы только в богатстве.
Так же вот точно в покрытых ульях хлопотливые пчелы
595. Трутней усердно питают, хоть пользы от них и не видят;
Пчелы с утра и до ночи, покуда не скроется солнце,
Изо-дня в день суетятся и белые соты выводят;
Те же все время внутри остаются под крышею улья
И пожинают чужие труды в ненасытный желудок.
600. Так же высоко-гремящим Кронидом, на горе мужчинам,
Посланы женщины в мир,—причастницы дел нехороших.
Но и другую еще он беду сотворил вместо блага:
Кто-нибудь брака и женских вредительных дел избегает
И не желает жениться: приходит печальная старость,—
605. И остается старик без ухода! А если богат он,
То получает наследство какой-нибудь родственник дальний!
Если же в браке кому и счастливый достанется жребий,
Если жена попадется ему сообразно желаньям,
Все же немедленно зло начинает с добром состязаться
610. Без передышки. А если жену из породы зловредной
Он от судьбы получил, то в груди его душу и сердце
Тяжкая скорбь наполняет. И нет от беды избавленья!

Не обойдет, не обманет никто многомудрого Зевса!
Сам Иапетионид Прометей, благодетель великий,
615. Тяжкого гнева его не избег. Как разумен он ни был,
Все же,—хотел, не хотел,—а попал в неразрывные узы.

К Обриарею, и Котту, и Гиесу с первого взгляда
В сердце родитель почуял вражду и в оковы их ввергнул,
Мужеству гордому, виду и росту сынов удивляясь.
620. В недрах широкодорожной земли поселил их родитель.
Горестно жизнь проводили они глубоко под землею,
Возле границы пространной земли, у предельного края,
С долгой и тяжкой скорбью в душе, в жесточайших страданьях.
Всех их, однако, Кронид и другие бессмертные боги,
625. Реей прекрасноволосой рожденные на-свет от Крона,
Вывели снова на землю, совета послушавшись Геи:

Точно она предсказала, что с помощью тех великанов
Полную боги победу получат и громкую славу.
Ибо уж долгое время сражалися друг против друга
630. В ярых, могучих боях, с напряжением, ранящим душу,
Боги-Титаны и боги, рожденные на-свет от Крона:
Славные боги-Титаны—с Офрийской горы высочайшей,
Боги, рожденные Реей прекрасноволосой от Крона,
Всяких податели благ,—с вершин многоснежных Олимпа.
635. Гневом, душе причиняющим боль, пламенея друг к другу,
Десять уж лет непрерывно они меж собою сражались,
А разрешенья тяжелой вражды иль ее окончанья
Не приходило, и не было видно конца меж усобью.
Вызволив тех великанов могучих, подали им боги
640. Нектар с амвросией,—пищу, которой питаются сами.
И преисполнилось сердце у каждого смелостью мощной.
После того, как амвросией с нектаром те напитались,
Слово родитель мужей и богов обратил к великанам:

«Слушайте, славные чада, рожденные Геей с Ураном!
645. «Слово скажу я, какое душа мне в груди приказала.
«Очень уж долгое время, сражаяся друг против друга,
«Бьемся мы все эти дни непрерывно за власть и победу,—
«Боги-Титаны и мы, рожденные на-свет от Крона.
«Встаньте навстречу Титанам, в жестоком бою покажите
650. «Страшную силу свою и свои необорные руки.
«Вспомните нашу любовь к вам, припомните, сколько страданий
«Вы претерпели, пока мы вам тягостных уз не расторгли
«И из подземного мрака сырого не вывели на-свет».

Так он сказал. И ответил тотчас ему Котт безупречный:

655. «Мало, божественный, нового нам говоришь ты: и сами
«Ведаем мы, что и духом, и мыслью ты всех превосходишь.
«Злое проклятие разве не ты отвратил от бессмертных?
«И не твоим ли советом из тьмы преисподней обратно
«Возвращены мы сюда из оков беспощадных и тяжких,
660. «Вынесши столько великих мучений, владыка, сын Крона?
«Ныне разумною мыслью, с внимательным духом тотчас же
«Выступим мы на защиту владычества вашего в мире
«И беспощадной, ужасной войною пойдем на Титанов».

Так он сказал. И одобрили слово, его услыхавши,
665. Боги, податели благ. И войны возжелали их души
Пламенней даже, чем раньше. Убийственный бой возбудили
Все они в этот же день,—мужчины, равно как и жены,—
Боги-Титаны и те, что от Крона родились, а также
Те, что на свет из Эреба при помощи Зевсовой вышли,—
670. Мощные, ужас на всех наводящие, силы чрезмерной.
Целою сотней чудовищных рук размахивал каждый
Около плеч многомощных, меж плеч же у тех великанов
По пятьдесят поднималось голов из туловищ крепких.

Вышли навстречу Титанам они для жестокого боя,

675. В каждой из рук многомощных держа по скале крутобокой.
Также Титаны с своей стороны укрепили фаланги
С бодрой душою. И подвиги силы и рук проявили
Оба врага. Заревело ужасно безбрежное море,
Глухо земля застонала, широкое ахнуло небо
680. И содрогнулось; великий Олимп задрожал до подножья
От ужасающей схватки. Тяжелое почвы дрожанье,
Ног топотанье глухое и свист от могучих метаний
Недр глубочайших достигли окутанной тьмою преисподней.
Так они друг против друга метали стенящие стрелы.
685. Тех и других голоса доносились до звездного неба.
Криком себя ободряя, сходилися боги на битву.

Сдерживать мощного духа не стал уже Зевс, но тотчас же
Мужеством сердце его преисполнилось, всю свою силу
Он проявил. И немедленно с неба, а также с Олимпа,
690. Молнии сыпля, пошел Громовержец-владыка. Перуны,
Полные блеска и грома, из мощной руки полетели
Часто один за другим; и священное взвихрилось пламя.
Жаром палимая, глухо и скорбно земля загудела,
И затрещал под огнем пожирающим лес неисчетный.
695. Почва кипела кругом. Океана кипели теченья
И многошумное море. Титанов подземных жестокий
Жар охватил, и дошло до эфира священного пламя
Жгучее. Как бы кто ни был силен, но глаза ослепляли
Каждому яркие взблески перунов летящих и молний.
700. Жаром ужасным объят был Хаос. И когда бы увидел
Все это кто-нибудь глазом, иль ухом бы шум тот услышал,
Всякий, наверно, сказал бы, что небо широкое сверху
Наземь обрушилось,—ибо с подобным же грохотом страшным
Небо упало б на землю, ее на куски разбивая.
705. Столь оглушительный шум поднялся от божественной схватки.
С ревом от ветра крутилася пыль, и земля содрогалась;
Полные грома и блеска, летели на землю перуны,
Стрелы великого Зевса. Из гущи бойцов разъяренных
Клики неслись боевые. И шум поднялся несказанный
710. От ужасающей битвы, и мощь проявилась деяний.
Жребий сраженья склонился. Но раньше, сошедшись друг с другом,
Долго они и упорно сражалися в схватках могучих.

В первых рядах сокрушающе-яростный бой возбудили
Котт, Бриарей и душой ненасытный в сражениях Гиес.
715. Триста камней из могучих их рук полетело в Титанов
Быстро один за другим, и в полете своем затенили
Яркое солнце они. И Титанов отправили братья
В недра широкодорожной земли, и на них наложили
Тяжкие узы, могучестью рук победивши надменных.
720. Под-земь их сбросили столь глубоко, сколь далёко до неба.
Ибо настолько от нас отстоит многосумрачный Тартар:
Если бы, медную взяв наковальню, метнуть ее с неба,
В девять дней и ночей до земли бы она долетела;
Если бы, медную взяв наковальню, с земли ее бросить,

725. В девять же дней и ночей долетела б до Тартара тяжесть.

Медной оградою Тартар кругом огорожен. В три ряда
Ночь непроглядная шею ему окружает, а сверху
Корни земли залегают и горько-соленого моря.

Там-то под сумрачной тьмою подземною боги-Титаны
730. Были сокрыты решеньем владыки бессмертных и смертных
В месте угрюмом и затхлом, у края земли необъятной.
Выхода нет им оттуда,—его преградил Посидаон
Медною дверью; стена же все место вокруг обегает.
Там обитают и Котт, Бриарей большедушный и Гиес,
735. Верные стражи владыки, эгидодержавного Зевса.

Там и от темной земли, и от Тартара, скрытого в мраке,
И от бесплодной пучины морской, и от звездного неба
Все залегают один за другим и концы, и начала,
Страшные, мрачные. Даже и боги пред ними трепещут.
740. Бездна великая. Тот, кто вошел бы туда чрез ворота,
Дна не достиг бы той бездны в течение целого года:
Ярые вихри своим дуновеньем его подхватили б,
Стали б швырять и туда, и сюда. Даже боги боятся
Этого дива. Жилища ужасные сумрачной Ночи
745. Там расположены, густо одетые черным туманом.

Сын Иапета пред ними бескрайно-широкое небо
На голове и на дланях, не зная усталости, держит
В месте, где с Ночью встречается День: чрез высокий ступая
Медный порог, меж собою они перебросятся словом—
750. И разойдутся; один поспешает наружу, другой же
Внутрь в это время нисходит: совместно обоих не видит
Дом никогда их под кровлей своею, но вечно вне дома
Землю обходит один, а другой остается в жилище
И ожидает прихода его, чтоб в дорогу пуститься.
755. К людям на землю приходит один с многовидящим светом,
С братом Смерти, со Сном на руках, приходит другая,—
Гибель несущая Ночь, туманом одетая мрачным.

Там же имеют дома сыновья многосумрачной Ночи,
Сон со Смертью,—ужасные боги. Лучами своими
760. Ярко сияющий Гелий на них никогда не взирает,
Всходит ли на-небо он, иль обратно спускается с неба.
Первый из них по земле и широкой поверхности моря
Ходит спокойно и тихо, и к людям весьма благосклонен.
Но у другой из железа душа, и в груди беспощадной—
765. Истинно медное сердце. Кого из людей она схватит,
Тех не отпустить назад. И богам она всем ненавистна.

Там же стоят невдали многозвонкие гулкие домы
Мощного бога Аида и Персефонеи ужасной.
Сторожем пес беспощадный и страшный сидит перед входом.
770. С злою, коварной повадкой: встречает он всех приходящих,
Мягко виляя хвостом, шевеля добродушно ушами.

Выйти ж назад никому не дает, но, наметясь, хватает
И пожирает, кто только попробует царство покинуть
Мощного бога Аида и Персефонеи ужасной.

775. Там обитает богиня, будящая ужас в бессмертных,
Страшная Стикс,—Океана, текущего кругообразно,
Старшая дочь. Вдалеке от бессмертных живет она в доме.
Скалы нависли над домом. Вокруг же повсюду колонны
Из серебра, и на них высоко он вздымается к небу.
780. Быстрая на ноги дочерь Тавманта Ирида лишь редко
С вестью примчится сюда по хребту широчайшему моря.
Если раздоры и спор начинаются между бессмертных,
Если солжет кто-нибудь из богов, на Олимпе живущих,
С кружкою шлет золотою отец-молневержец Ириду,
785. Чтобы для клятвы великой богов принесла издалека
Многоимянную воду холодную, что из высокой
И недоступной струится скалы. Под землею пространной
Долго она из священной реки протекает средь ночи,
Как океанский рукав. Десятая часть ей досталась:
790. Девять частей всей воды вкруг земли и широкого моря
В водоворотах серебряных вьется и в море впадает.
Эта ж одна из скалы вытекает, на горе бессмертным.
Если, свершив той водой возлияние, ложною клятвой
Кто из богов поклянется, живущих на снежном Олимпе,
795. Тот бездыханным лежит в продолжение целого года.
Не приближается к пище,—к амвросии с нектаром сладким,
Но без дыханья и речи лежит на разостланном ложе.
Сон непробудный, тяжелый и злой его душу объемлет.
Медленный год протечет,—и болезнь прекращается эта.
800. Но за одною бедою другая является следом:
Девять он лет вдалеке от бессмертных богов обитает,
Ни на собрания, ни на пиры никогда к ним не ходит.
Девять лет напролет. На десятый же год начинает
Вновь посещать он собранья богов, на Олимпе живущих.
805. Так-то вот клясться богами положено ненарушимой
Стиксовой древней водою, текущей меж скал каменистых.

Там и от темной земли, и от Тартара, скрытого в мраке,
И от бесплодной пучины морской, и от звездного неба
Все залегают один за другим и концы, и начала,—
810. Страшные, мрачные; даже и боги пред ними трепещут.
Там же—ворота из мрамора, медный порог самородный,
Неколебимый, в земле широко утвержденный корнями.
Перед воротами теми снаружи, вдали от бессмертных,
Боги-Титаны живут, за Хаосом угрюмым и темным.
815. Там же, от них невдали, в глубочайших местах Океана,
В крепких жилищах помощники славные Зевса-владыки,
Котт и Гиес живут. Бриарея ж могучего сделал
Зятем своим Колебатель земли протяженногремящий,
Кимополею отдав ему в жены, любезную дочерь.

820. После того, как Титанов прогнал уже с неба Кронион,
Младшего между детьми, Тифоея, Земля-великанша

На-свет родила, отдавшись объятиям Тартара страстным.
Силою были и жаждой деяний исполнены руки
Мощного бога, не знал он усталости ног; над плечами
825. Сотня голов поднималась ужасного змея-дракона.
В воздухе темные жала мелькали. Глаза под бровями
Пламенем ярким горели на главах змеиных огромных.
Взглянет любой головою,—и пламя из глаз ее брызнет.
Глотки же всех этих страшных голов голоса испускали
830. Невыразимые, самые разные: то раздавался
Голос, понятный бессмертным богам, а за этим,—как-будто
Яростный бык многомощный ревел оглушительным ревом;
То вдруг рыкание льва доносилось, бесстрашного духом,
То, к удивлению, стая собак заливалася лаем,
835. Или же свист вырывался, в горах отдаваяся эхом.
И совершилось бы в этот же день невозвратное дело,
Стал бы владыкою он над людьми и богами Олимпа,
Если б остро́ не удумал отец и бессмертных, и смертных.
Загрохотал он могуче и глухо, повсюду ответно
840. Страшно земля зазвучала и небо широкое сверху,
И Океана теченья, и море, и Тартар подземный.
Тяжко великий Олимп под ногами бессмертными вздрогнул,
Только лишь с места Кронид поднялся. И земля застонала.
Жаром сплошным отовсюду и молния с громом, и пламя
845. Чудища злого объяли фиалково-темное море.
847. Все вкруг бойцов закипело,—и почва, и море, и небо.
С ревом огромные волны от яростной схватки бессмертных
Бились вокруг берегов, и тряслася земля непрерывно.
850. В страхе Аид задрожал, повелитель ушедших из жизни,
Затрепетали Титаны под Тартаром около Крона
От непрерывного шума и страшного грохота битвы.
Зевс же владыка, свой гнев распалив, за оружье схватился,—
За грозовые перуны свои, за молнию с громом.
855. На ноги быстро вскочивши, ударил он громом с Олимпа;
Страшные головы сразу спалил у чудовища злого.
И укротил его Зевс, полосуя ударами молний.
Тот ослабел и упал. Застонала Земля-великанша.
После того, как низвергнул перуном его Громовержец,
860. Пламя владыки того из лесистых забило расселин
Этны, скалистой горы. Загорелась земля-великанша
От несказанной жары и, как олово, плавиться стала,
В тигле широком умело нагретое юношей ловким.
Так же совсем и железо,—крепчайшее между металлов,—
865. В горных долинах лесистых огнем укрощенное жарким,
Плавится в почве священной под ловкой рукою Гефеста.
Так-то вот плавиться стала земля от ужасного жара.
Пасмурно в Тартар широкий Кронид Тифоея забросил.

Влагу несущие ветры пошли от того Тифоея,
870. Все, кроме Нота, Борея и белого ветра Зефира:
Эти—из рода богов, и для смертных великая польза.
Ветры же прочие все—пустовеи, и без толку дуют.
Сверху они упадают на мглисто-туманное море,
Вихрями злыми крутясь, на великую пагубу людям;

875. Дуют туда и сюда, корабли во все стороны гонят
И мореходчиков губят. И нет от несчастья защиты
Людям, которых те ветры ужасные в море застигнут.
Дуют другие из них на цветущей земле беспредельной
И разоряют прелестные нивы людей земнородных,
880. Пылью обильною их заполняя и тяжким смятеньем.

После того, как окончили труд свой блаженные боги
И в состязанье за власть и почет одолели Титанов,
Громогремящему Зевсу, совету Земли повинуясь,
Стать предложили они над богами царем и владыкой.
885. Он же уделы им роздал, какой для кого полагался.

Сделалась первою Зевса супругой Метида-Премудрость;
Больше всего она знает меж всеми людьми и богами.
Но лишь пора ей пришла синеокую деву-Афину
На-свет родить, как хитро и искусно ей ум затуманил
890. Льстивою речью Кронид и себе ее в чрево отправил,
Следуя хитрым Земли уговорам и Неба-Урана.
Так они сделать его научили, чтоб между бессмертных
Царская власть не досталась другому кому вместо Зевса.
Ибо премудрых детей предназначено было родить ей,—
895. Деву-Афину сперва, синеокую Тритогенею,
Равную силой и мудрым советом отцу Громовержцу;
После ж Афины еще предстояло родить ей и сына,—
С сердцем сверхмощным, владыку богов и мужей земнородных.
Раньше, однако, себе ее в чрево Кронион отправил,
900. Дабы ему сообщала она, что зло и что благо.

Зевс же второю Фемиду блестящую взял себе в жены,
И родила она Ор,—Евномию, Дику, Ирену
(Пышные нивы людей земнородных они охраняют),
Также и Мойр, наиболе почтенных всемудрым Кронидом.
905. Трое всего их: Клофо̀ и Ла̀хесис с Атропос. Смертным
Людям они посылают и доброе все, и плохое.

Трех ему розовощеких Харит родила Евринома,
Славная дочь Океана с прелестным лицом. Имена их
Первой—Аглая, второй—Евфросина и третьей—Фалия.
910. Взглянут,—и сладко-истомная страсть из-под век их прелестных
Льется на всех, и блестят под бровями прекрасные очи.

После того он на ложе взошел к многокормной Деметре,
И Персефоной его белолокотной та подарила:
Деву похитил Аид у нее с дозволения Зевса.

915. Тотчас затем с Мнемосиной сошелся он пышноволосой.
Муз родила ему та, в золотых диадемах ходящих,
Девять счетом. Пиры они любят и радости песни.

С Зевсом эгидодержавным в любви и Лето сочеталась.
Феба она родила с Артемидою стрелолюбивой;
920. Всех эти двое прелестней меж славных потомков Урана.

Самой последнею Геру он сделал своею супругой.
Гебой, Ареем его и Илифией та подарила,
Совокупившись в любви с владыкой бессмертных и смертных.

Сам он родил из главы синеокую Тритогенею,—
925. Неодолимую, страшную, в битвы ведущую рати,
Чести достойную,—милы ей войны и грохот сражений.
В гневе великом на это, поссорилась Гера с супругом
И, не познавши любовных объятий, родила Гефеста.
Между потомков Урана в художествах всех он искусней.

930. От Амфитриты и тяжко гремящего Энносигея
Широкомощный, великий Тритон родился, что владеет
Глубью морской. Близ отца он владыки и матери милой
В доме живет золотом,—ужаснейший бог. Киферея
Щитодробителю-Аресу Страх родила и Смятенье,
935. Ужас вносящих в густые фаланги мужей-ратоборцев
В битвах кровавых, совместно с Ареем, рушителем градов.
Дочь родила она также Гармонию, Кадма супругу.

Мая, Атлантова дочерь, взошла на священное ложе
К Зевсу и вестником вечных богов разрешилась, Гермесом.

940. Кадмова дочерь Семела, в любви сочетавшись с Кронидом,
Сына ему родила Диониса, несущего радость,
Смертная—бога. Теперь они оба бессмертные боги.

Мощную силу Геракла на свет породила Алкмена,
В жаркой любви сочетавшись с Кронидом, сбирающим тучи.

945. Сделал Аглаю Гефест, знаменитый хромец обеногий,
Младшую между Харит, своею супругой цветущей.

А Дионис златовласый Миносову дочь Ариадну
Русоволосую сделал своею супругой цветущей.
Зевс для него даровал ей бессмертье и вечную юность.

950. Сын необорно-могучий Алкмены прекраснолодыжной,
Сила Геракла, приведши к концу многостонные битвы,
Сделал супругой почтенной своею на снежном Олимпе
Златообутою Герой от Зевса рожденную Гебу.
Дело великое между богов совершил он, блаженный.
955. Ныне ж, бесстаростным ставши навеки, живет без страданий.

Кирку на свет родила Океанова дочь Персеида
Неутомимому Гелию, также Аета-владыку.
Царь же Ает, лучезарного Гелия сын знаменитый,
Взял себе в жены Идию, прекрасноланитную деву,
960. Дочь Океана, реки совершенной, богам повинуясь.
Та же его подарила Медеей прекраснолодыжной,
Силою чар Афродиты любви его страстной отдавшись.

Всем вам великая слава, живущие в домах Олимпа...

* * * * *

Материки, острова и соленое море меж ними.

965. Ныне ж воспойте мне племя богинь, олимпийские Музы,
Сладкоречивые дщери эгидодержавного Зевса,—
Тех, что, с мужчинами смертными ложе свое разделивши,—
Сами бессмертные,—на-свет родили детей богоравных.

Плутос-богатство рожден был Деметрой, великой богиней.
970. С Иасионом-героем в любви сопряглась она страстной
В критской богатой округе на три раза вспаханной нови.
Бродит он, благостный бог, по земле и широкому морю
Всюду. И кто его встретит, кому попадется он в руки,
Тот богатеет и много добра наживать начинает.

975. Кадму Гармония, дочь золотой Афродиты, родила
В Фивах, стеною прекрасно венчанных, Ино и Семелу,
Также Агаву с прелестным и милым лицом, Полидора
И Автоною (супругом ей был Аристей длинновласый).

980. Силой Кипридиных чар Океанова дочь Каллироя
Соединилась в любви с крепкодушным Хрисаором мощным
И родила Гериона ему,—между смертными всеми
Самого мощного. Сила Геракла его умертвила
Из-за коров тяжконогих в омытой водой Эрифее.

Эос-Заря от Тифона родила царя ефиопов
985. Мемнона медноружного с Эмафионом-владыкой.
После того от Кефала она родила Фаетона,
Светлого, мощного сына, бессмертным подобного мужа.
Был он с земли унесен Афродитой улыбколюбивой
В то еще время, как был беззаботно-веселым ребенком,
990. В нежном цветении детства прекрасного. Храмы святые
Он по ночам охраняет, божественным демоном ставши.

Деву, дочерь Аета-владыки, вскормленного Зевсом,
Внявши совету бессмертных богов, у Аета похитил
Сын благородный Эсона, труды многостонные кончив.
995. Много ему поручил совершить их владыка сверхмощный,
Мыслей и дел нечестивых исполненный, Пелий надменный.
Их совершивши и бед претерпевши немало, к Иолку
Прибыл на резвом своем корабле Эсонид с быстроглазой
Девой и сделал цветущей своею супругой ту деву.
1000. И сочетался с ней пастырь народов Ясон. И родила
Сына Медея она. В горах Филиридом Хароном
Был он вскормлен. И свершилось решенье великого Зевса.

Из дочерей же Нерея, великого старца морского,
Сына Фока на свет породила богиня Псамата,
1005. Чрез золотую Киприду в любви сочетавшись с Эаком.
Со среброногой богиней Фетидой Пелей сочетался,
И родился Ахиллес, львинодушный рядов прорыватель.

Славный Эней был рожден Киферей прекрасновенчанной.
В страстной любви сопряглася богиня с Анхизом-героем

1010. На многолесных вершинах богатой оврагами Иды.

Кирка же, Гелия дочь, рожденного Гиперионом,
Соединилась в любви с Одиссеем, и был ею на-свет
Агрий рожден от него и могучий Латин безупречный.
(И Телегона она родила чрез Киприду златую).
1015. Оба они на далеких святых островах обитают
И над Тирренцами, славой венчанными, властвуют всеми.
В жаркой любви с Одиссеем еще Калипсо́ сочеталась
И Навсифоя,—богиня богинь,—родила с Навсиноем.

Эти, с мужчинами смертными ложе свое разделивши,—
1020. Сами бессмертные,—на свет родили детей богоравных.
Ныне же племя воспойте мне жен, олимпийские Музы,
Сладкоречивые дщери эгидодержавного Зевса...

(В 1918 г. Государственной Академией Наук перевод удостоен полной пушкинской премии).

ПРИМЕЧАНИЯ

4. Фиалково-темный источник. Имя источника—Аганиппа. Об нем сообщает Павсаний: «Если идти на Геликоне по направлению к роще Муз, то по левую руку будет источник Аганиппа. Говорят, Аганиппа была дочерью Термеса (Пермесса). Этот Термесс течет также вблизи Геликона» (IX, 295).

17. Диона. Схолиаст замечает: «не мать Афродиты, а одна из Океанид, т.-е. Титанид» (см. стих. 353). По Илиаде (V,370), Афродита была дочерью Дионы (и Зевса). По Гесиоду, происхождение Афродиты было другое (см. ст.ст. 189—201). Диона, как супруга Зевса, особенно почиталась в Додоне, в древнейшее время также в Афинах.

35. Впрочем, ну, как я могу говорить о скале или дубе?—Стих, вызвавший очень много толкований. Повидимому, пословица. Смысл: «как я могу говорить о таких священных, таинственных вещах?» В двух наиболее чтимых греческих прорицалищах, дельфийском и додонском, голос божества вещал из-под Парнасской скалы в оракуле Дельфийском, из листвы священного дуба—в оракуле Додонском.

118.

Вечных богов, обитателей снежных вершин олимпийских.

123—125. Черная Ночь и угрюмый Мрак (Эреб) рождают из себя Эфир-Свет и Гемеру-День.

200.

Также «улыбколюбивой», затем, что улыбки ей милы.

207—209. «Простираю» по-гречески—titaino.

214. Мом—бог насмешки и порицания.

272. Graia — старуха.

278. Черновласый — Посейдон.

282—283. Имя Пегас—оттого, что рожден у ключей Океанских (Okeanou peri pegas), имя Хрисаор,—что с луком в руках золотым родился он (aor chryseion).

389. Нерушимая Океанида.—Стикс называется нерушимою, потому что клятва ее именем должна была быть нерушимою.

535. Мекона—древнее название Сикиона.

536. Прометей благосклонный (к людям).

567. Спрятавши в нарфексе полом.—Нарфекс—растение из семейства зонтичных.

576.

Голову ей увенчала богиня Паллада-Афина
Чудным венком из цветов луговых, только-только расцветших.

590.

Вот от нее и пошла слабосильная женщин порода.

846.

И ураганные ветры, и полные молний перуны.

889—890. Схолии: «как говорят, Метида обладала такою силою, что могла превращаться во что хотела. Зевс обманул ее и, уговорив сделаться маленькою, проглотил». Таким образом, премудрость оказалась внутри самого Зевса. Богиня была в это время беременна Афиною, которая, значит, тоже оказалась во чреве Зевса. После этого Зевс рождает ее из своей головы (стих 924).

901. Фемида—правосудие. Три ее дочери Оры (времена года) носят характерные имена: Евномия (доброзаконие), Дике (справедливость) и Ирена (мир).

930. Энносигей—Посейдон.
970. Сравни Одисс., V, 125—127.

Так Язион был прекраснокудрявой Деметрою избран.
Сердцем его возлюбя, разделила с ним ложе богиня
На поле, три раза вспаханном...

992. Дева, дочерь Аета—Медея

994. Сын Эсона — Ясон.

АРХИЛОХ И САФО

Архилох, Сафо и с ними еще Пиндар—три прекраснейшие планеты на небе эллинской лирики. Как Юпитер, царственно сияет божественный Пиндар. Бурно свершает быстрый свой бег Архилох, подобный кроваво-пламенному Марсу. Нежно и ярко светится Сафо, как Венера, ее любимейшая звезда.

Но читателя, желающего познакомиться с Архилохом и Сафо, следует заранее предупредить о том, что его ждет. Вид, в котором эти поэты дошли до нас, поистине ужасен. Ни одной цельной песни Архилоха. Одна единственная песня Сафо, дошедшая целиком. Десяток фрагментов, стихов по десять-пятнадцать. Все же остальное—жалкие отрывки в один-два стиха. Перед нами как будто обломки чудесных статуй,—хорошо еще, если безголовый торс или цельная конечность; в большинстве это—просто мелкие осколки: какой-нибудь мизинец руки, кусок бедра, часть щеки с подбородком. И только тот, кто даже в таких обломках способен почуять великую красоту и силу, проникавшую погибшие произведения,—только тот не отвернется разчарованно от наследства, оставленного Архилохом и Сафо. А кто не отвернется, тот будет вознагражден.

В ничтожных остатках произведений Архилоха и Сафо поражает их несравненная цельность и самоцветная яркость. А при этом нужно еще иметь в виду, что дошли до нас вовсе не характернейшие, не «избранные» отрывки; большинство их извлечено не из сочинений, авторов, цитировавших особенно прекрасные и сильные места произведений. Напротив, дошедшие отрывки носят такой случайный характер, что случайнее трудно и придумать. Древнему исследователю эллинской метрики нужно привести образец какого-либо редкого стихотворного размера,—и он цитирует пару соответственных стихов Архилоха, даже не заботясь о том, сохранен ли в стихах какой-нибудь смысл. Грамматик хочет привести пример той или другой грам-

матической формы эолийского диалекта—и цитирует стих Сафо, в котором для него важна только наличность определенной этимологической или синтаксической формы. Схолиаст сравнивает комментируемого им поэта с другими, мифолог приводит различные варианты легенды, лексикограф разъясняет значение того или другого слова,— и вот для примера цитирует Архилоха или Сафо. Быть представленным несколькими десятками таких случайных, нехарактерных отрывков и в них ярко проявить цельную, вполне определенную художественную индивидуальность,—многие ли даже из первоклассных поэтов выдержали бы подобную пробу? А Сафо и Архилох выдерживают ее с честью.

И тем обиднее скудость поэтического наследства, доставшегося нам от них, тем возмутительнее небрежность, с какою позднейшее эллинство растеряло драгоценнейшие сокровища, бывшие в его руках. Ничтожный Анакреон и его подражатели были этому эллинству более по плечу, чем великие Архилох и Сафо. И наш печальный удел—только вчитываться в дошедшие коротенькие отрывки, стараться почуять сквозь них погибшую великую красоту и горько спрашивать: неужели же навсегда и бесповоротно исчезли для нас эти невозместимые сокровища эллинского гения?

К счастью, последние находки в оксиринхских папирусах и огромное количество папирусов еще необследованных дает нам право надеяться, что хоть некоторая часть погибших сокровищ все-таки будет еще вырвана из недр поглотившего их времени.

* * *

Архилох и Сафо принадлежат к разным эпохам, к разным эллинским племенам; темпераменты их совершенно различные. И однако их с полным правом можно поместить рядом. Больше, чем какие-либо другие лирики, оба они являются яркими представителями истинного древне-эллинского духа, ясного, мужественного и цельного. У обоих—жадная влюбленность в жизнь, глубоко-религиозное и серьезное отношение к ней. Жизнь полна для них великой, непоколебимой красоты и значительности, которой не могут опровергнуть никакие скорби и напасти. Удары судьбы, как удары стали о кремень, не разбивают души этих людей, а только извлекают из нее снопы ярких искр.

Архилох и Сафо меньше всего—«писатели». Ни в одном их стихе нет «литературы». Их поэзия—ржание боевого коня, песня соловья; живое, естественное отражение свободно проявляющегося духа. Эмерсон говорит о Монтэне: «разрежьте его слова, и из них потечет

кровь; это живые создания, полные крови и нервов». Еще с большим правом то же самое можно сказать об Архилохе и Сафо.

* *
*

Переводы сделаны размерами подлинников. Переведено все, дошедшее до нас от Архилоха и Сафо, кроме обрывков фраз, не представляющих никакого интереса.

I

АРХИЛОХ

Время на Элладе было кипучее и бурное. Внутри государств начинались революционные движения, направленные против аристократии. Шли непрерывные войны между отдельными эллинскими государствами. Увеличивавшееся население не находило на месте применения для своего труда, и толпы предприимчивых людей отправлялись вдаль искать себе новых мест для поселения. Греческие пятидесятивесельные карабли бороздили волны на всем протяжении известных тогда морей, от Мэотийского Болота (Азовского моря) до Геркулесовых Столбов (Гибралтарского пролива). По морскому побережью всюду основывались греческие колонии, и в жестоких боях с местным населением они должны были непрерывно отстаивать свое право на существование.

Архилох родился на острове Паросе. Время жизни его с точностью не установлено. Обыкновенно принимают, что он родился около 680 г. до Р. Х.; другие думают, что около 700 г. и даже еще раньше. По отцу он происходил из знатного рода. Остров Парос славился культом богини Деметры, и предки Архилоха принадлежали к жреческому роду, служившему этой богине. Имя отца Архилоха было Телесикл. По предписанию дельфийского оракула, он основал паросскую колонию на острове Фасосе, лежащем далеко к северу от Пароса, верстах в шести от фракийского побережья. Этот остров уже раньше был связан с Паросом давними религиозными отношениями: за два поколения назад паросцы Теллид, прадед Архилоха, и Клеобея учредили на Фасосе культ Деметры паросской.

Матерью Архилоха была рабыня, по имени Энипо. Если отец его и был богат, то все же навряд ли мог Архилох, вследствие своего

полурабского происхождения, наследовать ему. Во всяком случае, молодость свою он прожил в бедности,—это мы знаем достоверно. Впрочем, и дальнейшая жизнь не баловала Архилоха,—вся она была одною длинною цепью лишений, обид и несчастий.

Есть предположение, что Архилох принимал участие в неудачной попытке колофонских переселенцев основать колонию на реке Сирисе в Великой Греции (Нижней Италии). Во всяком случае, в Италии побывать ему пришлось,—на это ясно указывает отрывок № 25, где Архилох сравнивает угрюмый остров Фасос с прекрасным краем, «где плещут волны Сириса». Новейшие исследователи,—Крузиус, Говетт,—думают, что Архилох говорит об Италии только по наслышке: в то время Италия представлялась эллинам блаженной страной, и не нужно было непременно побывать там, чтобы говорить о ней с восхищением. Нам совершенно непонятен такой чрезмерный критицизм. Архилох был слишком суб'ективен и реалистичен, чтобы сравнивать немилый ему край с каким-то фантастическим краем, никогда им невиданым. В стихотворении ясно чувствуется наличность подлинных личных воспоминаний. Некоторые высказывают еще предположение, что Архилох занимался на родине вывозом фиг. Но эта догадка сомнительна.

Достоверно известно, что, под влиянием нужды, Архилох был принужден бросить «морскую жизнь и Парос, и смоковницы его» (№ 20). Он отправился искать счастья на остров Фасос, тот самый Фасос, на котором когда-то его отец основал колонию паросцев.

На Фасосе для Архилоха начинается бурная, опасная и тяжелая боевая жизнь. Колонисты Фасоса не довольствовались своим островом и делали попытки завладеть противолежащим фракийским берегом, который был богат золотыми россыпями и виноградниками. Здесь им приходилось вести упорную борьбу с воинственными фракийскими племенами, а также с колонистами из других греческих городов. Множество отрывков Архилоха посвящено описанию этих битв, в которых поэт принимал личное участие.

Но жизнь на Фасосе не удовлетворила Архилоха. В дошедших отрывках он с отвращением и скорбью говорит о Фасосе,—немилом и нерадостном крае, «трижды несчастном острове», над которым навис камень Тантала (см. №№ 21—25). К тому же, безудержнозлой язык Архилоха создал ему там множество врагов. Он покидает Фасос и возвращается на Парос.

На Паросе разыгрывается роман Архилоха с Необулою, дочерью знатного паросца Ликамба. Ликамб дал согласие на брак дочери с Архилохом, принимал его в своем доме, как жениха, но затем взял согласие обратно и отказал Архилоху. Взбешенный Архилох ответил на обиду целым градом ядовитых песенок, в которых смешал

с грязью и Ликамба, и бывшую свою невесту Необулу, и младшую сестру ее, не пощадив даже их девической чести. Рассказывали, что опозоренная Необула вместе с сестрою повесились от отчаяния, что покончил с собою и их отец. Но это—позднейшая выдумка, по-видимому, уже римского происхождения. Во всяком случае, месть Архилоха была жестокая и удачная,—см., например, злорадное обращение Архилоха к Ликамбу в отрывке № 46.

Повидимому, нужда не раз заставляла Архилоха служить наемным воином. В отрывке № 1 он говорит, что хлеб и вино добывает себе копьем. Полный горечи отрывок № 15, а также № 16 вполне ясно указывают, что он был наемником. Однако, ничего из того, что нам известно о жизни Архилоха, не дает нам возможности установить, когда именно и при каких обстоятельствах он продавал свое копье нанимателю: насколько мы может судить, он всегда сражался за дело родных своих островов Пароса и Фасоса.

Архилох погиб на войне, которую вел Парос с соседним островом Наксосом. Его убил в бою наксосец Калонд, по прозванию Ворон (Коракс). Когда впоследствии этому Калонду пришлось однажды обратиться по какому-то делу к дельфийскому оракулу, бог отказался ему отвечать:

Вон из храма уйди: служителя Муз умертвил ты.

***

Поэзия Архилоха является ярким отражением его души и личной судьбы. Во весь рост стоит перед нами этот грубый солдат-неудачник, кутила и развратник, с богатым лексиконом казарменно-грязных слов и шуточек, злой и безудержный в своей мести, с насмешкою, язвящей глубоко и больно. «Яд его речи,—говорит александрийский поэт и критик Каллимах,—происходит от желчи собаки и жала осы».

Но душа у этого грубого, злого солдата была большая и глубокая. Напасти, в таком обилии сыпавшиеся на него, не смогли вызвать в его душе ни единой трещинки. Мужественно и бодро шел он через жизнь, принимая самые тяжкие удары судьбы, как естественное проявление стихийной закономерности жизни. Познать неизбежность этой закономерности, душою почувствовать тот *ритм*, который сокрыт в жизни человека (см. № 54),—в этом для него глубочайшая мудрость. Беды и тягости человеческие обусловливаются самим существом жизни. А для того, чтобы человек в силах был их нести, боги наградили его несравненным даром. Этот дар—могу-

чая стойкость души (см. № 50). С нею в жизни ничего не страшно.

Архилох знает, как беспомощен человек перед силами жизни. Все зависит от судьбы и случая (№ 56). Даже настроения человека, его мысли определяются внешними условиями, ему не подвластными (№ 60). Однако, для Архилоха это не значит, что человек должен замереть в бездеятельном фатализме. Случится то, что должно случиться, а человек борись и старайся добиться своего. См., напр., отрывок № 10. Все зависит от судьбы и случая? Да. Но рядом с этим все зависит от заботы и труда человека (№ 55). И в этом нет психологического противоречия: дух мудрый и деятельный понимает свою зависимость от наджизненных сил, но на этом основании не складывает рук, а со всею энергией стремится к своим целям.

В полном соответствии с таким жизнеотношением находится и религия Архилоха. Во всем нужно полагаться на богов, от них зависит все: они ставят на ноги упавших, опрокидывают наземь стоящих на ногах (№ 64). Управлять миром—дело богов. Человеку тут нечем возмущаться, нужно принять мир таким, каков он есть, не негодуя на действия богов (№ 57).

Архилох жесток душою и безудержно-мстителен, сознает это и похваляется этим. Он гордится своим уменьем страшно мстить за причиненное ему зло (№№ 76 и 77), сравнивает себя с цикадою, которая шумлива уже по природе и без всякой необходимости,—когда же ее схватят за крыло, испускает еще более громкие звуки (№ 75). Он не знает меры в своих нападках на несчастную Необулу, топчет в грязь ее честь, клеветнически изображает ее потаскушей (см., напр., мерзостные намеки в №№ 43 и 44). И все-таки в глубине души этого дикого человека чувствуются какие-то благородные залежи. Большой отряд, в котором находился Архилох, настиг кучку врагов и перебил их. Не с жестокою радостью, не с кровавым сладострастием вспоминает Архилох о произведенной бойне, а с гадливостью и самонасмешкой (№ 11). И когда он слышит глумление над умершим человеком, ему становится противно (№ 58).

На всем, на каждой строке Архилоха лежит печать той великой искренности и ничего не боящейся откровенности, на которую способен только большой художник, и которая вызывает полное недоумение в маленьких людях. Элиан рассказывает про софиста Крития, современника Сократа: «обвиняет Критий Архилоха, что он самым дурным образом говорил о себе: если бы,—утверждает Критий,—Архилох не распространил о себе среди эллинов такой славы, мы не знали бы ни того, что он был сыном рабыни Энипо, ни того, что он, покинув Парос, вследствие бедности и нужды, прибыл в Фасос, ни того, что, прибыв, он возбудил к себе вражду тамошних;

кроме этого, мы не знали бы, что он был прелюбодеем, если бы не узнали этого от него же, ни того, что он был сладострастником и гордецом; и,—самое позорное даже среди этого,—что он бросил свой щит. Не добрым был о себе Архилох свидетелем, оставив о себе такую славу и такую молву». Это общая судьба всех больших поэтов,—быть о себе недобрыми свидетелями. Люди недоумевают: к чему распускать о себе дурную славу? Готовы видеть в признаниях поэта цинизм, вызов общественному мнению. А поэт смело рассказывает обо всем перечувствованном просто потому, что в этом его существо, что иначе он поступать не может. И, рассказывая, напр., о потере своего щита (№ 5), Архилох, конечно, хорошо знал, какое он вызовет к себе негодование и презрение; и все-таки рассказал, потому что для души поэта потребность высказаться сильнее соображений самолюбия и страха перед осуждением.

* *
*

Значение Архилоха в истории эллинской поэзии огромно. Он по справедливости считается основателем и в то же время вершиною эллинской лирики, как Гомер—эллинского эпоса. И древние постоянно ставили рядом два этих имени. В ватиканском Музее хранится двойная герма, на которой изваяны бюсты Гомера и Архилоха.

Архилох первый стал говорить в поэзии о самом себе, о чисто личных своих переживаниях, радостях и горестях,—и силою своего гения заставил слушателя отзываться на эти переживания, как на что-то общее, всем близкое, по поводу чего никто не скажет:

Какое дело нам, страдал ты или нет?

Он—основатель суб'ективной лирики, которая дала Элладе таких ярких поэтов, как Алкман, Мимнерм, Алкей и великая Сафо. Он же, с другой стороны,—творец кусающих, едко-насмешливых ямбов и эподов, из которых вытекли позднейшая комедия, сатира и басня.

Древние в особую заслугу Архилоху ставили еще изобретение им разнообразнейших новых метрических форм. В этом отношении Архилох стоит, действительно, на недосягаемой высоте. Богатство размеров, которыми написаны песни Архилоха, неисчерпаемо. Удивительно ритмичная душа, у которой каждое настроение выливается в свой собственный, характерный ритм с такою же естественностью, с какою у нас настроение выливается в определенной интонации. Архилох не ищет размеров, не «сочиняет» их, не теоретизирует. Охватило его такое-то настроение,—и готов новый размер.

Вот, напр., какая-то очень смешная история, которую Архилох рассказывает своему другу Харилаю (№№ 86—90). Скудные отрыв-

ки не дают нам указаний на содержание этой истории. Но размер песни сам за себя смеется и лихо подмигивает; кажется, так и слышишь смеющийся говорок, каким должны декламироваться эти «куплеты». А вот—недавно найденный отрывок (№ 26), в котором Архилох осыпает злобными пожеланиями предателя-друга. Поэт охвачен бешенством. Его песня, это—порывы вихря. Бурный ямб сменяется понижающимся, плавным и коротким дактилем, который резко обрывается, чтобы перейти в новый подъем ямба. Ритм души, захлебывающейся от ярости. Или вот отрывок № 37. В нем сталкиваются три совершенно различных размера, и в этом так ярко отражается борьба чувств, происходящая в охваченной любовью душе.

Размерами, созданными Архилохом, питалась вся позднейшая эллинская и римская поэзия. Мы думаем, что его богатое метрическое наследство не исчерпано и до сего времени; современным поэтам, ищущим новых форм, не мешало бы заглянуть в это наследство.

БОЕВАЯ ЖИЗНЬ

1.

Я—служитель царя-Эниалия, мощного бога.
Также и сладостный дар Муз хорошо мне знаком.

Эниалий—Арес, бог войны.

2.

В остром копье у меня замешен мой хлеб. И в копье же—
Из-под Исмара вино. Пью, опершись на копье.

Исмар—город и река на берегу Фракии, к востоку от острова Фасоса. В Одиссее не раз упоминается прекрасное исмарское вино, «божественный напиток».

Если когда тем пурпурно-медвяным вином насладиться
В ком пробуждалось желанье, то; в чашу его нацедивши,
В двадцать раз боле воды подбавляли, и запах из чаши
Был несказанный: не мог тут никто отпить воздержаться.

Одисс. IX, 208—211

Именно исмарским вином Одиссей коварно подпоил циклопа Полифема

3.

То не пращи засвистят, и не с луков бесчисленных стрелы
Вдаль понесутся, когда бой на равнине зачнет
Арес могучий: мечей многостонная грянет работа.
В бое подобном они опытны боле всего,—
Мужи-владыки Евбеи, копейщики славные...

О «народе евбейском, дышащих боем Абантах», упоминает уже Илиада, отмечая их склонность к рукопашному бою:

Он предводил сих Абантов, на тыле власы лишь растивших,
Воинов пылких, горящих ударами ясневых копий
Медные брони врагов разбивать рукопашно на персях.

Ил. II, 542—544

4.

Чашу живее бери и шагай по скамьям корабельным.
С кадей долбленых скорей крепкие крыши снимай.
Красное черпай вино до подонков. С чего же и нам бы
Стражу такую нести, не подкрепляясь вином?

«И нам»—так же, как и врагу, на веселый бивак которого они с завистью смотрят. *(Ф. Ф. Зелинский).*

5.

Псевдо-Плутарх: Прибывшего в Спарту поэта Архилоха лакедемонцы немедленно изгнали, когда им стало известно об его стихах, в которых он говорит, что лучше бросить свое оружие, чем умереть.

Носит теперь горделиво Саиец мой щит безупречный:
Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах
Сам я кончины за то избежал. И пускай пропадает
Щит мой. Не хуже ничуть новый могу я добыть.

Саийцы фракийское племя.—Известие об изгнании поэта из Спарты—позднейшая выдумка.—Признание в потере своего оружия—нередкий мотив в античной поэзии. По примеру Архилоха, об этом рассказывает целый ряд поэтов. Про лесбосского поэта Алкея, современника Сафо, Геродот сообщает: «В одной схватке, где победили Афиняне, сам Алкей спасся бегством, но оружие его захватили Афиняне и повесили в храме Афины в Сигейоне. Алкей описал это в стихотворении и послал в Митилену, сообщая о случившемся несчастии другу своему Меланиппу». От Анакреона сохранился отрывок, в котором он рассказывает, как бежал из битвы,

Бросив щит свой на берегах
речки прекрасноструйной.

Всякий по Пушкину знает о подобном же признании Горация:

Ты помнишь час ужасный битвы,
Когда я, трепетный Квирит,
Бежал, нечестно бросся щит
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся, как бежал!..

6.

Гибельных много врагам в дар мы гостинцев несли.

7.

Гераклид Понтийский: Архилох, охваченный фракийскими опасностями, сравнивает войну с морскою бурею, говоря так:

Главк, смотри: уж будоражат волны море глубоко,
И вокруг вершин Гирейских круто стали облака,—
Признак бури. Ужас душу неожиданно берет...

8.

Эрксий, где опять бессчастный собирается отряд?

9.

И, как жаждущий—напиться, боя я с тобой хочу.

10.

В новичках буди отвагу. А победа—от богов.

11.

Мы настигли и убили счетом ровно семерых:
Целых тысяча нас было...

12.

Воистину, для всех ведь одинаков он,
Великий Арес...

Срв. Ил. XVIII, 309:

Общий у смертных Арей: и разящего он поражает.

13.

И средь них, надеюсь, многих жаркий Сириус пожжет,
Острым светом обливая.

14.

В свои объятья волны взяли души их.

15.

Главк, до поры лишь, покуда сражается, дорог наемник.

16.

И, как Кариец, буду слыть наемником.

17.

Гален: Имеющие от природы ноги, искривленные внутрь, стоят на земле тверже и прочнее, чем те, которые имеют ноги совершенно прямые*). Это видно и из того, что сказал Архилох:

Нет, не люб мне вождь высокий, раскаряка-вождь не люб,
Гордый пышными кудрями иль подстриженный слегка.
Пусть он будет низок ростом, ноги—внутрь искривлены,
Чтоб ступал он ими твердо, чтоб с отвагой был в душе.

18.

Памятник Архилоха на Паросе.

А. Рассказывает Архилох, как при архонте Амфитиме они могуче победили Наксосцев, говоря так:

...и напал на них народ,
Начал битву и далёко шум разнесся боевой...
. . . . многогибельный огонь...
. . . . и когда лишь боязливый день пришел,
Перестали мы бросать...

*) Такого преимущества кривоногих современная наука не знает.

. . . . бросая копья. . . . .
Разрушалися заметно стены. . . . .
Из камней соорудили. . . . . . . Сами же пэан
Мы лесбийский затянули и руками . . . .
. . . . тяжко Зевс-отец загрохотал...

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ С ПАРОСА. ЖИЗНЬ НА ФАСОСЕ

19.

К вам, измученным нуждою, речь, о граждане, моя.

20.

Брось морскую жизнь и Парос, и смоковницы его.

21.

О Фасосе скорблю, не о Магнесии.

Магнесия,—греческий город на западном берегу Малой Азии, на р. Мэандре,—была разрушена вторгшимися с севера страшными Киммерийцами и Трерами, опустошавшими в середине VII в. Малую Азию.

22.

О Фасосе, несчастном трижды городе.

23.

Словно скорби всей Эллады в нашем Фасосе сошлись.

24.

...чтоб, над островом нависший
Камень Тàнтала исчез.

25.

О Фасосе).

... как осла хребет,
Заросший диким лесом, он вздымается.
Невзрачный край, немилый и нерадостный,
Не то, что край, где плещут волны Сириса.

Река Сирис — в Великой Греции (Италии).

26.

...Бурной носимый волной.
Пускай близ Салмидесса ночью темною
Взяли б Фракийцы его
Чубатые,—у них он настрадался бы,
Рабскую пищу едя!—
Пусть взяли бы его,— закоченевшего,
Голого, в травах морских,
А он зубами, как собака, ляскал бы,
Лежа без сил на песке
Ничком, среди прибоя волн бушующих.
Рад бы я был, если б так
Обидчик, клятвы растоптавший, мне предстал,—
Он, мой товарищ былой!

Второй стих — конъектура Шультгесса—Rhein. Mus. 1902, p. 157. Салмидесс—город во Фракии, на берегу Черного моря. — Фракийцы носили волосы только на макушке, а остальную часть головы брили. О чубатых фракийцах говорит и Илиада, IV, 533:

Фракийцы,
Воины с чубом на маковке, грозно уставивши копья.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

27.

Аристотель: Архилох, обвиняя друзей, обращается к своей душе:

... и друзья-то сами мучают тебя.

28.

...жадно упиваясь неразбавленным вином,
И своей не внесши доли...
И никто тебя, как друга, к нам на пир не приглашал.
Но желудок твой в бесстыдство вверг тебе и ум, и дух.

Относится к архилохову другу Периклу. (Перикл этот, разумеется, не имеет ничего общего со знаменитым Периклом, сыном Ксантиппа.)

29.

Главка мне воспой, с кудрями, завитыми в рог...

30.

Леофил теперь начальник, Леофил над всем царит,
Все лежит на Леофиле, Леофила слушай все.

ЛЮБОВЬ. НЕОБУЛА И ЛИКАМБ

31.

Своей прекрасной розе с веткой миртовой
Она так радовалась. Тенью волосы
На плечи ниспадали ей и на спину.

2.

...старик влюбился бы
В ту грудь, в те миром пахнущие волосы.

33.

Если б все же Необулы мог коснуться я рукой.

34.

Храня молчанье, за тобою вслед иду.

35.

Сладко-истомная страсть,
товарищ, овладела мной.

36.

От страсти обезжизневший,
Жалкий, лежу я, и волей богов несказанные муки
Насквозь пронзают кости мне.

37.

Эта-то страстная жажда любовная,
переполнив сердце,
В глазах великий мрак распространила,
Нежные чувства в груди уничтоживши.

38.

Из дочерей Ликамба только старшую.

39.

Зевс, отец мой! Свадьбы я не пировал!

40.

Не стала бы старуха миром мазаться.

41.

Нежною кожею ты не цветешь уже:
вся она в морщинах.

42.

И злая старость борозды проводит.

43.

Слепых угрей ты приняла немало.

44.

Схолии к Арату: Машут крыльями вороны, когда спариваются или когда стряхивают с себя воздушную влагу. И у Архилоха:

От страсти трепыхаясь, как ворона.

45.

И спесь их в униженье вся повыдохлась.

46.

Что в голову забрал ты, батюшка-Ликамб,
Кто разума лишил тебя?
Умен ты был когда-то. Нынче ж в городе
Ты служишь всем посмешищем.

47.

И клятву ты великую
Забыл, и соль, и трапезу...

ГИБЕЛЬ АРХИЛОХОВА ЗЯТЯ

48.

Ц е ц е с: Мужа своей сестры, утонувшего в море, Архилох очень страстно оплакивал и совсем не хотел писать, говоря тем, которые заставляли его взяться за писание:

Ни ямбы, ни утехи мне на ум нейдут.

49.

П л у т а р х: Оплакивая мужа сестры, погибшего на море и не получившего обычного погребения, Архилох говорит, что он спокойнее перенес бы несчастье,

Если б его голова, милые члены его,
В чистый одеты покров, уничтожены были Гефестом.

50.

Скорбью стенящей крушась, ни единый из граждан, ни город
Не пожелает, Перикл, в пире услады искать.
Лучших людей поглотила волна многошумного моря,
И от рыданий, от слез наша раздулася грудь.
Но и от зол неизбывных богами нам послано средство:
Стойкость могучая, друг,—вот этот божеский дар.
То одного, то другого судьба поражает: сегодня
С нами несчастье, и мы стонем в кровавой беде,
Завтра в другого ударит. По-женски не падайте духом,
Бодро, как можно скорей, перетерпите беду.

51.

Скроем-же горе, что нам даровал Посидаон-владыка.

52.

Жарко моляся средь волн густокудрого моря седого
О возвращенье домой...

53.

Плутарх: Не вызывает похвалы Архилох, скорбящий о муже сестры, погибшем на море,—но думающий бороться с горем вином и забавами; однако он высказал причину, имеющую смысл:

Я ничего не поправлю слезами, а хуже не будет,
Если не стану бежать сладких утех и пиров.

ЖИЗНЕОТНОШЕНИЕ

54.

Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады,—твердо стой, не трепещи.
Победишь,—своей победы напоказ не выставляй,
Победят,—не огорчайся, запершись в дому, не плачь.
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй.
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт.

55.

Все созидает для смертных забота и труд человека.

56.

Все человеку, Перикл, судьба посылает и случай.

57.

Говорит плотник Харон:

О многозлатом Гигесе не думаю
И зависти не знаю. На деяния
Богов не негодую. Царств не нужно мне.
Все это очень далеко от глаз моих.

58.

Непристойно насмехаться над умершими людьми.

59.

Погрешил я,—и с другими так случалося не раз.

60.

Настроение у смертных,—друг мой Главк, Лептинов сын,—
Таковы, какие в душу в этот день вселит им Зевс.
И, как сложатся условья, таковы и мысли их.

61.

Кто падет, тому ни славы, ни почета больше нет
От сограждан. Благодарность мы питаем лишь к живым,—
Мы, живые. Доля павших,—хуже доли не найти.

62.

Но каждому другое душу радует.

63.

Если, мой друг Эсимид, нарекания черни бояться,
　　Радостей в жизни едва ль много изведаешь ты.

По другим чтениям:

Если, мой друг Эсимид, названия труса бояться,
Радости в жизни едва ль много изведаешь ты.

РЕЛИГИЯ

64.

В каждом деле полагайся на богов. Не раз людей,
На земле лежащих черной, ставят на ноги они.
Так же часто и стоящих очень крепко на ногах
Опрокидывают навзничь, и тогда идет беда.
. . . .
Бродит он тогда по свету, нет ни разума, ни средств...

65.

Можно ждать, чего угодно, можно веровать всему,
Ничему нельзя дивиться, раз уж Зевс, отец богов,
В полдень ночь послал на землю, заградивши свет лучей
У сияющего солнца. Жалкий страх на всех напал.
Всё должны отныне люди вероятным признавать
И возможным. Удивляться вам не нужно и тогда,
Если даже зверь с дельфином поменяются жильем,
И милее суши станет моря звучная волна
Зверю, жившему доселе на верхах скалистых гор.

66.

Но что за божество? И кем разгневано?

67.

О, Зевс, отец мой! Ты на небесах царишь,
Свидетель ты всех дел людских,
И злых, и правых. Для тебя не все равно,
По правде ль зверь живет иль нет.

68.

Пророк неложный меж богов великий Зевс,—
Сам он над будущим царь.

69.

Ф и л о х о р: Совершая возлияния, древние не всегда поют дифирамбы, но при возлияниях воспевают Диониса—в вине и опьянении, Аполлона же—спокойно и стройно. Архилох, напр., говорит:

И владыке-Дионису дифирамб умею я
Затянуть прекраснозвучный, дух вином воспламенив.

70.

И ты, владыка-Аполлон, виновников
Отметь и истреби, как истребляешь ты.

71.

Деметры чистой с Девою
праздник я глубоко чту.

С х о л. к «П т и ц а м» А р и с т о ф а н а: Архилох стяжал победу на Паросе своим гимном в честь Деметры.

72.

О, Гефест! Услышь, владыка, стань союзником моим,
Будь мне милостив и счастье дай, как ты давать привык!

73.

И под флейту сам лесбийский зачинаю я пэан.

74.

ГИМН К ГЕРАКЛУ

Тенелла, победитель!
Радуйся, о, царь-Геракл,—
Тенелла, победитель!—
Ты сам и Иолай, бойцы-копейщики,
Тенелла, победитель!

Схол. к Пиндару, Олимп. IX, I. § 2: Архилох, пришедши в Олимпию, пожелал исполнить гимн в честь Геракла, но не было кифареда. Архилох попытался подражать ритму и звуку кифары каким-нибудь словом. Сочинив слово «тенелла», он ввел его в свою песню. Подражая звукам кифары, сам он в промежутках песни хора говорил слово «тенелла!», хор-же пел остальное, именно: «Победитель, радуйся, о, царь-Геракл!», а потом дальше: «ты, сам и Иолай, бойцы-копейщики! Тенелла!» С тех пор вообще те, у кого не было акомпаниатора на кифаре, пользовались этим припевом, трижды повторяя слово «тенелла!»

Idem, § 6: Песня Архилоха, которая пелась в честь победителя на олимпийских играх, подходила вообще для всякого победителя, так как в ней не было речи о самом деянии, и не указывалось ни имени, ни характера состязания. Припев-же был такой: «тенелла, победитель!» Эратосфен-же говорит, что Архилохова песня была не хвалебною песнью, а гимном в честь Геракла. По поводу слова «тенелла!» Эратосфен рассказывает, что, когда не было под рукою флейтиста или кифариста, то запевала выкликал это слово вне песни, хор-же участников победного торжества подхватывал: «победитель!» Так образовался припев «тенелла, победитель!»

Схол. к «Птицам» Аристофана: «Тенелла» Архилох употребил в гимне к Гераклу по поводу его победы над Авгием.

ЛИЧНОЕ

75.

Словно ущелия гор обрывистых,
в молодости был я.

76.

Цикаду ты схватил за крылышко!

Лукиан: Архилох сравнивает себя с цикадою, которая шумлива уже по природе и без всякой необходимости,—когда же ее схватят за крыло, испускает еще более громкие звуки.

77.

В этом мастер я большой:
Злом отплачивать ужасным тем, кто зло мне причинит.

78.

И даром не спущу ему я этого!

79.

Протягивая руку, побираюсь я.

80.

Часто копишь, копишь деньги,—копишь долго и с трудом,
Да в живот продажной девке вдруг и спустишь все до тла.

РАЗНОЕ

81.

Есть в доме круторогий, дюжий бык у нас,—
Не гулевой, в работе очень опытный.

82.

И с гривою, до кожи с плеч остриженной.

83.

Такой-то вот забор вокруг двора бежал.

84.

В тени густой под стенкой улеглись они.

85.

С другой чудесной силою целебною
Растения такого я знаком...

86—90.

Эрасмонов сын, Харилай мой!
Вещь тебе смешную,
Любимейший друг, расскажу я:
вдоволь будет смеху!
. . . .

Любить, хоть и очень он гадок,
и не сообщаться...
. . . .

И шли там иные из граждан
сзади, большинство же...
. . . .

И руки к Деметре подъявши...
. . . .

С зари все за чаши схватились;
в исступленье пьяном...

91.

Весь заеден вшами.

92.

Толпой народ валил на состязания,
Батусиад вместе с ним.

93.

Войди: из благородных ты.

94.

Воду держала она
Предательски в одной руке, огонь—в другой.

95.

...напрягся .... его,
Как у осла приэнского,
Заводчика, на ячмене вскормлённого.

96.

И упасть на . . . . и прижаться животом
К животу, и бедра в бедра...

97.

Длинный тот нарост меж бедер.

98.

Евстафий: Скорпионноязычный Архилох, повидимому, под «мягким рогом» разумел детородный член.

99.

Ты желчи не имеешь в печени.

100.

Законам критским обучается.

101.

О, вор, что ночью рыскаешь по городу!

102.

Дрожа, как куропаточка.

103.

...царь овцепитательницы Азии.

104.

Наксоса были столпами Аристофоонт и Мегатим,
Ныне в себе ты, земля, держишь, великая, их.

105.

Кудри скрывавший покров Алкибия с себя низлагает,
В брак законный вступив, Гере-владычице в дар.

106.

Очень много ворон смоковница горная кормит,
Всем Пасифила гостям, добрая, служит собой.

Принадлежность этих трех эпиграмм Архилоху подвергается сомнению

107.

Плутарх: Койран, родом из Пароса, увидел в Византии дельфинов, пойманных неводом, которых собирались убить; он купил их и выпустил всех на волю. Немного спустя, он плыл, имея пятидесятивесельный корабль, везший, как говорят, разбойников. В проливе между Наксосом и Паросом корабль погиб.

и все остальные утонули; под него же, как рассказывают, подплыл дельфин и поднял на себе и принес к Сикинфу в пещеру, которую показывают доныне и которая называется Койранейон. Об этом рассказывает Архилох:

Спас из пятидесяти только Кóйрана
добрый Посидаон.

108.

Без платы не надейся переправиться!

Повидимому, слова кентавра Несса Геркулесу или Деянире.

БАСНИ

ОРЕЛ И ЛИСИЦА

Общее содержание басни нам известно по позднейшей переделке Эзопа. Орел и лисица подружились между собой и поселились рядом,—орел на вершине дерева, лисица в кустах. Однажды, в отсутствие лисицы, орел схватил ее детенышей, принес к себе в гнездо и скормил своим птенцам. Через некоторое время орел похитил с жертвенника кусок козьего мяса и вместе с добычей занес в гнездо тлеющие угли. Гнездо загорелось, птенцы выпали из гнезда, и лисица пожрала их. Эзоп извлекает из басни соответственное случаю общее поучение. Свою басню Архилох, повидимому, написал по частному поводу и извлекает из нее мораль более личного характера: Ликамб, отец его возлюбленной Необулы, обидел поэта, как орел лисицу, но судьба отомстила за Архилоха, и он в праве теперь смеяться над Ликамбом, как лисица над орлом.

Из дошедших отрывков к этой басне относятся, повидимому, следующие.

109.

Есть вот какая басенка:
Вошли однажды меж собой в содружество
Лисица и орел...

110.

Орел похищает лисенят:

Принес обед ужасный он детенышам.

111.

Орел, сидя на недоступной скале, глумится над лисицею:

Взгляни-ка, вот она, скала высокая,
Крутая и суровая;
Сижу на ней и битвы не боюсь с тобой.

112.

Лисица проклинает орла:

Чтоб горько поплатился ты!

Воможно, что к этой же басне относятся три отрывка, уже помещенные выше:

67.

Лисица призывает Зевса в свидетели совершенного злодеяния

О, Зевс, отец мой! Ты на небесах царишь,
Свидетель ты всех дел людских,
И злых, и правых. Для тебя не все равно,
По правде ль зверь живет иль нет!

46.

Что в голову забрал ты, батюшка-Ликамб?
Кто разума лишил тебя?
Умен ты был когда-то. Нынче ж в городе
Ты служишь всем посмешищем.

47.

И клятву ты великую
Забыл, и соль, и трапезу...

II

САФО

Сафо любила молодого красавца Фаона, но он был к ней равнодушен, и с горя Сафо бросилась с Левкадийской скалы в море. Сафо была гетерой, продавала за деньги свою любовь мужчинам; но истинною страстью пылала только к молодым девушкам, их одних воспевала в любовных своих песнях,—и эта мерзостная, противоестественная любовь до сего времени носит название «сафической» или,—по месту рождения Сафо,—лесбосской.

Средний читатель только это и знает про Сафо, и не знает, что все это—выдумки, уже давно и бесповоротно опровергнутые.

Достоверных сведений о жизни Сафо до нас дошло очень мало. Родилась она во второй половине VII века до Р. Х. на острове Лесбосе. Лесбос издавна славился по всей Элладе своею музыкальностью. В одной своей элегии александрийский поэт Фанокл рассказывает: певец Орфей, звуками своей лиры двигавший скалы, был убит фракийскими женщинами за то, что отвергал любовь к женщинам и первый обучил фракийцев радостям любви мужской.

Голову острою медью отсекли ему—и пустили
    По морю плавать ее, с лирой скрепивши гвоздем,
Чтобы носились они, омываясь в лазурной пучине,
    По опененным волнам, не приближаясь к земле.
Темное море пригнало их к скалам священным Лесбоса,—
    И напоили Лесбос звуки рокочущих струн.
Звуки наполнили море и скалы прибрежья. И люди
    Похоронили главу, полную звуков живых.
И на могилу певца возложили звенящую лиру,
    Чтоб чаровала она скалы с пучиной морской.
С этого дня песнопенья и сладкие звуки кифары
    Стали в Лесбосе царить, славой покрывши его.

(пер. З. П. Тулуб).

Творец классической эллинской музыки Терпандр, певец Арион, поэт Алкей были родом с Лесбоса. Лесбийские пэаны распевались

повидимому, по всей Элладе; об них несколько раз упоминает Архилох.

Остров славился также красотою своих женщин. Уже Гомер красивейшими женщинами Эллады называет лесбиянок. Агамемнон, чтобы умилостивить Ахиллеса, предлагает ему в дар, между прочим, семь лесбосских пленниц, «красотой победивших всех жен земнородных» (Ил. IX, 130). Красота человеческая высоко ценилась лесбосцами, и на острове происходили состязания в красоте, так назыв. Каллистеи, где красивейшие девушки награждались призами.

Лесбос был населен эллинами эолийского племени; к этому же племени принадлежала и Сафо; песни свои она создавала на эолийском диалекте; от общелитературной, аттической речи он отличается приблизительно так же, как украинский язык—от русского. Общий душевный склад эолийца Герман Кехли рисует так: «Характерная его черта—пафос, жгучая страсть, безоглядно стремящаяся к удовлетворению, готовая отдать кровь и жизнь, чтобы достигнуть желаемого как в любви, так и в ненависти. Эолийцы—это, некоторым образом, итальянцы среди эллинов. Со страстностью у них соединяется высокая степень любви к радостям жизни».

Место рождения Сафо—приморский лесбосский городок Эрес. Большую часть жизни она прожила в Митилене, главном городе Лесбоса. Имя ее отца было, повидимому, Скамандроним, матери—Клеида. Один из братьев Сафо, Ларих, отправлял в Митилене почетную должность кравчего. На эту должность выбирались юноши только знатных родов; отсюда заключают, что Сафо принадлежала к знати.

Про другого брата Сафо, Харакса, и про его роман с прекрасною Родопис рассказывает Геродот (II, 135): «Родопис была рабыня, родом из Фракии. Самосец Ксанф привез ее в Египет, чтоб добывать через нее деньги. Ее выкупил за большую сумму один человек из Митилены, Харакс, сын Скамандронима, брат певицы Сафо. Таким образом, Родопис стала свободной. Она осталась в Египте и, так как была очень хороша, то стала зарабатывать много денег. Она была так знаменита своей красотой, что все в Элладе знали имя Родопис. Когда Харакс, выкупивший ее, воротился в Митилену, Сафо жестоко высмеяла брата в одной из своих песен».

Повидимому, Сафо была замужем. Была у нея дочь, по имени Клеида. Безнадежная любовь Сафо к красавцу Фаону и самоубийство Сафо, бросившейся со скалы в море, это, как уже сказано,—позднейшие измышления. Про Фаона нам известно только то, что имя его, повидимому, встречалось в песнях Сафо.

Есть сведения, что, вследствие политических неурядиц на родине, Сафо бежала с Лесбоса в Сицилию. Это бегство находится

в связи с изгнанием из Лесбоса аристократов в 595 г. до Р. X., в их числе славного современника Сафо, поэта Алкея. На родину Сафо воротилась в 580 г.

Умерла она в преклонных летах.

* * *

О положении эллинской женщины в послегомеровский период судят обычно по положению женщины ионийской и особенно афинской. Положение это было тяжелое и угнетенное. Девочки воспитывались вместе с мальчиками только до семилетнего возраста, потом их разделяли. Девочек держали в строгом отдалении от внешнего мира; школ для них не было, грамоте учили редко; дома их обучали преимущественно рукоделиям и домашним работам. Девушка выходила в жизнь с темною головою и дряблым телом, ей были глубоко-чужды и непонятны все общественные, умственные и художественные интересы, которыми ярко жил ее современник-мужчина. Жених обыкновенно видел невесту в первый раз на своей свадьбе.

Замужняя женщина могла выходить из дому только с разрешения своего господина-мужа; она не имела права посещать театральных зрелищ; «в пиршественных собраниях (симпозиях) своего мужа женщина не принимала никакого участия, друзья мужа были для нее столь же чужды, как и его общественно-политические интересы. Таким образом, духовный горизонт женщины оставался ограниченным; душевная жизнь хилела, как и телесное здоровье. Постоянное сидение дома обусловливало истощенный вид женщин, а это вызывало обычай румяниться и белиться» (Ив. Мюллер). Главнейшая добродетель женщины заключалась в том, чтобы быть как можно менее заметной. Перикл в знаменитой своей надгробной речи, сохраненной Фукидидом (II, 45), говорит, обращаясь к афинским женщинам: «Ваша величайшая честь должна заключаться вот в чем: старайтесь жить так, чтобы среди мужчин наименьше думали об вас,— все равно, в хорошую ли сторону, или в дурную».

Такие женщины, понятно, были мало привлекательны для мужчин, и они тяготели к блестящим, образованным гетерам, приезжавшим в Афины из других эллинских стран.

Совсем иное было положение женщин у эолийцев и дорийцев. Обвеянная воздухом и солнцем, выросшая на свободе, вступала в жизнь эолийская и дорийская девушка,—с прекрасным, здоровым телом, причастная всем высшим интересам своей страны как общественным, так и умственно-художественным.

Плутарх рассказывает: в Спарте старались закалять тело девушек беганьем, борьбою, бросанием дисков и копий, чтобы зачатый

ребенок развивался в крепком и здоровом теле, и чтобы сама женщина рожала детей легко и без опасности. Старались искоренять в девушках всякую изнеженность и другие женские свойства. В праздничных процессиях девушки,—как и юноши,—выступали совершенно обнаженными; на известных праздниках они в нагом виде танцовали и пели на глазах юношей. Однако,—замечает Плутарх,—в этом обнажении девушек не было ничего постыдного, потому что господствовала стыдливость, и всякая похотливость исключалась. Нагота обращалась скорее в невинную привычку и вызывала своего рода соревнование в красоте тела.

Соответственно такому отношению к телу и одежды женские были здесь совсем другого рода, чем длинные, стеснительные одежды иониянок, приспособленные к медленным движениям. Одежды свободно облекали тело, в них можно было двигаться быстро и вольно; боковые разрезы вдоль бедер делали возможными широкий шаг, бег, прыжок. Поэт Ивик насмешливо называет за это спартанских девушек «бедропоказчицами». А Еврипид, отражая взгляды современных ему афинян, в своей трагедии «Андромаха» вкладывает в уста Пелея такой отзыв о спартанских девушках:

> Дома покинув с юношами, в пеплосах
> Распущенных и с бедрами открытыми,
> В борьбе и в беге девушки участвуют.
> Противно мне смотреть на них...

Рядом с физическим развитием женщины шло ее развитие духовное,—в «музыке», т.-е. в искусствах муз. На первом плане стояла музыка в нашем смысле; частью она носила религиозный характер, частью светский. В Спарте существовали организованные девические хоры. Во главе одного из таких хоров стоял знаменитый поэт Алкман. Сохранился его восторженный отзыв об одной из участниц хора:

> Златокудрая Мегалострата, в девах
> Блаженная, явила нам
> Этот дар сладкогласных Муз.

Приблизительно таково же было воспитание девушек и у эолийцев, специально на Лесбосе. Высоко ценилась красота тела, о чем свидетельствуют уже упомянутые Каллистеи,—состязания в красоте. Столь же высоко ценилась и физическая ловкость. Сафо говорит об одной своей ученице, Геро, называя ее «проворною в беге» (№ 26).

И очень высоко было поставлено воспитание мусическое. На Лесбосе существовал целый ряд своеобразных музыкальных школ; они носили, повидимому, характер такого же свободного содружества, как школы эллинских философов. Во главе одной из таких музы-

кально-поэтических школ и стояла Сафо. Слава ее школы гремела по всему тогдашнему культурному миру. Из Греции, из Малой Азии, с островов Архипелага,—отовсюду к Сафо стекались девушки для музыкального и поэтического образования. Обучались игре на лире, пению, стихосложению, танцам. Составлялись хоры, участвовавшие в религиозной жизни острова. Одно стихотворение «Палатинской Антологии» рисует нам такой девический хор Сафо.

К храму блестящему Геры сиятельноокой сходитесь,
Лесбоса девы, стопой легкою в пляске скользя.
Там хоровод вы богине зачнете прекрасный; пред вами
Сафо пойдет с золотой лирою в нежных руках.
Сколь в многорадостной пляске блаженны вы, девы! Как будто
Сладкий свой гимн запоет вам Каллиопа сама!

* * *

Общение с подругами-ученицами давало Сафо высочайшие радости в ее жизни и величайшие горести. Это тесное общение ее с прекрасными девушками на почве глубоких художественных и творческих переживаний носило чрезвычайно своеобразный, нам уже мало понятный характер. Песни Сафо, посвященные ее ученицам, полны такой жаркой страсти, такой ревнивой влюбленности, что читатель получит от них совершенно определенное впечатление и увидит в них проявление самого откровенного «сафического» непотребства. С такой точки зрения долгое время и рассматривались отношения Сафо к ее ученицам. Опровержение этого взгляда составляет незабываемую заслугу Фридриха-Готлиба Велькера («Sappho, von einem herrschenden Vorurtheil befreyt». 1816).

Любовь мужчин к мальчикам и юношам была в Элладе повсеместною и не считалась предосудительною. Вспомним хотя бы разговоры на эту тему в платоновом «Пире». Совсем иным было отношение к взаимной любви женщин. Такая любовь у эллинов отнюдь не пользовалась признанием. Даже сатирик Лукиан, живший в самое испорченное время, говорит о противоестественной любви женщин, как о чем-то крайне редком и поистине чудовищном.

Если бы эллины понимали песни Сафо так, как понимали их позднейшие читатели, то было бы совершенно невозможно то глубокое уважение, которым ее имя было окружено в Элладе. Она стояла во главе музыкальной школы, в которую отовсюду стекались девушки из самых уважаемых семейств; она устраивала религиозные хоры и религиозные процессии; была автором бесчисленных свадебных песен, распевавшихся на свадьбах. Соотечественники так чтили Сафо, что выбили ее изображение на своих монетах,—честь, которой удостоивались в Элладе только самые уважаемые и выдающиеся

граждане. Города ставили Сафо статуи, позднейшие писатели называли ее «досточтимою», «божественною». Было ли бы все это возможно, если бы Сафо, ни от кого не скрываясь, занималась делами, для эллина столь же мерзостными, как и для нас? Какая мать послала бы к ней свою дочь? Кто бы потерпел участие такой презренной женщины в религиозных процессиях и свадебных церемониях?

Выше был приведен рассказ Геродота о том, как Сафо высмеяла своего брата Харакса за его увлечение куртизанкою Родопис. Будь сама поэтесса грешна в такого рода делах, не предпочла ли бы она молчать? Сохранился отрывок из стихотворения поэта Алкея, современника и земляка Сафо. Вот как он обращается к ней:

Сафо фиалкокудрая, чистая,
С улыбкой нежной...

Аристотель в своей «Риторике» сохранил другой отрывок Алкея (может быть, из того же стихотворения) и ответ ему Сафо (см. отрывок под №82). С таким несравненным достоинством ответить на фривольный намек могла, конечно, только женщина с чистою и глубоко-целомудренною душою.

Здесь не место излагать историю того, как постепенно создавалась о Сафо грязная легенда, сальным пятном легшая на ее имя. Легенда эта, вероятно, создалась даже не в Греции. Об ней ничего, повидимому, не знает сама аттическая комедия,—разнузданная и бесцеремонная, жадно подхватывавшая и раздувавшая самые неправдоподобные сплетни. Впервые эта легенда встречается лишь у римских писателей, именно, у Овидия.

Однако, несомненно,—отношение Сафо к ее ученицам не было просто тем, что мы называем дружбою. Сафо все время говорит не о дружбе, а о любви. Она молит Афродиту, чтоб богиня зажгла любовью сердце ее возлюбленной (№ 1); просто сидеть рядом с любимою—уже счастье, достойное богов (№ 2); не вернулась она, обманула,—и хочется умереть (№ 3); Сафо «горит и безумствует от страсти» (№ 11); она то и дело говорит об Эросе, «сладко-горьком, необоримом змее» (№ 21); Эрос потрясает ее душу, словно ветер, налетающий с горы на дубы (№ 12).

В основе чувства Сафо лежала знойная страстность кипучей южной крови, совершенно стиравшая границу между дружбою и любовью. К. О. Мюллер говорит: «это смешение чувств, которые у других, более спокойно настроенных народов различаются более определенно, представляет существенную черту в характере эллинской народно-

сти». Нельзя также отрицать, что горячая страстность отношения Сафо к ее ученицам стоит в полной противоположности со спокойным, уравновешенным отношением ее к мужчинам. Мы знаем, что Сафо была замужем, имела дочь, знаем, что в стихах ее упоминался ее возлюбленный (?) Фаон. Но, поскольку можно судить по дошедшим отрывкам, любовь к мужчинам не занимала много места в душе Сафо. В №№ 82 и 84—отказ в любви. В основе № 80, по мнению Велькера, лежит народная песня, в № 81, как думают некоторые, Сафо обращается к своему брату Лариху.

Однако все эти обстоятельства еще не дают нам права заключать, что отношения Сафо к ученицам носили тот специфический характер, который в настоящее время связывается с именем Сафо. Настроение ее слишком чисто и возвышенно. Влюбленность друг в друга нередко и теперь наблюдается у молодых женщин и девушек. Хотя в ней в большинстве случаев не заключается ничего грязного, но сами «влюбленные» стыдятся своего чувства и ощущают в нем что-то смешное. Сафо не стыдится, относится к своему чувству просто и серьезно. Один из участников платонова «Пира» говорит: «само по себе ни одно действие ни прекрасно, ни отвратительно; вот, например, мы здесь пьем, поем и беседуем; само по себе это не представляет ничего прекрасного; оно оказывается таковым только в зависимости от того, как мы это делаем: если делаем прекрасно и право, то оно прекрасно; если неправо, то оно дурно. То же самое с любовью и Эросом: не всякий Эрос прекрасен и достоин прославленья но только тот, который побуждает нас любить прекрасно». Это—Эрос Афродиты небесной; по Сократу, он есть «любовь к прекрасному». Зажигая душу человека любовью, он дает ей способность прозревать в любимом существе нечто высшее,—большое и светлое, чему видимость служит только оболочкою. Сафо именно «любила прекрасно». Она жила в красоте и красотою. Восторженная жрица красоты, она страстно и в то же время робко, как девочка-подросток, склонялась перед прекрасными душою и телом девушками,

> Благоговея богомольно
> Перед святыней красоты.

* * *

Подлинное, эолийское имя Сафо—Псапфа. Так сама она всегда и называет себя. Псапфа значит «ясная», «светлая». Имя, удивительно подходящее к Сафо. В каждом дошедшем отрывке ее песен чувствует-

ся ясная, светлая прозрачность ее души, без всякой мути, без всякой черноты в глубине.

Сафо стоит перед лицом божественно-прекрасной жизни, и душа ее полна светящейся радости и детски-свежего ощущения красоты мира. Сквозь ветви яблонь в жаркий полдень доносится шум прохладного горного ручья, и глубокий сон нистекает с дрожащих листьев. Встает вечерняя звезда, «из всех звезд прекраснейшая». Цветущий луг сверкает росинками под лунным светом. Страстноголосый соловей возвещает шествие весны. Ласточки, голуби. И цветы. Цветами Сафо не может налюбоваться, не может надышаться. Она не устает говорить о них; и каких только нет у нея цветов, трав: гиацинты, фиалки, золотые горошки, златоцветы, родной наш донник, кервель, венки из укропа и петрушки—и розы, розы прежде всего, любимейший цветок Сафо. Боги, которым молится Сафо, любят радость и любят цветы, символ радости.

> Где много цветов, тешится там сердце богов блаженных,
> От тех же они, кто без венка, прочь отвращают взоры.

Боги любят радость. Светлым, радостным должно быть и искусство (*радостным*, не *веселым*,—это два совсем различных понятия). Музы неохотно смотрят на слезы. Умирающая Сафо запрещает дочери плакать: в ее доме, посвященном служению Музам, скорбь и слезы неприличны (№ 50).

Вся жизнь вокруг полна для Сафо богов, она видит их и чувствует всюду вокруг себя,—светозарных и благостных, таких близких к человеку. Золотовенчанная Афродита со своею спутницею Пейто (богиня любовных уговоров, римск. Suada), розолокотные Хариты, пышнокудрые Музы,—все они для Сафо не аллегории, как для поэтов римских и новых, они—*реально-существующие*, живые богини, с которыми Сафо находится в непрерывном, тесном общении. Воззвания ее к Афродите, это—подлинные молитвы, полные горячей веры. Когда Сафо рассказывает, что говорила во сне с Афродитой (№ 55), это значит,—богиня, действительно, являлась ей во сне, и утешала ее, и давала обещания в роде тех, о которых говорится в первой оде (№ 1). Близко видит она перед собою во сне и владычицу-Геру (№ 54). Общение Сафо с Музами есть подлинное общение с божественными девами, спускающимися к ней из золотого родительского дома (№ 41). И когда Сафо сообщает, что недавно Эос-Заря в золотых сандалиях что-то ей говорила (№ 70), это значит,—в утреннем своем сне она, действительно, чувствовала радостную богиню утра и сквозь закрытые веки видела золотое ее сияние... Мертвые для нас божества вдруг оживают, озаряются зо-



лотистым светом. И это интимное ощущение живой, реальной близости богов придает поэзии Сафо своеобразную, волнующую прелесть.

* *
*

Древние, имевшие счастье знать Сафо не по жалким отрывкам, как мы, единогласно отзываются об ее поэзии с восторгом, не знающим границ. Солон, услышав стихотворение Сафо, заявил, что не хочет умереть раньше, чем выучит это стихотворение наизусть. Платону приписывается такое двустишие:

> Девять на свете есть Муз, утверждают иные. Неверно:
> Вот и десятая к ним,—Лесбоса дочерь, Сафо!

Страбон называет Сафо «каким-то удивительным явлением» (thaumaston ti chrema) и находит, что с нею даже в отдаленной мере не может сравняться ни одна другая женщина. Плутарх находит, что слова Сафо «поистине смешаны с огнем», и сравнивает ее с легендарным чудовищем Какусом, извергавшим изо рта пламя.

В дошедших до нас греческих антологиях находим очень много стихотворений, посвященных Сафо. Поэты называют ее «лесбосским соловьем», «средь муз бессмертных смертною музой», «равною богам», вовеки славною, избежавшею мрака Аида и т. п.

ПОДРУГИ И УЧЕНИЦЫ. СОПЕРНИЦЫ

1.

Пестрым троном славная Афродита,
Зевса дочь, искусная в хитрых ковах!
Я молю тебя,—не круши мне горем
Сердца, благая!
Но приди ко мне, как и раньше часто
Откликалась ты на мой зов далекий
И, дворец покинув отца, всходила
На колесницу
Золотую. Мчала тебя от неба
Над землей воробушков милых стая;
Трепетали быстрые крылья птичек
В далях эфира.
И, представ с улыбкой на вечном лике,
Ты меня, блаженная, вопрошала,—
В чем моя печаль, и зачем богиню
Я призываю,
И чего хочу для души смятенной.
«В ком должна Пейто, укажи, любовью
«Дух к тебе зажечь? Пренебрег тобою
«Кто, моя Псапфа?
«Прочь бежит?—Начнет за тобой гоняться.
«Не берет даров?—Поспешит с дарами.
«Нет любви к тебе?—И любовью вспыхнет,
«Хочет, не хочет».
О, приди ж ко мне и теперь! От горькой
Скорби дух избавь и, чего так страстно
Я хочу, сверши и союзницей верной
Будь мне, богиня!

Пейто—спутница Афродиты, богиня любовных уговоров, лат. Suada.— Велькер считал несомненным, что в этой песне речь идет о Фаоне, гипотетическом возлюбленном Сафо. Однако, гораздо вероятнее мнение Бергка, что Сафо имеет здесь в виду одну из своих подруг.—Из текста неясно, говорит ли Сафо о *нем* или о *ней*. Эту неясность мы сохранили в нашем переводе. Стих 24 в настоящее время более принято читать так: «Нет любви к тебе?—и любовью

вспыхнет, хочешь, не хочешь». Но мы думаем, что прав Бергк, принимающий первое чтение: Сафо хочет, чтоб данное лицо полюбило ее; со стороны Афродиты было бы бессмысленно обещать, что лицо это полюбит Сафо, если она этого даже не хочет. Ведь она именно хочет. А не хотела бы,—так на что ей его любовь?

2.

Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос
И прелестный смех. У меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу,—уж я не в силах
Вымолвить слова.
Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же—
Звон непрерывный.
По́том жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы, и вот-вот как-будто
С жизнью прощусь я.
Но терпи, терпи: чересчур далёко
Все зашло...

Стих 6—в толковании *Велькера*.—Ст.ст. 17—18—по реконструкции *Виламовица*.

3.

Нет, она не вернулася!
Умереть я хотела бы...
А прощаясь со мной, она плакала,
Плача, так говорила мне:
«О, как страшно страдаю я,
«Псапфа! Бросить тебя мне приходится!»
Я же так отвечала ей:
«Поезжай себе с радостью
«И меня не забудь. Уж тебе ль не знать,
«Как была дорога ты мне!
«А не знаешь,—так вспомни ты
«Все прекрасное, что мы пережили:

«Как фиалками многими
«И душистыми розами,
«Сидя возле меня, ты венчалася,
«Как густыми гирляндами
«Из цветов и из зелени
«Обвивала себе шею нежную,
«Как прекрасноволосую
«Умащала ты голову
«Миром царственно-благоухающим,
«И как нежной рукой своей
«Близ меня с ложа мягкого
«За напитком ты сладким тянулася.
«И ни жертвы, ни . . . .
Ни . . . . не было,
«Где бы мы . . . .
«И ни рощи священной. . . . . .

4.

Звезды близ прекрасной луны тотча́с же
Весь теряют яркий свой блеск, едва лишь
Над землей она, серебром сияя,
Полная, встанет.

5.

. . . . уж любовью
. . . .
Стоит лишь взглянуть на тебя,—такую
Кто-же станет сравнивать с Гермионой!
Нет, тебя с Еленой сравнить не стыдно
Золотокудрой,
Если можно смертных равнять с богиней...

Гермиона—дочь Менелая и Елены, по красоте значительно уступавшая матери.

6.

... теперь прелестные эти песни
Сладко буду петь я моим подругам.

7.

Сердцем к вам, прекрасные, я останусь
Ввек неизменной.

8.

Между дев, что на свет
солнца глядят,
вряд ли, я думаю,
Будет в мире когда
хоть бы одна
дева столь мудрая.

9.

Девушку сладкоголосую...

10.

Филострат: Так состязуются девушки,—«розолокотные», «молниеокие», «прекраснощекие», «медовоголосые». Таковы нежные названия, которые им дает Сафо.

11.

Страстью я горю и безумствую...

12.

Словно ветер, с горы на дубы налетающий,
Эрос души потряс нам...

13.

...обо мне же ты забыла...

14.

Иль кого другого ты любишь больше,
Чем меня?

15.

...Те, кому я
Отдаю так много, всего мне больше
Мук причиняют.

16.

Противней тебя
я никого,
милая, не встречала!

17.

Гиринна нежна,
но красотой
ты, Мнасидика, выше.

18.

Венком охвати,
Дика моя,
волны кудрей прекрасных.
Нарви для венка
нежной рукой
свежих укропа веток.
Где много цветов,
тешится там
сердце богов блаженных,
От тех же они,
кто без венка,
прочь отвращают взоры.

19.

Было время,—тебя, о Аттида, любила я.

20.

Ты казалась ребенком невзрачным и маленьким.

По Виламовицу этот же стих:

Ты казалась мне девочкой малой, незрелою.

21.

Эрос вновь меня мучит истомчивый,—
Горько-сладостный, необоримый змей.

22.

Ты ж, Аттида, и вспомнить не думаешь
Обо мне. К Андромеде стремишься ты.

23.

Замена славная есть у Андромеды!

24.

. . . .
И из Сард к нам сюда она
Часто мыслью несется,
вспоминая,
Как мы жили вдвоем, как богинею
Ты казалась ей славною,
И как песни твои ей
были милы.

Ныне блещет она средь лидийских жен.
Так луна розоперстая,
Поднимаясь с заходом
солнца, блеском
Превосходит все звезды. Струит она
Свет на море соленое,
На цветущие нивы
и поляны.

Все росою прекрасною залито.
Пышно розы красуются,
Нежный кервель и донник
с частым цветом.

И нередко, бродя, свою кроткую
Вспоминаешь Аттиду ты,—
И тоска тебе тяжко
сердце давит...

Кто эта «ты», к которой здесь обращается Сафо? Из многочисленных догадок. (Шубарт-Виламовиц, Юренка, Эдмондс и др.) единственно приемлемою представляется нам догадка Бласса. Он полагает, что никакого вообще третьего лица в стихотворении не имеется: Сафо обращается *к самой себе*.—По мнению Виламовица, стихотворение обращено к ученице Сафо Аттиде и имеет в виду ее подругу Аригноту, вышедшую замуж и живущую в Сардах. Даем то же стихотворение в реконструкции Виламовица.

...к нам из Сард сюда
Часто мыслью несется
Аригнота.

Вместе с нею мы жили. Казалась ты
Ей богиням подобною.
Как твоим она пеньем
восхищалась!

Ныне блещет она средь лидийских жен.
Так луна розоперстая,
Поднимаясь с заходом
солнца, блеском
Превосходит все звезды. Струит она
Свет на море соленое,
На цветущие нивы
и поляны.

Все росою прекрасною залито.
Пышно розы красуются,
Нежный кервель и донник
с частым цветом.

Тихо бродит она, и Аттида ей
Вспоминается кроткая,
И тоска ей жестоко
сердце давит.

И зовет нас она, но нет отклика:
Нам сюда не доносит ночь,
Что там за морем слышит
ухом чутким...

25.

Это—останки Тимады. В бессветный покой Ферсефоны,
Брака́ еще не познав, девой она низошла.
Острым железом, когда умерла она, срезали в горе
Все подруги ее чудные кудри свои.

26.

И обучена мной
дева Геро́,
в беге проворная,
Из Гиароса...

Гиарос—маленький островок, принадлежащий к группе Киклад.

27.

Что колечком своим так гордишься ты, дурочка?

28.

На земле на черной всего прекрасней
Те считают конницу, те пехоту,
Те—суда. По моему ж, то прекрасно,
Что кому любо.
Это все для каждого сделать ясным
Очень просто. Вот, например, Елена:
Мало-ль видеть ей довелось красавцев?
Всех-же милее
Стал ей муж, позором покрывший Трою.
И отца, и мать, и дитя родное,—
Всех она забыла, подпавши сердцем
Чарам Киприды.
. . . . согнуть нетрудно...
. . . . приходит
Нынче все далекая мне на память
Анактория.
Девы поступь милая, блеском взоров
Озаренный лик мне дороже всяких
Колесниц лидийских и конеборцев
В бронях блестящих.
Знаю я,—случиться того не может
Средь людей, но все же с молитвой жаркой...

29.

Я к тебе взываю, Гонгила,—выйди
К нам в молочно-белой своей одежде
Ты в ней так прекрасна. Любовь порхает
Вновь над тобою.

Всех, кто в этом платье тебя увидит,
Ты в восторг приводишь. И я так рада!
Ведь самой глядеть на тебя завидно
Кипророжденной!
К ней молюсь я...

30.

Приветов много
Дочери Полианакса шлю я...

Максим Тирский сопоставляет это место Сафо с ироническим приветствием Сократа Иону (см. Платона «Ион», начало). Неизвестно, кто была эта дочь Полианакса,—Андромеда, Горго или другая соперница Сафо.

31.

Очень Гóрго насытилась.

32.

И какая тебя
так увлекла,
в сполу одетая,
Деревенщина? . . . .
Не умеет она
платья обвить
около щиколки.

К. О. Мюллер: К объяснению служат древние изображения, где женщины при ходьбе тесно прижимают верхнюю одежду к ноге выше щиколки.

ПРИРОДА

33.

Тихо в ветках яблонь шумит прохлада,
И с дрожащих листьев кругом глубокий
Сон нистекает.

Другое чтение:

Сверху низвергаясь, ручей прохладный
Шлет сквозь ветви яблонь свое журчанье,
И с дрожащих листьев кругом глубокий
Сон нистекает.

Повидимому, описание сада Нимф. По Деметрию, Сафо часто описывала эти сады, Срв. Одисс. XVII, 209:

...и падал студеной струею
Ключ в водоем со скалы, на вершине которой воздвигнут
Нимфам алтарь был...

34.

Гимерий: «Из всех звезд прекраснейшая»,—такова песня Сафо к вечерней звезде.

35.

Филострат: Сафо любит розу и всегда вплетает ее в ту или другую хвалебную песнь, сравнивая с нею красивых девушек.

36.

Золотые горошки по берегу выросли густо.

37.

Поллукс: Анакреон говорит о венках из укропа, также Сафо и Алкей; эти последние—и о венках из петрушки.

38.

Что ты, ласточка моя,
Пандионида..

39.

Соловей, провозвестник весны сладкогласный.

40.

(О голубях):

Стала в них холодною сила жизни,
И поникли крылья...

ПОЭЗИЯ

41.

Музы, ниспуститесь, золотой оставив
[Дом отца]...

42.

Музы мне почет принесли, к искусствам
Приобщив своим.

43.

Не забудут об нас, говорю я, и в будущем.

44.

Ты умрешь и в земле
будешь лежать;
воспоминания
Не оставишь в веках,
как и любви;
роз пиэрийских ты
Не знавала душой;
будешь в местах
тёмных аидовых
Неизвестной блуждать
между теней
смутно-трепещущих.

45.

Ты, как Каллиопа сама...

46.

Лира, лира священная,
Ты подай мне свой голос!

Точнее:

Черепаха священная,
Стань звучащею ныне!

Гомеровский гимн к Гермесу рассказывает, что лиру изобрел Гермес, натянув струны на панцыре черепахи. Мигиленские монеты с изображением Сафо носят на оборотной стороне изображение ее лиры в виде черепахи.

ЖИЗНЕОТНОШЕНИЕ

47.

Кто прекрасен,—одно лишь нам радует зрение.
Кто ж хорош,—сам собой и прекрасным покажется.

48.

Если бушует гнев в твоем сердце,
Оберегай язык свой от лая.

49.

Смерть есть зло. Самими это установлено богами.
Умирали бы и боги, если б благом смерть была.

50.

Умирающая Сафо дочери:

В этом доме, дитя, полном служенья Музам,
Скорби быть не должно́: нам неприлично плакать.

51.

Я роскошь люблю;
блеск, красота,
словно сиянье солнца,
Чаруют меня...

52.

Богатство одно—
спутник плохой
без добродетели рядом.

53.

...но своего
гнева не помню я:
Как у малых детей,
сердце мое...

РЕЛИГИЯ

54.

Близко встал во сне предо мной сегодня
Образ твой прелестный, царица-Гера!
Милый этот образ видали раньше
Братья-Атриды.
Дело ярой брани к концу приведши,
В Лесбос братья прежде всего приплыли
От Скамандра; дальше ж могли поехать
В Аргос отсюда,
Лишь когда в молитвах тебя призвали
С Зевсом и с Фионы желанным сыном.
Старый тот обычай блюдя, и ныне
Граждане чистой
Жертвой чтут тебя и прекрасный пеплос
Девы (в храм) приносят . . . .
На тебя...

На Лесбосе был знаменитый храм Геры, где, между причом, происходили и упомянутые уже состязания в красоте, т. наз. Каллистеи. Об нем говорится в стихотворении Палатинской Антологии, приведенном нами во вступительном очерке.—Ф и о н а—мистическое имя Семелы, матери Диониса-Вакха.

55.

Говорила я во сне
с Кипророжденной.

56.

Приди, Киприда,
В чаши золотые рукою щедрой
Пировой гостям разливая нектар,
Смешанный тонко.

57.

Зачем ты многоблаженной Афродите,
О, Псапфа...

58.

Покрывал этих пу̀рпурных
Не отвергни, блаженная!
Из Фокеи пришли они,
Ценный дар...

59.

На алтарь тебе от козы я белой
. . . .
И свершу тебе возлиянье...

ерги: Повидимому, описывается жертвоприношение Афродите.

60.

Па̀фос-ли тебя, или Кипр, иль Па̀норм...

Бергк: несомненно, из гимна к Афродите.—Виламовиц: где находился этот Панорм, я не могу сказать; но совершенно невероятно, чтоб это было Палермо.

61.

Золотовенча̀нная Афродита,
Если бы мне тот жребий на долю выпал!

62.

Киферея, как быть?
Умер,—увы!—
нежный Адонис!
«Бейте, девушки, в грудь,
платья свои
рвите на части!»

63.

Говорит Афродита:

... ты и он,
Эрос, служитель мой.

64.

Максим Тирский: Сафо называет Эроса «сладкогорьким» и «горедарным» также «сказочником».

65.

Поллукс: Название хламиды, как рассказывают, первою ввела в употребление Сафо, говоря об Эросе:

И в хламиде своей
пурпурной он
с неба спускается.

66.

И золотистым сияньем окруженной,
Пейто, прислужнице вечной Афродиты...

67.

Схолии к Гесиоду: Сафо же называет Пейто дочерью Афроди

68.

Нежных Харит
я призову,
Муз пышнокудрых с ними.

69.

Розолокотные,
чистые,—вы,
дочери Зевсовы,
О, Хариты, ко мне...

70.

В золотых сандалиях мне недавно.
Эос...

71.

...но Арес сказал,
что приведет
силой Гефеста он.

72.

Говорят,—как-то раз
Леда яйцо
под гиацинтами
На прогулке нашла...

По некоторым преданиям, Елена, виновница троянской войны,—не дочь Леды. Зевс, приняв вид лебедя, соединился с Немезидою, которая родила яйцо. Леда нашла это яйцо (по «Киприям», его передал ей Гермес). Из яйца вылупилась девочка, Елена, и Леда воспитала ее, как родную дочь.

73.

Очень близкие были подруги Лето́ и Ниоба.

74.

Гелий: Гомер говорит, что у Ниобы было по шести мальчиков и девочек. Еврипид—по семи, Сафо—по девяти, Вакхилид и Пиндар—по десяти.

75.

С е р в и й к Э к л о г. В е р г и л и я: Рассказывают, что Прометей, сын Япета и Климены, после того, как сотворил людей, поднялся с помощью Минервы на небо и, приложив факел к колесу солнца, похитил огонь, который передал людям. Разгневавшись на это, боги ниспослали на землю два бедствия,—лихорадки и болезни (febres et morbos. Б е р г к: место, очевидно, испорчено; нужно читать либо: feminas et morbos,—женщин и болезни,—либо: febres et mulieres,—лихорадки и женщин), так рассказывают и Сафо, и Гесиод.

К этому В е л ь к е р: Так как Гесиод упоминает только о последнем событии (болезни через Пандору), то остальное, повидимому, почеркнуто из Сафо:—что Прометей создал человека (до Сафо это не встречается, но мы находим это у ее ученицы Эринны), что Паллада возносит его на небо, и что он зажигает свой факел о колеса Гелиоса, после чего боги, может быть, непосредственно, без Пандоры, посылают толпу болезней. В таком случае это произведение можно причислить к значительнейшим остаткам поэзии Сафо.

76.

Геллы детолюбивее.

З и н о в и й: «говорится о преждевременно умерших или о людях, любящих детей, но губящих их баловством». Гелло,—похитительница детей,—фантастический образ эллинской демонологии, ипостась ведьмы Гекаты. Зиновий рассказывает про Гелло: «Это была некая девушка. Она умерла преждевременно, и призрак ее, как рассказывают лесбосцы, нападает на детей: ей приписывают лесбосцы смерть довременно умерших».

77.

Взошел уже полный месяц,—словно
Вокруг алтаря, оне стояли.

78.

И милый алтарь
девушки в пляске стройной
Ногами вокруг
нежными обходили,
Как критянки встарь...

79.

И нежный в траве,
мягкий цветок искали.

ЛИЧНОЕ

Луна и Плеяды скрылись,
Давно наступила полночь,
Проходит, проходит время,—
А я все одна в постели.

81.

Стань предо мною, мой друг, яви мне прелесть
Взоров твоих...

82.

Аристотель: Мы испытываем стыд, говоря и делая, либо собираясь сказать и сделать дурное. К этому относится, что говорит поэт Алкей:

Сказать хотел бы нечто, но стыдно мне.

Поэтический ответ Сафо в стихах:

Будь цель прекрасна и высока твоя,
Не будь позорным, что ты сказать хотел,—
Стыдясь, ты глаз не опустил бы,
Прямо сказал бы ты все, что хочешь.

83.

Есть прекрасное дитя у меня. Она похожа
На цветочек золотистый, милая Клеида.
Пусть дают мне за нее всю Лидию, весь мой милый
(Лесбос)...

84.

Ты мне друг. Но жену
в дом свой введи
более юную.
Я ведь старше тебя.
Кров твой делить
я не решусь с тобой.

85.

Мне не кажется трудным до неба дотронуться.

86.

Я не знаю, как быть: у меня два решения.

87.

Нереиды милые! Дайте брату
Моему счастливо домой вернуться,
Чтобы все исполнилось, что душою
Он пожелает:
Чтоб забылось все, чем грешил он раньше,
Чтоб друзьям своим он доставил радость
И досаду недругам (пусть не будет
Ввек у меня их!).
Пусть захочет почести он с сестрою
Разделить. Пускай огорчений тяжких
Он не помнит. Ими терзаясь, много
Горя и мне он
Дал когда-то. К радости граждан, сколько
Он нападок слышал, язвящих больно!
Лишь на время смолкли они, и тотчас
Возобновились.
. . . .
. . . . .ты же свои печали
Темно-черной ночи отдай. . . . .
. . . .

Это стихотворение Сафо найдено недавно на одном египетском папирусе из Оксиринха. Края папируса попорчены, начальные и конечные слова стихов отсутствуют, но смысл их в общем достаточно ясен из сохранившегося текста,

и все ученые, занимавшиеся его восстановлением, расходятся между собою лишь в незначительных мелочах. Только относительно последней строфы разногласия весьма существенны, и попытки восстановить ее носят совершенно фантастический характер.

В стихотворении речь идет, очевидно, о брате Сафо Хараксе, про которого рассказывают Геродот (см. наш биографический очерк Сафо), Страбон и Афиней; Харакс, торговавший вином, прибыл по своим торговым делам в Египет и там, в Навкратисе, влюбился в рабыню-фракиянку Дориху, прозванную за свою красоту Родопис (розощекая). Он выкупил ее из неволи и долго жил с нею. За эту связь Сафо высмеяла брата в одном из своих стихотворений.— Из найденного теперь стихотворения можно заключить, что Харакс порвал, наконец, позорившую его связь и решил возвратиться домой: Сафо молит Нереид даровать брату счастливое возвращение и забвение всех его былых прегрешений.

88.

А они, хвалясь, говорили вот что:
«Ведь опять Дориха-то в связь вступила,
«Как домогалась!»

Из новейших находок в оксиринхских папирусах. Речь идет о той-же куртизанке Дорихе-Родопис, с которою путался брат Сафо Харакс. Оказывается, радость Сафо в предыдущем стихотворении была преждевременна; прелестнице опять удалось поймать в свои сети Харакса.

РАЗНОЕ

89.

О, матушка! Не в силах
за станком сидеть я ткацким.
Мне сердце стройный мальчик
покорил чрез Афродиту.

Велькер думает, что в основе этого стихотворения лежит народная песня. 2-й стих—конъектура Кехли.

90.

Устремилась, как к матери малый ребенок.

91.

Сыну-Пелагону здесь возлагает Мениск на могилу
Сеть и рыбачье весло, память о жизни плохой.

С именем Сафо помещено в Палатинской Антологии; однако подлинность в настоящее время отвергается.

92.

ПОДПИСЬ К СТАТУЕ

Девы! Без голоса я. Но, если кто спросит, ответит
Голос немолчный, что здесь врезан в подножье мое:
Жрица Ариста, дочь Гермоклида Саонаиада,
Здесь воздвигла меня дочери Лѐто,—тебе,
О, Эфопия, женщин владычица! Будь благосклонна,
К ней свою милось яви, род наш, богиня, прославь!

Эфопия—Артемида.

93.

Ливаний: Сафо молилась, чтоб «ночь для нее стала вдвое длиннее».

94.

Черною ночью глаза
сон отягчает.

95.

Я же члены усталые
Расправлю на мягких подушках...

96.

...а ноги
Пестрый ей ремень покрывал, лидийской
Чудной работы.

97.

Ты, о, забота моя!

98.

Много белее яйца!

99.

По Деметрию выражения Сафо: «много сладкогласнее пектиды», «золотее золота».

Пектида—лидийский струнный инструмент, род арфы. По Афинею, в Греции пектиду ввела в употребление Сафо.

СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ (эпиталамии)

В александрийском девятитомном собрании песен Сафо свадебные песни составляли целый том. Из них до нас дошло десятка два отрывков, которые приводятся ниже. Кроме того, в речах одного позднего ритора, Гимерия, сохранилось изложение общего содержания этих свадебных песен.

Сафо,—рассказывает Гимерий,—входит в брачный покой и украшает его венками и ветвями, стелет страстное ложе, собирает в спальню девушек; изображает Афродиту, как она едет на колеснице: перед нею резвится хор харит и эротов; волосы богини спереди, где их разделяет лоб, увенчаны гиацинтами, сзади свободно развеваются по ветру; у эротов же в кудрях и на крыльях золото; с факелами в руках они летят впереди. Невесту Сафо сравнивает с яблоком, которое оказывает сопротивление пальцам тех, кто спешит сорвать его раньше времени, но доставляет высочайшую приятность тому, кто срывает его во-время. Жениха же по его деяниям Сафо приравнивает к Ахиллесу *).

100.

Эй, потолок поднимайте,—
О, Гименей!—
Выше, плотники, выше!
О, Гименей!
Входит жених, подобный Арею.
Выше самых высоких мужей!

*) В изложении Гимерия мы руководствуемся критико-экзегетическою обработкою текста соответственных мест, произведенною I. Мэли Rhein. Museum 1866).

101.

Выше, насколько певец лесбосский других превышает.

Лесбосский певец—Терпандр из Лесбоса, поэт и музыкант, основатель эллинской классической музыки, живший в VIII в. до Р. Хр.

102.

Сладкое яблочко ярко алеет на ветке высокой,—
Очень высоко на ветке; забыли сорвать его люди.
Нет, не забыли сорвать, а достать его не сумели.

103.

Как гиацинт, что в горах пастухи попирают ногами,
И,—помятый,—к земле цветок пурпуровый никнет...

104.

Все, что рассеет заря, собираешь ты, Геспер, обратно:
Коз собираешь, овец,—а у матери дочь отнимаешь.

(отдавая ее в объятия жениха). Геспер—вечерняя звезда. Велькер, Крузиус-Гиллер и др. видят в этом отрывке просто картинку вечера и читают двустишие так;

Все, что рассеет заря, собираешь ты, Геспер, обратно:
Коз собираешь, овец, возвращаешь матери сына.

пастушка, возвращающегося вечером к матери.)

105.

«Вечно девой останусь я!»

106.

«Выдадим»,—сказал отец.

107.

В семь сажен у привратника ноги,
На ступнях пятерные подошвы,
В двадцать рук их башмачники шили.

По Деметрию, Сафо высмеивает деревенщину-жениха и его «привратника» (повидимому, нечто вроде нашего дружка).

108.

Свадьба, жених счастливый,
справлена, как мечтал ты.
Девушку ты имеешь
ту, о какой мечтал ты.

109.

Ты так прелестна видом,
очи же. . . . .
И разлился на милом
личике медоцветный. . .
. . . . любовью
. . . .
. . . . . . почтила выше
всех тебя Афродита.

110.

«Все ли еще мне невинность хранить свою?»

111.

Невеста рада, пусть жених ликует.

112.

С чем тебя бы, жених дорогой, я сравнила?
С стройной веткой скорей бы всего я сравнила.

113.

Радуйся, о невеста!
Радуйся много, жених почтенный!

114.

В мире девы подобной, жених, не бывало!

115.

— Невинность моя, невинность моя,
куда от меня уходишь?
— «Теперь никогда, теперь никогда
к тебе не вернусь обратно!»

116.

Спи же
близ подруги твоей
Нежной,
На груди у нее.

117.

С амвросией там
воду в кратѐре смешали,
Взял чашу Гермес
черпать вино для бессмертных.
И кубки приняв,
все возлиянья творили
И благ жениху
самых высоких желали.

118.

. . . . глашатай пришел. . . . .
Вестник Идэй быстроногий и вот что поведал он:

*　　　　*　　　　*　　　　*　　　　*

Слава по Азии всей разнеслася бессмертная:
«С Плакии вечно-бегущей, из Фивы божественной,
«Гектор с толпою друзей через море соленое
«На кораблях Андромаху везет быстроглазую,
«Нежную. С нею—немало запястий из золота,
«Пурпурных платьев и тканей, узорчато вышитых,
«Кости слоновой без счета и кубков серебряных».
Милый отец, услыхавши, поднялся стремительно.
Вести дошли до друзей по широкому городу.
Мулов немедля в повозки красивоколесные
Трои сыны запрягли. На повозки народом всем
Жены взошли и прекраснолодыжные девушки.
Розно от прочих Приамовы дочери ехали.
Мужи коней подвели под ярмо колесничное,—
Всё молодые, прекрасные юноши. . . . .

*　　　　*　　　　*　　　　*　　　　*

. . . . закурилися ладаном.
В радости жены вскричали, постарше которые,
Громко мужчины пэан затянули пленительный,
Звали они Дальновержца, прекрасного лирника,
Славили равных богам Андромаху и Гектора.

Этот отрывок, как и следующий, найден совсем недавно в оксиринхских папирусах. Он рисует свадьбу Гектора и Андромахи.—Фива, о которой здесь идет речь, находилась в Киликии. См. Ил. VI, 394—398:

Там Андромаха-супруга, бегущая ввстречу, предстала,
Отрасль богатого дома, прекрасная дочь Гетиона.
Сей Гетион обитал при подошвах лесистого Плака,
В Фиве Плакийской, мужей Киликиян властитель державный;
Оного дочь сочеталася с Гектором меднодоспешным.

119.

Девы. . . . .
Эту ночь мы всю напролет. . . . .
Петь любовь—твою и фиалколонной
　　　　　　　　　　Милой невесты.
Но проснись же. . . . .
И к своим пойди. . . . .
Мы же. . . . .
　　　　　　　　　　Сном позабыться.

ТЕОДОР РЕЙНАК

К ЛУЧШЕМУ ПОНИМАНИЮ САФО

Пламя, яркость красок, страсть, выпукло выраженная индивидуальность,—все эти качества в высочайшей степени чувствуются в самом маленьком из отрывков Сафо. Как бы он ни бы короток, но внезапные искры в каждом их них выдают натуру, в которой нет ничего мелкого, и которая ничего не любит умеренно: перед нами—весь жар солнца,искрящийся в маленьком осколке бриллианта. Дар класть всего себя целиком в каждый крик своей души составляет характерное свойство лиризма. Эта именно особенность придает такую несравненную ценность сотне с небольшим стихов Сафо, дошедших в случайных цитатах до нашего времени, несмотря на византийскую чопорность или леность. Стихи эти представляют интерес не для одних только эллинистов; они являются или должны бы являться частью вечного наследия для всего думающего и чувствующего человечества. И наука не исполнила бы всех своих обязанностей, если бы стала ревниво хранить для себя запоздавшие аккорды, которые время от времени в виде новых находок доносятся до нас с этой сломанной лиры, как-будто для того, чтобы острее сделать наши сожаления, или чтобы испытать твердость наших надежд.

К тому же, дело тут идет не только о литературных наслаждениях или эстетическом воспитании,—дело идет об исторической справедливости. Критики всех времен единодушны в прославлении поэтических даров той, которую Страбон назвал «удивительным каким-то явлением»,—в прославлении тонкого выбора слов, естественного и смелого оборота мысли, изящества образов, гибкого очарования ритмов. Напротив, насчет общественного положения и

моральной ценности Сафо, как женщины, уже с древности существуют очень важные разногласия. Была ли она куртизанкою или светскою женщиною? Нужно ли видеть в ней тот высокий и чистый образ пламенной Музы, который Плутарх сравнивал с Пифией на ее треножнике,—или вульгарную любовницу и наставницу в распутстве?

В этой тяжбе, за отсутствием современных свидетельств, единственными ценными уликами являются те, которые исходят от самой обвиняемой. Пески Египта недавно возвратили нам несколько драгоценных отрывков Сафо, дотоле неизвестных *). Их открытие составляет новый факт, который оправдывает просьбу о пересмотре.

* * *

Взгляд на Сафо, как на куртизанку, нередко высказывался до самого последнего времени. Было бы небесполезно подняться к источникам этого заблуждения и проследить ход его развития.

Афинская демократия V и IV века отводила женщине,—я разумею честную женщину,—узкое и унизительное место в общественном строе. Это стояло даже в некоторой связи с общим политическим укладом: чем полнее отдавались граждане общественной и внешней жизни, жизни гимназии, Пникса, площади и театра, тем более женщиа, отделенная от своего супруга и морально, и материально, принуждалась уходить в скромные хозяйственные обязанности и в темные радости гинекея. Ее воспитание сообразовалось с неизменным назначением, отводившимся ей в общественной жизни, а назначение, в свою очередь, предопределялось воспитанием, все более и более суживавшим горизонт женщины. Фукидидов Перикл говорит: «величайшая слава женщин должна заключаться в том, чтобы о них как можно меньше думали мужчины,—все равно, в похвалу ли или в порицание».

Однако отсутствие образованных и умных гражданок, допускаемых на собрания и пиршества, способных удерживать мужчин иными средствами, чем обязательствами супружеского долга или чувственными наслаждениями, оставляло в общественной жизни Афин пустоту, и эта пустота, как известно, заполнялась до некоторой степени женщинами иноземного происхождения, у которых изящество манер и роскошь нарядов, утонченная культура ума, иногда и различного рода таланты соединялись с распущенностью нравов: я говорю о куртизанках высшего ранга, которых, впрочем, никогда не было особенно много.

---

*) См. №№ 3, 24, 87 нашего издания. Статья Рейнака написана раньше новейших открытий в этой области (№№ 5, 28, 29, 54, 88, 118, 119 нашего издания).

И вот тогдашние афинские комики,—авторы так наз. «средней» комедии,—в погоне за характерными типами, наталкиваются на далекую, загадочную фигуру Сафо, главу музыкальной и поэтической школы, полную радости жизни, с свободною мыслью и свободным языком, смущающе-откровенную в излиянии самых своих интимных чувств. Понятно, что в «порядочном» обществе современных им Афин комики не могли найти ничего сходного с таким дивом. Напротив, по внешности много сходного являл хорошо им знакомый полусвет продажного кокетства, который, точно говоря, был их собственными миром,—та очаровательная, запретная фаланга женщин, которая начиналась Аспазиями и кончалась Фринами. Ни на одну минуту они не задались вопросом,—не вели ли, может быть, знатные лесбосские женщины в VI века существование менее замкнутое, не было ли их воспитание более открытым, общение с внешним миром—более широким, чем у афинянок времен Платона и Демосфена? С отсутствием исторического чутья, характерным для их века и их породы, они без всякого колебания сделали из Сафо куртизанку, даже главу куртизанок. Она стала для них прототипом женщины, украшенной всеми обольщениями и свободной от всяких условностей. А так как главное дело было в том, чтоб заставить всех смеяться за счет иноземной знаменитости, то они и нагромоздили на ее имя все самые смешные легенды и самые забавные извращенности.

Для куртизанки требовались любовники. Поэзия Сафо не называла ни единого,—это можно утверждать с уверенностю. Фантазию комиков такой пустяк нисколько не затруднил. Не говоря уже о легендарном Фаоне, они мобилизовали для этой цели всю плеяду древних поэтов Архипелага, нисколько не считаясь с хронологией, от Архилоха вплоть до Гиппонакса и Анакреона. Не был забыт и Алкей,—единственный, чье имя можно было связать с именем Сафо без вопиющей невероятности, потому что он был согражданином, современником и товарищем по призванию митиленской поэтессы; но как раз он был также единственным, стихи которого документально опровергали выдумки комиков: если он однажды и посмел поднять глаза на

> Сафо фиалкокудрую, чистую,
> С улыбкой нежной [1],—

то она очень быстро сумела заставить его опустить их (ср. № 82).

Созданная фантазией комиков, принятая без недоверия поверхностным анекдотистами Гермесианаксом и Хамелеоном, а позднее—

[*]) «Фиалкокудрую»,—или, быть может,—«плетущую венки из фиалок».

Отцами Церкви, фигура куртизанки Сафо облеклась плотью в истории литературы столь успешно, что александрийские ученые, несмотря на свою критическую проницательность, не посмели целиком отвергнуть ее. Однако в глаза слишком резко бил контраст между бесстыдною вакханкою, кончившею, как влюбленная гризетка, и благородною поэтессою, которой митиленцы, по словам Аристотеля, «воздавали героический культ, хотя она была женщина». Затруднение грамматиков было чрезвычайно велико. Одни, как Элиан, разрешили задачу тем, что стали различать двух Сафо: ерезскую гетеру, выведенную комиками на сцену, и мителенскую Музу, чьи стихи знал всякий. Другие, как Дадим, довольствовались тем, что ставили вопрос, не отвечая на него: an Sappho publica fuerit?

Современная наука наследовала все эти противоречивые предания и недоумения, с тою, однако, невыгодою, что в ее руках для решения вопроса не было уже самого существенного документа: полного собрания песен Сафо. За недостатком доказательств, стали подсчитываться авторитеты. А так как среди крохоборов истории всегда преобладали любители скандальчиков, то нечего удивляться, что всего чаще весы склонялись на дурную сторону.

А между тем простой здравый смысл должен бы был подсказать, что дорога избрана ложная. Совершенно беспримерно, чтобы в классической Греции, а тем паче в Греции архаической, женщина честного происхождения, притом из знатного семейства, занималась проституцией в собственном отечестве. В шестом веке даже в самых терпимых государствах общественное положение куртизанок оставалось одним из самых низких. Большинство принадлежало к рабыням, многие—к гиеродулам, т.-е. к проституткам, закрепощенным за большими святилищами. Сафо же выросла в Митилене и жила там; там, вероятно, вышла замуж, и довольно рано осталась вдовою, с маленькою дочерью Клеидой, которая была ей дороже всех сокровищ Лидии (ср. № 83). Мы не знаем имени ее мужа, но знаем имя отца, и это имя, Скамандроним, носит аристократический характер, вызывающий в уме отдаленные воспоминания об эолийской колонизации Троады. Один из трех братьев поэтессы исполнял исключительно-почетную обязанность кравчего в митиленском пританее. Временное изгнание, постигшее саму Сафо,—конечно, вместе с другими лесбосскими аристократами,—после победы народного диктатора Питтака, с достаточною определенностью свидетельствует о высоком положении, которое занимал ее род в Митилене. Совокупность всех этих обстоятельств делает в высочайшей степени невероятным, чтобы подобная женщина могла жить жизнью гетеры в родном своем городе, бок-о-бок с близкими людьми.



Вот что знали уже Велькеры и Отфриды Мюллеры. А мы теперь имеем возможность прибавить к этому еще вот что.

Хотя некоторые греческие куртизанки умели искупить низменность происхождения блеском своей красоты, роскоши или ума и заслужить удивление современников, но уважения их они никогда не удостоивались, да и не пытались искать его. Если в подлинных песнях Сафо мы найдем бесспорные доказательства, что у нее было не только возвышенное чувство собственного достоинства, но и весьма живая забота о том, что скажут об ней и об ее близких,—не будем ли мы в праве считать окончательно разрушенною в глазах всех разумных людей нелепую легенду о веселой девице Сафо? Как раз такое доказательство дает нам одна из вышеупомянутых находок Гренфелля и Гента в оксиринхских папирусах.

Харакс, один из братьев поэтессы, разбогател на торговле вином,—повидимому, это занятие не считалось предосудительным среди митиленской знати. В Египте, в Навкратисе, он познакомился со знаменитою гетерою, которую Геродот называет Родопис, а другие тексты—Дорихою. Выкупив ее из рабства и отпустив на волю, он растратил на нее большую часть своего состояния. Таким поведением Харакс навлек на себя по возвращении на родину горькие упреки сестры. Но за что упрекала его Сафо,—за расточительность, разорившую его, или за недостойную любовь, унизившую его? Вот что интересно было выяснить, и вот что выясняет оксиринхская песня.

Нереиды милые! Дайте брату
Моему счастливо домой вернуться,
Чтобы все исполнилось, что душою
Он пожелает.

Чтоб забылось все, чем грешил он раньше,
Чтоб друзьям своим он доставил радость
И досаду недругам, (пусть не будет
Ввек у меня их!)

Пусть захочет почести он с сестрою
Разделить. Пускай огорчений тяжких
Он не помнит. Ими терзаясь, много
Горя и мне он

Дал когда-то. К радости граждан, сколько
Он нападок слышал, язвящих больно!
Лишь на время смолкли они и тотчас
Возобновились.

Это небольшое стихотворение не только трогает своим братским чувством, таким простым и нежно-сердечным даже в упреке; оно также показывает нам неизданную Сафо, непредвиденную для мно-

гих из критиков, которые находятся во власти традиционного предубеждения. Перед нами—знатная дама, привыкшая ко всеобщему уважению; ее ранит в самое сердце малейшее злословие, могущее задеть доброе имя кого-нибудь из ее близких. Можно ли допустить хоть на минуту, чтоб женщина, до такой степени чувствительная и к дурному поведению брата, и к злословию, вызванному этим поведением, была повинна в публичном разврате, который ей приписывает афинская комедия? И можно ли, в особенности, допустить, чтоб современники и сограждане считали куртизанкою эту женщину высокого рода, неусыпную, ревнивую и подозрительную хранительницу чести своего семейства?

* *
*

Как оксиринхский фрагмент дает нам возможность сделать заключение об общественном положении Сафо, так берлинские фрагменты (№№ 3 и 24) позволяют нам заглянуть несколько глубже в интимную духовную жизнь маленького кружка, центром которого была Сафо, и которого не пощадило злословие. Но чтобы понять это явление, единственное в греческой истории, нужно раньше познакомиться с тою средою, в которой оно выросло.

Эолийская раса, позднее уступившая первое место своим более молодым сестрам, с VIII по VI век была истинною основоположницею эллинской культуры в самых разнообразных областях. Если в троице эллинских рас дорийцы воплощают волю, а ионийцы—разум, то эолийская раса представительствует чувствительность и чувственность. Блестящая и кипучая, рыцарственная и измысливая, она создала в искусстве наиболее лучезарные формы поэзии, эпопею и индивидуальную лирику; в жизни она первая воплотила принцип непринужденного изящества и свободной обходительности, ту «греческую манеру», о которой где-то говорит Менандр. Между всеми эолийскими странами остров Лесбос заслуженно стал излюбленным обиталищем Муз благодаря своему счастливому местоположению, прекрасному климату, раннему экономическому развитию, пламенному темпераменту, щедрым наклонностям своей воинственной знати. Достаточно напомнить, что Лесбос,—к берегам которого, по легенде, волны прибили лиру Орфея,—дал Элладе Терпандра, творца классической музыки.

Женщины высшего общества также не оставались чуждыми этой жизни. С мужчинами они приходили в более или менее близкое соприкосновение только во время известных религиозных торжеств, но находились под сильным влиянием их духовной жизни. Если обычай не представлял им широких прав спартанских женщин, то они, с другой стороны, не знали строгого затворничества соседней Ионии, где

девушка, как выразился Виламовиц, выходила из клетки материнского гарема только для того, чтобы войти в клетку гарема супружеского. Воспитание лесбосских женщин было более разнообразно и открыто, возможности видеться и беседовать друг с другом—более многочисленны.

Некоторые женщины умели группировать вокруг себя,—быть может, в форме религиозных общин,—небольшие рои молодых девушек, которые были для них столько же подругами, сколько и ученицами. Радость их была в том, чтобы сообщать им как поэтические и музыкальные знания, так и свой благородный идеал и утонченное изящество. Не одна только Сафо стояла во главе общины такого рода,—«дома Муз», следуя собственному ее выражению. До нас дошли имена двух ее соперниц, и, если Сафо обращает к одной из них упрек самый жестокий, какой только может постичь женщину,—что она не умеет носить своего платья (№ 32),—то навряд ли следует буквально понимать слова поэтессы, направленные против соперницы, которая в то же время была и конкуренткой.

Уже Спарта знала содружества, подобные указанным. Но в Митилене шестого века они, повидимому, приняли более определенный характер, и пользовались более широкою славою. Молодые девушки, объединенные в эти «гетерии», принадлежали к первейшим семействам острова, иные были из иноземных государств,—Фокеи, Милета, Колофона, Саламина, были даже принадлежавшие к варварским расам, несколько тронутым греческой цивилизацией. Родители издалека присылали своих дочерей к знаменитым воспитательницам, чтоб они украсили свой ум, научились хорошим манерам, искусству одеваться со вкусом, изящной осанке, гармонической поступи. Основу учения составляли танцы, пение, игра на лире, поэзия. Широкое место занимали в программе многочисленные и блестящие религиозные празднества, церемонии, относящиеся к культу Афродиты и Адониса, состязания в красоте, изучение и исполнение хоровых песен при помолвках, свадьбах и похоронах. Эти женские ульи не раз сравнивались то с монастырями или пансионами, то с музыкально-декламационными консерваториями, то даже с литературными салонами и эстетическими кружками. Было, повидимому, всего этого понемножку, прежде же всего была тесная и нежная дружба молодых девушек из хороших семейств между собою и с их наставницею.

Сухая и надутая матрона скоро заморозила бы пылкие стремления, врожденные расе, и придала бы собраниям характер монастырской чопорности. Но Сафо была маленькая, живая брюнетка, веселая и чистосердечная, трепетно-отзывчивая на все впечатления, даваемые природою и сердцем человеческим, изящно-насмешливая,

горячо любящая, кроме того—вдохновенная поэтесса, безупречная музыкантша и новаторша в музыке, отобразившая в своей душе и в своем языке все очарование этого восхитительного острова, где небо и море празднуют непрерывную свадьбу. С молодыми своими подругами она держится не как учительница, а скорее как старшая сестра, спешащая в слишком их кратковременной общей жизни сделать все возможное для воспитания девушек, заботливо следящая за развитием их телесных и духовных совершенств. С жаром прославляет она их успехи, энергично журить за леность, когда они остаются равнодушными к пиерийским розам (№ 44), с наслаждением участвует вместе с ними в тех наивных радостях, которые эллинская религия напитывала и освящала своею красотою, горько скорбит, когда не встречает в каком-либо из этих молодых сердец такого отклика, какого жаждет ее страстное сердце, исходит в глубокой печали в час последней разлуки, когда преждевременная смерть скашивает мимоходом одну из ее возлюбленных, или когда победитель-жених срывает цветок, взращенный ее заботами, и увозит в далекий край. Все это образует основу переполненной чувством жизни, одновременно очень простой и очень богатой, подобная которой наблюдалась только в некоторые короткие периоды итальянского ренессанса, и то скорее в мечте, чем в реальности.

Дружба этого отборного цвета женщин проявлялась с тем большим жаром и самозабвением, что ей не приходилось выдерживать конкуренции с любовью. Известно, что в архаической Греции возвышенная любовь между полами была столь же редка в жизни, как и в литературе. Аналитический ум тогдашних людей усматривал несогласимое противоречие в соединении на одном объекте и действительно возвышенной страсти, и влечения, общего людям с животными: им казалось, что животность половых отношений должна непоправимо портить все, что есть благородного, воспитательного и великодушного в возвышенной страсти. Отсюда значение, какое получили союзы между лицами одного пола, но разного возраста,— союзы, носящие то более нежный, то более героический характер. И если кто удивится, встречая иногда в сафической поэзии, рядом с разумными советами самой уравновешенной дружбы, воззвания к Афродите и к Эросу, огненные и лихорадочные слова, грозы и муки, совершенно схожие с грозами и муками любви,—пускай тот перечитает некоторые письма г-жи де-Севинье к ее дочери: тогда он поймет, что даже материнское чувство в живой и непосредственной душе может носить все черты ревнивого поклонения и без ложного стыда говорить ярким языком страсти; и это еще под мягким небом Франции, далеко от знойного воздуха и опьяняющих запахов греческих островов.

где любила
И пела пылкая Сафо.

(Байрон, Дон-Жуан, III, 86).

Люди, наиболее здравомыслящие и наиболее знакомые с древностью, в этом отношении не ошибались: они не видели в Сафо ни развратницы, ни нервно-больной. Плутарх читал, как и мы, гимн к Афродите (№ 1) и оду к подруге (№ 2); он восхваляет в них слова, смешанные с огнем, убедительных свидетелей экзальтированной, но чистой страсти. Максим Тирский резюмирует впечатление, вынесенное им из чтения стихов Сафо, сравнивая ее общину с сократовской. Не все критики были, правда, Плутархами и Максимами Тирскими. В эллинистическую и римскую эпохи, с расширением социальной роли женщины, обычный тип любви изменился и приблизился к тому, который господствует у нас,—и понятно, что люди этого времени перестали понимать или понимали плохо образный язык, отображавший противоречие, которое в более древнюю эпоху существовало между притяжением полов и союзом душ. Отсюда—недоразумения и споры, завещанные нам древностью, вращающиеся без конца вокруг небольшого количества текстов, которые каждый ученый понимает по-своему. У меня нет ни времени, ни охоты продолжать этот утомительный спор, после которого каждый, обыкновенно, остается при своем прежнем мнении. Я бы предпочел в заключение рассмотреть без всякой предвзятости два недавно открытые стихотворения и расследовать, какою является в них перед нами сердечная жизнь Сафо и ея подруг.

* * *

Одно из этих стихотворений рисует нам отъезд молодой ученицы, вероятно, отозванной в свою семью. Перед Сафо встают сладкие и меланхолические воспоминания из совместной их жизни, окончившейся так скоро,—

Как фиалками многими
И душистыми розами,
Сидя возле меня, ты венчался,
Как густыми гирляндами
Из цветов и из зелени
Обвивала себе шею нежную,
Как прекрасноволосую
Умащала ты голову
Миром царственно благоухающим...

Вот какими красками рисует Сафо «веселую науку», «новую жизнь» своих подруг и свою собственную, когда вспоминает только

что миновавшее прошлое. Нет даже расплетшейся косы, даже чаши старого вина, осушенной совместно. Цветы и еще цветы, духи и еще духи, наконец, несколько сладких слезинок: вот к чему сводится вакханалия мнимых лесбосских менад. Чтобы найти грязь в этой поэзии, надо начать с того, чтобы вложить в нее эту грязь.

Переходим ко второму стихотворению. Дело опять идет об уехавшей молодой девушке,—на этот раз, несомненно, для того, чтобы выйти замуж. Сафо представляет себе печаль изгнанницы, вздыхающей по своим утерянным подругам (см. № 24 нашего издания). Всякий будет очарован прелестью этих стихов, нежностью этого лунного пейзажа. Но духовные переживания здесь не менее тонки, чем чувство природы. Еще и теперь, кажется, слышишь эхо таинственной жалобы, той жалобы изгнанницы, в которой вздыхает целый мир миновавших бесхитростных радостей и чистых переживаний: подругу восхищает в подруге величественная грация ея поступи, сходной с поступью богини, сладость ее голоса и гармоничность ее пения, тонкость ума и покоряющая сила улыбки. Только это, и больше ничего. В потоке восхищенной влюбленности нет ни одной капли сладострастия.

* * *

Как видите, мертвые говорят, и говорят достаточно красноречиво. При свете новых находок фигура той, которую древние называли поэтессой по преимуществу, как Гомера называли поэтом, выигрывает сразу и в определенности, и в чистоте. Отныне мы можем утверждать с несколько большею уверенностью, чем наши предшественники, что, если Сафо не была ни святою, ни, тем более, недотрогою, если она любила по-эллински, т. е. всеми своими чувствами, влюбленными в красоту, всею нежностью страсти, если она старалась обучать своих молодых подруг, приближать их к своему сердцу, формировать их по своему подобию, то это были не куртизанки, которых куртизанка обучала своему ремеслу, а истинные женщины, понимавшие, как их учительница, все обязанности, вкушавшие, как она, все тонкие радости жизни.

(Comptes rendus de l'Academie des Inscriptions, 1911, № 11. Th. Reinach. Pour mieux connaitre sappho).

ДРУГИЕ ЭЛЛИНСКИЕ ПОЭТЕССЫ

I

ЭРИННА

Время жизни точно неизвестно. По наиболее распространенному мнению была ученицею и подругою Сафо. Умерла девятнадцати лет. Рассказывают, что мать запрещала ей заниматься поэзией и заставляла все свое время отдавать прядению и тканью. Свои переживания девушка излила в небольшой эпической поэме в триста стихов, под заглавием «Веретено». Эту поэму ставили на одну доску с гомеровыми песнями.

1

Рыба помпил! Мореходцам счастливое плаванье шлешь ты:
Сопровождай за кормой и подругу мою дорогую!

2

Как ты завистлив, Аид!..

3

... оттуда, из жизни,
Эхо пустое одно лишь доходит до царства Аида.
Тьма покрывает глаза мертвецам, и молчанье меж ними.

4

Вы, о, колонны мои, вы, Сирены *), ты, урна печали,
Что сохраняешь в себе пепла ничтожную горсть,—
Всех, кто пройдет близ могилы, встречайте приветливым словом,
Будут ли то земляки, иль из других городов.
Всем вы скажите, что юной невестой легла я в могилу,—
Что называл мой отец милой Бавкидой меня,
Что родилась я на Теносе, и что подруга Эринна
Здесь на могиле моей эти иссекла слова.

II

ПРАКСИЛЛА

Родом из Сикиона. Жила в середине пятого века. Была особенно знаменита своим паройниями (пиршественными песнями) и сколиями,—застольными песенками, которые в пестром чередовании попеременно распевались отдельными участниками пиршества. В них заключались, обыкновенно, разного рода нравственные изречения. Известен был ее эпический гимн во славу мальчика Адониса, любимца Афродиты, растерзанного вепрем.

1

Скорпион под любым
камнем тебе
может попасться, друг.

2

Вспомни то, что сказал
как-то Адмет:
добрых люби душой,
Но от низких держись
дальше: они—
неблагородные.

*) Надгробные памятники нередко украшались изображениями Сирен.

3

Пей же вместе со мной,
вместе люби,
вместе венки плети
И безумствуй, как я;
вместе со мной
благоразумен будь.

4

Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил:
Первое—солнечный свет, второе—блестящие звезды
С месяцем, третье-же—яблоки, спелые дыни и груши.

Из упомянутого гимна к Адонису. Говорит в подземном царстве Адонис. Отсюда вошла в употребление пословица: «ребячливее, чем Адонис Праксиллы».

III.

КОРИННА

Жила в пятом веке. Родом из Танагры и Беотии. Она обрабатывала в небольших эпических стихотворениях национальные мифы и местные сказания. Коринна, вместе с другой беотийской поэтессой, Миртидой, стояла очень близко к своему народу. Обе они точно удержали беотийский народный говор, без всякой идеализации, которой, напр., подвергся спартанский говор у Алкмана. Народные эти поэтессы выступали во время общественных празднеств на состязаниях в искусстве Муз и спорили за призы с самим великим Пиндаром. Коринна победила его пять раз. Ее сограждане, в патриотической гордости за нее, воздвигли ей в Танагре статую. Павсаний по этому поводу сообщает: «Памятник певицы Коринны стоит на самом лучшем месте Танагры; в гимназиуме находится также картина, изображающая, как Коринна обвивает себе голову победною повязкою после победы, одержанной ею в Фивах над Пиндаром. Я, однако, убежден,—прибавляет Павсаний,—что она победила благодаря диалекту, потому что пела не на дорийском говоре, как Пиндар, а на том, который должны были понимать эолийцы, а также еще потому, что она была прекраснейшею из тогдашних женщин,

если можно судить по ее портрету» (IX, 22).—Коринна была учительницею Пиндара. По поводу пышного нагромождения образов, отличающего пиндарову манеру, она, говорят, заметила ему: «сеять нужно горстями, а не кошелками».

1

Дела героев и героинь
На ионийский лад я пою.

2

Белоодежным я лишь пою
Танагриянкам песни мои;
Радости много город родной
В тех песнопеньях звонких нашел.

3

... я Миртиде
Ставлю в упрек звонкоголосой:
Спорить за приз с Пиндаром ей,—
Женщине,—смысл был ли какой?

СЕМОНИД АМОРГОССКИЙ

Имя его неправильно пишут «Симонид» и, в отличие от великого эллинского поэта Симонида Кеосского или Младшего, называют Симонидом Старшим.—Жил в VII в. до Р. Х. Родился на о. Самосе, откуда вывел колонию на остров Аморгос. Один из самых ранних ямбических поэтов.

1

По воле, мальчик, Зевса тяжкогромного
Конец приходит к смертному. Не сами мы
Судьбу решаем нашу. Кратковечные,
Как овцы, мы проводим жизнь, не ведая,
Какой конец нам бог готовит каждому.
Бесплодно мы мятемся, и однакоже
Всѐ тешимся надеждой. Кто в ближайший день
Ждет радости, а кто—в далеком будущем.
Но каждый ждет,—пора придет желанная,
Получит много-много он богатства и благ.
Один же между тем печальной старостью
До времени сражен. Болезни тяжкие—
Удел других. Те, Аресом повержены,
Низводятся Аидом в землю черную.
Те в море ураганом настигаются
И в яростных пучинах волн пурпуровых
Находят смерть, хотя б могли пожить еще.
А те в петле кончают жизнь злосчастную
И с солнцем расстаются волей собственной.
Нейдет из бедствий мимо ни единое.
Но тысячи страданий, зол и горестей
Повсюду стерегут людей. По-моему,
Ни к бедствиям стремиться нам не нужно бы,
Ни духом падать, раз они настигли нас.

2

О мертвом, если б были мы разумнее,
Не дольше б горевали мы, как день один.

АЛКМАН

Сердцу любезный Алкман, вдохновенный певец гименеев.
Лебедь, пропевший земле песни, достойные Муз-

Из «Палатинской Антологии».

Жил в середине VII века до Р. Х. Родился в Сардах, столице Лидии, в Малой Азии. В молодом возрасте прибыл в Спарту. Сочинил для спартанских праздеств большое количество лирических произведений, приобрел большую славу, умер стариком. Спарта признала его одним из национальных своих поэтов. Самым знаменитым родом творений Алкмана были п а р ф е н е и—особый род лирических поэм, исполнявшихся на празднествах хорами молодых девушек.—Первый по времени представитель эллинской хоровой лирики.—Переведено все дошедшее (кроме не представляющих интереса обрывков). Перевод размерами подлинников.

ПАРФЕНЕИ

1

Текст этого отрывка,—единственного крупного отрывка, дошедшего до нас от Алкмана,—находится в луврском папирусе, отысканном М а р и е т т о м 1855 году в одной из египетских гробниц. Восстановлением сильно попорченного текст мы в большой мере обязаны трудам и приницательности Ф р и д р и х а Б л а с с а. Многое, однако, и теперь еще остается в отрывке спорным и темным, отдельные места его читаются и толкуются различными исследователями весьма различно. От ст.ст. 22—29 сохранились лишь заключительные слова каждого стиха. Это место мы даем в реконструкции К р у з и у с а, кое-где исправленной соответственно соображениям Д и л ь с а. В общем мы придерживались при переводе чтения Дильса. В приложении мы даем в сокращенном переводе его статью об этом отрывке, содержащую подробный комментарий и объяснение темных мест.

. . . .
Убитого Полидевком.
Не Ликайса лишь в числе усопших я вспомню,—
Вспомню Енарсфбра с быстроногим Себром,
Многомощного Бокбла,
5. В ярких латах Гиппофоя,
И Евтейха-царя, и Арѐтия
С Акмоном, славным меж полубогов.

Скея, пастыря дружин
Великого и Еврита,
10. В битвах стойкого бойца,
И Алкона,—всех их, храбрых,
Не забудет песнь моя.
Сломили судьба и Пброс
Тех мужей,—старейшие
15. Меж богов. Усилья ж тщетны.
Нá-небо взлететь, о, смертный, не пытайся,
Не дерзай мечтать о браке с Афродитой,
Кипрскою царицей, или
С дочерью прекрасной Порка
20. Бога морского. Одне страстноокие
Входят Хариты в Кронидов дворец.

Из мужей сильнейшие—
Ничто. Божество над всеми
Царствует. Друзьям богов
25. Оно посылает блага,
Как из почвы бьющий ключ.
Врагов же смиряет. Силой
Грозной некогда пошли
На Зевсов престол Гиганты.
30. Бой был тщетен. От стрелы одни погибли
И от мраморного жернова—другие.
Всех Аид их ныне принял,—
Их, что собственным безумьем
Смерть на себя навлекли. Замышлявши
35. Зло претерпели ужасный конец.

Здесь уж есть бессмертных месть.
Блажен, кто с веселым духом,
Слез не зная, дни свои
Проводит. А я блистанье
40. Агидó пою. Гляжу,—
Как солнце блестит: егó нам
Агидо дает познать.
Но мне ни хвалить прекрасной,
Ни хулить не позволяет та, что хором
45. Славно правит. Ведь сама она меж прочих
Выдается, словно кто-то
Посреди коров поставил
Быстрого в беге коня звонконогого,
Сходного с быстролетающим сном.

50. Не видишь? Вон пред нами конь
Енетский. Агесихоры
Волосы, моей сестры
Двоюродной, ярко блещут
Золотом беспримесным.
55. Лицом же она сребристым...
Но что еще тут говорить?
Ведь это—Агесихора!
После Агидо́ вторая красотою,—
Колаксаев конь за приз с ибенским спорит.
60. Поднимаются Плеяды
В мраке амвросийной ночи
Ярким созвездием и с нами, несущими
Плуг для Орфрии, вступают в битву.

Изобильем пурпура.
65. Не нам состязаться с ними.
Змеек пестрых нет у нас
Из золота, нет лидийских
Митр, что украшают дев
С блистающим томно взором.
70. Пышнокудрой нет Нанно́
С Аретою богоподобной,
Нет ни Силакиды, ни Клэесисеры.
И, придя к Энесимброте, ты не скажешь:
«Дай свою мне Астафиду!
75. «Хоть взглянула б Янфемида
«Милая и Дамарета с Филиллою!»
Агесихора лишь выручит нас.

Разве стройноногая
Не с нами Агесихора?
80. Стоя возле Агидо́,
Не хвалит она наш праздник?
Им, обеим, боги, вы
Внемлите. Ведь в них—начало
И конец. Сказала я:
85. «Сама я напрасно, дева,
«Хором правя, как сова, кричу на крыше,
«Хоть и очень угодить хочу Ао́тис:
«Ибо всех она страданий
«Исцелительница наших.
90. «Но желанного мира дождàлися
«Только чрез Агесихору девы».

Правда, пристяжной пришлось
Ее потеснить без нужды.
Но на корабле должны
95. Все кормчему подчиняться.
В пенье превзошла она
Сирен, а они—богини!
Дивно десять дев поет,
С одиннадцатью равняясь.

100. Льется песнь ее, как на теченьях Ксанфа
Песня лебедя; кудрями золотыми...

13. Порос. Схолиаст поясняет, что это—то самое божество, которое Гесиод называет Хаосом («Теогония», 116). О божестве Поросе единственное упоминание мы встречаем в «Пире» Платона. Гетера Диотима рассказывает Сократу о рождении Эроса: «По случаю рождения Афродиты боги пировали,— между другими также и Порос (изобилие), сын богини Метис. Когда они уже кончили есть, подошла, прося милостыни, Пения (бедность) и остановилась у дверей. Порос, охмеленный нектаром,—вина тогда еще не существовало,—вышел в сад Зевса и, как устал и был выпивши, то заснул. Бедность-Пения вследствие своей нужды возымела намерение зачать ребенка от Изобилия-Пороса. Она легла к нему и зачала Эроса».—По мнению Аренса, Платон заимствовал своего бога Пороса у Алкмана. Бласс переводит название бога словом «всемогущество».

15. Усилия тщетны. Дословно: «сила—боса», т.-е. без сандалий. По Блассу, имеются в виду сандалии, одаренные двигательною силою, какими Гомер наделяет богов. Общий смысл ст. 13—15 по Блассу: «Судьба и всемогущество божества царят над всем; сила же не значит ничего».

19. Дочь Порка. Порк или Форкий—морское божество. Вместе со своею супругою Кето олицетворяет враждебную, грозную силу моря, родящую из своих недр чудовищ и наполняющую душу человека ужасом. От супружеской этой пары произошел целый ряд мифических чудовищ,—Горгоны, Ехидна и др. Ср. «Теогонию» Гесиода, 270—336.

50. Енетский конь. Енеты—иллирийский народ.

59 Колаксаев конь за приз с ибенским спорит. Колаксаев конь—скифский конь, по имени скифского царя Колаксая, о котором рассказывает Геродот (IV, 5). Ибенский конь, как убедительно доказывает Дильс,—лидийский конь. Обыкновенно этот стих переводится: «Колаксаев конь бежит в перегонки с лисицами» или «с гончими собаками».

2.

О, Каллиопа! Зачни нам прелестную
Песню, и страстью зажги покоряющей
Гимн наш, и сделай приятным хор!

3.

Муза небесная! Дочь
Зевса-царя!
звонко я песнь спою...

4.

Слова и мелодию эту
Сочинил Алкман-певец,
У куропаток заимстововав их.

5.

Знаю все напевы я
Птичьи...

6.

И сколько их у нас ни есть,
Девы все кифариста жарко хвалят.

Бергк: хор девушек говорит это о самом Алкмане.

7.

Нет, не Афродита это, Эрос это бешеный дурачится, как мальчик.
Сердце, берегись его! Несется по цветущим он верхушкам киmegaриска...

Критский гексаметр; основная стопа: один долгий слог с последующими тремя короткими.

Киперискили кипер — осоковое растение сыть или ситовник (cyperus). Цветы его расположены в колосках, собранных наверху стебля в виде головки или зонтика.

8.

И сладкий Эрос, милостью Киприды,
Нисходит вновь, мне сердце согревая.

9.

Афиней, XIII, 600: Архит, по словам Хамелеона, рассказывает, что Алкман был неумеренно влюблен в Мегалострату. Она была поэтесса, но

обладала способностью и просто путем общения зажигать горячую любовь к себе. Алкман так говорит об ней:

Златокудрая Мегалострата, в девах
Блаженная, явила нам
Этот дар сладкогласных Муз.

10.

А он на флейте будет нам
Мелодию подыгрывать.

11.

Девичий хор обращается к Алкману:)

Не деревенщина-мужик ты,
Не простак и не дурачина,
Не из фессалийских стран,
Не Эрисихеец, не пастух ты,—
Родом ты из Сард высоких!

Эрисиха—город Акарнании.

12.

Как-нибудь дам я треногий горшок тебе,—
в нем собирай ты различную пищу.
Нет еще жара под ним, но наполнится
скоро он кашей, которую в стужу
Любит всеядный Алкман подогретою.
Он разносолов различных не терпит,
Ищет он пищи попроще, которую
ест и народ...

13.

Вот семь столов и столько же сидений.
На тех столах—всё маковые хлебцы,
Льняное и сесамовое семя,
И для детей в горшечках—хрисокола.

Хрисокола—кушанье из льняного семени и меда.

14.

Он уж подаст бобовую нам кашу,
И плод восчаный пчел, и хидрон белый.

Афиней: хидрон—вареная пшеница; восчаным же плодом пчел Алкман называет мед.

15.

Три времени в году,—зима,
И лето, осень—третье.
Четвертое ж—весна, когда
Цветов немало, досыта ж
Поесть не думай...

16.

Аристид, II, 40: Что говорит хвалитель и советчик девушек, лакедемонский поэт?

Муж пускай Многословом зовется, жена—Вседовольной!

Пусть, по его словам, муж говорит много, а жена пусть радуется всему, что от него услышит.

17.

Спят вершины высокие гор и бездн провалы,
Спят утесы и ущелья,
Змеи, сколько их черная всех земля ни кормит,
Густые рои пчел,
звери гор высоких
И чудища в багровой глубине морской.
Сладко спит и племя
Быстро-летающих птиц.

18.

Часто на горных вершинах, в то время, как
праздник блестящий тешил бессмертных,
В чашу из золота, в кружку огромную,—
у пастухов подобные кружки,—

Выдоив львицу рукою бестрепетной,
сыр ты готовил острый, великий
Аргоубийце...

Изображается менада или другая какая-либо спутница Вакха-Диониса. Аргоубийцею обыкновенно называется Гермес, но здесь под этим именем разумеется Дионис.

19.

Антигон Каристский, «Удивительные истории», 27 23): Когда самцы-гальционы (зимородки) становятся слабыми от старости и уже не могут летать, то самки берут их на крылья и несут на себе. И то, что говорит Алкман, совпадает с этим. Он говорит, что слаб от старости и не может ни двигаться вместе с хором, ни принимать участия в плясках девушек.

Милые девы, певицы прелестноголосые! Больше
Ноги меня уж не держат. О, если б мне быть зимородком!
Носится с самками он над волнами, цветущими пеной,
Тяжкой не зная заботы, весенняя птица морская.

20.

Муза, приди к нам, о звонкоголосая!
Многонапевную песнь
На новый лад начни для дев прекрасных!

21.

К ГЕРЕ

Я несу тебе с молитвой
Тот венок из златоцветов
Вместе с кипером прелестным.

22.

Будь мой приятен хор
Дому Зевса и тебе, о, царь

По мнению Бергка, из гимна к Аполлону.

23.

В собранье мужей и на пире
Пред гостями пэан зачинать подобает сладостнозвучный.

24.

«Если б женщиной стать мне!»

Повидимому, из эпиталамия (свадебной песни), так же, как и два следующие отрывка.

25.

Тщетно крик все девушки пóдняли,
Как стая, в которую ястреб влетел.

26.

«Зевс, мой отец! Если б мне был он мужем!»

27.

Кто же бы высказать мог когда-либо мысли другого?

28.

Железный меч не выше
прекрасной игры на кифаре.

29.

И нить тонка, и жестока Ананке!

По Бергу, разумеется нить Мойры (Парки). Ананке—богиня необходимости.

30.

Опыт—вот основа познанья.

31.

П л у т а р х. «О муж. р и м.», 4: Счастье—не неведомая в своих путях богиня, как говорит Пиндар, не вращающая двойной руль а скорее, как говорит Алкман,

Доброзаконья сестра и Рассудка,
Дочь Осторожности.

Г. ДИЛЬС

ПАРФЕНЕЙ АЛКМАНА

Весь парфеней, повидимому, состоял первоначально из десяти строф. Начальные две строфы до нас не дошли. В первой половине песни рассказывалось о походе Геракла против сыновей Гиппокоона и о постигшей их божьей каре [1]). В третьей из дошедших строф,—следовательно, в полном произведении в пятой,—речь, повидимому, шла о Гигантах, как новом примере божьей кары за нечестие. Упоминание о стреле указывает на участие Геракла, сыгравшего решающую роль в битве богов с Гигантами. В особенности же знаменательно упоминание о мельничном жернове, которым был убит один из бунтовщиков: заключением битвы Гигантов является грандиозная сцена, как Посейдон отламывает от острова Коса огромную скалу и убивает ею сына Земли Полибота. Скала эта—остров Нисир, под которым погребен гигант.

Мрачно-серьезною картиною наказанной гордости гигантов кончается первая половина песни. Да боится богов людское племя!.. В этом находит себе разрешение религиозное настроение. Начинается вторая часть. В радостном, светском веселии здесь воспевается исполняющий песню девический хор, его деяния, его надежды, особенно же—обе его звезды, Агидо и Агесихора. Дальнейшие строфы полны двумя этими именами.

Названные девушки, Агидо и Агесихора, стоят во главе алкманова хора. Можно думать, что они находятся друг к другу в отношениях старшей и к младшей, учительницы к ученице или,—что легко предположить относительно греков того времени,—в отношениях влюбленной к возлюбленной.

---

*) Гиппокоон, сводный брат Тиндарея и Икария, лишил власти своих братьев и изгнал их из Лаконии. Геракл, с помощью тиндареевых сынов Кастора и Полидевка, возвратил власть Тиндарею и убил Гиппокоона с его сыновьями.

Если мы примем во внимание эротические воззрения той эпохи, которые, как известно, в Спарте были особенно сильно развиты, то мы придем, мне думается, к правильному пониманию рассматриваемого стихотворения. Лирика Алкмана коренится в эолийской лирике. В начале VII века до Р. X. Терпандр ввел эолийскую музыку в Спарте и приспособил ее к местным вкусам. Ученики его старались поддерживать на должной высоте дело «лесбосского певца». Для исполнения девических песен они нуждались в опытных, музыкально-образованных девушках-запевалах, которые могли бы помочь хормейстеру («хородидаскалу») в обучении хора и сами были бы способны браться за лиру, как та златокудрая Мегалострата, которую Алкман прославил в другой песне (см. № 9). Такой характер носили отношения лесбосской певицы Сафо к ее ученицам. Она, разумеется, не выбирала себе одновременно многих любимиц, но в каждое данное время приближала к себе одну какую-либо особенно одаренную ученицу, старалась образовать ее с особенною тщательностью и привязывалась к ней со всею страстью южной эротики. Такова была Аттида, которую Сафо взяла к себе маленькою девочкою, которая впоследствии изменила ей и перешла к ее сопернице Андромеде.

Известно, что любовные отношения знатного юношества в Афинах шестого, пятого и даже четвертого века интересовали весь тогдашний мир. Поэты и художники делали прославленных красавцев гимназиума известными самому последнему горшечнику. Имена «прекрасных» были у всех на устах. Однако это относилось только к знати и только к мужчинам. Афинские женщины не были причастны Эросу. Иначе обстояло дело в эолийских и дорийских странах, где женский пол воспитывался в полнейшей свободе, где гимназиумы и тесно связанная с ними эротика были доступны девушкам не менее, чем юношам. Мы это знаем больше относительно Лесбоса, чем Спарты, благодаря песням Сафо. Сафо была популярна в Афинах, Алкман—нет. Поэтому о древне-спартанских отношениях нам известен только голый факт [1]). Распространение эолийской музыки и учреждение соответственных школ предполагает в Спарте подобные же обычаи. В школах, равно как и в девических гимназиумах, развивались те нежные отношения, которые эолизирующий певец осторожно, но вполне явственно положил в основание своей веселой песни. На этой почве становится понятною лукавая игра между Агидо и Агесихорою,—«влюбленною» и «возлюбленною».

Но мне ни хвалить прекрасной,
Ни хулить не позволяет та, что хором
Славно правит.

Здесь «правящая хором», «хороводница»—не старшая Аги
а ее возлюбленная Агесихора, и Агидо при восхвалении младшей подруги испытывает приблизительно то же самое, что у нас испытывает жених, когда величают его возлюбленную. Вторая часть антитезы,—«ни хулить»,—прибавлена для шутки, с тою склон ностью к обилию антитез, которая особенно свойственна старин

---

[1]) Плутарх. Ликург, 18: «также и женщины любили у спартанцев прекрасных девушек».

ному языку. Обосновать нужно только первую часть альтернативы. Почему Агесихора не позволяет воздавать Агидо должного восхваления за красоту? Поэт сам отвечает на это:

Ведь сама она меж прочих
Выдается, словно кто-то
Посреди коров поставил
Быстрого в беге коня звонконогого,
Сходного с быстролетающим сном.

Следует сказать два слова о выражении: «моя двоюродная сестра Агесихора» (стт. 51—54). Не нужно думать, что так называет Агесихору одно определенное лицо из хора,—и всего менее можно тут предположить самого поэта. Выражение «двоюродная сестра» употреблено здесь в широком смысле,—в смысле вообще кровного родства: гимнастические и музыкальные группы у лакедемонян составлялись на родственной основе. На это впервые указал Аренс. Каждый знатный род составлял свою особую группу.

Очень трудны для понимания стт. 60—63:

Поднимаются Плеяды
В мраке амвросийной ночи
Ярким созвездьем и с нами, несущими
Плуг для Орфрии, вступают в битву.

Кто такие Плеяды? Аренс высказал весьма основательное мнение, что под Плеядами следует разуметь другой хор, оспаривающий победу у Алкманова хора. Восходя над аркадским Атласом, Плеяды знаменовали наступление времени жатвы; их заход указывал, что пора приступать к севу. Для лаконских воззрений было вполне естественно, что Плеяды связывались с богинею плодородия, на празднике которой ей подносился плуг, как земледельческий символ. Пелопоннеские девические хоры носят имена известных божеств или героинь. И нет ничего невероятного, что хор, соперничающий с Алкмановым хором, носит имя Плеяд, Атлантовых дочерей, тем более, что сама эта группа звезд охотно называется «хором» (Pleiadum chorus).

Хор Алкмана несет плуг богине Артемиде-Орфрии («утренней»),—ей именно посвящена вся песня. Об этом мы еще будем говорить ниже.

В шестой строфе перечисляются преимущества соперничающего хора. Девы Алкмана могут противопоставить ему одну только Агесихору.

Изобильем пурпура
Не нам состязаться с ними.
Змеек пестрых нет у нас
Из золота, нет лидийских
Митр, что украшают дев
С блистающим томно взором.
Пышнокудрой нет Нанно
С Аретою богоподобной,
Нет ни Силакиды, ни Клэесисеры.
И, придя к Энесимброте, ты не скажешь:
«Дай свою мне Астафиду!
«Хоть взглянула б Янфемида
«Милая и Дамарета с Филиллою!»
Агесихора лишь выручит нас.

В седьмом столетии Спарта, несомненно, была столь же далека от позднейшей своей простоты, как ионизирующие Афины времени Писистратидов—от демократической строгости Кимоновой и Перикловой эпохи. В то время, можно думать, не жалели пурпурных одежд, особенно в честь богов. Но богатые наряды Плеяд играли еще, повидимому, особенную роль в том культе, который имеет в виду Алкман. Мы знаем из Плутарха («Аристид», 17), что на празднике Орфии после искупительного акта бичевания отроков следовала «процессия Лидийцев». По изображению Плутарха, шествующие в процессии Лидийцы идентичны с бичуемыми эфебами. Лидийское пурпурное одеяние имеет, следовательно, очистительный смысл. Но радостно-праздничное настроение Алкмана легко отрывается от мрачного заднего фона культа Орфии, и культ, несомненно, сам давал к этому повод: «лидийские митры, что украшают дев с блистающим томно взором», говорят об одеянии, заимствованном из лидийского служения иеродул (храмовых проституток). Об этом восточном служении, пересаженном из Лидии в эфесский культ Артемиды, мы подробно узнаем из «Облаков» Аристофана и «Тимпанистов» Автократа, по сообщению которого нескромный танец лидийских девушек составлял здесь главный культовой акт [1]). Несомненно, что эфесская Артемида и лаконская Орфия стоят друг от друга очень близко.

Слова поэта: «изобильем пурпура не нам состязаться с ними» и пр. я понимаю не в том смысле, что Алкманов хор был совсем лишен таких экзотических украшений. Против этого говорит и священный характер всего действия, и женское тщеславие. Нужно большее внимание обратить на слово «изобилие». Ценность своего хора Алкман видит не в безвкусном избытке внешних украшений, а главным образом в обладании Агесихорой.

Среди выдающихся певиц соперничающего хора,—ибо это он имеется в виду,—в своеобразном освещении выступает дом Энесимброты:

> И, придя к Энесимброте, ты не скажешь:
> «Дай свою мне Астафиду!
> «Хоть взглянула б Янфемила
> «Милая и Дамарета с Филиллою!»

Энесимброту принимали за мать перечисленных четырех девушек. Мне кажется более вероятным предположение, подтверждающее нашу догадку об устройстве этих певческих школ,—что Энесимброта—предводительница хора. Занимая такое же положение, как Агидо, она собрала вокруг себя группу девушек и обучает их музыке. Следовательно, поэт шутливо отказывается здесь от мысли просить о пополнении своего хора соперницу.

---

*) Автократ, «Тимпанисты»: «... подобно тому, как играют милые девушки, дочери Лидийцев, легко прыгая, вскидывая ноги, отбросив назад волосы, красиво простирая руки к эфесской Артемиде и двигая бедрами попеременно вверх и вниз, как это делают трясогузки». Аристофан, «Облака», 598: «ты, блаженная, имеешь в Эфесе всезлатой дом, в нем лидийские девы воздают тебе великое почитание».

Очень важное значение имеет ст. 87. Богиня Аотис, для угоды которой поет хор, называется «исцелительницей всех наших страданий». Вместе со следующими ниже словами «желанного мира дождалися» это можно толковать только так, что песня была о ч и с т и т е л ь н о ю песнью; ее целью было—устранить бедствие, ниспосланное на страну гневом Аотис, умилостивить разгневанную богиню. Та, которая здесь называется Аотис, очевидно, та самая богиня, которая выше (ст. 63) носит культовое имя «Орфия». Слово Аотис значит «восточная». Следовательно, это—богиня, почитаемая на востоке; имя, быть может, впервые создано Алкманом, чтобы выразить в нем культовую связь с эфесским и фригийским божеством,—связь, в то время сознанную и проявлявшуюся на деле. Менадр свидетельствует. что Алкман давал Артемиде бесчисленные прозвания, заимствованные из имен гор, городов и рек.

Однако Артемида-Аотис-Орфия—не единственное божество, которое прославлялось в девической песне. Ниже, в ст. 82, хор определенно молит «богов» принять возносимые молитвы. Кто же эти другие божества, стоящие возле Орфии? Прежде всего на мысль приходит Елена. Как могло отсутствовать восхваление Елены, олицетворявшей идеал красоты и танцовального искусства, в песне Алкмана, где эти добродетели лаконских девушек выведены живьем в лице Агидо и Агесихоры? Мы имеем все основания подозревать, что в первой, иератической части песни звучали хвалы Елене рядом с Артемидою, и Диоскурам—рядом, с Гераклом. В первой дошедшей до нас строке отрывка упоминается Полидевк, что весьма знаменательно. Но также и вторая, шутливая часть песни получает при этом более глубокое значение. Тот, кто способен переживать античные религиозные ощущения, едва ли усумнится, что достоинства обеих предводительниц хора только потому восхваляются так красноречиво, что они представляются особенно способными тронуть сердце и утишить гнев богини, любящей пляски и красоту. Это обстоятельство, думается мне, впервые сделает для нас ощутимою ту невидимую связь, которая соединяет бесцельные на первый взгляд шутки светской части песни с ее священною частью, и нам станет понятным неожиданное возвращение к серьезной цели во второй части:

Им обеим, боги, вы
Внемлите: ведь в них—начало
И конец...

Понятнее станет нам также и вся организация девического хора. По толкованию Кайбеля, известный эпиталамий Феокрита (Идиллии, XVIII) представляет из себя свободно обработанное по Сафо, Стесихору и Алкману описание культа Елены, отправлявшегося в платановой роще Спарты. Кто признает толкование Кайбеля правильным, тот ни на минуту не усумнится, что описанная там организация женской молодежи совершенно идентична с тою, которую предполагает алкманова девическая песнь.

Феокритова идиллия (ст. 24) говорит о 240 девушках определенного возраста, которые посещают гимназиум на Евроте,—ту самую платановую рощу, о которой мы сейчас упоминали (ср. ст. 45 идиллии). Ими руководят двенадцать знатных спартанских девушек,—



Цвет Лаконии всей, двенадцать первейших гражданок.

Мы знаем подобные же девические хоры, отправлявшие свой культ и в других гимназиумах: так напр., Дионисиады и Левкиппиды помещались в городской части Лимнах. Часть коллегии Дионисиад, по сообщению Павсания, несла жреческие функции. Другая часть, числом 11 (следовательно, 10 и предводительница хора) выступали против Левкиппид на одном состязании, предписанном из Дельф.

В Спарте, по данным Феокрита, 12 знатных девушек стоят во главе 240 девушек, составляющих общий хор Елены. Таким образом, хор каждой из предводительниц состоит из двенадцати девушек. Если мы с этим сравним сообщение Павсания о численном составе хора Дионисиад, то нам станет ясно, что одиннадцать певиц представляют половину нормального хора вместе с руководящею им знатною хороводницею. По аналогии можно заключить и относительно хора Агидо, что он делился на два полухора 10+10 (или, прибавляя предводительницу хора: 11+10). Действительно, последняя строфа указывает как раз на такое расчленение.

Правда, пристяжной пришлось
Ее потеснить без нужды.
Но на корабле должны
Все кормчему починяться.

Молодая предводительница хора Агесихора стоит, очевидно, «под ярмом» хора, подобно подъяремной лошади, Агидо же—вне хора, как пристяжная. На руководящую полухором Агесихору Агидо вполне полагается; предводительница же другого полухора не так надежна, поэтому, в интересах целого, Агидо сама становится на слабое крыло и таким образом своим одиннадцатичленным хором теснит десятку Агесихоры, подобно тому как пристяжная лошадь подкрепляет правую подъяремную лошадь, и мешает левой. В этом—та несправедливость, которую совершает Агидо по отношению к Агесихоре.

Отрывок наш заканчивается так:

В пенье превзошла она
Сирен, а они богини!
Дивно десять дев поет,
С одиннадцатью равняясь.
Льется песнь ее, как на теченьях Ксанфа
Песни лебедя; кудрями золотыми...

Отсюда вытекают два заключения.

Во-первых, Агидо и Агесихора поют не одне, а вместе со своими полухорами. Предполагать сольное исполнение здесь нет оснований. У Феокрита лаконский хор также поет весь вместе:

Дружно поют они все; и размеренно стройные ноги
В пол ударяют...

Как, однако, происходило состязание между обоими полухорами, мы не можем заключить с достаточною уверенностью ни из самого парфенея, ни из других дошедших до нас произведений хоровой поэзии. Если мы пожелаем следовать указаниям античной учености и обычным воззрениям новых исследователей, то можем принять, что алкмановы строфы, очень легко разложимые на строфы, антистрофы и эподы, пелись так: строфа (первые четыре стиха) и антистрофа (след. четыре стиха) исполнялись отдельно полухорами, эпод (последние шесть стихов)—всем хором. Содержание отрывка не дает на это указаний. Обе предводительницы хора, повидимому, не испытывают никакой неловкости от того, что принимают самое близкое участие в исполнении восхваляющей их песни. Все ведь совершается для вящшей славы богов.

(*H. Diels*. Alkmans Partheneion. *Hermes*, 1896, pp. 339—37

МИМНЕРМ

Родом из Колофона. Жил в VII веке до Р. Х. Считался у древних первым поэтом любви. Широкою известностью пользовались его песни к прекрасной флейтистке Нанно.—Представитель поверхностно-эпикурейского отношения к жизни, которое неосведомленные люди считают типично-эллинским жизнеотношением. Важно в жизни только наслаждение, наслаждайся, пока есть на это силы, пока ты молод, а дальше—полная пустота и черный ужас.—Переведено все, дошедшее от Мимнерма.

ИЗ ПЕСЕН К НАННО

1.

Без золотой Афродиты какая нам жизнь или радость?
    Я бы хотел умереть, раз перестанут манить
Тайные встречи меня, и объятья, и страстное ложе.
    Сладок лишь юности цвет и для мужей, и для жен.
После ж того, как наступит тяжелая старость, в которой
    Даже прекраснейший муж гадок становится всем,
Дух человека терзать начинают лихие заботы,
    Не наслаждается он, глядя на солнца лучи,
Мальчикам он ненавистен и в женах презрение будит.
    Вот сколь тяжелою бог старость для нас сотворил!

2.

В пору обильной цветами весны распускаются быстро
    В свете горячих лучей листья на ветках дерев.
Словно те листья, недолго мы тешимся юности цветом,
    Не понимая еще, что нам на пользу и вред.
Час роковой настает,—и являются черные Керы
    К людям: у первой в руках—старости тяжкий удел,

Смерти удел—у другой. Сохраняется очень недолго
Сладостный юности плод: солнце взошло,—и увял.
После ж того, как пленительный этот окончится возраст,
Стоит ли жить? Для чего? Лучше тотчас умереть!
Беды несчетные душу нещадно терзать начинают:
У одного его дом гибнет, идет нищета.
Страстно другому детей бы хотелось иметь, и однако
Старцем бездетным с земли грустно он сходит в Аид.
Душегубительной третий болезнью страдает. И в мире
Нет человека, кого б Зевс от беды сохранил.

3.

Минет пора,—и прекраснейший некогда муж пробуждает
Пренебреженье одно в детях своих и друзьях.

4.

Вечную, тяжкую старость послал Молневержец Тифону.
Старость такая страшней даже и смерти самой.

Златотронная Эос-Заря влюбилась в смертного юношу Тифона и похитила его. Она вымолила у Зевса бессмертие для своего возлюбленного, но при этом забыла попросить для него и вечной юности. Тифон остался вечно жить дряхлым старцем, неспособным двигать членами. История Тифона подробно рассказана в гомеровом гимне к Афродите (см. выше).

5.

Пот начинает по коже обильный струиться, и ужас
Душу об'емлет, когда на молодежь поглядишь.
Все так прекрасны, так милы,—и долго бы быть им такими!
Но пролетает стрелой, словно пленительный сон,
Юность почтенная. Вслед безобразная, трудная старость,
К людям мгновенно явясь, виснет над их головой,—
Старость презренная, злая. В безвестность она нас ввергает,
Разум туманит живой и повреждает глаза.

6.

Диоген Лаэртский, I, 60: Говорят, когда Мимнерм написал:

Если бы в мире прожить мне без тяжких забот и страданий
Лет шестьдесят,—а потом смерть бы послала судьба!—

то Солон, порицая его, возразил:

Если готов ты послушать меня, переделай все это
И не сердись, если я лучше придумал, чем ты.
Лигиастад! Измени свою песню и пой теперь вот как:
Восемь десятков прожить,—и лишь тогда умереть!

7.

Тешь себе душу не тем, чтоб жестоко и больно обидеть
Из чужеземцев кого иль из своих земляков,
А справедливою жизнью. Одни из беспечных сограждан
Будут злословить тебя, но и похвалит иной.

8.

... да встанет меж нами с тобою правдивость!
Выше, святей, чем она, нет ничего на земле.

9.

Пилос покинув высокий, Нелеев божественный город,
В Азию милую мы прибыли на кораблях
И в Колофоне желанном осели,—чрезмерные силой,
Всем показуя другим гордости тяжкой пример.
После того, и оттуда уйдя, эолийскую Смирну
Взяли мы волей богов, Алис-реку перейдя.

10.

Ввек не увез бы из Эи большого руна золотого
Собственной силой Ясон, трудный проделавши путь
И совершив для Пелия безбожного тягостный подвиг,
Ввек бы достигнуть не смог вместе с толпою друзей
Струй Океана прекрасных...

* * * * *

У океанского брега, в твердыню Эета. Покой в нем
Есть золотой, и лежат в этом покое лучи
Быстрого Гелия-бога. Туда-то Ясон и приехал...

Речь о походе аргонавтов. Эетов город Эи находился в Колхиде, на берегу Понта (Черного моря), на восточном крае земли. Здесь омывающий всю землю Океан вливается через Фасис в Понт.

11.

Афиней, 470: Мимнерм в «Песнях к Нанно» говорит, что Гелиос спящим переправляется на восток в золотом ложе, приготовленном для этой цели Гефестом, имея в виду вогнутость чаши. Говорит же он так:

Гелию труд вековечный судьбою ниспослан на долю.
Ни быстроногим коням отдых неведом, ни сам
Он передышки не знает, едва розоперстая Эос
Из океанских пучин на небо утром взойдет.
Быстро чрез волны несется он в вогнутом ложе крылатом.
Сделано дивно оно ловкой Гефеста рукой
Из многоцветного золота. Поверху вод он несется,
Сладким покоясь сном, из Гесперидской страны
В край эфиопов. Восхода родившиейся в сумерках Эос
Ждут с колесницею там быстрые кони его.
Встав, Гиперионов сын на свою колесницу восходит...

12.

Не о такой его силе и храбрости мне говорили
Жившие раньше меня. Видели сами они,
Как пред собою густые ряды коneборных лидийцев
Гнал на Гермосских полях он, копьеносец лихой.
И не совсем недовольна бывала Паллада-Афина
Храбростью ярой его в час, как на лучшиех бойцов
Он устремлялся в кровавой сумятице боя в то время,
Как осыпали его горькие стрелы врагов.
Вряд ли тогда между всеми врагами его ты нашел бы
Мужа, который бы мог мощное дело войны
Лучше его направлять. Он носился, сияя, как солнце...

13.

Слава дурная о нем всюду идет меж людей.

По мнению Бергка, в собрании элегий, дошедшем до нас под названием **Элегий Феогнида**, Мимнерму принадлежат следующие отрывки:

14.

Всем я советую людям: пока еще ярко цветешь ты
Юности цветом, пока дух благороден в тебе,—

Пользуйся тем, что имеешь. Не дважды бессмертные боги
Молодость людям дают, и не бывает от них
Нам избавленья от смерти. Придет невеселая старость,
И загрязнит она нас, и за макушку возьмет.

(1007—1012)

15.

Но говорить перестанем об этом. Сыграй мне на флейте
Песню, и оба с тобой вспомним божественных Муз.
Нам они эти дары подарили, приятные сердцу,—
Мне и тебе, чтоб игрой души соседей пленять.

(1055—1058)

16.

В юности ночь проводить с молодою подругой иль другом,
Всею отдавшись душой пылу любовных утех,
Или же песни на пиршестве петь беззаботно под флейту,—
Радостней этого нет в жизни людской ничего
Ни для мужчин, ни для женщин. На что мне почет и богатство?
Лишь наслажденье одно важно и радостный дух!

(1063—1068)

17.

Глупые мы, безрассудные люди! Ушедшую юность
Надо оплакивать нам, а не о мертвых тужить!

(1069—1070)

АЛКЕЙ

Родился на о. Лесбосе. Жил в VII веке. Современник и земляк Сафо. Один из крупнейших лирических поэтом Эллады.—Переведено лишь несколько из дошедших отрывков, первый из них—не размером подлинника.

1.

Орошай вином желудок: совершило круг созвездье,
Время тяжкое настало, все кругом от зноя жаждет.
Мерно нежная цикада стонет в листьях, из-под крыльев
Песнь ее уныло льется, между тем как жар жестокий,
Над землею расстилаясь, все палит и выжигает.
Зацветают артишоки. В эту пору жены грязны,
И мужчины слабы: сушит им и головы, и ноги
Жаркий Сириус.

2.

Пусть же миром польют
голову мне,
много страдавшую,
И седины груди...

3.

Дожди бушуют. Стужей великою
Несет от неба. Реки все скованы...

* * * * *

Прогоним зиму. Ярко пылающий
Огонь разложим. Щедро мне сладкого
Налей вина. Потом под щеку
Мягкую мне положи подушку.

4.

Сафо фиалкокудрая, чистая,
С улыбкой нежной! Очень мне хочется
Сказать тебе кой-что тихонько,
Только не смею: мне стыд мешает.

Отвст Сафо:

Будь цель прекрасна и высока твоя,
Не будь позорным, что ты сказать хотсл,—
Стыдясь, ты глаз не опустил бы,
Прямо сказал бы ты все, что хочешь.

СТЕСИХОР

Жил в VII—VI в. до Р. Х. Родом из г. Гимеры в Сицилии. Действительное его имя—Тисий, а имя Стесихор получил по роду своей деятельности: стесихор значит «устроитель хоров». Самыми славными из его произведений были эпические гимны, которые исполнялись хорами. Древность ставила Стесихора очень высоко. До нас дошли от его произведений ничтожные отрывки.—Все переводы—размерами подлинника.

1.

Афиней, XI, 781: Стесихор говорит, что Гелиос переплывает через океан в чаше; в ней переправился и Геракл, когда добывал коров Гериона.

Гелиос, сын Гиперионов, в чашу вошел золотую,
Чтоб, Океан переплывши широкий, достигнуть
Глубины обиталища сумрачной ночи священной,
Чтобы матерь увидеть, супругу законную, милых детей.
Сын же Зевсов пешком пошел в многотенную
Рощу лавровую...

Ср. Афиней XI, 470: Геракл натягивает против Гелиоса лук и собирается выстрелить. Гелиос, испугавшись, просит его перестать, он же перестает. За это Гелиос дает ему золотую чашу, которая, после его захода, переносила его вместе с лошадьми по океану через ночь к востоку, где восходит солнце. Геракл плывет в этой чаше в Ерифею. Когда он был в море, Океан, сделавшись видимым, стал качать чашу, испытывая Геракла. Геракл собрался в него выстрелить. Океан испугался и попросил его перестать.

2.

... ибо царь Тиндарей,
Богам принося свои жертвы, лишь о Киприде не вспомнил

Нежнодарной. В гневе, дочерей его
Двубрачными сделала и трибрачными богиня,
И мужебежными...

Тиндарей—отец Елены, виновницы Троянской войны, и Клитемнестры, жены Агамемнона.

3.

Много-много яблок кидонских летело там в колесницу
к владыке,
Много и миртовых листьев,
Густо сплетенных венков из роз и гирлянд из фиалок.

Кидонские яблоки—айва.

4.

Муза, о войнах забудь, и вместе со мною восславь
И свадьбу богов, и мужей обеды пышные, и блаженных пиры!

5.

Нежно, на радость народу, в честь пышнокудрых Харит
С приходом весны запоем мы песню,
Лад изыскавши фригийский.

6.

Про самосских детей
песню под звон
лиры пленительной,
Утешая сердца,
Муза, начни,
ясноголосая!

7.

... больше всего
Игры и песни приятны Аполлону.
Горе и тяжкие стоны—Аида удел.

8.

Бесполезно и вовсе не нужно о тех, кто умер,
Рыдать...

9.

К умершему никто у нас не знает благодарности

ГИБРИЙ

Вот мое богатство лучшее: меч с копьем,
Также прекрасный щит, хранитель верный тела.
Я этим пашу, и этим жну я,
Давлю из ягод этим вино я сладкое,
Этим я владыкой рабов зовуся.

ФЕОГНИД

Родом из Мегары. Жил в половине шестого века до нашей эры. В борьбе аристократии с демократией, отличающей ту эпоху, держал сторону аристократии, к которой и сам принадлежал. В Мегаре победила демократия, она изгнала знать, конфисковала ее имущество и поделила меж граждан земли крупных владельцев.—От Феогнида дошел бо́льшой сборник почти в 1400 стихов, под заглавием «Элегии». Сборник состоит из слабо между собою связанных мелких частей, в которых Феогнид излагает свое политическое и моральное миросозерцание. Такой же замечательный памятник дворянского классового самосознания, каким памятником крестьянского самосознания являются «Работы и дни» Гесиода.—Поучения свои Феогнид обращает к молодому своему другу Кирну, по отцу—Полипаиду. Встречаются, однако, обращения и к другим лицам (Симониду, Ономакриту). Несомненно, что в сборнике много вставок, не принадлежащих Феогниду.—Нами переведены наиболее характерные отрывки.

ЭЛЕГИИ

Сын Кронида, владыка, рожденный Лето! Ни в начале
　Песни моей, ни в конце я не забуду тебя.
Первого буду тебя и последнего, и в середине
　Петь я, а ты преклони слух свой и благо мне дай!

5. Феб-Аполлон-повелитель, прекраснейший между богами!
　Только лишь на свете тебя матерь-Лето родила
Близ круговидного озера, пальму обнявши руками,—
　Как амвросический вдруг запах широко залил
Делос бескрайный. Земля-великанша светло засмеялась,
　Радостный трепет об'ял море до самых глубин.

10. Зевсова дочь, Артемида-охотница! Ты, что Атридом
　Храмом была почтена в час, как на Трою он шел,—
Жарким моленьям внемли, охрани от напастей! Тебе ведь
　Это легко, для меня ж очень немалая вещь.

15. Зевсовы дщери, Хариты и Музы! На Кадмовой свадьбе
Слово прекрасное вы некогда спели ему:
«Все ,что прекрасно, то мило, а что не прекрасно—немило».
Не человечьи уста эти слова изрекли.

Кирн! Мои поученья тебя да отмечены будут
20. Прочно печатью моей. Их не украдет никто,
Худшим никто не подменит хорошего, что написал я.
Будут везде говорить: «это сказал Феогнид,
«Славный повсюду меж всеми людьми Феогнид из Мегары».
Но не могу я никак гражданам нравиться всем.
25. Этому, Полипаид, не дивись: и владыка Кронион,
Вёдро давая иль дождь, может ли всем угодить?

С умыслом добрым тебя обучу я тому, что и сам я,
Кирн, от хороших людей малым ребенком узнал.
Будь благомыслен, достоинств, почета себе и богатства
30. Не добивайся кривым или позорным путем.
Вот что заметь хорошенько себе: не завязывай дружбы
С злыми людьми, но всегда ближе к хорошим держись.
С этими пищу дели и питье, и сиди только с ними,
И одобренья ищи тех, кто душою велик.
35. От благородных и сам благородные вещи узнаешь,
С злыми погубишь и тот разум, что есть у тебя.
Помни же это и с добрыми знайся,—когда нибудь сам ты
Скажешь: «Советы друзьям были не плохи его!»

Город беременен наш, но боюсь я, чтоб им порожденный
40. Муж дерзновенный не стал грозных восстаний вождем*),
Благоразумны пока еще граждане эти, но очень
Близки к тому их вожди, чтобы в разнузданность впасть.
Люди хорошие, Кирн, никогда государств не губили.
То негодяи, простор наглости давши своей,
45. Дух развращают народа и судьями самых бесчестных
Делают, лишь бы самим пользу и власть получить.
Пусть еще в полной пока тишине наш покоится город,—
Верь мне, недолго она в городе может царить,
Где нехорошие люди к тому начинают стремиться,
50. Чтоб из народных страстей пользу себе извлекать.
Ибо отсюда—восстанья, гражданские войны, убийства,—
Также монархи,—от них обереги нас, судьба!

Город наш все еще город, о, Кирн, но уж люди другие.
Кто ни законов досель, ни правосудья не знал,
55. Кто одевал себе тело изношенным мехом козлиным
И за стеной городской пасся, как дикий олень,—
Сделался знатным отныне. А люди, что знатными были,
Низкими стали. Ну, кто б все это вытерпеть мог?
Лжет гражданин гражданину, и все друг над другом смеются,
60. Знаться не хочет никто с мненьем ни добрых, ни злых.
Кирн, не завязывай искренней дружбы ни с кем из тех граждан
Сколько бы выгод тебе этот союз ни сулил.

---

*) Ср. стих 1082 подлинника.

Всячески всем на словах им старайся представиться другом,
Важных же дел никаких не начинай ни с одним.
65. Ибо, начавши, узнаешь ты душу людей этих жалких,
Как ненадежны они в деле бывают любом.
По-сердцу им только ложь, да обманы, да хитрые козни,
Как для людей, что не ждут больше спасенья себе.

К низким людям, о, Кирн, никогда не иди за советом,
70. Раз собираешься ты важное дело начать.
Лишь к благородным иди, если даже для этого нужно
Много трудов перенесть и издалека прийти.

Также не всякого друга в свои посвящай начинанья:
Много друзей, но из них мало кто верен душой.

75. Дело задумав большое, умей доверяться немногим,
Иначе будет, о, Кирн, непоправима беда.

Не дорожи серебром или золотом. Верные люди
Стоят дороже, о, Кирн, в жизненно тяжкой борьбе.

Полипаид мой! Немного найдешь ты товарищей в мире,
80. Кто бы в труднейших делах верен остался тебе,
Кто беззаветно и смело, душою душе откликаясь,
Счастье и горе с тобой был бы готов разделить.

Если бы даже весь мир обыскать, то легко и свободно
Лишь на одном корабле все уместиться б могли
85. Люди, которых глаза и язык о стыде не забыли,
Кто бы, где выгода ждет, подлостей делать не стал.

Что мне в любви на словах, если в сердце и в мыслях иное!
Любишь ли, друг мой, меня? Верно ли сердце твое?
Или люби меня с чистой душою, иль, честно отрекшись,
90. Стань мне врагом и вражду выкажи прямо свою.
Кто ж, при одном языке, два сердца имеет,—товарищ
Страшный, о, Кирн, мой! Таких лучше врагами иметь.

Если тебя человек восхваляет, пока на глазах он,
А, удалясь, о тебе речи дурные ведет,—
95. Неблагородный тот друг и товарищ: приятное слово
Только язык говорит,—мысли ж иные в уме.
Другом да будет мне тот, кто характер товарища знает
И переносит его, как бы он ни был тяжел,
С братской любовью. Мой друг, хорошенько все это обдумай,
100. Вспомнишь ты позже не раз эти советы мои.

Кто тебе стал бы советовать с низким дружить человеком?
Выгоды нет никакой в дружбе с плохими людьми.
В тяжких страданьях, в несчастье к тебе не придет он на помощь
И не захочет ничем добрым делиться с тобой.

105. Низкому сделав добро, благодарности ждать за услугу
То же, что семя бросать в белые борозды волн.

Если глубокое море засеешь, посева не снимешь;
Делая доброе злым, сам не дождешься добра.
Ибо душа ненасытна у них. Хоть разок их обидел,
110. Прежнюю дружбу тотчас всю забывают они.
Добрые ж все принимают от нас, как великое благо,
Добрые помнят дела и благодарны за них.

Между дурными людьми никогда не ищи себе друга.
Гавань плохая они. Мимо свой путь направляй.

115. Милых товарищей много найдешь за питьем и едою.
Важное дело начнешь,—где они? Нет никого!

Самое трудное в мире, о, Кирн мой, узнать человека
Лживого. Больше всего здесь осторожность нужна.

Золото ль, Кирн, серебро ли фальшиво,—беда небольшая,
120. Да и сумеет всегда умный подделку узнать.
Если ж душа человека, которого другом зовем мы,
Лжива, и прячет в груди сердце коварное он,—
Самым обманчивым это соделали боги для смертных,
И убеждаться в такой лжи нам всего тяжелей.
125. Душу узнаешь,—мужчины ли, женщины ль, только тогда ты,
Как испытаешь ее, словно вола под ярмом.
Это не то, что в амбар свой зайти и запасы измерить.
Очень нередко людей видимость вводить в обман.

Полипаид! Не молись, чтоб тебе выдаваться богатством
130. Иль добродетелью,—нет! Только бы счастье иметь!

Нет ничего в этом мире отца или матери лучше,
Если священная в них, Кирн, справедливость живет.

Кирн! Не сам человек—творец своей жизненной доли.
Счастье и бедствия шлют боги-податели нам.
135. Знает ли кто из людей, устремляясь к задуманной цели,
Что достижение даст,—благо иль тяжкое зло?
Часто мы думаем зло сотворить,—и добро совершаем;
Думаем сделать добро,—зло причиняем взамен.
И никогда не сбывается то, чего смертный желает.
140. Жалко-беспомощен он, силы ничтожны его.
Тщетно мы, люди, гадаем, и ждем. Ничего мы не знаем
Все совершается так, как порешит божество.

Кто обманул о защите молящего, или же гостя,
Скрыться не мог от богов, Полипаид, никогда.

145. Лучше прожить с невеликим достатком, блюдя благочестье,
Чем достояньем большим несправедливо владеть.
Всю целиком добродетель вмещает в себе справедливость.
Если ты, Кирн, справедлив,—весь и вполне ты хорош.

И нехороших людей божество одаряет богатством,
150. Но добродетель, о, Кирн,—только немногих удел.

Гордость—первейшее зло, которым разят человека
Боги, решив из-под ног почву отнять у него.

Если владеет богатством большим человек нехороший,
С глупым, неладным умом,—гордость родит оно в нем.

155. Бедностью, дух разрушающей, иль нищетою злосчастной
Не попрекай никого, как бы ни гневался ты.
Зевс то сюда наклоняет весы, то туда, и сегодня
Людям богатство дает, завтра лишает всего.

Самонадеянных слов избегай: не дано человеку
Знать, что готовит ему день приходящий и ночь.

Многие разумом низки и скорбны, но счастье везет им.
То, что казалось бедой, им лишь на пользу идет.
Есть же другие,—умом хоть богаты, но бедны удачей.
И не венчает у них дела успешный конец.

165. Нет никого между смертных, кто был бы блажен иль несчастлив,
Был бы хорош или зол без изволенья богов.

Разное горе у разных людей. Но на скольких не смотрит
Солнце, счастливого нет между людей никого.

Раз ты богами любим, то тебя и насмешник похвалит.
170. Как ни тянись, ничего сам ты не сможешь достичь.

Жарко бессмертным молись: у бессмертных вся сила над миром.
Всякое зло и добро к людям приходит чрез них.

Доброго мужа ужасней всего нищета укрощает;
Старость седая, озноб—менее страшны, о, Кирн!
175. Чтоб нищеты избежать, и в глубокую бездну морскую
Броситься стоит, и вниз, в пропасть, с высокой скалы!
Каждый, кого нищета поразила, ни делать не может,
Ни говорит ничего: связан язык у него.

Всюду, о, Кирн,—по земле и по шири бескрайного моря,—
180. Нужно из тяжкой искать бедности выхода нам.
Лучше, мой Кирн дорогой, умереть бедняку, чем в страданьях,
Жизнь на земле проводить, в тяжкой томясь нищете.

Кирн! Выбираем себе лошадей мы, ослов и баранов
Доброй породы, следим, чтобы давали приплод
185. Лучшие пары. А замуж ничуть не колеблется лучший
Низкую женщину брать,—только б с деньгами была!
Женщина также охотно выходит за низкого мужа,—
Был бы богат! Для нее эта важнее всего.
Деньги в почете всеобщем. Богатство смешало породы.
190. Знатные, низкие,—все женятся между собой.
Полипаид, не дивись же тому, что порода сограждан
Все ухудшается: кровь перемешалася в ней.

Знает и сам, что из рода плохого она, и однако,
Льстясь на богатство ее, в дом ее вводит к себе,—
195. Низкую знатный. К тому принуждаются люди могучей
Необходимостью: дух всем усмиряет она.

Если от Зевса богат человек, справедливо и чисто
Ставши богатым, тогда прочно богатство его.
Если ж, стяжательный духом, неправедно он и случайно,
200. Или же ложно клянясь, средства свои приобрел,—
Сразу как будто и выгода есть, но в конце торжествует
Разум богов и бедой делает счастье его.
Вот что, однако, сбивает людей: человеку не тотчас
Боги блаженные мстят за прегрешенья его.
205. Правда, бывает, и сам он поплатится тяжко за грех свой,
И наказанье не ждет милых потомков его,
Но иногда беспощадная смерть, приносящая гибель,
Веки смыкает ему раньше, чем кара придет.

Нет у изгнанника милых друзей и товарищей верных.
210. Это в изгнаньи больней даже, чем ссылка сама.

Вредно вином упиваться сверх меры. Но ежели люди
С разумом пьют,—от вина польза одна, а не вред.

Каждому другу, о, Кирн мой, характер выказывай разный,
Приноровляя свой нрав собственный к нраву его.
215. Пусть образцом тебе будет полип многохитрый; к какому
Камню прилепится он, вид он и примет того.
Нынче с одною являйся окраской, а завтра с другою.
Высшая мудрость гласит: приспособляйся, о, Кирн!

Не возмущайся чрезмерно жестокою смутой сограждан,
220. Милый мой Кирн, и иди средней дорогой, как я.

Тот, кто уверен, что ближний понять ничего не способен,
Что лишь один изо всех он на все руки горазд,—
Непроходимый глупец, повредившийся в добром рассудке.
Право же, все мы равно многое можем свершить.
225. Только один не желает последовать зову корысти,
А у другого душа к козням коварным лежит.

---

233. Для легкомысленной черни твердынею служит и башней
Муж благородный, и все ж чести так мало ему!

Дал я крылья тебе, и на них высокого и свободно
Ты полетишь над землей и над простором морей,
Будешь присутствовать ты на пирах и на празднествах пышных,
240. Славное имя твое будет у всех на устах.

Милые юноши в пышных нарядах красиво и звонко
Будут под звуки тебя маленьких флейт воспевать
Ясно звучащих. Когда же сойдешь ты в жилища Аида,
В мрачные недра земли, полные стонов и слез,—
245. Слава твоя не исчезнет, о, Кирн, и по смерти, но вечно
В памяти будет людской имя храниться твое.
Ты по Элладе по всей пронесешься, бесплодное море,
Полное рыб, перейдешь, все острова посетишь.
И не на спинах коней ты поедешь,—фиалковенчанных
250. Муз сладкогласных дары всюду тебя понесут.
Всем, кому дороги песни, кому они дороги будут,
Будешь знаком ты, пока солнце стоит и земля.
А между тем от тебя и следа я не вижу почета.
Будто мальчишку, меня словом ты вводишь в обман.

255. Лучше всего—справедливость; желанней всего быть здоровым,
Вещь же приятнее всех,—чтобы желанье сбылось.

Я—скаковая, прекрасная лошадь, но плох безнадежно
Правящий мною ездок. Это всего мне больней.
О, как мне часто хотелось бежать, оборвавши поводья,
260. Сбросив внезапно с себя на-земь того седока!

Вот что, поверь мне, ужасней всего для людей,—тяжелее
Всяких болезней для них, даже и смерти самой:
275. После того, как детей воспитал ты, все нужное дал им
И накопил, сколько мог, много понесши трудов,—
Дети отца ненавидят и смерти отцовской желают,
Смотрят с враждой на него, словно к ним нищий вошел.

Ныне несчастия добрых становятся благом для низких
290. Граждан; законы теперь странные всюду царят:
Совести в душах людей не ищи; лишь бесстыдство и наглость,
Правду победно поправ, всею владеют землей.

Даже и льву не всегда пообедать приходится мясом.
Как ни могуч он,—нужду все-таки знает и лев.

---

313. Если безумствуют люди, я тоже безумствую с ними,
Меж справедливых людей всех справедливее я.

---

351. Бедность проклятая! Что ты так цепко ко мне привязалась?
Что же к другим не идешь? Что так взлюбила меня?
Ну же, иди, посети и жилище другого, и вечно
С нами делить перестань эту бессчастную жизнь!

---

361. Кирн! При великом несчастье слабеет душа человека.
Если ж отмстить удалось, снова он крепнет душой.

---

367. Мыслей сограждан моих уловить я никак не умею:
Зло ли творю иль добро,—все не угоден я им.
И благородный, и низкий бранят меня с равным усердьем,
Но из глупцов этих мне не подражает никто.

Милый Зевс! Удивляюсь тебе я: всему ты владыка,
Все почитают тебя, сила твоя велика,
375. Перед тобою открыты и души, и помыслы смертных,
Высшею властью над всем ты обладаешь, о, царь!
Как же, Кронид, допускает душа твоя, чтоб нечестивцы
Участь имели одну с теми, кто правду блюдет,
Чтобы равны тебе были разумной душой и надменный,
380. В несправедливых делах жизнь проводящий свою?

В жизни бессмертными нам ничего не указано точно,
И не известен нам путь, как божеству угодить.

---

407. Лучший мой друг! Погрешил ты. А я—я ни в чем не виновен.
Сам к нехорошему ты этому мненью пришел.

---

413. Сколько б ни пил я, но так не упьюсь я, до этого пьяный
Я не дойду, чтоб сказать страшное что про тебя!

---

425. Лучшая доля для смертных—на свет никогда не родиться
И никогда не видать яркого солнца лучей.
Если ж родился,—войти поскорее в ворота Аида
И глубоко под землей в темной могиле лежать.

Смертного легче родить и вскормить, чем вложить ему в душу
430. Дух благородный. Никто изобрести не сумел,
Как благородными делать дурных и разумными глупых.
Если бы нашим врачам способы бог указал,
Как исцелять у людей их пороки и вредные мысли,
Много бы выпало им очень великих наград.
435. Если б умели мы разум создать и вложить в человека,
То у хороших отцов злых не бывало б детей:
Речи разумные их убеждали б. Однако на деле,
Как ни учи,—из дурных добрых людей не создашь.

Если обмыть пожелаешь меня, то увидишь, какою
Чистой, прозрачной вода будет бежать с головы.
В деле найдешь ты любом, что с червонным я золотом сходен,
450. Красный имеющим цвет, если потрешь о брусок.
Ржавчины черной иль грязи на теле его не увидишь,
Чистым и ясным оно цветом нетленным цветет.

---

457. Нет, не подходит жена молодая для старого мужа!
Мало послушной рулю эта бывает ладья.
Также и якорь не держит ее: оборвавши канаты,
Рада зайти ночевать в гавань чужую она.

Не заставляй никого против воли у нас оставаться,
Не заставляй уходить, кто не желает того,
И не буди, Симонид мой, заснувших из нас, кто упился
470. Крепким вином и теперь сладким покоится сном.
Тех же, кто бодрствует, спать не укладывай против желанья.
Нет никого, кто б любил, чтоб принуждали его.
Если же хочет кто пить,—наливай ему полную чашу.
Радость такую иметь можно не каждую ночь.
475. Что ж до меня, то вина медосладкого пил я довольно
И отправляюсь домой вспомнить о сладостном сне.
Пить прекращаю, когда от вина наибольшая радость.
Трезвым я быть не люблю, но и сверх меры не пью.
Тот же, кто всякую меру в питье переходит, не властен
480. Ни над своим языком, ни над рассудком своим,
Речи срамные ведет, за которые трезвый краснеет,
Дел не стыдится своих, совесть вином замутив.
Прежде разумный, теперь он становится глупым. Об этом
Помни всегда и вина больше, чем нужно, не пей.
485. Из-за стола поднимайся, пока допьяна не напился,
Чтоб не блевать за столом, словно поденщик иль раб.
Или сиди и не пей. А ты, передышки не зная,
Только твердишь: «наливай»! Вот отчего ты и пьян.

То за любовь, то для спора, то в честь небожителей выпьешь,
490. То потому, что с вином чаша стоит под рукой.
«Нет» же сказать не умеешь. Совсем для тебя недостижен
Тот, кто и много хоть пьет, но не теряет ума.
Добрые речи ведите, за чашей веселою сидя,
И избегайте душой всяческих ссор и обид.
495. Пусть и застольные песни звучат,—в одиночку и хором.
Так вот бывают для всех очень приятны пиры.

Легок становится мыслью любой человек, если выпьет
Больше, чем нужно, вина,—глуп ли он был иль умен.

Как тяжело в голове, Ономакрит! Вино беспощадно
Одолевает меня, и языком уж своим
505. Я не владею, и стены кружатся. Но дай, попытаюсь,
Встану,—ударит ли мне также и в ноги вино?
В разум—ударит ли? Очень я в сердце боюсь, чтобы пьяным
Глупостей мне не свершить и не наделать беды.

Не предавал никогда я друзей и товарищей верных.
530. В духе свободном моем рабского нет ничего.

Милое сердце теплом у меня наполняется, только
Сладкий услышу напев нежно-тоскующих флейт.
Любо мне пить беззаботно и петь свои песни под флейту,
Любо мне также держать звучную лиру в руках.

---

537. Ни гиацинтов, ни роз не дождешься от лука морского;
Также свободных детей не ожидай от рабынь.

---

541. Полипаид, я боюсь, что надменность погубит наш город,
Как погубила уже хищных кентавров она.

---

581. Мне ненавистны жена-непоседа и муж ненасытный,
Любящий плугом своим пашню чужую пахать.

611. Ближних нетрудно ругнуть и нетрудно себя возвеличить.
Низкие люди всегда так поступают, о, Кирн!
Люди дурные молчать не желают и злое болтают.
Добрые люди во всем меру умеют блюсти.

---

617. То, чего хочется людям, сбывается в жизни не часто,
Ибо во много мы раз ниже бессмертных богов.

---

625. Трудно разумному долгий вести разговор с дураками.
Но и все время молчать—сверх человеческих сил.

---

643. Много за чашей вина обретешь ты товарищей милых,
В деле серьезном, увы!—мало находится их.

Ныне давно уже нет никакого стыда в человеке.
Только бесстыдство одно бродит по нашей земле.

Бедность проклятая! Как тяжело ты ложишься на плечи!
650. Как развращаешь зараз тело и душу мою!
Я так люблю красоту, благородство,—а ты против воли
Учишь насильно меня низость любить и позор!

---

653. Слишком в беде не горюй и не радуйся слишком при счастье:
То и другое умей доблестно в сердце нести.

---

687. Смертному против бессмертных богов невозможно бороться
Или же в тяжбу вступать: этого нам не дано.

---

695. Сердце! Не в силах тебе я доставить, чего ты желаешь.
Нужно терпеть: красоты хочешь не ты лишь одно.

Если дела у меня хороши, то друзей, сколько хочешь;
Если случится беда,—мало, кто верность хранит.

Или еще, о, владыка богов: справедливо ли это,
Что справедливейший муж, чуждый неправедных дел,
745. Не совершивший греха и обманчивых клятв не дававший,
Должен так часто терпеть незаслуженную скорбь?
Кто же, о, кто же из смертных, взирая на все это, сможет
Вечных богов почитать? Что перечувствует он,
Видя, как злой человек, человек, что не ведает страха
750. Ни перед гневом людей, ни перед гневом богов,
Гордый, кичится надменно богатством безмерным, а честный
В бедности жалкой влачит темные, тяжкие дни?
Это познавши, мой милый товарищ, живи справедливо,
Благоразумной душой дел нечестивых беги,
755. Не забывай никогда о словах моих. Время настанет,—
Будешь ты рад, что внимал мудрым советам моим.

Благоволя к Алкофою, Пелопову славному сыну,
Сам ты, о Феб, укрепил город возвышенный наш.
775. Сам же от нас отрази и надменные полчища Мидян,
Чтобы с приходом весны граждане наши могли
С радостным духом во славу тебе посылать гекатомбы
И, твой алтарь окружив, душу свою услаждать
Кликами, пеньем пэанов, пирами, кифарным бряцаньем.
780. Страх мою душу берет, как погляжу я кругом
На безрассудство и распри, и войны гражданские греков.
Милостив будь, Аполлон, город от бед защити!

Некогда быть самому мне пришлось и в земле Сикелийской,
И виноградники я видел Евбейских равнин,
785. В Спарте блестящей я жил, над Евротом, заросшим осокой;
Люди любили меня всюду, где я ни бывал;
Радости мне ни малейшей, однако, они не давали:
Всюду рвался я душой к милой отчизне моей.

---

801. Не было, нет и не будет вовек человека такого,
Кто бы в Аид низошел, всем на земле угодив.
Даже и Зевс, повелитель бессмертных и смертных, не может
Действовать так, чтоб зараз людям понравиться всем.

---

825. Как же дерзаете вы распевать беззаботно под флейту?
Ведь уж граница страны с площади нашей видна!
Кормит плодами родная земля...

...беспечно пируя
В пурпурных ваших венках на волосах золотых!
Скиф! Пробудись, волоса остриги и покончи с пирами!
830. Пусть тебя болью пронзит гибель душистых полей!

К гибели, к воронам все наше дело идет! Но пред нами,
Кирн, из блаженных богов здесь не виновен никто:
835. В бедствия нас из великого счастья повергли—насилье,
Низкая жадность людей, гордость надменная их.

Крепко пятою топчи пустодушный народ, беспощадно
Острою палкой коли, тяжким ярмом придави!
Верно, народа с подобной любовью к тираннам ни разу
850. Не доводилось еще солнцу видать на земле.

Я уж давно это знал, а теперь еще лучше изведал,
Что благодарности нет в сердце у низких людей.

855. Как уже часто наш город, ведомый дурными вождями,
Словно разбитый корабль, к суше причалить спешил!

Ни восхвалять, о, вино, я тебя не могу, ни порочить.
Я ни люблю целиком, ни ненавижу тебя.
875. Ты и прекрасно, и дурно. Ну, кто порицать тебя сможет?
Знающий меру вещей,—кто тебя сможет хвалить?

Радуйся жизни, о, дух мой! Появятся скоро другие
Люди, а я, умерев, черною стану землей.

Выпей вина, что под сенью высокой Тайгетской вершины
880. Мне виноградник принес. Вырастил лозы старик
В горных укромных долинах, любезный бессмертным Феотим
С Платанистунта-реки влажную воду нося.
Выпьешь его,—отряхнешь ты заботы тяжелые с сердца.
В голову вступит вино,—станет легко на душе.

885. В городе мир и богатство да царствуют, чтоб с остальными
Мог пировать бы и я: злой не хочу я войны.

Ухом не слишком склоняйся к призывам глашатая громким:
Помни,—сражаемся мы не за родную страну.

---

943. Возле флейтиста вот так я по правую сторону стану,
Песню зачну и богам вечным мольбу вознесу.

Прежде, когда в роднике черноводном я брал себе воду,
960. Сладкой казалася мне и превосходной вода.
Ныне она замутилась, вода загрязнилася илом.
Буду я пить из другой речки или родника.

1041. Дайте сюда мне флейтиста! Бок-о-бок с рыдающим сядем,
Будем смеяться и пить, тешась печалью его!

1047. Будем теперь наслаждаться вином и прекрасной беседой.
Что же случится потом,—это забота богов.

Не посмеюсь никогда над врагом, если он благороден.
1080. Друга не стану хвалить, если он низок душой.

Кастор и ты, Полидевк, что живете над светло-струистым
Быстрым Евротом-рекой в Лакедемоне святом!
Если я другу дурное советовал,—пусть пострадаю!
Если советовал он,—пусть пострадает вдвойне!
1090. Тяжесть, одну только тяжесть любовь мне твоя доставляет;
Ни ненавидеть тебя я не могу, ни любить.
Знаю я, как тяжело ненавидеть друзей своих прежних,
Но тяжело и любить тех, кто не хочет того.

1107. Горе, как я опустился! Посмешищем стал для врагов я,
Бременем стал для друзей, страшный удар претерпев!

1117. Всех ты божеств, о, Богатство, желаннее, всех ты прекрасней
Как бы кто ни был дурен, будет с тобою хорош.

Я не горюю за чашей о бедности, губящей душу,
1130. И злоязычье врагов мало печалит меня.
Юности милой приходит конец,—вот о чем я горюю
Плачу о том, что идет трудная старость ко мне!

1155. Я не молюсь о богатстве, его не хочу. Но желая бы
Скромные средства иметь, чтоб без лишений прожить.

1191. Я не желаю по смерти на ложе покоиться царском.
Только бы мне хорошо было, когда я живу.
Терн ли колючий, ковер ли подстилкою мертвому служит,
Твердо ли ложе тогда, мягко-ль,—не все ли равно?

Ввек не пойду я к тиранну, не стану к себе его звать я,
В горе не буду я лить слез над могилой его,
1205. И не хочу я, чтоб, если умру, обо мне горевал он,
Чтобы ронял обо мне жаркие слезы с ресниц!

Трудно заставить врага-ненавистника верить, обману.
1220. Друга же очень легко другу, о, Кирн, обмануть.

1255. Полно и радостно тот не живет, кто душой не способен
Мальчиков юных любить, резвых коней и собак.

Непостоянному, мальчик, подобен ты коршуну нравом.
Нынче готов одного, завтра другого любить.

1386. О, Киферея-Киприда, искусная в кознях, могучим
Даром тебя одарил Зевс, отличая тебя.
Ты покоряешь умнейших, и нет никого, кто настолько
Был бы могуч или мудр, чтобы тебя избежать.

ИВИК

Родом из Региона (ныне Реджио), на южной оконечности Великой Греции (Италии). Жил в шестом веке до Р. Х. Большую часть жизни провел вне родины, преимущественно на о. Самосе, при дворе знаменитого самосского тиранна Поликрата. Смерть Ивика породила знаменитую легенду, в новейшее время разработанную Шиллером в его «Ивиковых журавлях». На Ивика напали разбойники. В это время в небе пролетали журавли. Умирая, Ивик сказал: «журавли отомстят за меня!» Некоторое время спустя, разбойники пришли в город. Один из них увидел летящих в небе журавлей и сказал другому: «вот они—мстители за Ивика!» Окружающие услышали эти слова и схватили убийц.—Представитель хоровой лирики. Сочинял, повидимому, эпико-лирические гимны в духе Стесихора. Но оставил по себе в древности память преимущественно, как песнопевец любви и страстный поклонник красоты юношей. Имя Ивика часто ставилось рядом с именем Анакреона.—Дошли незначительные отрывки. Переведено все дошедшее, размерами подлинников.

1.

Только весною цветут цветы
Яблонь кидонских, речной струей
Щедро питаемых, там, где сад
Дев необорванный. Лишь весною же
И плодоносные почки набухшие
На виноградных лозах распускаются
Мне ж никогда не дает вздохнуть
Эрос. Летит от Киприды он,—

Темный, вселяющий ужас всем,—
словно сверкающий молнией северный ветер, фракийский, и душу
Мощно до самого дна колышит
Жгучим безумием...

2.

Эрос влажно-мерцающим взглядом очей своих черных глядит из-под век на меня
И чарами разными в сети Киприды
Крепкие вновь меня ввергает.
Дрожу и боюсь я прихода его.
Так на бегах отличавщийся конь неохотно под старость
С колесницами быстрыми на состязанье идет.

3.

И горю, как долгою ночью горят
звезды блестящие в небе.

4.

Сердце милое! Вечно меня, как пурпурница быстрая...

Пурпурница—см. прим. к № 8.

5.

О, Евриал, Харит лучезарных ветвь,
Ты, о, питомец Муз пышнокудрых; Кипридою
И нежной Пейфо ты под розами вскормлен, цветущими пышно.

6.

Мирты, и яблоки, и златоцветы,
Нежные лавры, и розы, и фиалки.

7.

И соловьев
полная звуков заря
будит, бессонная.

8.

На дереве том,
на вершине его,
утки пестрые сидят
В темной листве;
много еще
там яркозобых пурпурниц
И гальцион быстрокрылых...

Пурпурница,—повидимому, порфироносец или султанская курочка (из разряда водяных курочек). Она содержалась древними греками и римлянами вблизи храмов и считалась под покровительством богов. Передняя часть ее головы и шеи красивого бирюзового цвета, остальное оперение— темно-индигового цвета.—Гальциона—зимородок.—Странность, насколько мне известно, до сих пор не отмеченная: все перечисленные породы,—утки, султанские курочки и гальционы,—птицы водяные, и на деревья никогда не садятся.

9.

Кассандра, Приама дочь,
Синеокая дева в пышных кудрях,
в памяти смертных живет.

10.

(Говорит Геракл:)

Белоконных сыновей
Молионы я убил,—
Сверстников, крепко сращенных друг с другом,
Храбрых. В яйце родилися серебряном
Вместе они...

11.

Схолии к Пиндару (Нем, I, 1): Ортигия сначала была островом, но потом на ней построили дамбу, и она стала полуостровом, как рассказывает Ивик:

...из камней
Гладких ты сушу создали руки людей,
Где лишь хищные стаи рыб
Раньше паслись среди улиток.

12.

Боюсь, чтоб чести у людей
Не купить ценой нечестья пред богами.

13.

Чья жизнь уж погасла, для тех
найти невозможно лекарства.

АНАКРЕОН

Родился в Теосе, в Ионии. Жил в шестом веке. Большую часть жизни провел при дворах различных тираннов (на о. Самосе, в Афинах, в Лариссе). Умер глубоким стариком.—Типичнейший представитель того «легкого» отношения к жизни, которое многие и до сих пор считают характерным вообще для эллинского жизнеотношения. В действительности, жадная и благоговейная влюбленность в жизнь, отмечающая древнее эллинство, не имеет ничего общего с легкомысленным культом наслаждения, проповедуемым гулякою-Анакреоном и характерным для всякой разлагающейся эпохи и разлагающегося класса. (О жизнеотношении древнего эллинства см. подробно в моей работе «Апполлон и Дионис»,—Полн.собр. соч.,т.VIII).—Переведены лишь некоторые из дошедших песен и отрывков. Все—размерами подлинников.

1.

Бросил шар свой пурпуровый
Златовласый Эрот в меня
И зовет позабавиться
    С девой пестрообутой
Но, смеяся презрительно
Над седой головой моей,
Лесбиянка прекрасная
    На другого глазеет.

2.

Пирожком я позавтракал,
    отломивши кусочек,

Выпил кружку вина,—и вот
за пектиду берусь я,
Чтобы нежные песни петь
нежной девушке милой.

Пектида—струнный инструмент, похожий на арфу, с двадцатью струнами. Особенно был распространен в Лидии.

3.

Люблю и словно не люблю,
И без ума, и в разуме.

4.

...бросился я
вновь со скалы Левкадской
И безвольно ношусь
в волнах седых,
пьяный от жаркой страсти.

5.

Схол. к Еврипиду, Гек., 934: Дорийствовать значит женщинам показываться обнаженными, как говорит и Анакреон:

Дорийствовать, с плеч хитон свой скинув.

Евстафий, Ил. 975, 30: По словам Элия Дионисия, дорийствовать значит открывать и обнажать большую часть тела. Он говорит, что пелопоннесские девушки проводили целые дни без пояса и хитона, и одежда их была приколота пряжкою на плече, покрывая лишь одну сторону тела.

6.

Ты, с кем Эрос властительный,
Афродита багряная,
Черноокие нимфы
Сообща зобавляются
На вершинах высоких гор,—

На коленях молю тебя:
Появись и прими мою
Благосклонно молитву.
Будь хорошим советником
Клеобулу! Любовь мою
Не презри, о, великий царь,
Дионис многославный!

7.

Мальчик с видом девическим,
Просьб моих ты не слушаешь
И не знаешь, что душу ты
На вожжах мою держишь.

8.

Я б хотел сойтись с тобою: ты имеешь нрав приятный...

9.

Ибо мальчики за речи полюбить меня могли бы:
Я приятно петь умею, говорить могу приятно.

10.

...но стройность бедер
Покажи своих, о, друг мой!

11.

И спальня,—не женился он, а замуж вышел в спальне той.

12.

Десять месяцев прошло уж, как Мегист наш благодушный,
Увенчав чело лозою, тянет сусло слаще меда.

13.

Полные слез
он возлюбил сраженья.

14.

А кто сражаться хочет,—
Их воля: пусть воюют!

15.

Бросив щит свой на берегах
речки прекрасноструйной.

16.

Умереть бы мне! Не вижу никакого
Я другого избавленья от страданий!

17.

(эпитафия)

Мощный в сраженьях Тимокрит,—его пред тобою гробница.
Арес не храбрых мужей, трусов одних бережет.

ПЛАТОН

1.

(к Праксителевой статуе Афродиты Книдской)

В Книдском увидевши храме Киприду, сказала Киприда:
«Где ж это мог увидать голой меня Пракситель?»

2.

Девять на свете есть Муз, утверждают иные. Неверно.
Вот лесбиянка Сафо,—Муза десятая к ним.

ЭЗОП

Жизнь! Как без смерти уйти от тебя? Ты приносишь повсюду
Тысячи бед. Избежать трудно их, трудно нести.
Что по природе прекрасно, лишь то в тебе радует: солнце,
Месяца круговорот, звезды, земля и моря.
Все остальное—страданье и страхи. И если случится
Радость кому испытать,—следом Отмщенье идет.

Из помещаемых здесь переводов раньше изданы были:

Архилох. Стихотворения и фрагменты. Москва, 1915.
Сафо. Стихотворения и фрагменты. Москва. 1915.
Гомеровы гимны. Изд. «Недра». М., 1926.
Гесиод. Работы дни. Изд. «Недра». М., 1927.

Кроме того, небольшое количество отрывков из Семонида, Алкея, Алкмана, Ивика, Стесихора и Феогнида было помещено в полном собрании моих сочинений, изд. А. Ф. Марксом в 1913 г. (том III, 397 и сл.).

Остальные переводы печатаются впервые. Собрание песен Сафо пополнено рядом отрывков, недавно найденных в оксиринхских папирусах. Я выбрал все отрывки, которые не настолько попорчены, чтобы смысл их не был понятен и бесспорен. Дополнять же собственной фантазией разрозненные слова безнадежно изувеченных песен и стихи собственного измышления приписывать Сафо, как это делает в своих переводах Вяч. Иванов, я считаю глубочайшим неуважением к памяти великой поэтессы.

В некоторых из предлагаемых переводов большую помощь своими ценными указаниями и советами оказали мне профессора Ф. Ф. Зелинский, В. П. Клингер и М. М. Покровский, которым приношу горячую мою благодарность.

АЛКЕЙ И САФО В ПЕРЕВОДЕ ВЯЧ. ИВАНОВА

— Алкей и Сафо (Собрание песен и лирических отрывков в переводе Вячеслава Иванова. М. 1914 г. Ц. 1 р. 25 к.

Книгоиздательство М. и С. Сабашниковых продолжает энергично развивать свою деятельность по изданию на русском языке крупнейших памятников мировой литературы. Из области античной литературы издателями уже выпущены в свет Софокл, Овидий, Лукреций, Марк Аврелий. Недавно вышел новый выпуск; он содержит дошедшие до нас стихотворения и стихотворные фрагменты двух великих лесбосских поэтов, Алкея и Сафо, в переводе г. Вячеслава Иванова.

Крупная и приятная особенность перевода,—что он сделан размерами подлинников. Размеры эти чрезвычайно прихотливы и трудны. Такой первоклассный мастер русского стиха, как Фет, считал подобные размеры неосуществимыми на русском языке и, напр., в переводах своих из Горация даже не пытался сохранять размеры подлинников. И недавно еще В. Я. Брюсов высказывал сомнение, возможно ли в нашей поэзии создание античных размеров. Мы думаем, переводы г. Иванова доказывают, что возможно. Нам представляется безупречною такая, напр., сапфическая строфа:

Мнится мне: как боги, блажен и волен,
Кто с тобой сидит, говорит с тобою,
Милой в очи смотрит и слышит близко
Лепет умильный.

Или такие асклепиады:

Сохнет, други, гортань,—дайте вина! Звездный ярится Пес.
Пекла летнего жар тяжек и лют; жаждет, горит земля.
Не цикада—певец! Ей ни по чем этот палящий зной:
Все звенит да звенит, в чаще ветвей, стрекотом жестких крыл.

Неудачными, странным образом, оказываются иногда как-раз такие размеры, которые, казалось бы, не представляют никаких трудностей.

Выше гор златой храм.
Муз собор святой, к нам!

Всякий прочтет эти стихи, как анапест, и, только справившись с подлинником, узнает, что нужно их читать, как хорей. Впрочем, таких неудачных стихов немного.

Среди эллинских поэтов Алкей и Сафо выдаются удивительною простотою, ясностью и сдержанностью языка. В этом они очень походят на Пушкина. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит: я не хочу печалить вас ничем». Простые, обыденные слова, обыденнейшие обороты речи,—а какая в них сила и какая красота! То же и у обоих лесбосских поэтов. Вот эта-то их простота составляет постоянный камень преткновения для переводчика. Ясная прозрачность, легкость и простота языка никогда не принадлежали к числу достоинств Вячеслава Иванова. Напротив, он неизменно велеречив, темен и приподнят. Эти качества, к сожалению, целиком сказываются и в его переводах.

Сохранилось, напр., два стиха Алкея, в которых он так обращается к Сафо: «Фиалкокудрая, чистая, с нежною улыбкой Сафо! Хочу кой-что сказать тебе, но мне мешает стыд». И вот в какие напыщенные выкрики превращает г. Иванов эти пушкински-простые слова Алкея:

Святая Сафо!
С нежной улыбкой Сафо!
С кудрями цвета
Темной фиалки, Сафо!
Слететь готово
С уст осмелевших слово...
Но стыд промолвить
Мне запрещает слово!

Есть у Сафо стих: «Придите, Музы, покинув золотой»... (Храм? Дом отца?—неизвестно: отрывок состоит из одного этого стиха) Г. Иванов переводит его вышеприведенным двустишием:

Выше гор златой храм,
Муз *собор святой*, к нам!

Что осталось среди этих гипербол от простых слов Сафо?

Не отказался г. Вяч. Иванов и от своей известной склонности ко всякого рода архаизмам, неологизмам и простонародным оборотам. Переводы его пестрят такими словами, как «зане», «златой», «град», «бранник», «лирник», «щокот славий», «утицы», «зерцало» и

т. п. Причудливая смесь торжественно-архаических, вновь сочиненных и простонародных слов и выражений составляет характерную особенность собственной поэзии Вячеслава Иванова, но нисколько не характерна ни для Алкея, ни для Сафо. Их язык—обыкновенный, современный им разговорный язык, лишь с очень незначительными следами влияния эпической поэзии, с одной стороны, народной песни, с другой. Читая переводы г. Иванова, всякий скажет: «сразу видно, что это—Вячеслав Иванов». Было бы много лучше, если бы можно было сказать: «сразу видно, что это—Алкей и Сафо».

Чрезвычайно неприятное впечатление производят русские народные выражения, которые переводчик вкладывает в уста лесбосских поэтов. Алкей говорит у г. Иванова про свою «буйную голову», Сафо спрашивает: «аль кого другого возлюбило сердце?» и вот каким языком говорит в своих свадебных песнях:

> Яблочко, сладкий налив, разрумянилось там, на высокой
> Ветке,—на самой высокой, всех выше оно. *Не видали,*
> *Знать, на верхушкг его? Аль видали,— да взять—не достали?*

«Взять—не достали»,—это же, наконец, даже не по-русски!

У Алкея и особенно у Сафо некоторые стихотворения, несомненно, носят характер народной песни,—что, повидимому, и побудило г. Иванова ввести в свой перевод указанные народные обороты. Но обороты эти,—все эти «аль видали», «буйные головы», «зятек», «женишок»,—придают переводам характер не народной песни вообще, а *русской* народной песни. Только русская молодайка, а не гречанка Сафо может спрашивать: «Знать, не видали? Аль видали, да не достали?» Заставлять говорить древне-эллинских поэтов подобным языком, эта—такая безвкусица, о которой не может быть двух мнений.

Отношение переводчика к дошедшим текстам лесбосских поэтов также вызывает ряд возражений. Нередко г. Иванов соединяет в одно стихотворение несколько фрагментов, дошедших в отдельности, если в их содержании есть что-либо общее. Прием—совершенно непозволительный. От Сафо, напр., кроме нескольких крупных песен, сохранилось около сотни фрагментов в 1—2 стиха; а написала она девять книг стихотворений. Что удивительного, если некоторая общность содержания окажется у отрывков, взятых, может быть, из совсем различных стихотворений? Если бы от Пушкина до нас дошли такие же жалкие отрывки, как от Сафо, и мы стали следовать приемам г. Иванова, то получили бы сколько угодно стихотворений в таком, напр., роде:

> Вновь я посетил
> Тот уголок земли, где я провел
> Отшельником два года незаметных.
> Вот мельница,—она уж развалилась;
> Прервали свой голодный рев (колеса?)...

Но какую ценность имеют такого рода реставрации? И не больше ли проявили бы мы уважения к памяти поэта, если бы дали читателю сохранившиеся от него отрывки в том именно виде, в каком они до нас дошли?

К сожалению, свобода переводчика в обращении с текстом переводимых поэтов идет еще дальше. Сохранился, напр., такой стих Сафо: «Геллы детолюбивее». От комментаторов мы узнаем, кто такая была эта Гелла. И вот как «переводит» стих Сафо г. Иванов:

Есть преданье на Лесбосе:
Дева, рано умершая,
Гелла чадолюбивая,
К детям по-душу крадется
В час ночной.

В примечании в конце книги перводчик сообщает: «Два слова подлинника развиты в небольшое стихотворение из попутных сообщений древних комментаторов». Такому стихотворению гораздо приличнее фигурировать в собрании сочинений Вячеслава Иванова, а не Сафо.

Но здесь переводчик, по крайней мере, сообщает о тех добавлениях, которые он сделал к тексту. В других случаях нет и этого. От свадебных песен Сафо сохранился такой отрывок: «Как гиацинт, который в горах пастухи попирают ногами, и к земле пурпурный цветок»... Можно представить сколько угодно догадок, что именно хотела сказать Сафо своим образом,—немало догадок и высказывается. Высказывает свою догадку и переводчик, но не в примечании, а вводит ее в самый текст, заставляя думать читателя, что именно таково значение образа у самой Сафо:

Девичья воля, прости! ты, девственность! Никнет, растоптан,
В горных лугах, на пастушьей тропе, гиацинт пурпуровый...

У Алкея есть такой стих: «о, я несчастная! Обрушиваются на меня все самые жестокие беды!» Г. Иванов переводит:

Не изжить зол,
Не избыть бед!
На роду, знать,
Молодой мне
Горе мыкать[

Что это такое? Откуда попал сюда отрывок из Кольцова? Откуда это фаталистическое настроение, на которое в подлиннике нет даже отдаленного намека? Разве же так можно!

Кстати отметим, что со стороны стихотворной техники этот же перевод г. Вяч. Иванова представляет изумительнейший стихотвор-

ный tour de force. В подлиннике отрывок написан ионическими стопами: два коротких слога и за ними два долгих. Как передать такой размер на русском языке, где нет долгих и кратких гласных, а есть только ударения? Попробуйте громко прочесть первые четыре стиха перевода г. Иванова,—и вы увидите, что размер,—казалось бы, на нашем языке совершенно невозможный, — передан безукоризненно: стихи невозможно прочесть иначе, как размером ионической стопы.

Толкование переводчиком некоторых текстов вызывает полнейшее недоумение, и можно пожалеть, что г. Иванов не мотивировал этих своих толкований, а ограничился общим замечанием: «Знатокам точка зрения переводчика на чтение и смысл темных мест понятна и без пояснений». Мы очень сомневаемся, чтоб и знаток понял без пояснений точку зрения г. Иванова на чтение хотя бы следующих отрывков.

Сафо говорит: «Кому я так много даю, те причиняют мне всего больше мук». Г. Вяч. Иванов переводит:

> *...На кого я взглядом*
> *Пристальным взгляну*, **тот и ранит сердце.**

Кого ни встретит Сафо, стоит ей только пристально на него взглянуть,—и она получает от него рану в сердце. Какая влюбчивая! Мы недоумеваем, какие основания были у переводчика именно так понять текст. И уж решительнейшим образом утверждаем, что никаких оснований не было придавать другому отрывку Сафо тот смысл, который придает переводчик. Сафо говорит: «Я не знаю, на что решиться: две мысли у меня». Это колебание нерешительной женщины у г. Иванова превращается в глубокую, трагическую раздвоенность души:

> **В сердце помысла два**
> *И две воли... Чего бежать?*

Одним словом: «Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust». Если даже слово theo переводить «бегу» (что навряд ли верно), то все-таки получится только невинное: «не знаю, чего бежать; две мысли у меня». Между тем, в одной из своих недавних статей г. Иванов прямо опирался на этот стих, доказывая наличность глубокой раздвоенности в душе Сафо.

В одном прелестном четырехстишии Сафо обращается к своей ученице Дике (очевидно, той самой, которая в другом отрывке того же размера названа полным именем «Мнасидика»), предлагает ей надеть на волосы венок, нарвав для него веток укропа: Хариты любят цветы, и отворачиваются от тех, кто без цветов. По мнению

г. Иванова, речь идет здесь о Дике, богине справедливости. И вот во что превращается у него это стихотворение:

ГИМН ПРАВДЕ

О, Правда, вплетать любо тебе зелень живую в кудри,
И гибкие ты нежной рукой ветви кустов ломаешь. —
Зане веселит, Правда, тебя, в круге Харит блаженных,
Весенний убор! Кто ж не венчан, тот не угоден вышним.

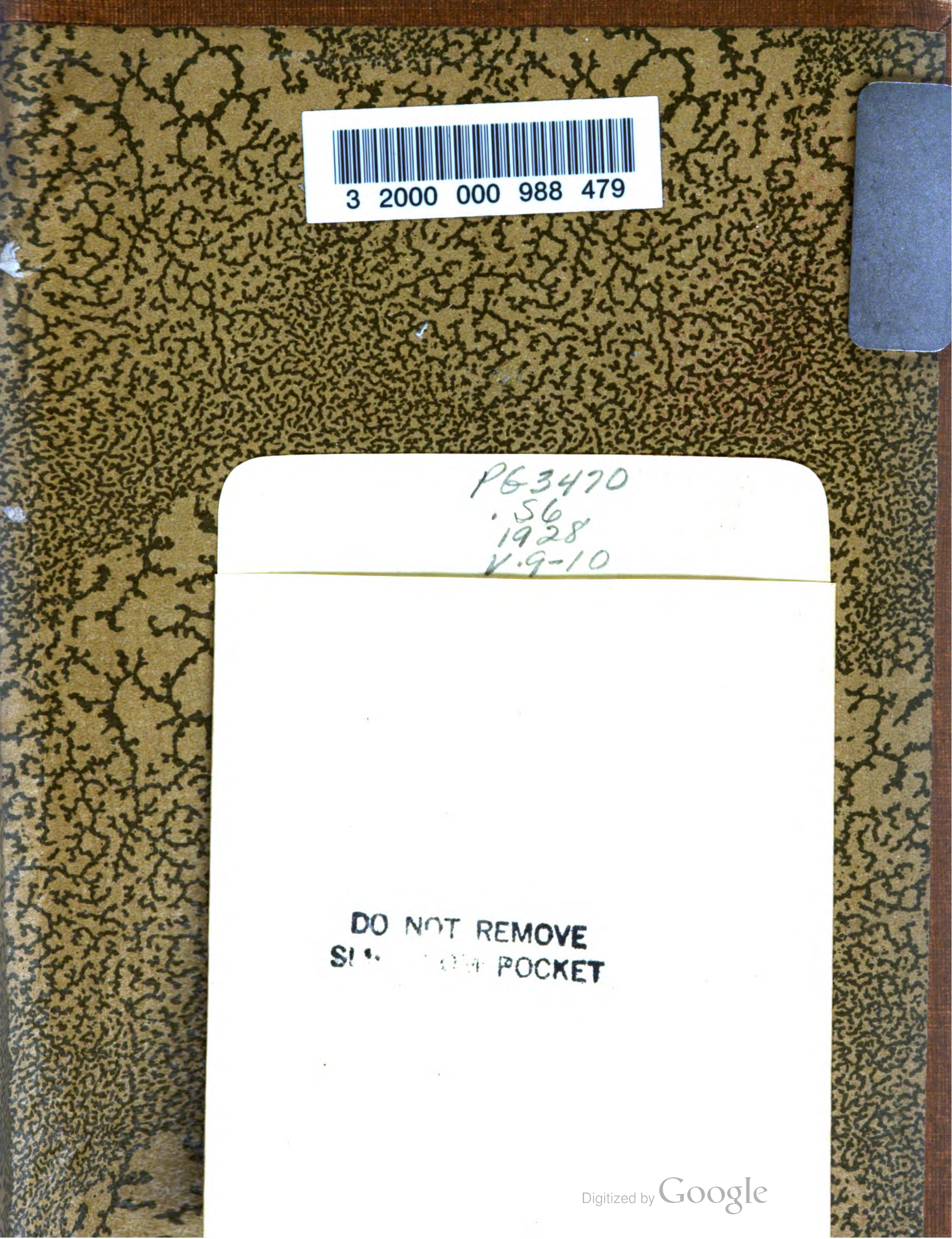
Строгая дева Дике, дочь Зевса, восседающая на троне рядом с великим отцом и творящая свой грозный суд,—образ, совершенно чуждый кругу божеств, в котором живет Сафо. И совершенно невозможно представить себе эту величественную богиню веселящеюся в круге легкомысленных Харит и старающеюся угодить вышним... своим венком из укропа!

(«Вестник Европы», 1915, февраль.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.




3 2000 000 988 479
PG3470
.S6
1928
V.9-10
DO NOT REMOVE
POCKET
Digitized by Google

